9.1974

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НАРОДНОЙ БОЛГАРИИ — ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Стоян Стоянов. *Молодость (НРБ)*

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы болгарских писателей — СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ. РОСЕН БОСЕВ. ВАСИЛ ПОПОВ. СЕРАФИМ СЕВЕРНЯК. МЛАДЕН ДЕНЕВ. ЛАДА ГАЛИНА. ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА *(Перевод Н. Глен, Л. Лихачевой, Т. Колевой, Т. Рузской, М. Михелевич)* 4

СТАНКА ПЕНЧЕВА — Стихи *(Перевод с болгарского Лорины Дымовой)* 44

Из албанской прозы — ДИК КУТЯЛИ. СОТИР АНДОНИ *(Перевод Т. Серковой)* 49

АЙРИС МЕРДОК — Черный принц *(Роман. Продолжение. Перевод с английского И. Бернштейн и А. Поливановой)* 64

ЭРВЕ БАЗЕН — Крик совы *(Роман. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой)* 139

Литературное наследие

ЛУДОВИКО АРИОСТО — Из «Неистового Роланда» *(К 500-летию со дня рождения. Перевод с итальянского Евгения Солоновича. Вступление Н. Томашевского)* 185

Критика

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО — В реке, где много пираний (С литературными иллюстрациями из произведений Станислава Понте Преты. *Перевод с португальского В. Свирченко)* 194

М. МЕНДЕЛЬСОН — Чем абсурден «абсурдистский» роман? 207

Культура и современность

Заметки на полях

В духе времени. Б. Бейлис — Навстречу читателю. Ю. Давыдов — Либерализм и «нигилистическая культура» 214

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

9

СЕНТЯБРЬ
1 9 7 4

СОДЕРЖАНИЕ

Публицистика

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ — По следам «пропавших без вести» *(Документальная повесть. Перевод с болгарского Л. Лихачевой. Предисловие автора)* 224

ТИБОР ДЕРИ — Отложения дней *(Фрагменты из книги. Перевод с венгерского Н. Подземской. Послесловие О. Россиянова)* 236

Изобразительное искусство за рубежом

С. ПОТАБЕНКО — Неиссякаемый источник вдохновения 257

Наши гости

С. ПАРХОМОВСКАЯ — Пример обновленной судьбы (В «Иностранной литературе» — болгарские критики) 259

Среди книг

Издано в СССР

Ирина Богатко — «В глубь сердца перо погружая...» И. Левидова — В доме англичанина. Е. Померанцева — Годы учения Лорана Паскье 263

Издано за рубежом

Николай Антонов — Поэтические предсказания. М. Ульрих — Огонь души нетленной. Л. Харлап — Связать прошлое с настоящим. В Чернышев — Легкокрылая муза поэта 268

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 286

На обложке: картина палестинского художника *ИСМАИЛА ШАММУТА* «Щедрая земля».

На цветной вкладке. работы индийского художника *ДЖАМИНИ РАЯ.*

© «Иностранная литература», 1974.

Рассказы болгарских писателей

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

Земля вертится

В старой дубраве царит спокойствие, и если по раскидистым кронам деревьев проходит какое-то движение, то это не ветер, а птицы, что перепархивают с ветки на ветку. В июле в этих местах ветра почти не бывает, зной нависает над землей, и к полудню просто невозможно оставаться на улице.

Но вилла построена основательно, наполовину из камня, веранда затянута оранжевым тентом, и в его тени положение, вероятно, не кажется таким нестерпимым. За верандой начинается сад — молодые персиковые деревья, в дальнем конце с десяток облагороженных груш. По террасам ползет клубника, вьются побеги черной смородины. Из-под сердцевидных листьев выглядывают бледно-розовые помидоры, розовый цвет еще не овладел целиком гладкой поверхностью, уступая кое-где желто-зеленому. Жужжат пчелы, кружат вокруг плодовых деревьев, над клубникой, долго и педантично проверяют каждую малость, не торопясь приступить к делу.

Мы сидим под персиками, курим, и легкий дым, прежде чем раствориться и исчезнуть, подолгу стоит в неподвижном воздухе.

— Встали! — говорит немного спустя дядя Ламбо.— А то как бы солнечный удар не хватил...

Мы медленно подымаемся, облизываем потрескавшиеся губы и начинаем.

Первым сдвигается с места лес — дрогнет легонько, едва заметно, и зеленая стена деревьев трогается. Она движется не спеша, перемещается к западу, в ту сторону, куда ведет дорога. Следом за ней пускаются в путь облагороженные груши, они ближе и вертятся быстрее, потом начинают вертеться персики, потом — пчелы, которые продолжают скептически жужжать над клубникой, вертится и сама клубника...

Потом в круг включается что-то оранжевое, это веранда, затем сверкающие на солнце чешуйки слюды в штукатурке второго этажа, проволочная ограда, «Букингемский дворец», железная калитка, закрытые коричневые ставни соседней дачи с вырезанными в них сердцами, пугало во дворе другого соседа... Потом снова появляется зеленая стена дубравы, мелькает дорога, слышно, как на ней что-то урчит, снова показываются груши — земля вертится.

Бур слегка дрожит, жалобно поскрипывая, мы трое толкаем железный рычаг и шагаем за ним. До обеда еще целый час, солнце неподвижно висит прямо над нашими головами, мы вертим веранду, дачи, дубраву, дорогу, пугало...

С начала лета я кочую с этим буром по частным владениям дачной зоны. Двухэтажные дома с гаражами и фонарями из кованого железа, квадратные белые виллы с декоративными деревенской кладки печами во дворе, серые панельные постройки, похожие на коробки из-под печенья, деревянные сарайчики, крытые жестью, домишки из ящиков — мы прошли через много дач, оставили их у себя за спиной. Мы запускали бур в огородах, где росли помидоры, на лугах, покрытых люцерной, среди клумб и на зеленоватой скалистой почве, под стволами персиков и дичков груши...

Мы ищем воду. Обычно она прячется на глубине десяти — пятнадцати метров, если она есть вообще. В один прекрасный день мы появляемся на участке, выпиваем сливовицу, предложенную нам любезным хозяином, и монтируем бур. Потом начинаем ввинчивать его в землю и ввинчиваем, пока не добираемся до водоносного слоя или пока не убеждаемся, что в этом месте воды нет. Дело несложное, можно обойтись и без высшего образования, шагай себе да толкай. Время от времени мы останавливаемся — чтоб выкурить по сигарете или сменить штангу — и снова крутимся...

Земля вертится, и снова подходит черед пугала во дворе соседа. Оно медленно появляется передо мной, сначала разодранный рукав на правой руке, потом успевшие стать серыми клочья ваты, которые вылезли на плечах его вышедшего из моды пиджака, и старая, помятая дамская шляпка с фиалками и лиловым бантиком. Мы крутим дальше, и снова появляется зеленая стена леса...

На дороге — шум мотора, я слышу, как машина останавливается у ворот виллы, мотор всхрапывает и гаснет.

— Товарищ Гечев!— говорит дядя Ламбо.

Мы останавливаемся. По выложенной плитками дорожке к нам идет товарищ Гечев. Это из его рук мы кормимся — ему принадлежит бур, бур — его движимое имущество. Он лет на десять моложе дяди Ламбо, был раньше техником на шахте, когда-то они работали вместе. Товарищ Гечев по частям собирал свой бур, развинчивал бракованные буры, рылся в утиле, облазил немало заводских свалок. И вот обзавелся собственным буром.

У Антона несколько иное мнение о происхождении бура. Он утверждает, что товарищ Гечев — чрезвычайно симпатичный человек, он прямо-таки излучает дружелюбие, и его приятели очень его любят. Так вот, бур и является плодом этой бескорыстной дружбы между товарищем Гечевым и комиссией по браковке буров. Комиссия выбраковала один слегка подержанный бур — из тех, что крутят вручную,— исходя из своих высоких понятий о мужской дружбе. А вовсе не оттого, что, как утверждает дядя Ламбо, товарищ Гечев сунул кое-кому из членов комиссии известную сумму.

Дядя Ламбо всегда сердится, когда слышит эти слова Антона, он вообще ничего по данному вопросу не утверждал, он в чужие дела не лезет и, чтобы подчеркнуть свое уважение к шефу, он, хоть и старше годами, называет его «товарищ Гечев». У дяди Ламбо сын студент, и на одну пенсию прожить трудно, поэтому он говорит Антону, что, как бы там ни было, бур принадлежит Гечеву и ссориться с ним нет никакого смысла, только выгодную работенку упустим. И это очень похоже на правду, потому что дело тут хлебное, а крутить бур может каждый, трехмесячные курсы не обязательно оканчивать.

Товарищ Гечев приближается к нам энергичным шагом и издали машет рукой.

— Ну как, ребята? — спрашивает он.— Есть вода?

— Пока нет, товарищ Гечев,— отвечает дядя Ламбо.— Но мы до нее доберемся, еще денек-другой...

Товарищ Гечев открывает коробку «Солнца», мы закуриваем и садимся на плитки.

— Давайте поскорей,— говорит он,— а то клиенты ждут, и каждый хочет, чтоб мы первым делом на его участок пришли. Как будто мы не хотим...

Товарищ Гечев смеется, он прав — ведь чем больше участков мы пробурим, тем больше получим денег, потом он вытаскивает из кармана фляжку с виноградной водкой и подает ее прежде всего дяде Ламбо.

— Глотни, дядя Ламбо, подзаправь мотор!..

Мы все отпиваем из фляжки, товарищ Гечев тоже пьет — он не боится ни проверок, ни ГАИ, он ничего не боится, это второе его достоинство, которое и Антон не отрицает.

— Приехал посмотреть, как будем действовать дальше,— сообщает нам товарищ Гечев.— Погляжу, докуда дошел бульдозер, а то меня два клиента тут поблизости, у леса. Как кончите, перебрались бы прямо на их участки, чтоб не тащиться на другой конец дачной зоны, не терять время — сначала туда, потом опять сюда...

— Денек-другой — и будет видно,— отвечает дядя Ламбо.— Самое позднее к воскресенью кончим. На седьмом метре песчаник твердый пошел, тяжело крутить.

— Хорошо, хорошо,— говорит товарищ Гечев и встает.— Как раз к этому времени и бульдозер дорогу проведет. Хоть бы вода была, тогда б и колодцы людям сделали.

Когда мы находим воду, на участок приходят другие двое, которых тоже присылает товарищ Гечев. Они каптируют воду, делают колодцы, фонтанчики и все, что требуется.

— Ну, ребята, приятной работы! — прощается он.— И не надрывайтесь на этой жарище, потихоньку крутите...

Он знает, что в накладе не останется — нам он платит с метра, а не по часам. Как мы пройдем эти метры, медленно или быстро,— наше дело. Он ищет клиентов, договаривается с ними об оплате всей работы, о времени, когда мы начнем бурить. Если бывает свободен, то помогает нам монтировать бур, работы он не боится, но больше занят другими делами.

— Товарищ Гечев,— говорю я.— Не забудьте о враче, не то мне каюк. Если можно, ему бы тоже побыстрее сделать...

— Не забуду,— подмигивает он мне.— Не забуду, Сашко, не беспокойся. Я его запланировал. Ну, будьте здоровы.

Он идет вниз по плиткам, между которыми пробивается ромашка, садится в свой старенький дребезжащий «москвич», и машина пускается вскачь по разрытой дороге. Он останавливается пониже, рядом с бульдозером, который захватил огромную кучу грунта, вперемешку с кустарником и корнями, и толкает ее к лесу. Товарищ Гечев высовывается из окошка, говорит что-то Ванке, машет рукой и исчезает в туче пыли.

Мы возвращаемся к буру и снова начинаем крутить. Бульдозер урчит рядом с дачными участками, отгрызает целые бугры вместе с кустами и пожелтевшей травой и оттаскивает их в сторону.

Чего я только не придумывал, чтоб отвертеться в этом году от летних работ, и каждый раз — прокол.

— Ты неприступен, как Асенова крепость! — в отчаянии сказал я наконец Венцеславу.— Ни одной лазейки не могу найти!..

— И не найдешь,— ответил он с довольной ухмылкой.— Раз я отвечаю за летние работы, поедешь как миленький. Ты ведь три года ездил, чего ж в этом году так брыкаешься?

В этом году все по-другому — я уже не один на свете, я встретил Таню и не намерен расставаться с ней на целое длинное лето. Начало каникул она проведет у родителей в Сирии, где они работают, а потом хочет поехать к морю — как раз тогда, когда кончатся студенческие работы. Я вернусь в Софию, но у меня не будет денег, даже чтобы добраться до моря. Разве что предложить Тане ехать товарным вагоном? А что потом, на море, в этих джунглях развлечений и всяких увеселительных заведений?..

Но Венцеслав оставался каменно-неприступным Я попытался раскрыть ему кое-какие тайны человеческой души, которой в данный момент совершенно не до летних работ. А также объяснить ему, что такие моменты случаются не каждый день. Венцеслав засмеялся сквозь свои бойницы и сказал, что этот номер, так же как и все остальные, не пройдет.

Тогда, после двух-трех дней подготовки, подначитавшись специальной литературы, я пошел к врачу и попытался симулировать несколько болезней сразу. Он разоблачил меня на второй минуте и сказал, что ему неприятно даже смотреть на меня — симулянты противны ему как таковые.

— Понимаете,— сказал я ему тогда,— я не симулянт, я — влюбленный. Вы, наверное, представляете, что бывает на курортах летом? Представляете себе, сколько типов с машинами самых разных марок и мощной мускулатурой подстерегают там девушку на каждом шагу?..

Он ответил, что у него о морских курортах представление самое беглое.

— Достаточно и беглого,— ответил я.— Если у вас есть хотя бы беглое представление, скажите, на что я могу рассчитывать, если отпущу свою девушку одну? Могу я рассчитывать на снисхождение?

Врач сказал, что я могу рассчитывать только на чистое везение, но он не понимает, почему я пришел к нему.

— Я пришел к вам потому,— объяснил я,— что мой отец был так занят работой, что не успел поднакопить деньжат. В то время как другие, точно пчелки, собирали по монетке и наполняли гипсовые и прочие копилки, он работал и кормил семью Семья у нас большая. И теперь у меня нет денег, чтобы поехать со своей девушкой на море.

— У меня тоже нет,— ответил врач.— Но я не симулирую.

— Да нет, доктор,— сказал я ему,— вы меня не поняли. Я хочу отмотаться от летних работ, чтобы поработать на себя, понимаете? Заработать на поездку к морю. Я не собираюсь плевать в потолок, пока другие работают.

— Это другое дело,— признал врач.— Но от этого ничего не меняется. Ваши намерения делают вам честь, но поймите и вы меня — я несу ответственность. Если вы попадетесь, пострадаем мы оба — и я в большей мере. Кроме того, в нашей работе есть известные принципы, наконец, врачебная этика...

— Я не попадусь,— прервал я его.— Я буду работать далеко от города, в дачной зоне — мы будем искать по участкам воду.

— Вот как?— заинтересовался врач.— Как это вы будете искать воду?

— Буром,— объяснил я.— Маленький частный бур, три человека с безупречной репутацией, все хорошие производственники, один из

них, приятель моего отца, сейчас на пенсии. Он вроде командира группы, зовут его дядя Ламбо.

— А когда вы находите воду?— спросил врач.

— Что — когда находим? Исполняем танец диких.

— Я хотел спросить — делаете ли вы потом колодцы или колонки?

Я объяснил ему, что этого я не знаю, но могу узнать, если это его так интересует.

Врач задумался на минутку, побарабанил пальцами по столу, потом взглянул на меня.

— А девушка красивая? — внезапно спросил он.

— Какая девушка?— Я не сразу понял, о чем он говорит.

— Та, из-за которой ты симулируешь.

— На мой вкус — да,— ответил я.— Иначе меня бы здесь не было.

— Так, так,— задумчиво сказал врач.— У меня довольно беглое представление об этих вещах...

Потом он вытащил из ящика письменного стола бланк, заполнил его и протянул мне.

— Желаю хорошо поработать,— сказал он.— И вот еще что, у меня маленькая дачка на «Пределе», почти у самого леса. Я давно мучаюсь со шлангами, по триста метров каждый, ужасно ненадежное дело. А по воскресеньям их перерезают забавы ради. Я рассчитываю на тебя в смысле бура...

— Разумеется, доктор! — заверил я.— Дней через десять у тебя будет бассейн для плаванья. Я уже сейчас чувствую, что на твоем участке полно воды.

Он засмеялся и похлопал меня по плечу.

Земля вертится, мимо нас проплывают лес, облагороженные груши, оранжевая веранда, коричневые ставни с вырезанными в них сердцами, бульдозер, который толкает горы желтой земли и рассеченных корней.

Я кручу и думаю, что уже пора обедать, здорово проголодался, от работы или от чего другого у меня в последнее время прекрасный аппетит.

— Дядя Ламбо,— говорю я,— обедать не пора?

— Еще немножко,— отвечает он, взглянув на часы.— Ты ведь слышал, что сказал товарищ Гечев. Еще минут десять — пятнадцать, до двенадцати хотя бы.

— Дядя Ламбо,— говорит Антон.— Ты почему так подлизываешься к товарищу Гечеву? Из-за сына?

Сын дяди Ламбо учится в университете, и отец вкалывает, чтоб побольше подработать, потому что на одну пенсию содержать студента трудновато.

Дядя Ламбо неожиданно останавливается, и все застывает — вилла, веранда, железная калитка. В тишине слышно только рычанье бульдозера, он пыхтит и толкает прокаленную желтую землю с раздавленными ромашками.

— Видишь ли, в чем дело, Антон,— говорит дядя Ламбо.— Я начал работать десятилетним мальчишкой и работаю всю жизнь. Вся моя жизнь так и прошла — в работе. Если бы не это, не знаю, что бы я делал. Кроме работы, ничего у меня нет, денег я не накопил, домов и дач не построил, но я об этом не жалею Всяко бывало за эти годы, не только хорошее, но жили как люди — и я, и жена, и дети И теперь опять-таки работа меня держит когда я работаю, чувствую, что я не выброшен из жизни, не сижу на лавочке и не жду, когда придет

оркестр и меня понесут вперед ногами. Доживешь до моих лет, тогда поймешь, что я хочу сказать. Дело не в деньгах и не в товарище Гечеве, хотя без денег тоже не прожить...

Мы молчим все трое. Антон достает сигарету и закуривает, вроде хочет что-то сказать, но осекается. Железная калитка распахивается, и на дорожку вступает владелец участка Крумов, нагруженный противокомарными сетками.

Клубника стелется у его ног, черная смородина увивается вокруг него, облагороженные груши начинают излучать невыносимое благородство, даже помидоры на миг краснеют, хозяин идет большими шагами, доходит до террасы и оставляет там сетки. Потом он осматривает виллу, ее окна. губы его шевелятся, видно, он проверяет, не увели ли мы какую стенку или окно, потом он щупает известку между камнями и направляется к нам.

— Ну, мастера, как дела?— бодро спрашивает Крумов.— Будет водичка?

— Будет, будет,— отвечает дядя Ламбо.— Еще денек-другой.

— Будет вода, я бассейн с золотыми рыбками устрою,— шутит Крумов.— Даже рыбок уже заказал.

Он шутит, это ясно; даже если б воды в этом месте оказалось на целый Тихий океан, Крумов все равно не стал бы делать бассейн — это не в его характере. Переводить столько воды на двух-трех рыбок, которых даже и поджарить нельзя,— э, нет! Скорее он устроил бы водохранилище и отпускал воду для полива соседних участков — за скромное вознаграждение, разумеется. А если он все-таки устроит бассейн, то будет разводить в нем карпов, могу побиться об заклад.

Крумов поразил наше воображение в первый же день. Пока мы монтировали бур в тени персиков, он расхаживал под фруктовыми деревьями, что-то считал и записывал в блокнот.

— Персики пересчитывает,— сказал Антон.— Чтобы мы случайно не сорвали штучку.

— Скажешь тоже,— отозвался дядя Ламбо.— Как это он будет персики пересчитывать!

Но тот знай считал и записывал в блокнот, даже чертежики набросал некоторых деревьев.

— Да вот записываю, сколько персиков в этом году,— ответил Крумов, когда Антон спросил его, что он пишет — Слежу за развитием деревьев, чтобы иметь ясную картину — что у меня есть и чего у меня нет.

«Мичуринец» немного постоял возле нас, мы обменялись несколькими фразами о погоде и о почве на его участке, потом он пошел в сад, все обстоятельно осмотрел, пощупал помидоры, укрепил завалившийся колышек, наклонился над клубникой и долго ее разглядывал, потом выпрямился, вздохнул и пошел внести в дом сетки, которые он привез. Положил их в столовую, еще раз все осмотрел, проверил, все ли заперто, и уехал.

— Не человек, а магнитофон! — говорит Ванка, машинист бульдозера.— Сколько раз ни пройдет мимо, все одно и то же повторяет: не порви мои шланги, не порви мои шланги...

Ванка пришел к нам обедать, ему неохота есть одному Пока мы открываем консервы и режем помидоры, он рассказывает о крумовских шлангах. Собственники здешних дач протянули через лес тонкие шланги, точно паутину, к роднику, в двухстах — трехстах метрах отсюда.

Мы обедаем и слушаем Ванку — он целыми днями сидит в своем

бульдозере один, и молчание тяготит его, как болезнь. Зато во время обеда отыгрывается на нас. Он уже неделю в этих местах, проводит в поселке дорогу, а в будни здесь ни души — ни человека, ни зверя, ни рыбы не встретишь. Только двое стариков из «Букингемского дворца» иногда приезжают, ночуют во «дворце», а днем бродят по лесу, собирают целебные травы. «Букингемский дворец» — самое, может быть, старое здание в округе, если можно назвать зданием сарай, построенный из ящиков, уже потемневших от дождя и времени,— ящиков из-под мыла или пива или чего-то другого, на которых еще видны английские надписи. Я окрестил этот сарай «Букингемским дворцом», пока он проплывал мимо меня по кругу вслед за верандой, железной калиткой и закрытыми коричневыми ставнями соседней дачи с вырезанными в них сердцами.

Ванка не жалуется на одиночество, он из тех людей, которые ничего не принимают близко к сердцу и от всего умеют отмахнуться. Кроме того, он сам выбрал этот нелегкий жребий — нелегально прокладывать в дачной зоне дороги, которые бывалые люди называют «черными дорогами» и готовы расшибиться в лепешку, лишь бы заманить для их прокладки какой-нибудь бульдозер. Официально Ванка занят сейчас благоустройством территории в одном из городских кварталов.

Он рассказывает, как хорошо было здесь еще три-четыре дня назад — ребята из трудовых частей как раз заканчивали отделочные работы на трехэтажной вилле в нижнем конце поселка, рядом с лугами, укладывали паркет и проверяли оборудование. В обед животики можно было надорвать с одним, который выскребывал котлы, и еще с одним, кларнетистом Асеном,— такой боевой цыганенок, он и на работу кларнет приносил, так что весь поселок уши затыкал.

Дядя Ламбо ест молча, Антону тоже не удается вставить ни слова, а Ванка в этот момент предлагает биться об заклад, что старая дамская шляпка, которая сидит на голове у пугала на соседнем дворе, та, что с фиалками и лиловым бантиком, принадлежала раньше старухе из «Букингемского дворца».

— А потом она подарила ее главному инженеру на день рождения,— заканчивает Ванка.— Увидела, что у пугала нет шапки. Ручаюсь, что главный инженер родом из деревни, значит, его мамаша не могла носить такую шляпку. А чтоб специально для пугала шляпу покупали — этому я тоже никогда не поверю.

— Ванка, а ты и ешь в это время? — спрашивает Антон, который все еще не привык к невообразимой словоохотливости бульдозериста.— Я вот этому не могу поверить.

— Ем, ем,— отвечает Ванка.— Видишь, передо мной ничего уже нет.

И он рассказывает новую историю — о том, как разыграл знакомого шофера, большого ловкача. Тот делал сюда «левые» ездки с гравием для одной дачи, которой Ванка только что проложил дорогу. «Благоустраиваешь территорию, а?» — крикнул ему шофер. «Благоустраиваю,— засмеялся Ванка.— Тебе же надо гравий возить».

Потом шофер зашел в сарайчик вместе с владельцем строящейся дачи, чтобы пропустить по рюмочке и получить за работу. А тем временем Ванка насыпал на дорогу целую гору земли.

— Бульдозеру это ничего не стоит,— объяснял он.— Съездил разика три туда и обратно — и холм готов.

Отвел он бульдозер в сторону, к лесу, а сам смотрит, что будет дальше. Выходит из сарайчика шофер и — тут же обратно. Выходят снова вдвоем с владельцем дачи и ничего не могут понять — никакой

дороги перед дачей нет, огромная куча земли подымается — и лес заслонила, и грузовик...

— А на верхушке холма я воткнул куст,— смеется Ванка.— Он их совсем с панталыку сбил. Ну, выпил я у них пол-литра и сказал им, что это нечестно — пить одним, пока другие для них дороги прокладывают. И убрал холм.

Обеденный перерыв давно кончился, осталось только ощущение, будто я нырнул в пронизанную солнцем воду, а теперь земля опять вертится, вертится, мимо нас проплывает оранжевая веранда, «Букингемский дворец», пугало, закрытые коричневые ставни с вырезанными в них сердцами, сердитый Ванкин бульдозер...

Движение, движение, движение создает все на свете, движение есть форма существования материи, движение — это способ существования... Поворот — и я создаю постель в отеле «Европа», еще круг — ванная, душ, горячая вода, следующий круг пойдет на балкон с видом на море и шезлонг в синюю и белую полоску...

На обед в ресторане...

На синюю косынку для Тани...

На поездку в Несебр...

На меня и на Таню, на теплый цвет коньяка, который будет вечером стоять перед нами...

Пугало с фиалками и лиловым бантиком, вата, торчащая из его плечей, зеленая стена леса, дорога с рычащим бульдозером, облагороженные груши, персиковые деревья, пчелы, которые жужжат над клубникой, оранжевая веранда, слюдяные чешуйки в штукатурке второго этажа — земля вертится, мы вертим железную калитку, закрытые ставни с вырезанными в них сердцами, «Букингемский дворец»...

Потом до меня долетает шум незнакомого мотора, это не бульдозер, но и не хрюкающий, с одышкой рокот «москвича», на котором приезжает товарищ Гечев. Когда в поле моего зрения снова появляется дорога, я вижу, как белый «пежо», новенький и блестящий, словно только что облупленное яйцо, пробирается мимо Ванкиного бульдозера и направляется к нашей вилле. Ванка останавливает бульдозер и смотрит вслед машине.

Я не могу остановиться, потому что мы вертим землю, вертим оранжевую веранду, персиковые деревья, железную калитку, облагороженные груши...

Когда дорога появляется снова, я вижу, что «пежо» уже остановился у ворот соседней дачи — той, где постоянно закрыты ставни с вырезанными в них сердцами. Дверца машины открывается, аккуратная мужская нога, обутая в мокасин, ступает на землю, и это последнее, что я вижу, потому что вслед за этим передо мной снова вырастает пугало в дамской шляпке, с клочьями ваты на плечах, зеленые кроны деревьев в лесу, остановившийся бульдозер и Ванка, который привстал с сиденья и смотрит в сторону дачи...

«Букингемский дворец», железная калитка, закрытые коричневые ставни соседней дачи с вырезанными в них сердцами, пугало...

Вдруг пугало останавливается и вырастает до громадных размеров. Фиалки на дамской шляпке и лиловый бантик поражают и пугают меня своей неподвижностью. Страх и боль сдавливают сердце...

Это Таня... Она идет, небрежно помахивая сумочкой, по плиткам, между которыми выросла трава и качаются ромашки. За ней быстро шагает парень в мокасинах, он кладет в карман ключи от машины, и они со звоном стукаются о бутылку водки, наполовину высунувшуюся наружу.

— Сашко, ты что остановился? — спрашивает дядя Ламбо.— Тебе нехорошо?..

Те двое подходят к даче с коричневыми ставнями, парень вынимает ключ и отпирает; дверь, не издав ни звука, подается назад, беспомощно отступает...

«Значит, она раньше вернулась из Сирии, думает, что я на летних работах... В сущности, не все ли равно, что она думает, гораздо важнее, что она делает...»

Мир застыл в неподвижности — «Букингемский дворец», вилла с оранжевой верандой, железная калитка и облагороженные груши, лес, Ванка, который смотрит в нашу сторону и делает какие-то знаки руками, пчелы — даже они неподвижно застыли в воздухе над клубникой...

«Вот, значит, что получается, пока мы здесь вертим землю и что-то создаем... И почему бы нет, земля вертится, существует гравитация, значит, они могут совершенно спокойно... их не снесет, машина нормально движется по шоссе, она не разлетится в пространстве на мельчайшие частицы... Чтобы купить такую машину, мне надо вертеть бур по крайней мере десять лет...»

Дверь соседней дачи давно уже закрылась.

— Сашко, тебе что, плохо?— встревоженно спрашивает дядя Ламбо.

Разумеется, мне плохо, мне сейчас ужасно плохо, какой мне смысл вертеть землю и эти дачи вокруг, создавать постель в гостинице, и ванную, и горячий душ, и коньяк, и Несебр, когда у других все это есть, хотя они ничего не вертят, когда другие меня обставляют, пока я ищу воду, когда они открывают кран и пьют сколько влезет, хоть залейся, а меня мучает жажда, и я бесконечно долго добираюсь до воды, не зная при этом, появится она или нет... сквозь песчаники и граниты...

— Сашко, посиди на траве,— говорит Антон.— Все пройдет. Это ты перекрутился.

Но я уже бегу к дороге, туда, где остановился Ванкин бульдозер.

— Ты что? — спрашивает Ванка, увидев мое лицо.

— Ванка, сойди на минутку,— говорю я.— Мне охота на бульдозере прокатиться.

— Не валяй дурака,— смотрит он на меня.— Что ты...

— Покури немного! — уже кричу я, стаскивая его с сиденья.— Отдохни! Не переутомляйся! Переведи дух!...

Он смотрит на меня обалдело, потом машет рукой и уступает мне место.

Я нажимаю на рычаг тяну его на себя, бульдозер с ревом кидается вперед, в следующую секунду он резко наклоняется вправо, еще чуть — и он опрокинется...

— Э-эй! — орет Ванка.— Сейчас перевернешь, ты что, сдурел?

Я даю газ, насколько хватает сил даю газ, бульдозер дрожит и двигается по корням и грунту, выходит на готовую дорогу и летит к белому, только что облупленному яйцу, которое остановилось перед соседней дачей, перед дачей с закрытыми коричневыми ставнями и вырезанными сердцами

Около бура дядя Ламбо и Антон кричат что-то изо всей мочи, но за ревом бульдозера я ничего не слышу.

Задница «пежо» бесшумно сплющивается, летят осколки стекла, жести, я даю газ, моя огромная машина топчет «пежо», покрышки откатываются, подо мной взрывается бак, «пежо» — превратившийся в месиво — горит... Я загребаю бульдозером гору земли и высыпаю ее на рваные, покореженные, горящие остатки «пежо».

Все остается под кучей желтой земли, под раздавленными, раскиданными там и здесь ромашками.

На полном ходу я веду бульдозер к лесу, к зеленым кронам, излучающим прохладу и спокойствие. Соскакиваю с машины и погружаюсь в высокую траву. Меня окружает тишина и щекочущее прикосновение травы.

Те двое идут по двору дачи чуть усталой, ленивой походкой. Таня лебедем плывет среди зелени, движения ее плавны, мягки и небрежны и в то же время исполнены внутреннего довольства. Мне знакомо это состояние, когда пламя уже перегорело, но еще осталось тепло, равномерное и приятное, которое делает тебя умиротворенным, медлительным и разнеженным.

Они выходят на дорогу, парень отпирает «пежо», садится и изнутри открывает Тане другую дверцу. Таня томно откидывается на спинку сиденья, достает сигарету и сует ее в рот. Парень подносит ей зажигалку, закуривает сам, выпускает изо рта дым, энергично крутит руль и разворачивает машину...

«Пежо» трогается, едет по дороге вниз, проезжает мимо Ванки — он, усевшись на огромную кучу грунта, молча наблюдает всю сцену — поднимает на повороте пыль и исчезает.

В раскидистых кронах деревьев царит спокойствие, и если по листве и проходит какое-то движение, то это только птицы, что перепархивают с ветки на ветку.

Я иду среди зеленого папоротника, прохожу мимо безмолвного бульдозера, остановившегося на опушке леса, и поворачиваю к буру.

Земля неподвижна, молчалива, в ее покое затаилось что-то угрожающее и напряженное. Дачи вокруг застыли на своих местах, «Букингемский дворец», и пугало, и железная калитка участка Крумова, и пчелы, повисшие над клубникой, и коричневые ставни с вырезанными в них сердцами, и оранжевая веранда — все заряжено напряжением, отсутствие гравитации распирает их изнутри.

Я иду к буру, и мне кажется, что сейчас что-то произойдет, эта неподвижность неестественна, через мгновение весь мир взорвется, исчезнут во вселенной и дачи, и пугало с лиловым бантиком, и дядя Ламбо, и Антон, и сидящий на куче грунта бульдозерист, и «Букингемский дворец», и пчелы, и старая дубрава...

Пока я открываю железную калитку и поднимаюсь по ступенькам, до меня доходит страдание Галилея и его правота, слова его врезаются мне в сознание и навсегда остаются там.

— Сашко...— ласково говорит дядя Ламбо.— В этих делах...

— Земля вертится,— говорю я, как Галилей.— Земля вертится, все создается движением.

И я берусь за бур. Рядом со мной шагают дядя Ламбо и Антон, вокруг нас начинают крутиться персиковые деревья, зеленая стена леса, дорога со все еще ничего не понимающим Ванкой, оранжевая веранда, «Букингемский дворец»...

Ванка сидит еще две-три минуты на куче грунта, а потом идет к опушке леса, чтобы пригнать оттуда бульдозер. Я слышу рев его мотора, Ванка гонит его задним ходом, то и дело газуя.

В трех метрах от «пежо», когда мои руки лежали на рычагах ревущей машины, я внезапно понял, что подминать его под себя не имеет ни малейшего смысла. Это не вернет мне Таню, я не могу двигаться следом за ней на бульдозере и давить машины всех ее приятелей. Да и неизвестно, долго ли промается без машины парень в мокасинах — во всяком случае ясно, что ему не придется вертеть все

те предметы, которые вертим мы, и вертеть их двадцать лет, чтобы на их вращение купить себе новую машину. Единственное, что ему придется крутануть, это, по всей вероятности, телефонный диск — набирая папашин номер, и новый «пежо» рано или поздно снова сверкнет перед ним своей нежной белизной.

И я повернул готовый обрушиться на «пежо» ревущий бульдозер в сторону, проехал мимо и остановился у опушки леса, где утонул в высокой траве.

Мимо меня проплывают дачи, оранжевая веранда, железная калитка и облагороженные груши, лес, «Букингемский дворец», Ванка на бульдозере, коричневые ставни с вырезанными в них сердцами, пугало в старой дамской шляпке, идущие вдали люди, солнце и дорога — земля вертится.

Я верчу землю, верчу ее ради себя, ради Ламбо и Антона, ради Ванки, оседлавшего бульдозер, ради пчел, что жужжат над клубникой, ради моего отца, который тоже всю жизнь вертел землю, ради того чувства, которое мы ждем и которое обрушивается на нас нежданно-негаданно, ошеломляющее и всевластное, как океан,— ради всех утр и вечеров, ради всех дней, которые мне еще предстоит прожить...

Земля вертится, *мы* вертим землю.

Перевод Н. ГЛЕН

РОСЕН БОСЕВ

Слова, написанные на небе

Случайно или нет, но все мы — маленькая дружеская компания — закончили среднюю школу словно бы шутя. Обе наши девушки без особых волнений поступили в университет, ребята ушли в армию и тоже отслужили свое безо всяких осложнений (судите сами — двое из нас демобилизовались офицерами!).

В вузе мы оказались в числе тех студентов, которые приходят на экзамены с легким сердцем и, не слишком утруждая себя занятиями, умеют изложить свои знания точно и даже остроумно.

Можете удивляться, но хотя каждому из нас не больше двадцати пяти лет, в нашей компании есть уже ассистент, дипломированный инженер, посланный за границу на стажировку, пилот, летающий на реактивных самолетах, поэт, у которого уже вышла книга (и есть собственное лицо, как было сказано в предисловии), археолог с весьма глубоким взглядом на прошлое и актриса, чье имя все чаще появляется на рекламах болгарских фильмов.

Есть у нас также три сына и две дочери. Семьи наши прекрасны, дружба бескорыстна.

А ведь мы, когда складывалась наша компания, были всего-навсего неоперившимися восьмиклассниками. И за какой-нибудь десяток лет достигли всего того, о чем я вам только что рассказал, достигли с той же весенней легкостью, с какой ты, мой дорогой друг, просыпаешься утром и выходишь на чистые зеленые улицы своего города.

Самые счастливые из нас женились на девушках из нашей же компании. Мы, остальные, взяли себе жен «извне», но, замечу мимоходом, никто из них нас не разочаровал — все они сразу же слились с нашей жизнью, словно тоже росли вместе с нами.

Только летчик был еще неженатым.

Все мы любили его, наши жены в шутку называли его «всеобщим другом семьи», на что он всегда отвечал своей прелестной, с ямочкой, улыбкой, чуть виноватой и словно бы принесенной с высот безоблачной стратосферы.

Для нас, женатых, было истинным удовольствием приглашать его в гости. С ним шутили, уговаривали обзавестись своим домом. Когда летчик приводил с собой девушку — а время от времени он это делал,— та становилась предметом всеобщего внимания. Все мы бросались к нему с комплиментами, и, уверяю вас, это были искренние комплименты. Наши жены заливали гостью такими потоками приветливости, что та обычно просто таяла от удовольствия. И все так мило подшучивали над летчиком, наши мужественные глаза и искусственные ресницы наших жен так приветливо ему подмигивали, так в эти мгновенья все любили и его самого, и его девушку, что все мы чувствовали себя вознесенными на какую-то высоченную вершину, откуда только и можно было бы увидеть конец нашей дружбы.

Но и оттуда конца не было видно!

Быть может, вам покажется странным, но даже после того, как летчик и его девушка уходили, осыпанные поцелуями и новыми приглашениями, даже после этого наши жены не принимались обсуждать, соответствуют ли туфли девушки ее сумочке и насколько она сама подходит нашему другу Наоборот. И если мы, их мужья, позволяли себе изложить некоторые свои чисто мужские соображения — в самом хорошем смысле, разумеется,— наши жены не пожимали плечами с плохо прикрытой ревностью и не говорили: «Ну уж не настолько!» Вообще в нашей компании жены были намного великодушнее, чем это обычно бывает с женами.

Увы! В следующий раз летчик приходил без девушки. И в ответ на наши немые вопросы говорил виновато:

— Что поделаешь, я ее не люблю.

В конце концов, его можно было понять: ведь всех нас связывала именно любовь, и не было никакого смысла вводить кого-нибудь в нашу компанию просто так, без любви, только потому, что пришло время вступить в брак.

Так спокойно текли наши дни. Хотя по-настоящему их вряд ли можно было назвать спокойными.

Поэт готовил к печати свою вторую книгу и поносил редакторов, которые всячески стремились исказить его поэтическое лицо.

Археолог, как того и требовала его профессия, откопал некий чрезвычайно древний город. «Изумительно,— рассказывал он,— в городе были найдены пепельницы. Все мы знаем, что Колумб привез табак в Европу только в пятнадцатом веке, а наш город относится приблизительно к началу второго. Мало того, в пепельницах обнаружены окаменевшие окурки Это уж совсем черт знает что такое!»

Ассистент с восторгом рассказывал о своих студентах.

«Вот увидите, когда-нибудь они произведут переворот в коллоид-

ной химии,— убеждал он нас.— Попомните мои слова, в один прекрасный день они добьются такого равновесия диффузии, что, скажем, одеколон вовсе не будет пахнуть. Брызгайся сколько хочешь, как водой. Да, да!»

Актриса уехала за границу для участия в каких-то совместных съемках и посылала нам оттуда открытки.

«Пишите, что с нашим летчиком»,— взывала она.

Но что мы могли ей написать, если летчик, всеми нами любимый летчик никак не мог влюбиться по-настоящему.

Он, правда, продолжал приходить к нам в гости, иногда даже с девушкой, но мы, не надеясь, что именно ей удастся остаться среди нас навсегда, становились все менее приветливыми.

Нет, нет, вы не подумайте, что мы превратились в каких-то там грубиянов, с каждой очередной гостьей мы держались по-прежнему ласково, но не было уже в нас того восторга, с каким мы встречали ее предшественниц, заранее представляя их постоянными членами нашей компании.

Однажды утром — помню как сейчас, небо было ярко-синим, солнце горячим, но не слепящим — вдруг зазвонил телефон. Это был поэт, заикавшийся от волнения:

— Посмотри, посмотри скорее!

— Куда? — спросил я.

— На небо! — воскликнул поэт и бросил трубку. Я кинулся к окну, распахнул его и взглянул вверх.

Первое, что я увидел, было солнце, желто́е, словно нарисованное детскими акварельными красками. А чуть ниже и правее его в синеве металась серебряная игла реактивного самолета.

Это было изумительное зрелище, уверяю вас. Самолет совершал в пространстве невообразимые прыжки. То он неожиданно устремлялся вверх, то стремглав бросался вниз к земле, замирал на мгновение у самых крыш и опять так же по-мальчишески резво уносился ввысь.

Но невероятнее всего было то, что белый след самолета выписывал в прозрачном воздухе следующие слова:

«Я люблю Анну».

...Когда наш летчик за воздушное хулиганство отсидел на гауптвахте свои пятнадцать суток, мы всей компанией кинулись к нему.

Он ждал нас в своей маленькой мансардной комнатке — счастливый, усталый, разгоряченный, похожий на то детское солнышко, под которым он писал свои слова.

И пока мы — свидетели его художеств — обнимали и целовали нашего друга, начисто позабыв о своих творческих физиономиях, о нелогичных окаменевших окурках, о безрадостном будущем одеколона и всех на свете бездарных совместных постановках, пока мы смешивали на его лице слезы счастливой дружбы, из крохотной кухоньки доносилось то нежное утреннее позвякиванье чашек в раковине, которое может уловить только слух хорошего человека.

Мы уже располагались на ковре, когда в комнату с подносом в руках вошла Анна.

Она озарила все. И рюмки. И золотистый коньяк. И фарфоровый поднос. Очертания ее лица излучали свет, похожий на мерцание старых икон. Волосы фосфоресцировали Тело сияло щедро и чисто. Она, изваянная резцом реактивного самолета из небесной лазури, спустилась к нам!

И мы стали еще лучше, увидев, что она существует на самом деле.

Все подняли рюмки, но никто не решался заговорить.

Тогда она улыбнулась (и только тут мы поняли, что до сих пор она не улыбалась), погладила летчика по руке (и мы все почувствовали на своих руках эту ласку) и сказала:

— Давайте выпьем за Гули.

И мы вспомнили, что он, любимый нами летчик, и вправду Гули, что именно так называет его мать.

— Выпьем!— закричали мы и осушили рюмки.

Гули проворно наполнил их снова.

И тогда археолог сказал:

— А теперь надо выпить за свадьбу!

И все почувствовали — случилось что-то не то. Анна встала, улыбнулась еще раз и сказала:

— Пойду погляжу, как там кофе.

И прикрыла за собой дверь.

— Она замужем,— сказал Гули.— Замужем и у нее есть ребенок. Она любит ребенка и не любит мужа. Мы с ней любим друг друга, но она замужем.

И тогда повеяло холодом. Это «любит — не любит» превратило нас в ромашки, у которых обрывают лепестки.

Летчик, наш дорогой летчик, обрывал лепестки наших сердец, лепестки наивности. Как грустно, как тревожно было все это.

— Она, наверное, разведется,— сказал Гули,— разведется, если суд позволит оставить у нас ребенка.

Мы молчали. Этакие внезапно облысевшие ромашки.

«Вот оно, диффузное равновесие,— думал ассистент,— вот оно, в нас самих. И почему это мы никак не можем или не хотим вникнуть в благоухание более сложных отношений».

«Внезапная туча,— бормотал про себя поэт,— внезапная туча на синем небе, на ясном небе нашего единенья».

Археолог изо всей силы придавил к пепельнице окурок.

Актриса, к которой мы все с надеждой повернулись, пожала плечами: сколько раз уже она объясняла нам, что артисты, как и все остальные люди, могут быть и верными, и неверными.

Гули выжидающе смотрел на нас. Ведь все трудное было у него впереди.

— В двенадцать у меня семинар,— сказал ассистент и встал. Мы тоже поднялись. Кто-то заговорил с кем-то о следующей встрече. Анна вышла из кухни в последний момент, когда мы уже были готовы захлопнуть за собою дверь, и улыбнулась нам снисходительно и прощающе.

Мы молча спускались по лестнице.

В головах у нас медленно зрел вопрос: должны ли мы войти в положение летчика?

Но какой смысл задавать вопросы, если заранее знаешь, что ответ будет отрицательным.

Полагаю, что каждый из нас думал о муже этой Анны, ставил себя на его место. И потом — ребенок... Откуда, зачем возникла эта сложная любовь — ведь так ровно и радостно текла до сих пор наша жизнь!

Мы шли, опустив головы, не смея взглянуть на синюю страницу неба, где какой-нибудь воздушный хулиган, быть может, опять писал что-нибудь такое, чего мы не хотели читать.

Вопрос, на который мы ответили бы отрицательно, переполнял нас.

Нас, свободолюбивых, никогда не попадавших на гауптвахту из-за каких-то там необдуманных слов, написанных на небе.

ВАСИЛ ПОПОВ

Дискуссия

С тех пор как священник сбежал из села, церковь осталась без пастыря. Нового не назначили, а дьячок помер, так и не сумев победить аиста. Этот аист прилетал каждую весну и устраивал себе гнездо на куполе, под самым крестом. Чего только ни делал дьячок — и швырял в него камнями, гонял шестом, даже взбирался на скользкий карниз купола,— аист не отступил. В конце концов дьячок не выдержал и помер, а аист в который уж раз преспокойно свил себе гнездо под самым крестом. Все село наблюдало за этой безмолвной многолетней борьбой. Некоторые держали сторону дьячка, но большинство стояло за аиста. «Божья птица,— говорили они,— ничего с ними не станется, ни с крестом, ни с куполом, если какой-нибудь аист совьет себе там гнездо. (Крест был позолоченный — в свое время каждый житель села пожертвовал на него одну-две золотых монетки. А купол, хоть и не был позолочен, тоже блестел совсем как золотой, и здешний народ очень этим гордился.) И вовсе незачем мешать аисту, пусть устраивает себе гнездо». Другие же, которые были за дьячка, говорили, что, мол, птица пачкает купол и вообще просто срам, что рядом с крестом вечно торчит аист. Какие такие у аиста дела с верой и религией и вообще, чего ради именно здесь должно быть его гнездо? А коли уж ему так нравятся церкви, пускай устраивается на старой: там, правда, нет купола и звонница стоит отдельно, как раньше строили,— но крест есть, хоть и непозолоченный, вот пусть туда и летит.

«Нет,— отвечали сторонники аиста,— это, конечно, тоже церковь, но аисты любят высоту, а старая церковь стоит в ложбине, на самом низком месте, зачем ему там селиться?» «А раз не хочет, пусть убирается,— твердили сторонники дьячка,— это наша церковь, наша гордость, ведь мы сами, на собственные средства, вклады и дарения, своими руками ее построили». «А мы что,— возмущались приверженцы аиста,— мы, по-вашему, не жертвовали на церковь, одни вы, что ли, ее строили?» И так без конца. Когда же дьячок помер, а аист наконец одержал победу, обе стороны перестали обсуждать этот вопрос.

Тем более что к тому времени в селе возникли совсем другие заботы. Сбежал поп, сбежал, проклиная проведенные здесь лучшие годы жизни. Проклятия эти можно было понимать двояко: то ли—что он загубил свою молодость в этом проклятом селе, то ли—что именно тут, несмотря ни на что, ему было лучше всего. Так что было не очень ясно, почему он все-таки сбежал. Одни приняли первое объяснение и поносили священника за неблагодарность, припоминая все случаи, когда они предоставляли ему многочисленные — моральные и матери-

альные — доказательства того, как они уважают и ценят его труд. Другие же решили, что поп очень доволен проведенными здесь годами, но сбежал потому, что теперь-то годы стали совсем иными. Эти поносили священника за лень и скупость, за вредность, за то, что он как-то раз заснул во время службы, и уж не знаю, за что еще. «Лучшие годы,— говорили они,— для него-то они, конечно, были лучшие, ведь таких дураков, как мы, только поискать — пользовался нами, обирал, как хотел, а мы терпели». Так что село снова разбилось на две партии, и опять пошли бесконечные споры о попе и его последних словах, отчего на свет божий всплыло столько всяческих воспоминаний, что дело иной раз доходило чуть ли не до драки. Но тут началась кампания по атеизму, и Лесовик как представитель этого движения решил созвать собрание.

И тогда обе партии разом оставили свои споры об аисте и дьячке, о поповом бегстве и о последних сказанных пастырем словах. Первыми покинули поле боя мужчины, предоставив Лесовику иметь дело с женщинами. «Мы,— заявили мужики,— в церкви не бываем, мы больше насчет корчмы, ты с женщинами толкуй, это они туда ходят. Бабки наши, как поп сбежал, сами теперь там подметают, сами и свечки покупают в церковной лавочке без продавца. Бросят свои медяки в коробку из-под печенья, возьмут по свечке, зажгут и стоят себе в пустой церкви, да смотрят на святых и великомучеников. И никто не поет, никто не подпевает, не кадит ладаном, не читает проповеди. Так что,— сказали мужики,— ты, Лесовик, собирай женщин, а нас не трогай. Мы, сам знаешь,— в корчме, и если для чего другого понадобимся, то это всегда пожалуйста».

Выбрал, значит, Лесовик подходящий момент и как-то воскресным утром под зорким взглядом аиста, который подумал, не новый ли уж это дьячок объявился, на цыпочках вошел в церковь и чинно замер у самой двери. Все паникадила в церкви горели, перед иконой Христа светилась лампада. Десятка полтора старушек со свечами в руках молча, не отрывая глаз от икон, стояли перед алтарем и только время от времени что-то тихонько шептали. Услышав шаги, старушки повернули головы, и горящие свечи в их руках тоже повернулись, чтобы осветить вошедшего. Старушки были одеты по-праздничному — в черных платках, черных длинных юбках, старинных ботинках и плюшевых жакетах со сборками, сшитых по русской моде еще в конце прошлого или в начале нынешнего века. Так что в церкви, помимо ладана, еще сильно пахло нафталином и древними старушечьими сундуками. В сухих ладонях бабки сжимали кроме свечек еще и черные платочки — на всякий случай: слезинку, к примеру, вытереть, если та вдруг набежит на сухие горящие глаза.

Лесовик шагнул вперед, судорожно глотнул. Глаза и свечи выжидательно смотрели на него. Смущенный запахом ладана и нафталина, блестящей торжественностью икон и праздничной церковной тишиной, Лесовик подошел к старухам чуть поближе.

— Лесовик,— проговорила бабушка Велика Йорданчина,— чего тебе здесь надо, Лесовик?

Тот смутился, начать нужно было мягко, тактично.

— Я пришел,— заговорил он как можно спокойнее,— вижу, вы тут все собрались, вот и пришел. Надо один вопрос с вами обсудить.

Старушки зашевелились, склонили друг к дружке головы. Послышалось нетерпеливое шамканье и бормотанье, но Лесовик ничего не понял.

— Я не хочу вам мешать,— проговорил он, слегка приободрившись.— Стойте-стойте, никто вас не тронет. Я так, некоторым образом, после церкви хотел вас пригласить...

— Куда пригласить? — спросила бабушка Велика Йорданчина, оглядев подруг с выражением, явно означавшим: «Это дело другое!» Старушки кивнули в знак согласия.

— Хочу пригласить вас на маленькое совещание. Так что вы прямо отсюда приходите в клуб, чтоб можно было поговорить по-людски. А я вас там подожду.

— Опять куда-нибудь записываться? — не вытерпела бабушка Анна Гунчовска. И все старушки приняли это справедливое предположение, и на их лицах появилось ясное: «Здорово она его срезала!»

— Никуда я не буду вас записывать,— ответил Лесовик.— Просто поговорим по душам, научно и прогрессивно, вроде бы свободную беседу проведем. Так что пожалуйте!

Не дожидаясь ответа, он повернулся и вышел из церкви. Аист с ненавистью взглянул на него с купола и чуть было не взлетел, но опомнился, удовлетворившись тем, что защелкал клювом,— пусть тот, внизу, если он и вправду новый дьячок, знает, что битва за святой крест будет тяжкой и упорной. Но Лесовик, увлеченный мыслями о другой предстоящей ему битве, не услышал аистова предупреждения. Придя в клуб, он еще раз просмотрел свои заметки и цитаты, некоторые повторил наизусть и стал терпеливо дожидаться.

Старушки в церкви снова было повернулись к алтарю, но теперь их уже сжигали сомнение и любопытство. Ни одна больше не стерла черным платочком навернувшуюся слезу, ни одна не всхлипнула, выкопав в памяти что-нибудь достойное жалости и состраданья. Доброта, жалость и состраданье словно бы испарились, а вместо них возникли готовность к борьбе, упорство и бескомпромиссная решимость стоять на своем. На чем на своем, бабки еще не знали, но в правоте своей были уверены. Почувствовав прилив энергии, они переглянулись и решили немедля идти в клуб. Заперли церковь, спрятали ключ в потайное место под кучу камней и направились к Лесовику. Аист с купола приветственно защелкал клювом и пожелал им победы, но, увлеченные своими мыслями и предположениями, старушки его не услышали.

В клубе они чинно расселись на скамьях и сложили на коленях руки, сжимающие все те же черные платочки; пахло мастикой и мухами, и эти запахи незаметно поглотили дух нафталина и старушечьих сундуков. Лесовик, притворяясь сосредоточенным, листал свои записки, хотя был он рассеянным и взволнованным.

— Коли уж разговаривать, Лесовик, так разговаривать,— не выдержала, наконец, бабушка Велика Йорданчина.— А то зарылся носом в свои бумажки и вроде забыл, что нас позвал.

— Так, так,— хором подтвердили старушки и вытерли черными платочками сухие губы.

— Так, та-а-к,— повторил и Лесовик.— Это хорошо, что вы пришли, побеседуем.

— Вот и беседуй,— настойчиво подхватила бабушка Анна Гунчовска.— Хочешь говорить, начинай.

— Д-а-а,— протянул Лесовик, не зная, чего начать.— Так вот, как говорится, у нас в последнее время имеет место одно особое явление...— Он вспомнил цитату, в которой говорилось о явлениях, о свободе и необходимости, об идеологии и суевериях, но поняв, что так он еще больше запутается, решил идти напролом: — Так вот, говорю я, в последнее время у нас наблюдаются некоторые явления. Вот вы, например, собираетесь в церкви без попа...

— Не нужен нам поп,— сказала бабушка Велика Йорданчина.— Ни к чему он нам вовсе. Обойдемся мы и без его меда, и без его жала.

Сейчас все равно без попов хоронят, вот и нас пусть на тот свет без попа проводят. Если ты об этом, то лучше и не начинай.

— Не нужен нам поп,— поддержала ее бабушка Ралка, жена Ивана Пенчова.— Вон в Златанове два попа служат, а церковь куда хуже нашей.

— И крест у них непозолоченный,— напомнила бабушка Петра Кустовска.— Мы-то сколько отдали золотых и на крест, и на оклады? Златановцы пусть себе хоть десять попов заведут, а церковь у них хуже нашей.

— Так, так,— хором поддакнули старушки и принялись вспоминать, кто да что пожертвовал на постройку и украшение храма.

Лесовик, растерявшись и забыв все на свете цитаты, не знал, как их утихомирить. Не придумав ничего лучшего, он постучал ножичком по высохшей чернильнице, и старушки действительно примолкли, но лица у них были возбужденные, а полуоткрытые рты каждую минуту готовы были начать все сначала.

— Не о попе речь,— сказал Лесовик.— Наш сбежал, и слава богу.

— Слава богу,— хором, словно в церкви, подтвердили старушки.

— Речь идет вообще о религии,— добавил Лесовик. На лбу у него выступил пот, но черного платочка у него не было, и вытереть лоб было нечем.— Речь идет о религии,— пояснил он еще раз.

— О какой религии? — спросила бабушка Велика Йорданчина.

— О восточноправославной,— уточнил Лесовик.

— Да о нашей же,— нетерпеливо вставила бабушка Анна Гунчовска.

— Так бы и сказал, что о нашей,— подхватили старушки.

— Речь идет о ней,— сказал Лесовик, ища в мозгу хоть какую-нибудь цитату или спасительную фразу. Не найдя ничего, он разозлился на свою память, на заранее подготовленные заметки, отбросил в сторону блокнот и решил действовать напрямик.— Так вот, я и говорю: в каком вы обществе живете, чтобы ходить вот так в церковь, без священника, без службы, словно какие-нибудь там фанатики и язычники?

— Не нужен нам поп,— хором ответствовали старухи.

Лесовик встал из-за стола и крикнул:

— Да никто и не собирается вам его навязывать!

Старушки озадаченно смолкли, и только одна из них сказала:

— Так бы прямо и говорил, по-людски.

— А я так и говорю,— пояснил Лесовик.— Ни о каких попах тут нет и речи. Я о другом.

— О чем?

— Я же вам сказал — о религии,— рассердился Лесовик.— Речь идет об идеологии, речь идет о ваших демонстрациях, речь идет о научном мышлении, о прогрессе речь идет — вот о чем.

Старушки прижались друг к другу, ошеломленные таким количеством серьезных вещей, о которых идет речь. Бабушка Анна Гунчовска совсем уж было собралась спросить, о чем же все-таки на самом деле идет речь, как Лесовик, улучив момент, начал снова:

— Мы как с вами — люди нового времени или нет? За религию мы или против? Не могу я вас понять — вроде и попа вы не хотите, а сами ходите в церковь и свечки там ставите.

— Не нужен нам поп,— твердо заявила бабушка Анна Гунчовска, но бабушка Велика Йорданчина дернула ее, чтоб та помолчала.

— Это я уже слышал,— сказал Лесовик.— А могу я вас спросить: зачем вы ходите в церковь?

— А мы всю жизнь ходили,— сказала бабушка Велика Йорданчина,— и будем ходить. Хорошо нам там. Сами ведь мы ее построили.

И помолчать там можно, и одеться как на праздник, и свечку покойничкам нашим поставить, и поплакать, если захочется. Куда нам еще ходить? Ты, Лесовик, нас от церкви не отваживай! — И добавила твердо: — Эта церковь наша, да и твоя тоже, ведь и ты отдал на нее три воза дров, а бабка твоя, та два золотых пендара и один наполеон пожертвовала.

— Верно,— поддержала бабушка Петра Кустовска.— Своими глазами видела, как твоя бабка золото отдавала. Я тогда помоложе была, глаза у меня еще видели, не то что сейчас, нитку в иголку не могу вдеть.

Задетый этим доказательством, Лесовик нахмурился, пожал плечами, словно возлагая ответственность на прошлое, и сказал:

— Верно, привез я три воза дров, и бабка моя два пендара и один наполеон отдала на церковь. Только время-то было тогда другое.

— Какое ж оно было, время-то? — спросила бабушка Анна Гунчовска.

— Другое. Невежественные мы тогда были, не знали науки.

— А мы и сейчас такие,— сказала бабушка Велика Йорданчина.— Не нужна нам твоя наука, Лесовик А кому надо, пусть едет в город. Это там науку развели, не продохнуть. А мы здесь и без науки помрем.

— Нет,— вскипел Лесовик.— Не дам я вам умереть в суевериях, невежестве и заблуждениях. Для чего мы сражались, в тюрьмах сидели? Чтоб народ просветить открыть ему глаза на новую жизнь! Люди в космос полетели, до Луны скоро доберутся, а вы забились в церковь и сидите там со своими свечками. Кого вы ждете, а?

— Никого,— спокойно ответила бабушка Ралка, жена Ивана Пенчова.— Никого мы не ждем. Раньше, бывало, ждали попа, чтоб начал службу, а сейчас никого не ждем. Сами и подметаем, и пыль вытираем со стульев да с алтаря, чтоб добро не портилось. По очереди ходим долг свой справлять. И видишь, как новенькая сияет. Такой церкви больше нигде нету.

— Нету,— хором подтвердили старушки и гордо вытерли губы черными платочками.

— Знаю я, кого вы ждете, кому молитесь,— сказал Лесовик, словно не слышал.— Бога вы ждете, богу молитесь, да только нету его, вашего бога, правду я вам говорю.

Старушки растерянно заморгали, почувствовав, что сейчас-то и начнется настоящая битва.

— А ты откуда знаешь? — спросила бабушка Анна Гунчовска.

— Знаю,— ответил Лесовик.— Наука знает, весь мир знает, все прогрессивное человечество знает, что это всего лишь пережиток и выдумка, которую нынешняя наука полностью отвергает. Ан-ти-на-учная! — он нажал на последнее слово и, радуясь своей находчивости, засмеялся.

— Послушай, Лесовик,— кротко заговорила бабушка Велика Йорданчина,— с каких это пор ты стал у нас разбираться в науках?

— А вот стал! — заявил Лесовик, и глаза у него вспыхнули.— Я книги читаю, к знаниям стремлюсь, стараюсь во все вникнуть, а не то что вы — только и знаете, что попов слушать.

— Не нужен нам поп! — хором выкрикнули старухи.

— Послушай-ка, Лесовик, есть бог или нет — никто его не видел. Вот ты, к примеру, видел ты бога? — спросила бабушка Анна Гунчовска

— Нет,— ответил Лесовик — Так я ведь вам о том и толкую, что бога нет.

— Ну, раз не видел, то и молчи,— возразила бабушка Анна Гунчовска.— А я тебе говорю, что бог есть.

— Где же он? — ехидно спросил Лесовик.

— А повсюду,— ответила бабушка Анна Гунчовска.— Никто не знает, где он, когда появится, когда уйдет. Вон аист, который столько лет с нашим дьячком воевал, может, он и есть бог. А может, это мушка какая-нибудь, сидит на том вон немытом окне и слушает, о чем мы тут калякаем. А если уж у вас окна некому вымыть, так хоть меня бы позвали — все посветлее станет, людей разглядеть будет можно. А то завел — и бога-то нет, и еще не знаю чего, да к тому ж попа нам на шею навязать собираешься...

— Не собираюсь я вам навязывать никакого попа! — закричал Лесовик.— Только попа мне не хватало.

— Так, так,— согласились старушки, несколько успокоившись.

— Не присылай нам попа, Лесовик,— сказала бабушка Петра Кустовска.— Мы сами и церковь подметем, и пыль вытрем. А если хочешь, мы и в клубе у тебя можем убираться, по очереди. Видишь, как нас много?

— Нас много,— поддержала ее бабушка Дамянца Бараганчанка, маленькая старушка с живыми, добрыми глазами и крохотным, как у младенца, носиком.— Мы и сами обойдемся, Лесовик. У нас уж и новые льняные рубахи припасены, и сукманы, и все что нужно. Раз наука требует, сами друг дружку хоронить будем, без попа, все одно — отпоет он нас или нет.

— Конечно, сами,— вступила бабушка Ралка.— Сколотит нам Дачо по кресту, да и на могилку придет же хоть кто-нибудь цветочков посадить, травку посеять, чтоб веселей нам было на долгом пути. Мы ведь уже совсем собрались в дорогу, Лесовик, не сбивай ты нас с пути своей наукой.

— Да не сбиваю я вас,— пробормотал Лесовик, совсем расстроившись.— Я вам как прогрессивный человек говорю, добра вам желаю.

— Так ведь и мы тебе тоже добра желаем,— сказала бабушка Велика Йорданчина.— Но мы же тебя от твоего клуба не отваживаем. Мы помочь тебе хотим, вроде как по наряду в клуб ходить будем, убираться. Ты держись своего клуба, а мы будем держаться церкви. Чем тебе церковь нехороша? Стоит себе на горке, село наше красит, да и аист на кресте гнездо свил! Чем она тебе помешала?

— Не мне она мешает, а человечеству,— тяжело вздохнул Лесовик.— Это вопрос принципиальный.

— Ну и пусть принципальный,— сказала бабушка Анна Гунчовска.— Наш вопрос, он тоже принципальный. А раз принципальный, значит, ничего плохого в нем нет. Правильно я говорю?

— Ох!— простонал Лесовик.— Да я ж вас просветить хотел, головы ваши знаниями наполнить, глаза вам открыть, чтоб вы свет наконец увидели да порадовались ему, как подобает свободным людям.

— Мы и так ему радуемся, Лесовик! — возразила бабушка Велика Йорданчина.— Ты сам-то ему хоть немного порадуйся, увидишь, как тебе полегчает.

— Я порадуюсь!— пригрозил он.— Вы — свое, а я — свое, я вам так легко не поддамся. Вы вот что: в то воскресенье после церкви приходите-ка сюда опять, тогда и побеседуем. Я к тому разу получше подготовлюсь и докажу вам, что только атеизм, а не религия ведут человечество по пути прогресса и социализма.

— Докажи,— сказала бабушка Анна Гунчовска,— докажи нам свой атизм, ты только попа нам не присылай, а не то узнаешь, на что мы способны.

— Да не собираюсь я вам присылать попа! — простонал Лесовик, совсем обессилев.

— А не пришлешь, так мы в то воскресенье опять придем,— сказала бабушка Велика Йорданчина.— Ты только покажи нам, где ключ прячешь, а уж мы придем, уберемся здесь, и стекла вымоем, и скатерть выстираем. Все так и засветится.

Лесовик пожал плечами. Выйдя, он запер клуб и спрятал ключ под кучу камней у придорожной шелковицы, и все старушки запомнили, где он лежит. Потом они расстались, бабки отправились по домам, а Лесовик — в корчму, где его ожидала другая, мужская, часть здешнего населения, никак не желавшего приобщаться к знаниям и науке.

Над дорогой всплеснул крыльями церковный аист, вылетевший на поиски пищи. Село, приютившееся между холмами, показалось ему маленьким, не больше гнезда. Покружив над ним, аист уловил запах болота и направил туда свой полет.

Перевод Л. ЛИХАЧЕВОЙ

СЕРАФИМ СЕВЕРНЯК

Мой отец

(Рассказ молодого человека)

Наконец-то я справился с итальянским узлом. Сто раз пришлось перевязывать галстук, пока не получился равносторонний треугольник — эдакая брошь между двумя белоснежными крылышками воротничка. Взгляд в зеркало — полный порядок! Точно так выглядел Амедео Надзари в «Ночах Кабирии»... Ох уж эти праздники! Выходной костюм — он же и единственный — в едва заметную умопомрачительную полосочку, запонки из Брно, носки из Сараева. Полуботинки, пусть со стершимся заграничным клеймом, но зато из комиссионки. Вот только соседа все нет и нет. Ненадежный народец эти фотографы, черт их подери. Еще вчера он обещал одолжить десятку, я уже в третий раз спускаюсь вниз, а его вечно нечесаная жена, портниха, твердит, что он еще не вернулся.

Говорит, срочно вызвали в редакцию — заказали праздничную фотографию для первой страницы. Подумаешь! Носится сейчас, наверное, по лестницам и этажам ЦУМа, приседает, встает на цыпочки: «Минуточку, вот так... еще раз!...» А завтра на первой странице будет

красоваться елка с искусственным снегом, увешанная подарками и двое молодых, глядя в глаза друг дружке, будут чокаться пустыми бокалами для шампанского. Из-за этого он мотается сегодня весь день.

За окном уже вечереет. Низкие, тяжелые тучи нависли над улицей, и голые прямые ветви пирамидальных тополей кажутся черными струями дождя. Тучи плывут, цепляясь за телевизионные антенны дома напротив, а фотографа все нет. Правда, еще не поздно. Но почему человек должен изводиться из-за какой-то десятки? Когда она лежит в кармане, чувствуешь себя совсем по-другому. Это знал даже тот глупец, тот пастор, который занимал в субботу кошель с деньгами, чтобы его воскресная проповедь звучала вдохновенно и убедительно. Человек должен быть в себе уверен.

Еще один взгляд, брошенный в зеркало, утверждает меня в этой мысли. Я выбрит, причесан, а на лице ни следа одухотворенности. С этой кислой рожей я похож на... На кого же я похож? На собственного отца на той фотографии, где он снят вместе с инспектором районо. Он там уже старый — тогда отмечали тридцатилетие его работы в школе или что-то в этом роде, а я молодой и собираюсь весело встретить Новый год... Вот и понадейся на таких! Как бы они себя ни величали — фоторепортер, фотограф-художник,— все равно они ничем не отличаются от тех, что торчат в скверах со своими черными допотопными ящиками...

...Я сажусь, придется ждать. Вот так, наверное, сидит сейчас мой отец в маленькой проходной комнате. Сидит и смотрит в окно. А во дворе, под окном пес — склонил голову набок и тоже не отрываясь смотрит на отца. Верно, ждет, чтобы хозяин включил приемник. Отец утверждает, что пес очень музыкален. А музыки давно нет. Отец включает приемник только для того, чтобы послушать последние известия, и как только раздаются первые звуки музыки, щелкает выключателем. К лацкану его пиджака пришит кусок траурной ленты. Прошел год, я все еще не собрался отдать увеличить фотографию матери, а отец носит траур и не слушает музыку. Вообще-то он выглядит так же, как на той фотографии с инспектором, только морщины стали резче и голова ушла в плечи.

— Данаил,— говорит он,— неужели ты не мог сэкономить эти десять левов? Теперь ты сидишь как на иголках и ждешь этого фотографа. Написал бы мне, я б тебе выслал!..

Так говорит мой старик. Попробуй ему растолкуй, что одни только носки из Сараева стоят семь левов, да и то я с трудом их достал. Не люблю, когда лезут с разными советами. Поэтому я покидаю маленькую комнатку, прохожу мимо собаки и иду во двор к соседям. Так я всегда делал в детстве. Начнут за что-нибудь песочить — и я тихонечко, бочком выскальзываю за дверь, смываюсь к тете Тинке.

— Опять влетело?— спрашивает она.— Иди сюда, касатик. Отец твой все будто с учениками в школе, привык к строгости. Иди попей компотику.

Теперь уже некому напоить меня компотом, потому что тетя Тинка давно покинула эту грешную землю. Ее двор, когда-то изрытый курами и поросятами, теперь превратился в сад. Перед новым домом — колонка с двумя каменными корытами. У колонки стоит Христо — внук тети Тинки. Он работает на животноводческой ферме, но пальто на нем из ратина, на ногах чешские ботинки, а шляпа куплена в Стара-Загоре. Летом он носит костюм, и когда случается, едет по улице на своем велосипеде, сидящие у ворот бабы принимают его за доктора. Сейчас он стоит во дворе и через открытое окно переговари-

вается с женой. Жена его родом из Житена, кончила гимназию, и ей все приходится доказывать. Вот и на этот раз.

— Ты собирайся,— говорит Христо,— а я пойду позову учителя.

Жена, поджав губы, бросает:

— Зачем это?

— А тебе он что — мешает? — спрашивает Христо.

— Начнете разговаривать... не потанцуешь.

Христо молча улыбается, ему приятно, что жена хочет с ним потанцевать, но потом снова говорит серьезным тоном:

— Что ж, бросим его одного в такой день?

— У него есть сын...

Христо делает неопределенный жест, но я понимаю, что он не означает ничего для меня похвального.

— Чего ты хочешь от человека, который уже во второй раз женат,— говорит он вслух.— Кто знает, где он сейчас шляется, ищет третью. Совсем об учителе не заботится.

— А тебе своих забот мало! — сердито замечает жена.

Но Христо не уступает:

— А как же иначе? Он-то обо всей деревне заботился.

Да, что правда, то правда. Старик мой всю жизнь только и делал, что пекся об односельчанах. И мама в свое время его упрекала: «Можно подумать, у тебя ни жены, ни сына, а вот вся деревня тебе родня». Отец хлопотал насчет водопровода, электричества. Десять лет собирал средства на строительство клуба-читальни. Потому-то Христо и говорит теперь жене:

— Если б не учитель, нам в праздники и собраться-то было бы негде. Где б ты тогда танцевала?

Жена отходит от окна, но Христо знает, что она на него не сердится. Она тоже любит учителя, потому что они оба люди ученые, кончили гимназии и им есть о чем поговорить.

Кажется, на улице совсем стемнело. Телевизионные антенны на доме напротив утонули в подолах туч, черный ливень из тополиных веток иссяк. Может, снег пойдет? Я с детства люблю, когда в этот день идет снег...

В селе как будто уже снежит. Отец встает, подходит к окну. Глаза его оживились. Он перевидал немало снегопадов, но эти первые небесные пушинки затрагивают в нем какие-то особые струны. Может быть, в них звенит угасший голос матери? Или мой голос... Голоса смолкают. На дворе завьюжило. И вот за сеткой снежных хлопьев появляется человек в пальто из ратина. Он в чешских ботинках на микропоре (которые по двадцать три лева) и фетровой шляпе, сделанной в Стара-Загоре или в Габрове. Отец было встрепенулся, но человек окликает его, и надежда тотчас испаряется.

— Учитель!

— Это ты, Христо?

Шляпа и пальто из ратина висят на вешалке в прихожей. Мужчины сидят вдвоем в маленькой проходной комнате. Христо уговаривает, а учитель молчит, опустив голову.

— Переоденься,— говорит Христо,— приколи орден, который тебе дали весной, и пойдем с нами в клуб Побудешь среди людей. Ведь как-никак праздник Нельзя все время одному сидеть!

Это тоже верно — у старика моего есть орден Кирилла и Мефодия 1-й степени. Его наградили весной, в связи с 1100-летием славянской письменности Я так и не собрался послать поздравительную телеграмму. Теперь уже поздно Новый год...

Отец молчит. Мне кажется, он отрицательно качает головой. Хри-

сто тоже так кажется, потому что он снова принимается его уговаривать:

— Пойдем, пойдем же... У тебя больше всего прав на наш клуб. Если б не ты, нам негде было бы собраться в праздник. Сядем вместе за стол, угощение у нас богатое, повеселимся.

Старик еще ниже опускает голову. Христо догадывается, в чем дело:

— Да просто посидим, поговорим. Дождемся двенадцати, а когда начнется музыка... танцы, ты пойдешь!..

В маленькой проходной комнатке воцаряется тишина. Христо молчит, он все сказал. Старик тоже молчит, не знает, что ответить. Оба выжидают. Наконец, старик говорит:

— Да, до музыки я, пожалуй, могу посидеть. Да вот только... как бы Данаил не приехал на праздники.

Каждый из нас троих прекрасно знает, что я не приеду. Но старик говорит это, потому что как-то неловко сразу принять приглашение. К тому же ему, наверное, хочется напомнить людям, что у него есть сын.

— Рейсовый автобус уже прошел,— неопределенно замечает Христо.— А если приедет с другой какой случайной машиной, то он село знает, не заблудится да и клуб найдет. Заодно мы на него посмотрим и он — на нас.

Старик качает головой:

— Вы идите! Я позже приду.

— Нет! Вместе пойдем! — настаивает Христо.

На улице совсем темно. Тучи, видно, поднялись высоко, потому что вдалеке гирлянды лампочек прочерчивают шоссе на Драгалевцы и Симеоново Раз тучи поднялись выше, значит, похолодало. Может, снег пойдет.. Хорошо бы. Очень люблю снег...

А в селе навалило снегу. Он устилает двор, каменные ограды, поляну перед домом, улицу, крышу клуба. Еще немного — и его разрисуют следы людей. Начало положат те, которые пойдут первыми. Потом следов станет больше, они сольются в тропку. Тропки будут темнеть в белой ночи...

Снизу доносятся голоса: неприятный, пронзительный голос портнихи и глухой, надтреснутый — ее мужа Значит, фотограф вернулся. Хоть бы он вспомнил про свое обещание и поднялся сам. А то придется снова звонить. Снова корчить любезную рожу.

— Извини, брат, так уж получилось, с кем не бывает...

— Ах, ты насчет денег? — пробасит он.— Сейчас... Сколько тебе — десятку или пятерку?

— Десятку...

Лучше десятку, чтоб на душе было спокойнее. За столик заплачено еще в начале декабря, проезд входит в общую сумму Но все же надо купить сурвачку[1] и бенгальский огонь. В ресторане можно будет дополнительно заказать еще две-три бутылки вина, а под утро, если подберется компания, перекинуться в картишки. Неужели придется спускаться за этой десяткой? Хоть бы он сам принес... Время еще терпит. Выйду в девять.

В селе собираются рано Вот и они — отец, Христо и его жена уже идут в клуб. Все происходит точно так, как я себе представлял. Они пересекают поляну, и на снегу остаются только их следы. Потом

[1] Сурвачка — украшенная лентами монетами кизиловая веточка, которой похлопывают по спине, поздравляя с Новым годом и высказывая добрые пожелания.

выходят на шоссе, и следы вплетаются в чужую стежку К центру они шагают уже по хорошо утоптанной тропке, которая темнеет в белой ночи.

Фотограф не придет. Хотя такие, как он, и величают себя репортерами и художниками, люди они несерьезные и на них нельзя рассчитывать. Придется спускаться самому. Пойду. А тот пастор был совершенно прав, когда в субботу брал взаймы кошель с деньгами — от этого его воскресная проповедь звучала вдохновенней и убедительней. Совсем по-другому чувствуешь себя, когда в кармане десятка.

Кажется, и здесь запорошил снежок. Люблю когда в этот день идет снег.

Перевод Т. КОЛЕВОЙ

МЛАДЕН ДЕНЕВ

Фён

Этот незнакомый ветер мог все порушить.

Еще прежде, чем он слетал с Троянских гор, где он, в сущности, рождался, еще прежде, чем он устремлялся к Дунаю, в воздухе начинала чувствоваться какая-то особенная мягкость, над разомлевшей землей вставало дрожащее марево, а шоферы с бетонного центра разгоняли до бешеной скорости свои заляпанные грязью самосвалы.

Этот ветер назывался фён. Его дурманная сила заставляла пожилых чувствовать себя молодыми, а молодых — терять голову.

Нынче опять будет фён. Крестьянин понял это, еще когда с огромным трудом взбирался на крышу электростанции. Их было только двое, он и Николина, и крестьянин боялся фёна. Он и себя боялся, но больше боялся фёна.

Молча сложил он синеватые стальные прутья у колена и спросил девушку, что делать дальше. Он всегда ее спрашивал: ему было приятно слушать ее голос и смотреть ей в глаза.

Он познакомился с Николиной восемь дней назад. Еще тогда, глядя украдкой от сына на ее стройную фигурку, крестьянин первый раз в жизни подумал о своей ушедшей далекой молодости. Потому ли, что у него никогда не было такой девушки, только лукавая сила фёна заставляла его все чаще поглядывать на Николину, а себя чувствовать умным, добрым, а главное, нужным этому миру Он никому не рассказывал о своих переживаниях, прятал их в себе, как прячут старую болезнь, переходящую от отца к сыну

— Я не виноват,— сказал крестьянин тихо.— Это Пенко меня здесь оставил.

Он приехал сюда за сыном — разыскать его, выложить ему все, что накипело на душе, и привезти обратно в село, но парень не послушался. Крестьянин понял, что так будет, еще когда слез с автобуса. На пыльной траве возле шоссе лежали два дочерна загорелых строителя, и он прежде всего обратился к ним, но те не знали его парня. Ни один, ни другой. А крестьянин все толком объяснил — как его звать, какой он рослый — и даже показал, как он приглаживает волосы рукой. Они его не знали. Тогда крестьянин вскинул на спину кожаную сумку и решил спрашивать у всех подряд. Потрескавшиеся ремешки резали плечо, и он подложил под них белый платок с каемкой.

«Я его найду,— подумал крестьянин.— Без него не вернусь домой».

Когда он уезжал, жена сжала его жесткие пальцы и сказала так:

— Боюсь я, Лефтер, сама не знаю почему, сил нет, как боюсь. Ты там смотри не зевай на станциях-то, слышишь?

Он только сейчас вспомнил ее напутствие. Всегда она чего-нибудь боялась, а когда нечего было бояться, сама выдумывала причину. Поблизости не было видно людей, и крестьянин улыбнулся. У него была хорошая, сердечная улыбка. Крестьянский труд сохранил его тело стройным и почти молодым. И бронзовое лицо было молодое, и задумчивые карие глаза с опущенными уголками. Если бы вместо грубой холщовой одежды он надел темно-синий костюм, его, с его седеющими волосами, могли бы принять за главного инженера.

Прищурившись, он посмотрел на солнце, подумал, что вареная курица может протухнуть, и зашагал быстрей. В пропыленные башмаки набились твердые комочки земли, которые мешали ему при ходьбе, но он решил их вытряхнуть, когда наконец найдет сына. А сын все не объявлялся.

— Я его разыщу,— сказал крестьянин.

Тихо сказал, чтоб его не услышали. Люди, впрочем, не обращали на него внимания, они были заняты своим делом. Их тяжелые машины взрезали черную кожу земли и теперь зашивали ее бетоном. Над прежними полями расползался терпкий запах железа, долго пробывшего под солнцем. И все же он узнал крестьянскую землю — возле грохочущих экскаваторов грустно покачивались под ветром четыре одиноких пшеничных колоса.

Немного подальше он увидел серебристые ломти. Им предстояло стать шаровидными резервуарами, а крестьянину они напомнили только что разрезанный арбуз. Он остановился поглазеть на них, и тут его окликнул экскаваторщик сквозь стеклянную дверцу своей машины. У него были воспаленные, но добрые глаза. Экскаваторщик спросил, чего он здесь ищет.

— Сына я ищу,— ответил крестьянин.— Пенко Лефтеров его звать. Ты его, часом, не знаешь? Рослый такой паренек... Волосы любит вот так приглаживать...

Крестьянин положил сумку на нагретые трубы и показал, как его сын приглаживает волосы, но экскаваторщик не мог его вспомнить.

— А что он делает, твой парнишка? Здесь профессий сколько хочешь. Может, он на нефтяных вышках?

— Не знаю,— ответил крестьянин, наступив на цепь экскаватора. Раскаленное железо обожгло его сквозь подметку, но он не сдвинул ногу — В селе-то у него хорошая работа была, а вот поди ж ты! Люди ему целый трактор доверили, а он сюда уехал вроде бы только на зиму «Махну говорит на нефтехим, заработаю деньжонок на свадьбу». Жениться собрался. Так-то. Невеста его еще ждет...

Крестьянин сокрушенно покачал головой и умолк. Подумал, что больше распространяться не стоит, остальное он выскажет сыну.

— А ты на кранах поспрошай,— посоветовал экскаваторщик.— Раз на тракторе работал, ищи его на кранах.

До обеда крестьянин обошел четыре крана но его парня нигде не было. Тогда он решил отдохнуть и подкрепиться и уселся в квадратной тени большого дощатого ящика, покрытого просмоленной бумагой, пахнущей нагретым дегтем. На ящике было написано по-русски «Болгария». Буква «о» была разрезана надвое, как будто две подковы уперлись друг в друга.

Когда на него нападало чувство одиночества, он любил рассматривать разные вещи и воображать, сколько людей до них дотрагивалось. Однажды дома, лежа на кровати и притворяясь спящим, он сосчитал, что до одного их простого стола дотрагивалось больше восемнадцати человек, начиная с лесоруба и кончая тем, кто продал ему этот стол в магазине. Он и теперь углубился в такие расчеты, и, как раз когда дошел до гвоздей, которыми забивали этот большой ящик, на утоптанной дорожке между трубами показался его сын с русоволосой девушкой. Крестьянин прежде заметил девушку. Она была длинноногая, в джинсах, вытертых на коленях. Они шли в обнимку, поэтому тень у них была общая Они еще не видели его, и он подумал, что вот сейчас своим окликом он оторвет их от их мыслей и вернет сюда, на эту пыльную белую дорожку. Он подождал, дал им еще немножко побыть вдвоем и только тогда крикнул:

— Пенко, это никак ты, а?

Парень и девушка обернулись разом, не разнимая сплетенных рук, и их вспыхнувшие щеки соприкоснулись. Оба были очень хороши собой, особенно девушка. Еще тогда, еще в ту минуту крестьянин ответил на трудный вопрос который они много раз задавали себе дома. почему их сын не возвращается...

— Я ему вправлю мозги,— тихо пригрозил крестьянин.— Вот останемся вдвоем...

Может быть потому, что длинные пальцы девушки обхватили всю кисть его руки. пожилой человек растерялся. Забыл, что ему надо делать дальше, и от смущения наклонился над своей сумкой.

— Я здесь курицу принес,— сказал он.— И слоеный пирог. Если хотите, можно тут и пообедать.

Они не хотели. Они тоже были смущены неожиданной встречей. Девушка пожала худенькими плечами. и рукава ее ковбойки едва слышно прошуршали. Потом объявила, что у них есть талоны на обед в рабочей столовой.

— Ну, тогда Пенко останется,— сказал крестьянин строго.— У нас с ним дело есть...

Девушка посмотрела на них светлыми глазами, сказала: «Ну, что ж» — и медленно пошла по белой дорожке. Крестьянин украдкой проследил за ней пока она не скрылась за поворотом. Походка девушки ему понравилась. При каждом шаге стан ее слегка изгибался и ложбинка между лопатками покачивалась.

Когда они остались вдвоем. отец нарочно сдвинул брови, чтобы казаться еще более сердитым. Он знал заранее, что разговор будет трудным. И знал уже, что сын не вернется на трактор и что причина не в тракторе...

Полуденное солнце заставило их сесть так близко друг к другу в короткой тени от ящика, что парень слышал учащенное дыхание отца. Они разложили еду прямо на земле, на газете. и сухие листья пырея, тихо прошелестев. ее слегка приподняли. Парень, разрезая у груди деревенский хлеб, спросил:

— Как мама, больше не было приступов?

— Ты мать оставь!— сказал крестьянин, сделав резкий жест рукой.— Про невесту что не спрашиваешь? Иссохла вся по тебе, горемычная. Позавчера приходила к нам переписывать нашу родню, подарки готовить... О чем ты думаешь, а? Или совесть потерял?

Крестьянин крикнул так громко, что его грозный голос пробил раскаленный воздух, ударился о серую башню электростанции и откатился назад. Парень мог услышать страшный вопрос дважды, но все равно не испугался. Он спокойно и неторопливо разламывал слоеный пирог. Теплый запах от пакетов с едой напомнил ему о зимних ужинах у них дома. Отец тоже начал есть и теперь, с полным ртом, заговорил тише:

— Слушай, Пенко, ты должен вернуться в село... Один, без тебя, я отсюда не уеду, так и знай... Мне этим людям стыдно в глаза смотреть... Они мне ничего не говорят, но видно — ждут, когда ты вернешься... Да и сказать по правде, я отца ее боюсь. Такой человек за нож схватится не моргнув глазом...

— Вот и я этого самого боюсь,— откликнулся парень.— У дочери-то в жилах его кровь течет. Тебе я могу это сказать...

Парень помолчал, вытер длинную шею и продолжал:

— Если хочешь знать, это все мама, это она меня в это дело втравила. У нее, мол, дом в городе. А на что мне дом, если девчонка мне не по сердцу? Не на день, не на два ее брать — на всю жизнь. А каково это — мучиться всю жизнь? Ты согласен, отец?

Крестьянин опустил голову, он был согласен. Верно, жизнь человеческая не такая длинная, какой кажется сначала, подумал он, но все же это жизнь человеческая, и люди должны загодя решать, с кем они ее проживут. Отец по себе это знал.

Они продолжали есть в тяжелом молчании. Время от времени парень поднимал глаза на белую дорожку, и отец понимал, что приехал слишком поздно. Когда они покончили с обедом и прибрали шуршащие пакеты, крестьянин сказал:

— Теперь говори, как будем выкручиваться. Мать мне наказала: «Без него, Лефтер, не возвращайся...»

Мужчины, оперевшись спинами о ящик, опять замолчали. Крестьянин снял пыльные башмаки и постучал подметками одна о другую. С рифленых подошв посыпалась спрессованная в фигурки грязь. Сын смотрел и думал что, может быть, это грязь с их тихих деревенских улиц, где он гулял с той девушкой. Он попытался представить себе ее глаза, но вместо них перед ним явились другие милее тех...

— Отец, я не могу вернуться в село,— сказал парень со вздохом.— Ты сам видел почему... Ну, скажи, что мне теперь делать? Помоги мне!

Крестьянин подобрал в тень затекшие ноги и только тогда ответил:

— Куда проще — помоги мне... А мне кто поможет? Ладно, ты хочешь остаться. Оставайся! А мне куда деваться?

— И ты останешься. Работы здесь завал. Жить будем вместе на моей квартире. Я все равно плачу за всю комнату Вон в том селе и снял квартиру... Ну как, остаешься? И деньжат прикопим для дома.

Отец поднял голову, посмотрел на незнакомое село, на его чистые крыши, но решиться не мог. Он был в таком возрасте, когда человек накрепко сживается со своим домом и со своей работой и ему трудно менять их на другие, даже лучшие. Неподалеку от них с грохотом вытягивал стальную шею желтый горбатившийся экскаватор, и крестьянин, посмотрев на него, почувствовал себя чужим, маленьким и беспомощным.

— Оставайся отец, чего тут раздумывать? В нашем селе все равно для мужиков настоящей работы нету. А здесь мы тебя запросто арматурщиком сделаем. Та девчонка, Николина, тоже арматурщица, с ней и будешь работать. Всех новеньких к ней посылают.

Крестьянин вспомнил теплые пальцы девушки и вдруг спросил:

— Она... кем тебе доводится?

— Так, знакомая... Толковая девчонка, с ней будешь работать.

Отец протянул «гм» и резко взмахнул рукой, словно отрубил сухой сук, много лет не дававший плодов... А домой они писали письмо вместе. Они писали о квартире, о деньгах, обо всем. Только одно обошли — когда они вернутся в село. На листе бумаги осталось много места, и крестьянин погрустнел — он вспомнил, что раньше, когда они с женой были молоды, ему вечно не хватало места, чтобы рассказать ей обо всем. А парень вдруг сообразил, что они бросают мать одну, и сказал виновато:

— Надо и маму сюда вызвать... Чтоб не скучала без нас. Она и стряпать нам будет.

— Нет! — сказал отец твердо.— Ее с места трогать не будем, а то нас исключат из хозяйства.

Эти высокие, ощетинившиеся арматурой стены его пугали, и он не хотел вырывать из крестьянской земли свой последний корень.

На другой день ему дали белую каску и отправили на крышу электростанции. Крестьянин в первый раз разглядывал своими большими карими глазами землю с этакой высоты и в первый раз понимал, как она ему дорога. Но здешняя земля была иной, она закрыла свою теплую утробу и больше не будет приносить плодов.

Николина, много раз видавшая, как люди пугаются высоты, словно невзначай встала рядом с ним:

— Ты не бойся, дядя Лефтер... Смотри только, чтоб голова не закружилась.

Он горевал об этой земле, но девушка его не поняла. Он молча присел над сеткой арматуры и начал вязать крестовинки. Прогревшиеся доски опалубки сладко пахли сосной, напоминая об их деревенском боре. В тот первый день он все время старался найти хоть в чем-то сходство с родными местами, чтоб полегчало на душе, но рыхлый чернозем его села властно тянул его к себе.

Когда, наконец он связал все крестовинки в ряду, он понял, что такая работа будет мученьем, а не радостью для его рук, и его взяла тоска. Он выпрямился и, стоя посреди металлического переплетения арматуры, стал вспоминать сладкие минуты, проведенные на грядках своего огорода. Наверное, поэтому он с завистью наблюдал за улыбающимся лицом Николины. Девушка, прижав кусками кирпича края чертежа, чтобы он не свился опять в трубку, сосредоточенно разбиралась в расположении арматуры. Потом задумывалась, смотрела на солнце своими светлыми глазами и начинала расчерчивать мелом желтые доски опалубки.

«Счастливая,— подумал крестьянин.— Не то что я... Вон как хорошо улыбается...»

Больше ему нечем было заполнить свое сердце, и он стал жить радостями Николины. За каких-нибудь два дня работа его поглотила, вобрала в свое полноводное русло, так что он стал забывать, зачем он сюда приехал и зачем остался. Слово «фён» он услышал на третье утро Сначала он ощутил боль в висках и подумал, что это от тесной каски, но Николина сказала ему, что это от фёна.

— Здесь дует такой сухой ветер,— сказала Николина,— его называют «фён». Сегодня опять будет...

Крестьянин никогда не слышал о таком чудно́м ветре. В его ма-

леньком селе было только четыре ветра: южняк, северняк, юзларец, который дул с востока, от села Юзларе, да еще горный. Вот и все. А тут, вместе с кучей новых для него вещей, вместе с башенными кранами и желтыми экскаваторами, невесть откуда взялся и новый ветер — фён... Так размышлял крестьянин, и никто не смог бы убедить его в том, что этот невиданный фён появился на земле в то далекое время, когда появился и человек.

Во второй раз крестьянин услышал название этого ветра от молодого врача стройки. Сдвинув новенькую фуражку на затылок, молодой врач сказал так:

— Фён насыщает воздух напряжением и повышает чувствительность людей, внушает им преувеличенное представление о своей силе. Берегитесь фёна. Он не ломает дома, но он ломает людей. Даже самых крепких людей...

Нынче опять задует фён. Это было видно по низкому, подернутому дымкой небу и по желтому свету, расплывающемуся над землей, словно прозрачное покрывало.

Перебирая все это в уме, крестьянин с тревогой подумал о том, что Николина, может быть, тоже почувствовала приближение этого ветра. Он испытующе посмотрел на девушку, но она как раз закрепляла арматурную сетку на железных вкладышах, и ее длинные белокурые волосы мешали ему заглянуть ей в глаза. А он хотел именно заглянуть ей в глаза...

«Не иначе, как этот ветер меня путает,— подумал крестьянин.— Это я не просто из интереса...»

Он испугался за себя, за девушку, и, когда Николина к нему повернулась, пожилой человек притворился, будто соображает, в какой стороне находится его село. В эту опасную минуту ему надо было опереться на что-то прочное, и он оперся на свое село.

— Заскучал я по нему,— сказал он.— И по жене, по тете Станке, тоже. С тех пор как на военную службу ходил, ни разу с ней не расставался. Да... И теперь все мысли о доме. Не знаю, рассказывал тебе Пенко о нашем селе или нет. У нас перед домом лавочка стоит, сосновая. Люблю я вечером умыться и выйти босиком, посидеть на лавочке. Выкурить цигарку... Хорошо было, сплошал я, пожалуй, что остался с вами, а, как ты думаешь?

О своем селе и о сосновой лавочке он сказал правду, но Николина не знала, что ему ответить: она тоже почувствовала первое дуновение фёна. Сладкое, покалывающее тепло мгновенно пробежало по ее рукам от плеч до самых кончиков длинных пальцев. Николина нарочно повернулась спиной к крестьянину, чтобы спрятаться от его все еще молодых мужских глаз.

— Сплошал я, сплошал,— продолжал крестьянин.— Земля — это другое дело. Ты в городе выросла, тебе не понять. Земля в апреле на добрую молодуху похожа. Бросаешь разные семена ей в борозды, а она потом вернет тебе их цветами. Очень я люблю посеять что-нибудь и заставить землю отдарить мне цветами: желтыми, красными, всякими...

Подметая дощатую опалубку, Николина сказала:

— А я люблю ходить в кино. И Пенко любит. Когда я приезжаю на стройку, я прежде всего смотрю, есть ли там кино. Здесь целых три, но здесь есть и фён, вот что хуже всего...

Фён...

Услышав опять это страшное слово, крестьянин схватил мокрую оплетенную бутыль и обильно смочил водой лицо и руки. Потом вылил целую пригоршню себе на спину, под рубашку, и еще немного налил в белую каску. Девушке он сказал, что ему жарко, а на самом деле

он хотел забыть о фёне, забыть о близости девушки. «Только бы не сотворить какую пакость,— подумал он.— А то потом и Вит меня не отмоет...»

Еще прежде, чем задул этот чудной ветер, внизу, на далекой земле, крановщик башенного крана два раза ударил в свой колокол — давал знать, что подаст новую арматуру. Медный звон понесся над равниной и потонул в напряженном желтом небе, где тонут все звуки... Тяжелый сноп, привязанный за оба конца, повис в воздухе, прогнувшись, как лук. Когда он поравнялся с плитой, крестьянин протянул длинные руки, а Николина бросилась ему помочь. Ее волосы, освещенные солнцем, пахли спелой пшеницей.

Крановщик был очень далеко, он не мог видеть того, что происходит наверху, и крестьянин, сам не зная как, положил свою руку рядом с белыми пальцами Николины. Девушка крепко держала железный сноп и не пошевелилась. Они стояли так близко друг к другу, что крестьянин расслышал, как сильно бьется сердце девушки. Глаза ее, как ему показалось, стали другими, новыми, еще более красивыми...

Только через минуту стальные тросы башенного крана проскрипели в тишине, и тяжелый железный сноп медленно лег на опалубку.

Пока Николина раскрепляла железные прутья, крестьянин вдруг почувствовал себя одиноким, никому не нужным и одиноким. Он подумал о том, как легко и быстро человек может согрешить и как потом понадобятся годы, чтобы вытравить грех из своего сердца. Ветер пройдет, уберется туда, откуда явился, а грех останется навсегда на земле, с людьми.

Не поворачиваясь, он почувствовал девушку у своего плеча.

— Дядя Лефтер,— сказала Николина.— Опять ты заскучал! Пошли сегодня с нами в кино! Мы с Пенко каждую субботу ходим.

— Некогда мне,— сказал крестьянин опомнившись.— Я обещал хозяйке нынче починить забор. Старая она, слепая, и никого у нее нет.

— Я ее знаю...— сказала Николина и покраснела.

Крестьянин продолжал, словно не слышал ее:

— Премудрая такая старушка. В первый вечер сидели мы на крыльце, она подняла руки и ощупала мое лицо сверху донизу. Видеть тебя хочу, говорит, Лефтер, чтобы знать, с каким человеком разговариваю. Дворик у нее хороший, а забор завалился. Я обещал нынче его починить. И Пенко мне поможет. А потом пойдете в кино.

— Успеется,— ответила Николина.— И ты можешь пойти с нами. Я зайду погладить вам рубашки.

Часа четыре спустя, когда уже наступал тихий субботний вечер, крестьянин, укрывшись в тени старой груши, стал сколачивать деревянный забор. Притихшие дома принимали удары тесла и отправляли их дальше, до самых ив, млеющих на берегах Вита. Первые порывы фёна чувствовались только на самых верхних листьях груши. Эти листья пугали крестьянина — парня не было дома, а Николина скоро должна была прийти. Он поймал себя на том, что ждет ее, и испугался своих мыслей.

«Позову хозяйку,— подумал крестьянин.— На нее одна надежда».

Он повернулся к дому, но старая женщина уже сама шла к нему, держа перед грудью миску размоченного хлеба и внимательно прислушиваясь к ударам тесла. Она шла медленно, потому что возле ее ног пищали желтые цыплята и старуха боялась на них наступить. Цыплята были из инкубатора, без клуши, а как всяким маленьким существам, им нужно было ходить за кем-то, и они ходили за старухой. Она села у самого ствола груши и со старческим наслаждением прислонилась спиной к дереву. Чтобы прикасаться к окружающему миру и чтобы мир прикасался к ней, она клала крошки на сухие ладони, и

цыплята клевали прямо с них. Острые клювики покалывали ей кожу, и она тихонько журила цыплят. Она нарочно делала это тихонько, чтобы цыплята не разбежались. Крестьянин разгадал ее хитрую нежность, но ничего не сказал.

— Что-то тебя мучает, Лефте-е-ер,— сказала вдруг старуха.— Нука, расскажи мне, что тебя мучает?

Крестьянин на мгновенье подумал, что она притворяется слепой. Он вглядывался в ее маленькое лицо, затененное черным платком, но веки ее, как всегда, были сомкнуты.

— Что может меня мучить? — сказал крестьянин.— Жена у меня есть, сын есть... Что может меня мучить?

Старая больше ни о чем его не спросила. За свою долгую восьмидесятилетнюю жизнь она поняла, что можно иметь жену, иметь сына и все-таки не быть счастливым. Это была ее последняя мысль — старуха уснула.

Листья груши тихо прошелестели, и крестьянин посмотрел вверх. Решение пришло само, как нечто неизбежное, как дождь после грозы.

— Уеду,— сказал крестьянин.— Здесь я и детям мешаю, и себе мешаю, и работе мешаю...

— Лефтер! — подняла голову старушка и понюхала воздух.— Ты мне что-то сказал?

— А? Нет, нет...

Приколотив последнюю доску, он побросал свои вещи в кожаную сумку и, подойдя к старушке, коснулся ее острого плеча:

— Я уезжаю, бабушка... Придет Пенко, так ему скажешь: отец, мол, твой подался обратно в село. Испугался, мол, что с крыши упадет.

Его тяжелые шаги отдалились. В ту же минуту резко прошумели листья груши, заскрипели балки старого дома, а цыплята с писком разбежались по двору. Деревянный забор затрещал, прогнулся, но устоял.

— Проклятый ветер,— прошептала старуха,— распугал моих цыплят.

Она не знала, что этот ветер называется фён.

Перевод Т. РУЗСКОЙ

ЛАДА ГАЛИНА

Осенью в дубравах

Златке Дыбовой

Рила подошла к грабу — старому дереву с потрескавшейся корой и густым переплетением ветвей. Темные дупла полны перегнившей листвой. Дерево без птиц, гревожное и непонятное, как абстрактная скульптура. Казалось, она заполняет все небо над головой. Рила обернулась к оператору, но тот уже застегивал потертый кожаный футляр, в котором носил камеру.

— Света достаточно, почему не снимаешь?

— Утром тоже тени, никуда не денутся.

— Но массовка ведь уже одета, Васил...

Оператор коротко, зло присвистнул — Рила знала, что означает этот свист. И замолчала. Грубость оскорбляла ее.

— Продолжим завтра, рано утром,— сказала она массовке. И усталым жестом трамвайной кондукторши сунула режиссерский сценарий в сумку, которую носила через плечо. Все пошли в обход, к мосту, одна она перешла реку вброд — по круглым камням, протянувшимся друг за дружкой, точно утиный выводок.

У другого берега была небольшая запруда, кипевшая пеной и пестроцветьем красок. Под низким осенним солнцем сохли мохнатые шерстяные одеяла и домотканые дорожки. Хозяйки скатывали их, еще влажными уносили на коромыслах. Женщины поздоровались с ней, потом проводили взглядом. В долетевших вслед словах не было ни упрека, ни сочувствия:

— Детей в школу отправила, в Софию, а сама осталась тут кино снимать...

Рила зашагала вверх по дорожке, но влажный шум реки настигал ее. Река прибывала по-осеннему, заливая на низком берегу следы воловьих копыт и увязших в грязи колес от телег, на которых вывозили лес. Набухшая, мутная, она сносила и мосты с птичьими постройками — перекинутые с одного берега на другой стволы, скрепленные ветками и глиной. Перед глазами у нее скользнули семена — легкие, заостренные, похожие на миниатюрные копья. Рила поймала несколько — безымянных, желтых, с нежно-лиловым оттенком — и спрятала в сумку: может, пригодятся Невене. Лиственный лес ронял семена щедро и бездумно, потому что осень — это зарождение новой жизни. Невена, художница их съемочной группы, в свободные часы бродила по лесу, собирая желуди и разные лесные семена, а потом делала из них прелестные бусы. В многообразии красок она искала свои, неповторимые оттенки и бывала счастлива, если находила.

Когда Рила вернулась в село, съемочная группа уже расположилась в столовой лесничества под навесом, вокруг ничем не застеленных столов. Оператор помчался в буфет, где старушки покупали халву, а он с водителями «пропускал по рюмашечке».

На другой стороне улицы, рядом с мемориальной доской с именами павших воинов была почта. Обычно Рила в это время заходила за газетами и письмами, доставлявшимися рейсовым автобусом, но сейчас она, поколебавшись, прошла мимо: не хотелось видеть ту женщину, которая утром принимала у нее телеграмму.

Рила тогда терпеливо ждала, когда та кончит считать петли на своем неимоверно сложном вязанье. В такое прохладное утро приятно, наверно, перебирать в руках что-то теплое, мягкое. Протягивая заполненный бланк, Рила улыбнулась, и улыбка, быть может, смутила женщину больше, чем текст: «Натура утверждена. Ищу типаж. За кадром пока пусто. Возвращаться или нет. Пиши. Рила».

— Рила — это гора,— сказала женщина в окошке, и лицо у нее было обиженное.

— Нет,— возразила она.— Это я. У меня отец учитель географии. Брата назвал Преславом, а меня — Рилой.

Тринадцать лет назад ее мужу тоже пришлось вот так же ссылаться на фантазию учителя географии. Рила словно своими глазами видела сейчас того лейтенанта с телеграммой в руке: «Над Софией безоблачно. Рила».

— Это шифровка! — мрачно произнес он.

— Да нет же, это от жены! — ответил молодой режиссер, накануне присланный на аэродром проходить военную службу.

А все объяснялось так просто... Они лежали обнявшись и задыхались от нежности. В окно неправдоподобно огненными облаками вплывал закат. «Больше всего я буду тосковать по тебе и по этим облакам»,— сказал тогда муж. Утром ему предстояло стать солдатом. На следующий день Рила протелеграфировала ему, что над Софией уже нет облаков...

— Пошли, Рила, я угощаю! — Кто-то фамильярно обхватил ее плечи.

Она повернулась и стряхнула руку с плеча.

— Говорят тебе, я угощаю! По рюмочке тяпнем, других радостей здесь не имеется.

— В другой раз, Васил. Что-то нет настроения.

— Я не стал говорить при всех, чтобы не вносить смуты. Но заново снимать нет надобности. Первые дубли достаточно хороши.

— Ты сам не веришь тому, что говоришь.

— Послушай, мне осточертело, наконец! Все лето проторчали в лесной глуши. Все равно совершенство — мираж, хотя Фигероа[1] — бог. Мне хочется посидеть в «Бамбуке»[2], повидаться с друзьями.

— У меня сын лежит с температурой, а Лиля пошла в первый класс без меня. Я не знаю, кто ей утром завязывает бант, я ни разу не видела ее учительницы. Но когда люди будут смотреть нашу картину, это никого интересовать не будет.

— Прости, это я так... Спокойной ночи,— сказал оператор, хотя было еще светло.

К дому бабушки Пены, где она квартировала, вела крутая улочка, по которой, как по руслу высохшей реки, скатывались круглые камни. Двор, летом тонувший в зелени, теперь увядал, издавая горьковатый запах бузины, сена и пригоревшего повидла. Желтели горки шершавых тыкв и кукурузных початков. Иногда Рила приходила на «посиделки» и слушала истории, которые старуха хозяйка рассказывала с присущими жительнице гор живостью и красноречием. Некий Мавер, убитый при Тутракане и оставшийся юным, как песня, обвязывал черными шнурами белые свои обмотки. Звенела медными ведрами Янка, его суженая. Баклажка сливовицы, что посылала она ему на войну с одним отпускником, упала, но не разбилась. Потому что всегда была та баклага до краев полна студеной, тихой водою — чтоб был у них дом полная чаша. Рила в душе посмеивалась над этими туманными образами. Они были бесхитростны и ласковы, как дикая герань у колодца и ягоды кизила, разложенные для просушки на гладком камне. Все предметы в этом доме были простые и крепкие, округлых, мягких очертаний. Рила со своим профессиональным ощущением материального мира чувствовала связь, которая существовала здесь между вещами и людьми, так же как и тревожную чуждость ее городского жилья. Начиная с холодильника и кончая телевизором, что-нибудь обязательно ломалось и лишь после длительной беготни отыскивался умелец, способный устранить поломку.

В просторном доме бабушки Пены жила еще одна квартирантка, немолодая учительница.

— Каждый камешек в этом дворе мне знаком,— говорила она Риле,— каждый дорог. Не родной, не отчий дом, но здесь прошла вся моя жизнь.

Некогда в этом селе учительствовал Антон Страшимиров[3]. «Наш

[1] Габриель Фигероа (род. в 1907 г.) — выдающийся мексиканский кинооператор.
[2] «Бамбук» — популярное в Софии кафе.
[3] А. Страшимиров (1872—1937) — писатель, видный деятель болгарской культуры.

учитель Андон»,— вспоминали о нем старики, а учительница до сих пор страдала при мысли, что Страшимирову приходилось месить здешнюю липкую грязь. И словно отражение в воде — Янка, Мавер, учитель Андон,— все они присутствовали в будущем фильме: так корни дерева что-то шепчут его листве. «А я? Чем я запомнюсь людям? — размышляла Рила.— Здешние женщины спрашивают, почему я бросила детей одних. Если я скажу им, что работа не менее дорога мне, чем дети, они подумают, что я не мать, а мачеха. Я самой себе боюсь в этом признаться. Оператор мне откровенно сказал: «За такие деньги да еще вкалывать?» Мне же ночью снятся эпизоды из фильма, а днем я вижу, что за кадром — пусто. Пока еще пусто, еще не передан ритм жизни. Это твое выражение, любимый, ты ведь поймешь, как мне трудно, как я тоскую без вас. Только мы одни за миг до концерта знаем, какая мелодия польется из настраиваемых инструментов. Только нам дано испытать триумфальное чувство дирижера...»

— Рила, ты что там делаешь во дворе? — окликнула ее с крыльца учительница.— Сумку бы хоть сняла, плечо оттянет.

— Задумалась... Моя мама, когда приезжает на дачу, рюкзак не успеет снять — сразу принимается полоть клумбы.

— Я оставила тебе пшеничной каши, поди поешь,— позвала ее бабушка Пена.

Дубовые леса, полыхавшие медно-красным огнем, заполняли узкое окошко. Негромко гудела река в ущелье, между холмами. Рила взяла книгу — на полях было много пометок, сделанных рукой мужа. Она отметила бы те же самые места.

...Осень в Софии — их любимая пора. Они вместе возвращаются со студии домой, разговаривают о друзьях и недругах. Это даже не разговор, это великолепная портретная галерея. Его острый, ясный ум встречает мягкое сопротивление тех тайных снадобий, которыми она лечит раны, нанесенные его самолюбию. Но редко бывает, чтоб они шли по осенним улицам только вдвоем, и дома они тоже редко остаются одни. Молодые голоса — восторженные и скептические, торжествующие и сдержанные — затопляют их дом, как река в половодье заливает берега. Кофе со свистом вырывается из польской кофеварки, благоухающий пар пресекает на миг поток мыслей, профессиональных шуток, литературных новостей. Но если бы они ничего не создали, если богатство их мира не составилось бы из множества поисков, странствий, добровольного затворничества, то эти бесценные сокровища превратились бы в пепел празднословия. Иногда на студии ей удается перехватить его взгляд, увидеть в его глазах беспомощное и мечтательное выражение, и тогда она понимает, что он думает об их детях либо же вглядывается в какие-то смутные образы.

Ветер хлопнул источенной рамой. Не дочитав страницы, Рила подсела к окошку. Тишина и сумерки подхватили ее, точно гамак, но не принесли успокоения. «Взвалила на него все заботы. Разлука рассердит его, отдалит нас друг от друга. В конце концов, картина может сойти и так». Неторопливыми, точными движениями она начала собирать вещи.

Во дворе стукнула калитка, послышались голоса. Бабушка Пена и учительница заглянули к ней в комнату.

— Телеграмма тебе,— в один голос сказали они с той тревогой, какую обычно вызывает у людей поздняя телеграмма.

Женщина с почты сложила губы сердечком, и Рила поняла, что она знает содержание телеграммы. На бланке стояло два слова: «Люблю. Оставайся».

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА

Денгра

Вот каким застала его старуха, когда переступила порог: сгорбился на табуретке, глаза потухшие, губы искривлены. А только что, входя в ее двор, он был совсем другим: говорил, правда, сбивчиво, но человек, видать, хороший, и какая бы ни лежала у него на сердце тяжесть, под всем этим — мягкая мужская доброта. Потому и велела она ему зайти пока в горницу, посидеть, покуда она перевернет разложенные на куске рядна листья мать-и-мачехи. Вот уж пятьдесят лет врачует она травами и разные люди приходят к ней: и стыдливые молодухи со свекровями, и старики, страдающие одной лишь болезнью — старостью, а иной раз приходят такие, для которых единственное, последнее лекарство — доброе слово.

Врачевала она просто, открыто. Первым делом осведомлялась, ходил ли больной к доктору и что доктор сказал, подробно расспрашивала, что болит, потом расстилала на столе белую тряпицу и раскладывала на ней свои травы. Связанные в пучочки, травы висели под выбеленным потолком, и перед тем как вытянуть из пучка стебелек, старуха тихим, ровным голосом объясняла больному, в чем сила этой травы, рассказывала обо всех, кого она когда-либо вылечила. С этого-то и начиналось лечение, потому что в эту именно минуту человек проникался верой и в нее, и в сухие стебельки, что ложились один за другим на белую тряпицу.

Такая это была старуха. Врачи из сельской больницы зла на нее не держали и не мешали ей, потому что и она им не мешала. Ни разу не преувеличила целительной силы своих трав и никому не навредила из суетного желания вмешаться тогда, когда помочь мог только врач. Кроме того, старуха ни с кого не брала денег. Если кто-нибудь, уходя, тянулся к карману, она сердито останавливала его всегда одними и теми же словами:

— Оставь, не надо, я делаю это для души.

За эти пятьдесят лет, особенно вначале, когда в селах еще не было докторов, по всей округе распространилась о ней добрая молва, где правдивая, а где прикрашенная благодарной бабьей фантазией. Только односельчане в нее не уверовали. Не уверовали потому, что старуха жила у них на глазах и они с малолетства помнили ее черный силуэт на склонах окрестных холмов, похожий на осколок черного камня. Помнили, как к вечеру она возвращается, согнувшись под мешком с целебными травами. Дом ее стоял в середине села, покосившийся и неказистый рядом с новыми домами, чудом уцелев после

всех планировок и перестроек. Жила старуха одна-одинешенька, и в селе испокон веку и стар и млад знали ее только такой — всегда с ног до головы в черном и всегда куда-то спешит. Лишь самые древние старики и старухи смутно помнили, что когда-то и у нее был дом полон детьми и близкими, что в черное она оделась после смерти дорогих ей людей и траур этот незаметно перешел в черное старушечье одеяние. Никто не знал, откуда ведома ей целительная сила трав. А она распознавала их с горестной умелостью матери, искавшей некогда снадобья для спасения своих детей.

Осенью, едва похолодает, женщины из села приходили к ней за ромашкой. Лекарка заранее заготавливала ее в чистых белых пакетиках, залепленных клейстером. Денег ей не платили, лишь оставят на краешке стола кусок пирога в промасленной газете либо мисочку с повидлом. Воздух в ее горенке был пропитан горечью и одиночеством. Бабы, не снимая пальто, забирали пакетики, роняли несколько слов, которые могли сойти и за благодарность, и за прощанье, и спешили назад, в свои дома, где комнаты пахли шерстяными дорожками и детьми. Только самые старые оставались иногда поболтать, жаловались ей на сыновей и невесток, изливая свои обиды легко, без оглядки на самолюбие, ибо давно убедились, что лекарка умеет молчать, и потом — ведь что ни расскажи ей, все равно она куда несчастней их самих.

Мужики-односельчане редко переступали ее порог. Поэтому, когда сегодня этот человек отворил ее калитку, старуха решила, что он из другого села.

Пятьдесят лет врачует она травами, и всякие люди на этой низенькой табуретке сиживали, со всякими недугами, но сейчас, глянув на мрачное лицо гостя, старуха оробела: какой-то новый, неведомый недуг стоял у него в глазах, и она не знала, какой же травой исцелить его.

— У доктора был? — спросила она.

— Был,— сухо ответил он.— У восьми докторов побывал, и все говорят — здоров, нервы не в порядке, а вообще-то здоров. А я — болен...

У нее издавна имелись испытанные вопросы, которые могли любого вызвать на разговор, но тут почуяла она: этот не такой, как другие, и вопросы для него нужно придумывать сейчас, и совсем новые — такие же новые, как и хворь, что точит его.

— Сон, небось, бежит от тебя, а? — негромко заговорила старуха, глядя на темные круги у него под глазами.

— Верно,— хмуро признался гость.

— Вот что: травку для сна я тебе тоже дам, но ты сперва скажи, где у тебя всего сильней болит.

— Не знаю...— ответил тот.— И не болит, а точно огнем жжет. Точно угли горящие у меня внутри, вот здесь.— Он прижал большую ладонь к своему синему свитеру, из-под рукава мягко блеснули золотые часы.— И спать не сплю, и еда никакая в рот не лезет.— Он замолчал. По дороге сюда он решил не слишком открывать душу старухе, и собственная неожиданная откровенность смутила его.

— А ты, часом, не выпиваешь? — ровным голосом спросила лекарка.

Он не ответил. Потупил голову, светлые брови чуть шевельнулись. Старуха только теперь заметила, что его коротко остриженные вьющиеся волосы тронуты сединой и кажутся темно-русыми лишь потому, что недавно приглажены мокрым гребнем.

— Про вино и думать забудь, травы — они вина не терпят.

— Да ладно уж,— с раздражением оборвал он. Острые колени кач-

нулись, и старуха почувствовала, что ниточка доверия, протянувшаяся между ней и гостем, со звоном оборвалась.

Надо было все начинать сначала. Они сидели друг против друга, оба недовольные собой. Чтобы выиграть время, лекарка, послюнявив пальцы, поправила платок, черной стрехой нависавший у нее надо лбом. Долгие блуждания по открытым лугам и полянам приучили ее так повязывать голову, чтобы платок защищал от солнца.

В окно было видно, как пастух пригнал стадо и коровы неторопливо, умно потянулись каждая к своему двору.

— Слышь-ка, ты откуда ж будешь? — прервала молчание старуха.

— Здешний я.

— Отчего ж я тебя не признаю?

— Редко бываю дома...

— Постой-ка! — догадалась старуха.— А ты не Калоян? Беличевых сын?

Гость кивнул, но продолжал сидеть потупившись.

— Что же ты мне сразу не сказал! — Она скрестила руки на коленях и с облегчением распрямила спину, словно освободившись от тяжелой ноши.— Коли ты Калоян, тогда я твою болезнь знаю.

Калоян поднял недоверчивый взгляд навстречу быстрым и острым глазам лекарки.

— И не гляди на меня так. Не вру я, вправду знаю.

С позапрошлой еще осени слыхала она про этого человека, потому что чем меньше село, тем меньше секретов можно от него утаить. К тому же сын Беличевых ни от кого и не скрывал, что едет в Африку. Село долго судило-рядило об этом, в ту пору как раз варили сливовицу, мужики по ночам дежурили у котлов, и от полуночных ли этих разговоров, запиваемых глоточками теплого первача, либо от нежелания уронить себя перед женами мужики сперва не поверили предстоящей поездке Калояна. Сами себя спрашивали и сами же себе отвечали: не может такого быть. Если уж посылают болгарских каменщиков в Африку, так почему обязательно сына Беличевых? Да он с шестнадцати лет в городе работает, а дома себе никак не выстроит и каждый день мотается туда и обратно на «кукушке», хоть баба его и бахвалится, будто, захоти они, завтра же могут перебраться в город, да не хотят.

Молва эта просуществовала около месяца, то укрощаемая чьим-нибудь разумным, справедливым словом, то вновь подымая голову, подхлестнутая извечной жаждой человека в чем-то превзойти других; той самой жаждой, из-за которой даже самый невзрачный, тихий человечек — пригласи его кто, скажем, в свидетели на свадьбу — становится неузнаваемым и ходит, важно выпятив грудь. Потом большинство односельчан махнуло рукой и успокоилось, но кое-кто, распаленный женинными попреками, не мог простить Калояну его удачливости. Все это было известно лекарке от начала до конца, потому что сельские заботы всегда достигали ее слуха. Слыхала она и об отъезде Калояна, а потом о письмах в пестрых конвертах, которые каждый понедельник приносил почтальон. По письмам этим и открыткам, которые его жена всем и всюду показывала, село привыкло следить за далекой жизнью Калояна, не забыло его, как часто бывает, когда человек уезжает надолго. Не только не забыло — год спустя уже все село поджидало его возвращения.

Рассказы баб, приходивших к ней за ромашкой, помогали старухе следить за жизнью Калояна. Бабы не поминали сына Беличевых ни злом, ни добром, но за показным равнодушием лекарка без труда обнаружила зависть, неминучую и понятную зависть матерей к успеху

кого-то чужого — ровесника их сыновей или зятьев. Обостренное чутье много страдавшей женщины давно подсказало старухе, что, когда сын Беличевых возвратится в село, множество глаз будет следить за каждым его шагом и этот незнакомый ей человек должен будет отныне жить так, чтобы не дразнить тех глаз, не всколыхнуть материнской зависти. Ей вчуже было боязно за него, и она не ошиблась.

В большом городе никто бы и не заметил, а в селе все увидели, как желтый грузовичок дважды привозил во двор Калояна тяжелые картонные коробки. Сгружали их парни в синих комбинезонах, с целлулоидными козырьками у лба. Довершило дело хвастовство Калояновой жены. Не взвесила она хорошенько своих слов, и за несколько дней сделалось то, чего лекарка больше всего опасалась. Картонные коробки будто глухой каменной стеной отгородили Калояна от села. Поглощенный своими приобретениями, он сначала ничего не заметил, а потом уж было поздно. Оплошал он и в первый же после приезда день, когда люди ждали, подойдет ли он к ним поздороваться.

Старуха быстро узнавала о слухах, что ходили по селу. И поскольку узнавала их от баб, она первая и, может быть, лучше других поняла, чем досадили селу Калоян и желтый грузовичок. Поэтому, услыхав его имя, старуха и вправду знала уже, какая болезнь его точит.

— Вылечу я тебя, сынок,— сказала она, неторопливо вставая.— Сперва для сна травок дам, а травки для другого — после, сейчас у меня нету их. Как найду, пошлю тебе весточку, чтоб приходил.

Когда Калоян немного погодя вышел из ее домика и зашагал по уже окутанной сумерками улице, на душе у него было теплее, спокойнее и он почувствовал — чего уже давно с ним не случалось — живой и веселый голод.

Старуха не обманула его. Не было у нее трав от его болезни, потому что не растет на земле такая трава, а если и растет, то никто и никогда еще не находил ее.

На следующее утро, копая корешки на луговине за холмом, старуха, не переставая думала о сыне Беличевых. Поглощенная своими мыслями, она несколько раз перерезала корешки острием мотыги. «Господи боже, отчего есть снадобья и от глаз и от сердца,— размышляла она,— против худой крови и кружения в голове, а нету снадобья против зависти, черной зависти, что изводит человека хуже яда — и того, кто завидует, и того, кому завидуют,— и мешает радоваться своему дому и здоровью, покуда есть здоровье».

Ее и раньше, бывало, навещали такие мысли, и всегда находила она какое-то утешение, но сейчас боль за сына Беличевых стояла у нее в глазах тяжелая, едкая, и лекарка не могла да и не хотела обойти ее стороной. Она была сейчас одна на лесной опушке, а хотелось перекинуться с кем-нибудь словом, хотя бы даже с бабкой Василицей, которая порой пригоняла сюда своих коз. Если не совета спросить, так хоть произнести вслух то, о чем думалось, потому что невысказанные слова не давали ей покоя. «Нельзя, Василица,— скажет она,— нельзя, чтоб сильней всего в человеке была зависть. Потому что добр человек и умен и должно у него в душе быть что-то, что сильнее зависти. Вот это я и ищу сейчас, это и хочу пробудить в людях, чтобы спасти сына Беличевых».

Старуха вздрогнула. Воткнула мотыгу в рыхлую землю и долго стояла не шевелясь. Из-под выцветшего платка светились глаза, счастливые от неожиданного прозрения. Разрезанные корни роняли слезы, но она не замечала этого. Она нашла наконец волшебное снадобье...

«Всех вылечу,— думала старуха.— И Калояна, и разгневанных ма-

терей...» Она не услышала легких шагов Василицы и поэтому вздрогнула, когда рядом раздалось:

— Все роешь и роешь. Отдохнула бы...

— Как же отдыхать, Василица, когда болезням краю нету.— Опершись на мотыгу, она показала рукой на видневшееся вдали село.— Вот у Беличевых сын захворал. Денгра напала.

— Чего, чего?

— Денгра. Болезнь такая, иноземная. Я уж тебе открою, но ты никому ни словечка, слышишь?

— Никому!— Василица сразу стала сговорчивой.— Рассказывай...

Они сели рядышком на сухую землю. Лекарка присыпала корни землей, чтобы не засохли, и негромко заговорила:

— Калоян-то в чужие края ездил, на заработки... И подхватил там денгру, в воде подхватил. Разлилась там река, понесла вода ребятишек, а в деревне мужиков других не было, один Калоян там случился. Ну, он в реку, детишек вылавливает — точно дыни черные — и матерям подает.

— А дальше? — осипшим голосом спросила Василица.

— Дальше? Ранка у него на пальце была, и через ту ранку просочилась к нему в кровь денгра... А лечится та денгра сладким корнем — слыхала я от одной турчанки. Только ты об этом — молчок, поняла?

За свою восьмидесятилетнюю жизнь лекарка успела понять, что быстрей всего узнается секрет, если первому, кому ты его откроешь, сказать: «Ты об этом — молчок, тебе одному говорю».

— Никому ни словечка,— пообещала Василица, нетерпеливо поглядывая в сторону села...

Всего через несколько дней, проходя вечером по улице, лекарка увидела, как встречные пожимают Калояну руку, а он идет, окруженный односельчанами, счастливый и растерянный от неожиданного и не очень-то понятного дружелюбия. Молва о заморском его недуге, обежав село, под конец достигла низенькой горницы старухи. Через много уст прошла эта молва и стала похожей на длинную, чудесную сказку. Старуха не обмолвилась ни словом. Вышла проводить очередную гостью до ворот, а потом осталась одна у плетня, спокойно глядя на засветившиеся окна родного села.

Перевод М. МИХЕЛЕВИЧ

■

СТАНКА ПЕНЧЕВА

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

Мое время

Если б пришлось выбирать —
родилась бы в то же самое время я,
в том же городе,
где в синеве
плавится солнце летнее.
Я снова бы встретила
осень Освобождения —
в школьном переднике,
восторженная
пятнадцатилетняя.
Ту, самую светлую и прекрасную
осень в Болгарии,
когда я была связана кровно со всеми,
когда называли друг друга мы
только «товарищи»...
Пусть снова судьба моя маленькая
вольется в великое Время.
Пусть будут опять
стенгазеты, миллионы вопросов
и споры до самой зари
в каком-нибудь сгорбленном доме.
Я снова влюблюсь,
и снова отрежу я косы,
и от кирки
мои огрубеют ладони...
И нитью дороги моей судьба постепенно
прошьет полотно туго натянутой жизни,
чтобы могла я,
маленькая, обыкновенная,
остаться в нем навсегда,
впитав солнца горячего брызги.
Бежит моя нить без остановки,
не зная покоя,
тонкая, незаметная,

быстрым годам навстречу.
Далекий незабываемый мир
пишет моею рукою
и исчезает...
И живет во мне вечно.

Старые революционерки

Седеют их головы — белокурые, черные,
словно вершины горные
в белых снегах под звездами,
словно вершины горные,
молниями обожженные,
ливнями и ветрами яростными исхлестанные.
Но и они не каменные,
они не вечные:
старые раны болят —
не лечат их годы.
Болят их сердца
болью тупой, бесконечной.
А сон в жаркой мучительной тьме
все не приходит...
Вместо него
из тьмы палачи являются
(ровно в полночь из тьмы приходит палач).
А ночь бесконечна,
ночь все никак не кончается.
И разрывает сердце
детский полузабытый плач...
А на рассвете приходят убитые —
братья, друзья, любимые
молодости твоей.
Сходят они беззвучно с пьедесталов гранитных,
с тех, что стоят в горах
и в центре больших площадей.
Приходят
расстрелянные, заживо в землю зарытые,
парни и тонкие девушки приходят из темноты,
живые и праздничные, с сердцами, солнцу открытыми,
и только на ноги им
пыльцу роняют цветы...

А утром,
забыв о мертвых,
с живыми они просыпаются
и трудятся вместе с живыми
в солнечном шуме дней.
И незаметно биенье сердец их сливается
со звонкими и веселыми голосами детей.

Они живут среди нас,
став нашей памятью гордою
об удивительных днях, что будут сиять в веках

Они живут среди нас,
став живою историей.
И смотрим на них мы,
как на вершины горные,
утонувшие в облаках...

Поэзия

Дано тебе маленькое поле.
Если хочешь — оставь его диким и вольным
или долби его землю, твердую, словно камень,
паши ее плугом или прямо руками,
ее засевай, нежностью или ненавистью ослепленный,
а после пшеницу железом жни закаленным.

И мне дано маленькое поле...
Падаю в его борозду, задыхаясь от боли,
и снова встаю, чтобы бросать бессонно
горсти зерна ладонью своей обожженной,
встаю — ведь кончается день и ночь надвигается темная.
А поле мое — оно, как земля,
огромное...

Театр

Артист все кланяется
и кланяется.
По скулам его стекает пот,
ноги его дрожат,
как у коня
после жестокого бега.
И в голове все звучат и звучат
чужие слова
и чужие мысли,
и всплывает медленно он —
будто с глубокого дна —
к мыслям своим,
к себе самому.
Артист все кланяется,
все кланяется.

А мгновенье назад
держал он в горсти этих людей,
швырял их на землю,
к звездному ветру их поднимал,
великими делал
и жалкими...

И непонятно мне,
почему
он теперь кланяется,
а не люди
падают перед ним на колени...

■ ■ ■

Все нужно делать вовремя —

покинуть полыхающий костер,
пока огонь не превратился в пепел;
и вовремя уйти из-за стола,
чтоб не делить оставшиеся крошки;
и отвести глаза,
пока глаза другие не остыли.

Я не люблю сухих цветов,
пустых бокалов.
Ты никогда ко мне не прикасайся
без любви.

Запоздавшая

Теперь бы
воспела я
не первую любовь —
бесплотную, белую,
апрельскую и прохладную,—
я воспела бы ту,
запоздавшую,
беспощадную...

От нее не спастись, не укрыться,
она разрушает, ломает —
ей можно лишь покориться,
она оскорбляет
и бывает сама оскорбленной...
Не ступает она по мягкой траве зеленой,
а идет по грязи,
по острым камням,
сквозь ненастье и темень,
идет —
потому что страшно торопится время,
потому что грядет
величайшая в жизни разлука...

Идет,
горящая темным огнем,
сквозь счастье и муку,
следы оставляя кровавые
и все-таки в светлое веруя...

Не первую я воспеваю,
не первую.

■ ■ ■

Желуди, желуди,
желуди падают —
крупный, веселый
ливень над нами!
Сквозь листву густую,
звеня, ликуя, радуя,
падают желуди в землю нарядную,
чтобы взойти молодыми дубками...
И на ладонь мне кладешь ты торжественно
желуди — словно из старого золота.
«Как драгоценности!» — скажу я по-женски,
и царственно светятся в руке моей желуди.
А ты задумчиво: «Они как пули...»
И я их роняю — свинца тяжелее.
Кусты под дубами стоят сутулясь.
Как кровь человеческая,
листва их алеет...

■

Из албанской прозы

РАССКАЗЫ

Перевод Т. СЕРКОВОЙ

ДИК КУТЯЛИ

Сельский учитель

Белое, усыпанное ромашками поле, посреди вьется тропинка. Линия горизонта освещена восходом. Светло-синее, чуть лиловатое небо.

С холма спускается учитель. Он идет в город. Крестьянские ребятишки почтительно здороваются с ним.

Учитель идет дальше...

Большие дома, широкие улицы и только в классе — тишина. Учитель принес букетик цветов. Дети слушают затаив дыхание.

В окно врывается свежий весенний воздух. Детские голоса глухо отдаются во дворе, мощенном булыжником.

Звонок собирает и провожает маленьких школьников. Годы приходят и уходят. И со слезами покидают школу ученики.

Начинает подыматься завеса, скрывающая жизнь.

Заржавел школьный звонок. Остался без обуви учитель. Сидит учитель у окна, и чередой проходят времена года. В зимние метели ученики из деревень пробираются сквозь вьюгу и сугробы. Вечерами они приносят учителю охапку дров, горшок молока, чурек кукурузного хлеба.

— Это вам, господин.

Вспыхивает огонь, мечутся красные языки пламени.

— Спасибо, дети мои, спасибо. Не уходите так скоро. Обогрейтесь. На дворе мороз.

Гудит пламя в очаге.

Спит деревня. Ночь.

Весна приходит и уходит, а там и лето, и снова осень с тучами и дождями.

Ясная ночь. Снег на крышах домов и лачуг, на деревьях.

Какое синее небо! Ледяные сосульки висят, как цветы на ветках черешни.

Но дети больше не приходят! А старик надеется, что отцы города — они ведь тоже были когда-то его учениками — дадут ему, наконец, пособие. Столько лет трудился для народа! И он ждет...

На следующий вечер — только охапка валежника:

— Больше ничего нет, господин. Паводком смело у нас посевы. Скотину кормить нечем. Спокойной ночи, господин!..

18 мая 1941 года.

Апельсины

Палящий зной. С дороги поднимаются тяжелые испарения. Солнце в зените, а он ходит и ходит... Сегодня с утра он ищет работу.

Зашел в дорожностроительную контору, но туда не приняли. Зашел к предпринимателю, строящему дом, но и у него не нашлось работы. Толкнулся было к одному толстосуму, что собирался проводить у себя канализацию,— хозяина не оказалось дома. Нет работы! Нет работы! Как это ужасно, когда нет работы! А у него нет работы — значит нет и хлеба!

Нет хлеба! Еще нет и хлеба?! Сосет под ложечкой... Право, совсем напрасно сосет под ложечкой: хлеба нет. И вечером хлеба не будет.

Нет хлеба?! Пот струится по хмурому лицу. А солнце смеется: ведь это оно заставило человека изнывать от жары, оно залило пóтом его лицо. Солнце не знает, что такое «нет хлеба», и смеется так, без всякой причины: просто нравится ему смеяться...

Идет рабочий по широкой улице, жмется к стене, ищет тени. Но дело не только в тени: его манят аппетитные запахи.

А пот струится сильней.

Голод, солнце! Нет хлеба и мало тени, а ты иди и иди!

Стоп! Что это такое? Апельсины... Апельсины! В витрине магазина. Апельсины? Нет, сейчас, летом, их не может быть! Рабочий стоит, думает, устремив взгляд на витрину. Да, да! Крупные апельсины. Сейчас, летом? Он снова смотрит на витрину, потом озирается по сторонам: никого...

Голод, солнце, жажда! Бам! Осколки стекла посыпались на землю. Он протягивает руку, хватает апельсин и тут же впивается в него зубами... Но что это? Хруст? Апельсин хрустит? Да, хрустит. Апельсины были из стекла...

А теперь пошла кровь. Кровь, кровь!.. Зачем льешься ты, кровь? Напрасно льешься ты, красная кровь... Рабочий не знает, почему льется кровь и чему смеется солнце, он продолжает идти под палящим зноем.

Голод, солнце, жажда, кровь, скрытая трагикомедия летних апельсинов!..

Сентябрь 1940 года.

СОТИР АНДОНИ

И умертви плоть свою

Наступила зима, повалил снег, и северный ветер бушевал над Албанией. Тревожно шумели леса, реки сковало льдом. Тюрьмы были переполнены, кукуруза неуклонно подымалась в цене, и люди пали духом.

В то время некий байрактар [1], вскормленный, как червь на падали, фирманами [2] султанов, от которых Албания уже давно избавилась, готовился короноваться в Тиране [3].

---

[1] Байрактары — представители албанской феодальной знати, обладавшие административной и судебной властью, передававшейся по наследству, во времена турецкого ига получали немало привилегий от султанов.

[2] Фирман — декрет, указ.

[3] Речь идет об албанском короле Ахмете Зогу (провозгласил себя королем в 1928 г.).

Именно тогда в одной из дальних деревушек этой суровой страны началась история, о которой мы вам расскажем.

■

Расстроенный и мрачный пришел сюда, на эту проклятую поляну, на Луг слез, Коль, сын Стефана. Перед ним брели товарищи, позади — родные: мать, закутанная в черный платок, отец-калека, младшая сестренка и молодая жена. Коль уселся на корни айвового дерева и стал оглядывать людей, тесно сгрудившихся вокруг. Плакали женщины, мужчины сидели, понурив головы, старики сутулились больше обычного, под ногами вертелись молчаливые, встревоженные ребятишки. Тут же стояли мулы, навьюченные домотканными одеялами и топорами.

На заработки в чужие края уезжал весь цвет деревни. Отправлялись мальчуганы лет десяти-двенадцати, растерянные, как ягнята, которых оторвали от матки. Уходили и подростки постарше, разлучались с домом молодые крестьяне, лишь недавно сыгравшие свадьбы, собрались в путь пожилые и старики — все с легким грузом одежонки и нелегким грузом забот. Шел на чужбину и Коль, сын Стефана, парень-богатырь, косая сажень в плечах, первый на деревне заводила и весельчак, которого все называли соловьем, потому что он всегда пел — была причина иль не было, пуст был желудок иль нет; и где бы он ни находился — на току, в горах или на поле,— всегда готов был пуститься в пляс. Но сейчас на душе у него было тяжело, а в глазах стояли слезы.

Месяц назад Коль взял в жены Марину, дочь Лигора. Он похитил девушку и не больно-то обращал внимание на то, что над ним потешалась вся деревня, а женщины в негодовании дергали себя за щеки.

Но не прожил Коль с молодой женой и недели, как отец, оставшись с ним наедине, сказал:

— Коль, сынок, в нашем амбаре пусто, мышь упадет — лоб расшибет. Ничего у нас нет — ни хлеба, ни добра... Знаю, тебе дела нет до того, что старики говорят, но одной любовью, сынок, сыт не будешь. Хлеб нужен. А мне руки-ноги служить отказались. Вырастил я тебя, вскормил, теперь настал твой черед: бери-ка, сынок, топор и отправляйся вместе со всеми на Святую гору [1], на заработки.

— Неужто здесь нельзя найти какой-нибудь работы, отец?

— О чем ты спрашиваешь меня, сынок, ты ведь не хуже моего знаешь: сейчас такое время — все готовы сожрать друг друга. Мне и самому тяжко: выходит, будто я гоню тебя из дому, но что поделаешь — не ты первый, не ты последний... Через месяц-другой люди отправятся в путь, хорошо бы и тебе начать сборы...

И Колю пришлось согласиться. Пока речь шла о его сердечных делах, он мог махнуть рукой на пересуды, но сидеть дома сложа руки в трудную минуту — этого гордость ему не позволила.

Расположившись возле дерева, Коль ждал, пока все соберутся. Он сидел, уставясь куда-то в пространство, бледный и хмурый. Рядом уселись мать, отец, сестра, в ногах пристроилась Марина. Молодая жена печально вздыхала. Все родные смотрели на него горестно, украдкой смахивали слезы, иногда касались его рук и уже сейчас с надеждой думали о его возвращении.

На другом конце луга заплаканные женщины в черных платках то ли запели, то ли запричитали прерывающимися голосами:

---

[1] Святая гора, Афон,— полуостров в Восточной Греции, место расположения мужских монастырей.

Ох, и снегу ж выпало нынешней зимою...
Чего же ты молчишь, когда твой сын уезжает!
А что я жду ребеночка — того он и не знает.
Чего же ты молчишь, когда твой сын уезжает!
Уже подъехал возчик, коней нагружает —
Чего же ты молчишь, когда твой сын уезжает!
А я в дорогу яблочка ему не положила,
А я пути счастливого ему не пожелала,
Три ночи и три дня все только слезы проливала...
Вот когда назад вернется, уж поплачет милый
За оградою церковной — над моей могилой![1]

Тетушка Вана подошла к Колю и попросила его, прижав руку к сердцу:

— Ради всего святого, Коль, ты же мне родной, прошу тебя, позаботься о моем Тили, ведь он у меня совсем еще маленький, золотко мое. Ты уж не своди с него глаз, сынок. Ладно?

Она хотела сказать еще что-то, но слезы душили ее. У Коля задрожали губы, а тринадцатилетний Тили стоял рядом с окаменевшим лицом.

— Не беспокойся, тетушка Вана, все сделаю, как ты сказала. Мальчик будет со мной...

Торопливо зазвенел колокол на церкви Шен Дьердя, и люди поднялись. Снег повалил гуще, среди обнаженных ветвей свистел ветер, вода в реке покрылась коркой льда. Слезы, объятия, причитания, плач — наступила минута прощания.

— Перекрестись трижды, сынок,— сказала Колю мать. Парень первый раз перекрестился истово, а дальше уже кое-как.

— До свиданья, отец, скоро вернусь,— сказал Коль и погладил старика по плечу. У того комок встал в горле, губы искривились, и когда сын повторил: «До свиданья, отец», он, указав палкой на небо, упавшим голосом произнес:

— До свиданья... там, на небесах...

Караван тронулся в путь. Впереди всех шли Коль с Тили, за ними увязался пес. Сердце молодого парня захлестнула тоска. Таяли все его мечты о счастливой жизни. Сколько лет теперь ему суждено не видеть Марины, не целовать пухлых ее щек. Ласковые руки матери не будут больше заботиться о нем, и никогда, наверно, ему не увидеть задумчивых глаз отца. Деревня медленно исчезала за холмами, а будущее таило неизвестность. Их ждала рабская, полная горя и страданий жизнь угольщиков, прозябание в лесной глуши, куда имели доступ лишь мужчины и животные мужского пола. Они шли на Святую гору, где обитают монахи, а в пещерах ютятся отшельники, где царят Евангелие и Библия, где нет конца молебнам и литургиям. Раб нужды, он уходил на чужбину. Земляки шли за ним, нагруженные каждый своими вещами, заботами и бедами. Растерянные, опустошенные, с могильным холодом в сердце брели они, открывая дорогу черным вестям.

Слова из той песни, которую пели женщины, все время вертелись у Коля в голове:

А что я жду ребеночка — того он и не знает.
Чего же ты молчишь, когда твой сын уезжает!

Часа через три караван подошел к границе. Навстречу вышли пограничники и потребовали бумаги. Коль протянул старшине паспорт. Тот повертел его в руках, держа вверх ногами.

— Как тебя звать-то?

— Сам читай, там написано...

[1] Здесь и далее перевод стихотворного текста Ю. Левитанского.

— Нет, здесь написано совсем не твое имя, — возразил старшина.— Здесь написано — двадцать крон... А ну, давай раскошеливайся.

— Еще чего... С меня ты, сколько зубы ни точи, не сдерешь даже медного овула [1],— ответил Коль и отошел в сторону.

Старшина нахмурился и повернулся к другим путникам.

Когда они миновали границу, дорога круто взяла вверх. Крестьяне шли торопливо, не говоря ни слова, сумрачные, задумчивые. Время от времени они оборачивались, смотрели на Моравскую гору, постепенно исчезавшую в тумане, вздыхали, крестились:

— О господи, пошли нам удачи!

Караван покидавших родные места дни и ночи тащился по долинам и горным ущельям, мимо постоялых дворов и деревень, по тропинкам, протоптанным еще их дедами и прадедами.

Дней через двадцать прибыли они на Святую гору. Несколько монахов и греческих жандармов тщательно проверили, нет ли среди них женщин, и для большей уверенности расстегнули штаны безусым подросткам. Затем удостоверились в принадлежности к мужскому полу кота, внимательно осмотрели Балё, собаку Коля, и сочли особями женского пола четырех кур, хотя гребешки у них были очень длинные. Кур они забрали себе, приказали вернуть мула-самку и, рассказав о монастырском уставе, пропустили прибывших.

Коль обратил внимание на очень высокую башню, стоявшую неподалеку. Мастер Коста объяснил ему: в давние времена сербская царица пожертвовала средства на постройку монастыря Хилиандариу. Когда же ей, как женщине, не позволили туда войти, она приказала построить эту самую башню. С верхней ее площадки она и увидела весь монастырь как на ладони.

В тот же день крестьяне пришли в лес, где им предстояло рубить деревья. Навстречу вышел длиннобородый игумен и договорился с мастером Костой о работе и об оплате. Потом они быстро соорудили подобие шалаша — по бокам плетень, сверху — жестяной навес. Мастера Косту выбрали старшим и не мешкая принялись за дело.

Коль ни на минуту не отпускал от себя Тили. Рядом с ними вертелся их пес. Мальчонка-несмышленыш старался во всем угодить Колю.

— Коль, хочешь холодной воды?

— Нет, не хочу. Подожди, потом вместе пойдем к роднику.

— Коль, хочешь маслин?

— Собирай и ешь сам.

— Коль, а сколько мне будут платить?

— Не знаю, глупыш. Сколько заработаешь, столько и получишь.

— Но я должен получить побольше! Нам нужно много денег! У матери в декабре кончится кукуруза, и если я ничего не пришлю, как же они будут, мать с сестрами?

Тут к ним подошел монах в длинной черной рясе. Кожа на ввалившихся щеках его собралась складками, посреди лба вздулась вена. Низкая камилавка плотно сидела на голове.

— Бог в помощь, юноши!

— Добро пожаловать, батюшка!

— Я не священник, я монах. Зовут меня Филофей, и я друг вам. Прошу вас, прервите ненадолго работу и послушайте слово божье.

Он вынул из рясы Библию, закапанную воском:

— «Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в царство небесное, и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в

[1] Овул — старинная мелкая монета.

царство божие...» О юноши! Вы грешны, ибо вы дети Адамовы, но обратите взор к господу нашему, и он пребудет с вами всегда. Спасайте души ваши, рабы божьи, ибо истинно, истинно говорю вам: приидет день страшного суда, и мертвые восстанут из могил, и пошлет господь бог ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных ею от четырех ветров...

— Чего ты хочешь от меня, божий человек? — прервал его Коль.

— Хочу, чтобы ты постригся в монахи, юноша, ибо ты еще молод и душа у тебя не слишком погрязла в грехах.

— Но мы пришли сюда не постригаться в монахи. Мы пришли работать, чтобы содержать наши семьи.

— Я тоже некогда явился сюда с гор Албании, но господь бог сподобил меня уразуметь, что грех думать о теле, созданном из праха земного и потому смертном, и не думать о душе бессмертной.

— А родных, которых мы дома оставили, ты забыл?

— В писании сказано: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»

— Мне кажется, ты просто не от мира сего, монах. Господь бог где-то очень далеко от нашей деревни и редко ее вспоминает. У этого вот парнишки семья, у меня жена...

— Умолкни, умолкни,— вскричал монах.— Не оскверняй уст своих, произнося всуе в этой святой обители имени дочери Евы.— Повернувшись к востоку, монах упал на колени и начал громко читать молитву: — Pater imon o endis uranis agjios titos, to onomasu eltheto i vasiliasu...[1]

Коль опустил топор на землю.

— Что ты мелешь, старик? Почему не по-албански молишься?

Филофей, окончив молитву, повернулся к ним:

— Только на греческом языке слышит бог мольбы наши, знай это, христианин, и кто не выучит языка этой страны, тот не попадет в царство небесное. А что касается дочерей Евы, о них не вспоминай здесь больше — они якшаются с дьяволом. Из-за Евы Адама изгнали из рая, она вовлекла его во грех.

— Ну не говори, Филофей, ты же знаешь, что Христос сказал: плодитесь и размножайтесь.

Монах нахмурился, но не сдался:

— Все так, юноша, но не забудь, что слова эти господь произнес на свадьбе, уже опрокинув несколько чарок вина.

— Значит, ты не признаешь ни женщин, ни замужества, даже если род человеческий вообще перестанет существовать? — продолжал Коль.

— Род человеческий во грехах погряз, а царство небесное не имеет конца. Долины рая я вижу отселе вместе с ангелами светозарными...

Коль раздраженно покосился на монаха. Потом поплевал на ладони и взялся за топор. Монах ушел.

— Коль, о чем говорил дяденька священник?— спросил Тили.

— А-а, делать ему нечего.

■

В тот первый день Коль работал много и здорово проголодался. Обед у них был очень простой, хотя и прошел необычно. Поначалу кастрюлей пользоваться не след, так сказал им мастер. Вынув из тор-

[1] Отче наш, суший на небесах, да святится имя твое...

бы бутылку с уксусом, он вылил из нее несколько ложек в миску с какой-то бурдой.

Собравшись все вместе, они увидели, что совершенно почернели от сажи. Сверкали только глаза и зубы. Кто-то решил умыться, но старик остановил его:

— Не надо, не мойся, а то потом еще сильнее испачкаешься. Ты не бойся сажи — она полезна для здоровья.

Каждый вынул из-за пояса деревянную ложку, и обед начался. Коль ел быстро и еще не успел насытиться, как мастер остановил его:

— Много не ешь, парень, а то борода будет расти слишком быстро. А вообще, когда едите, нажимайте так, чтоб за ушами трещало, нет у нас тут времени прохлаждаться...

Коль так и застыл с ложкой в руке. Что же это такое? Здесь надо экономить и хлеб и время?

После еды Коль заметил около шалаша старика, который уже давно жил на Святой горе. В правой руке он держал тряпку, в левой — зажженную лучину. Прошло несколько минут, и старик начал бриться «по-святому», подпаливая бороду пламенем лучины. Длинные волосы, сгорая, распространяли тяжелый запах. Когда пламя добралось до кожи, старик прижал его влажной тряпкой.

— Кто же так бреется, дядя Михаль?

— Видишь ли, сынок, так я и бороду укорачиваю, и в грех не вхожу. Здесь, в этом святом месте, считается грехом касаться лица бритвой или ножницами.

Старик, казалось Колю, похож на мудреца, но, когда они вновь взялись за работу, один из товарищей рассказал ему, что вчера дядя Михаль избил своего сына Коци.

— За что он тебя, Коци?

— Да ни за что, Коль. Он не велел мне входить под свод печи в опингах[1], там угли еще тлели, и резиновые подошвы могли сгореть.

— А твои подошвы не сгорят?

— Э-э, до моих ног старику дела нет: обожгу — заживут, а новые опинги покупать нужно. Да что там, разве с ним договоришься...

Вечером с Колем встретились все односельчане, прибывшие сюда раньше. Они обступили его, засыпали вопросами, не могли нарадоваться встрече. Спрашивали о своих родных, о доме, мельнице, камнях на дорогах, холмах и вершинах скал. Рассказам Коля не было конца, но в душе он удивлялся, почему никто даже не поинтересуется девушками, оставшимися в деревне. Только позже, когда общая беседа пришла к концу, молодые парни отвели его в сторону и, убедившись, что никто их не слышит, стали расспрашивать о девушках. Коль сообразил, в чем дело, вспомнив свой утренний разговор с монахом Филофеем.

В это же время к односельчанам Коля подошел молодой лесоруб. Щека у него была перевязана большим платком. Он стонал, жаловался на зубную боль и искал дядю Михаля. Вскоре тот пришел, осмотрел у парня зуб и вылечил его поистине удивительным способом — залил расплавленным свинцом больное дупло. Нерв был убит, свинец заполнил зуб, а больной выл и метался, как раненый зверь.

Коль был поражен, но один из парней сказал ему, что у них тут нет врача и больных лечат только молитвами и благословением господним. Другой объяснил Колю, что здесь возбраняется курить, а если станет невтерпеж, можно пожевать табаку.

Случай, происшедший на следующий день, тоже заставил Коля призадуматься.

---

[1] Опинги — род крестьянской обуви из сыромятной кожи или из резины.

В полдень отправился он с Тили к роднику. Неожиданно послышались плач и причитания. Приблизившись к тому месту, откуда доносился плач, они увидели на искривленных корнях огромной смоковницы трех монахов Поставив перед собой распятие, монахи плакали навзрыд. Коль подумал, что у них, наверно, есть причина плакать и молиться. Но когда рассказал об этом мастеру Михалю, тот ему растолковал:

— Монахи, сынок, для того собираются, чтобы вместе оплакивать страдания господа нашего Иисуса Христа...

Такие порядки и нравы чужды и непривычны были Колю, но теперь ему самому предстояло жить этой жизнью.

Однако пока у него еще не было поводов оплакивать чьи бы то ни было страдания, и в тот же вечер он затянул песню, какую просило его сердце.

— Что грустишь, красавица, глядишь на дорогу?
— Ах, тужу по мужу,
Тоска гложет душу...

Парень не знал, что таких песен тут петь нельзя. Не знал, что многие монахи были албанцами и понимали, о чем он поет. Даже часа не прошло, как его вызвал игумен монастыря и через монаха-переводчика дал понять, что здесь, кроме псалмов, любые песни запрещены.

И вот Коль, когда пас мулов, стал уходить далеко в горы и там горланил свои песни вместе с Тили. Однажды они поднялись на самый высокий склон, откуда была видна вся местность, носящая название Святой горы. Она выступала в море полуостровом, и по суровым, скалистым горам ее было разбросано множество больших монастырей. Купола их сияли, колокольни словно вонзались в самые тучи, кресты сверкали золотом.

Спускаясь обратно лесом, Тили заметил стадо диких животных, которые, завидев их, пустились наутек вниз по плоскогорью. Парни бросились за ними в надежде поживиться добычей. Выбежав на освещенную солнцем поляну, они заметили, что звери бегут не быстрее их самих. Тогда они припустились со всех ног и, поравнявшись с ними, с изумлением обнаружили, что преследовали людей. Оказалось, это отшельники, обитающие в лесах, пещерах и зарослях кустарников. Они были одеты в лохмотья и звериные шкуры, длинные бороды и спутанные волосы закрывали им лица. Одичавшие, лишившиеся разума, они решили во что бы то ни стало заслужить царство небесное страданиями и мытарствами на грешной земле.

■

Монах Филофей, который еще в первый день навязывался Колю и Тили со своими проповедями, и не думал оставлять их в покое. Каждый день он подходил к Колю и, пока тот работал, рассказывал что-нибудь из священного писания, толковал о рае и об аде, о грехах и о прощении. Иногда он звал его обедать к себе в келью. Там Коль досыта наедался постной пищей, но за это ему, бедняге, приходилось расплачиваться целыми часами молитв и причитаний о том, кто «умер и воскрес на третий день», как говорится в священном писании.

И Коль чувствовал себя словно зажатым в тиски. Ему казалось, что воздух вокруг пропитан сладковатым запахом ладана, а хлеб, который он ел, безвкусен, как просфора. Порою ему чудилось даже, что лес, роса, цветы и трава — все вокруг издает терпкий запах мужского пота. На каждом шагу ему вспоминались родные места, песни и пляски, грустные глаза отца и белая шея Марины.

— Нет, лучше уж сидеть на хлебе с водой, только жить в своей деревне.

Ночевал он под открытым небом, на скале возле моря.

Ветер теребил его талаган[1], собака лежала в ногах. Тили — сбоку. Но сон не шел к нему, и он все вспоминал времена, когда чувствовал себя счастливым...

...На Марину он заглядывался уже давно, но все не осмеливался подойти и заговорить. Однажды, выбрав день, когда девушка поливала фасоль на огороде, Коль неожиданно вырос перед ней. Она испугалась и стала сердито ему выговаривать:

— Уходи, уходи, как бы нас кто не увидел...

Но неуемного Коля ничем было не пронять, никакими словами. Он бросился к ней, крепко обнял, стал исступленно целовать И Марина, только в песнях слышавшая о поцелуях, теперь вкусила их сладость.

— Возьмешь меня замуж? Я очень тебя люблю!

— Я тоже люблю и женюсь на тебе!

С тех пор они стали тайно встречаться. То на баштане, где Марина полола траву, то в роще, где Коль рубил деревья. Случалось, он незаметно через окно проникал к ней в дом. И так каждый день — где бы ни были: у родника, в церкви, на деревенском току, на мосту, у мельницы — они издали поглядывали друг на друга смеющимися глазами, и на душе у них было отрадно.

Однажды, возвращаясь из долины, они забрались в заросли прибрежного кустарника... Благоухали травы. Река была почти неподвижной — ее течение сдерживалось высокой мельничной запрудой,— вода ее едва касалась берегов. Могло показаться, что она почти вся осталась где-то выше, в горах, а та, что струилась здесь, задумчиво осматривалась, словно умоляя выпустить ее на поля, чтобы могла она — ручьями и потоками — утолить их жажду. Неподалеку от того места, где они, притаившись, сидели, река размыла берег. Большая заводь, зажатая крутыми берегами, напоминала ущелье. На склонах, поднимаясь над твердой обветренной землей, шумели клены с гладкими пятнистыми стволами и крупными, блестящими, будто покрытыми желтым лаком листьями. Марина залюбовалась ими и, когда Коль хотел привлечь ее к себе, воскликнула:

— Взгляни, Коль, туда, на реку!

Заводь была покрыта ковром резных апельсиново-желтых листьев. Вода едва проглядывала сквозь их прорези. Эти крохотные озерца поблескивали темной зеленью, напоминая корку мокрого арбуза. Когда же осеннее солнце, пробиваясь сквозь заросли кустарников, бросало косой пучок лучей, мутные озерца сверкали среди золотистых кленовых листьев, как осколки стекла.

Очарованные этой красотой, Коль и Марина забыли обо всем на свете. А потом еще девушке захотелось полюбоваться своими черными волосами, и они склонились над водой. Тут-то и случилась беда. Кто-то заметил их, и вскоре к ним, ничего не подозревавшим, уже бежали отец Марины с деревенским старостой, полевым сторожем и священником.

Увидев их, девушка побледнела от страха.

— Ой-ой-ой, Коль! Какой позор! Нас застали!

Но упрямый парень ответил ей как ни в чем не бывало:

— И все-таки при твоей красоте да при моей шальной голове это первый раз, что нас застали.

Потом была ссора с бранью и угрозами, и когда Коль услышал,

[1] Вид бурки.

что отец Марины обещает свернуть ей шею, он не долго думая повел ее к себе домой.

— Я тебя венчать не стану! — кричал ему вслед священник.

— Да ну тебя, делай что хочешь! Подумаешь, испугался!..

...Об этом всю ночь вспоминал Коль, лежа на скале у моря. Сон не шел к нему, он метался, рвал на груди рубашку и стучал по земле кулаками. Потом к горлу подступили рыдания, и он заплакал, как ребенок. Проснулся Тили и спросил:

— Ты не заболел?

— Нет, не заболел. Спи!

— Я приберег пять маслин, давай их съедим.

— Спи, не разговаривай.

Как-то ночью Коль решил: уйду домой, а там будь что будет!

Он решил это твердо и так бы, наверно, и поступил, но утром увидел своих товарищей, которые, надрываясь, перетаскивали тяжелые стволы, и ему стало стыдно. А через несколько дней пришло письмо от Марины, полное отчаяния и тоски. Она писала, что не может больше жить без него, делилась с ним своими заботами, просила помощи. Писала, что напрасно ждала ребенка. В конце добавила, что одна стена их дома совсем покосилась, обязательно нужны деньги, чтобы починить ее, иначе рухнет.

И Коль решил повременить с уходом до тех пор, пока не соберет достаточно денег на ремонт стены.

На следующий день он выждал удобный момент, когда мастер Коста был один, и поделился с ним своим горем:

— Послушай, ты мне тут вместо отца, и я хочу открыть тебе душу. Мне так надоело здесь, просто мочи нет. Я не боюсь работы, я не лодырь, и силы у меня есть, но все-таки здесь жить невозможно. Место какое-то дикое... Не знаю, как тебе объяснить...

Но старый Коста прожил долгую жизнь. Другие парни в тех же словах обычно изливали ему душу, и горе у них было такое же. И сам он мучился, когда был молодым. Старик стал утешать Коля:

— Ты прав, сынок, но что поделаешь? Наша страна нас прокормить не может: землицы-то у нас горсточка! Там над нами Ахмет Зогу, помещики да беи. Работы нет, всюду кризис, куда же нам всем податься? В этих краях тоже тяжкая жизнь, работу найдешь не везде. Только здесь вот, куда не всякий пойдет, хоть какие-то гроши заработаешь. Будем молить бога, чтобы зима в Египте была холодной и уголь наш продали туда, а не то придется нам туго. И мне в молодости выпала та же судьба, что и тебе. И дед и отец твой прошли через это. Все однолетки твои так страдают. Ты еще, по крайней мере, женат, а многие состарятся тут, и вернуться им уже не удастся.

■

Мастер Коста часто предупреждал: большие деревья нельзя подрубать с подветренной стороны. Коль всегда помнил об этом. Помнил и в то утро, когда они вместе с Тили подошли к высокой ели. У нее был ровный, красивый ствол, который можно было разделить на четыре колоды. Подрубать стали с восточной стороны, потому что дуло с запада. Но вскоре, утомившись, перестали обращать внимание на ветер, не заметили, что он переменился и теперь уже дует с моря. Они вырубили в стволе большой клин. Была весна, и смола проступала крупными каплями, распространяя резкий приятный запах. Коль жалел Тили и старался больше рубить сам. Острие его топора уже достигло самой сердцевины ели, и она свободно покачивалась в порывах ветра. Коль присел отдохнуть на минутку, а Тили подошел к стволу и хотел было опереться о него.

В этот момент и случилось непоправимое. Сильный порыв ветра с моря пригнул все деревья. Сначала раздалось легкое потрескивание, потом страшный грохот. Половина ели раскололась снизу вверх, словно раскрылся циркуль, яростно взвилась вверх, ударила мальчика в челюсть и раздробила ему голову.

Когда Коль вскочил, все было кончено. Тили не подавал признаков жизни. На крики Коля сбежались лесорубы. Они стояли у печей для обжига угля, а темно-серый дым уходил высоко в небо. Закопченные, с непокрытыми головами, сбившись в круг, почтили они маленького покойника горестным молчанием. Только у мастера Михаля хватило духу сказать несколько слов:

— Мужайтесь, братья. Работа кормит нас, работа же и отнимает у нас жизнь. Но у нас она отнимает постепенно, а у этого маленького сироты взяла сразу. Так уж, видно, ему на роду написано...

Мальчика положили на носилки. Собралась толпа монахов, несколько священников, пришел игумен монастыря. Все происходило очень быстро. Как это просто оказалось — вырыть могилу, омыть умершего, воздать ему последние почести... Предать земле тоже было не самым трудным. Но что Коль напишет тетушке Ване? Как посмотрит ей в глаза, когда вернется? В эту минуту ему легче было бы протащить на своей спине всю Святую гору, чем сообщить матери ребенка ужасную весть. Он плакал, причитал, бился головой о деревья, отказываясь поверить в эту смерть.

Священники пели псалмы на чужом языке, и он плохо понимал их. Потом они ушли все, кроме одного, который оказался выходцем из Колёни[1] и затянул по-албански:

— Блажен будь путь, по которому идешь ты сегодня, ибо там на небесах уготовано тебе место отдохновения...

Коль задрожал, он поднял голову, и ему показалось, будто среди стаи плывших в небе белых облаков он видит детское лицо Тили, склоненное на крылья ангелов. И правая рука Коля сотворила крест, хотя он знал, что в это время руки его бессильно свисали.

■

Мало-помалу на ладонях Коля образовалась толстая подушка из мозолей, под ногти набилась сажа, румяные щеки поблекли, взгляд стал суровым, лоб избороздили морщины.

И так же как в течение долгих месяцев и лет топорище медленно и незаметно натирало мозоли на его ладонях, так и слова монаха Филофея западали в его измученную душу. Вначале он не ощущал, что проповеди и поучения находят какой-то отклик в его сердце, стремился держаться в стороне от всего и думать только о своих делах и заботах, но со временем окружающая обстановка сломила его.

Монастырские колокола гудели, толпы монахов возносили к небу молитвы вместе с бесконечными клубами ладана, вооруженная стража бдительно охраняла монастырь, чтобы туда не могла проникнуть ни одна женщина и ни одно живое существо женского пола. Бородатые лица, псалмы, свечи, рабская изнурительная работа — и в результате силы его стали истощаться, а в голове все перепуталось.

В это время пришло другое письмо от Марины: «Стену мы исправили, но зато обрушилась на нас новая беда — самая большая,— умер отец наш пятого января. Похоронили как подобает, но взяли десять наполеонов в долг у Кристо Касапи под залог дома. Долг нужно отдать до пасхи, иначе останемся без крова».

Прочитав письмо, Коль пришел в отчаяние. Он оплакивал своего

[1] Колёня — местность на юге Албании.

старика отца: было ему горько, что не довелось даже бросить горсть земли на его могилу. Но потом стал думать о живых. «...нужно отдать до пасхи, иначе останемся без крова». Так писала жена. Мысли его полетели в родную деревню, и ему представилась мать-старуха, которая покидала дом, перешедший к Кристо Касапи за долг. Плечи ее закутаны в старое шерстяное одеяло; опустившись на землю, она прощается с хижиной, целует каменный ее порог...

Коль не выдержал и заплакал. Он подошел к церкви, упал на колени и стал молиться.

— О господи милосердный, спаситель наш! О господи всемогущий, я раб твой! Помоги, о господи, ибо мы остаемся без крова...

Погруженный в свои молитвы, он не заметил, как подошел монах Филофей и остановился сзади, слушая его. Однако монах не заговорил с ним и так же незаметно удалился.

Вечером, когда Коль укладывался спать на свое ложе из листьев папоротника, он неожиданно нашел под подушкой шесть золотых лир. Отозвав в сторону мастера Косту, Коль показал ему деньги.

— Неужели это господь бог сам положил мне деньги под подушку?

— Ничего особенного тут нет, сынок. В этом святом месте все может случиться. Но скорее всего, конечно, господь дал тебе эти деньги рукою какого-нибудь милосердного человека.

— А почему этот милосердный человек сам не мог дать мне деньги именем господа бога?

— Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Так учит нас священное писание.

Коль послал деньги домой, и в ту ночь ему приснился сонм ангелов, которые летали над их убогим жилищем; крылья их светились, они держали в руках горящие факелы и величаво возглашали:

— Благословен грядущий во имя господне! Осанна в вышних!

На следующий день он начал изучать специальность тесальщика. За эту работу платили больше, но тесак весил пятнадцать о́ков[1], и когда он врубался в древесину, его с трудом можно было вытащить обратно.

■

В нижней части деревни, в маленьком домике, сложенном из пористого известняка, Марина тщетно пыталась заснуть, лежа на супружеской постели. Она верила, что придут деньги для оплаты закладной, но сомнения не оставляли ее.

Днем и ночью вязала она чулки и фуфайки на продажу. Спицы мелькали в руках, слезы капали на колени, на вязанье. Свекровь и золовка спали, а она засиживалась допоздна. Мучила резь в глазах, кружилась голова. Чулок медленно вырастал, увеличивался в размерах, делался шире, ей казалось, что она входит в него, спицы становятся ее крыльями и вот она уже летит над равнинами и горами, летит далеко-далеко, к Эгейскому морю, на Афон, к монашеской горе. Где-то в лесу с большим топором в руках видит она своего Коля, зовет его по имени, зовет громко. Он не отвечает, согнувшись и обливаясь потом, бьет он топором по могучему стволу...

И сон молодой женщины продолжается, все в нем — крик, мольба, руки, простертые навстречу Колю, горькие слезы, измученная душа. Потом Марина приходит в себя, вздыхает и торопливо продолжает вязать. Нет, Коль наверняка думает о ней.

---

[1] Ок — 1 кг 408 г.

Так всегда проводила Марина ночи. Каждую горькую корку хлеба омывала слезами.

Иногда мысли ее возвращались к недолгим в ее жизни счастливым месяцам. Вспоминала она, как тайком встречались они с Колем, день, когда они спрятались за деревней в ивняке. Она не хотела идти туда, но Коль сказал, а его слово было законом. Чтобы не перечить ему, она пошла. Немного поодаль женщины развесили сушить кукурузу. Старик Михаил сторожил ее. Он лежал на земле, и сон совсем сморил его. Лучи солнца падали на связки кукурузы, и золотистый их отсвет ложился на ивы, на пенистую поверхность реки. Немного поодаль у большой заводи устроился священник с удочкой и ловил мелкую рыбешку. Он сидел там с завидным терпением, дремал, уткнувшись в белую бороду, и железный крест болтался у него на шее, почти касаясь воды. В просвете между висевшими связками кукурузы блестела река, а на ее поверхности плавала желтая кувшинка, плотная, глянцевитая, с пятью крупными лепестками. Коль показал Марине цветок, и они стали наблюдать, как над ним кружится пчела. Рискуя утонуть, пчела забиралась внутрь чашечки, снова взлетала и вновь садилась на цветок — все спешила собрать с него нектар.

Эти воспоминания, такие милые сердцу Марины, сразу пропадали, стоило услышать шорох жучков, точивших старые балки дома, беготню мышей в пустотах между стенами или шум ночного ветра, врывавшегося в комнату сквозь стропила обвалившегося потолка.

Однажды ночью вдруг послышался вой собаки. Женщина вскочила. Разбудила свекровь и, испуганная, вместе с ней вышла во двор.

■

Вскоре Коль получил еще одно письмо. Марина благодарила его за «такую массу» денег и сообщала, что они выкупили дом. Потом добавила: «Нежданно-негаданно как-то ночью твой пес Балё прибежал домой. Ты ведь взял его с собой, когда уходил, и он там, видимо, был у тебя. Но что же стряслось с проклятым псом, что он вернулся? С тех пор как пришло известие о смерти Тили, у нас, что ни случись, кровь в жилах застывает от страха... А возвращение пса наводит нас на плохие мысли, потому что воет он все время, как по покойнику, совсем одичал, и мы его боимся».

Это письмо повергло Коля в уныние:

«Боже ты мой, даже собака не выдержала здесь, даже ей стала в тягость отвратительная жизнь среди всех этих людей в черных рясах с длинными бородами, среди грязи и угольной копоти. О господи, защити нас!»

В конце письма Марина писала:

«Твоя сестра подросла и вошла в годы, и судьба ей выйти за Яни, сына Бинко. Но нужны подарки и приданое. Отец Яни сказал нам: «Мы возьмем ее, но только, по обычаю, чтобы затраты на свадьбу ваши были, потому что не все, мол, такие, как Коль, сын Стефана, который похитил невесту у реки».

Вереница писем с просьбами, с жалобами на нужду и несчастья не прекращалась много лет подряд.

■

Только через двенадцать лет Колю удалось вернуться на родину. По деревне прошел слух: 15 августа возвращается сын Стефана.

В тот день Марина поднялась рано, прибрала в доме и послала свекровь в долину встречать сына. Сама она, по обычаю, не смела

идти на Луг слез. Но сердце у нее от волнения готово было вырваться из груди, а мысли неудержимо стремились к радостям любви, которых она не испытывала уже много лет.

На каждом шагу она делала что-то не так, застывала на месте, прикладывая руку ко лбу, вспоминала, куда и зачем шла, ругала себя и снова металась по дому, растерянная. Голова у нее шла кругом.

В долине показался путник. На груди его висела торба, сзади, на спине — скатанное старое одеяло; рот слегка приоткрылся. Это был Коль, сын Стефана. Но в нем уже ничего не осталось от юноши-здоровяка, покинувшего когда-то деревню. Глаза потускнели и больше не искрились задором, пропал румянец на щеках... Это был человек, преждевременно состарившийся. Спина его согнулась серпом, лопатки выпирали. Шея, изрезанная морщинами и складками, вытянулась, руки покрылись черными мозолями, разбухли и стали большими, как лапы у медведя. Исчезло все его былое обаяние. Черты лица заострились, зубы поредели, и волосы, когда-то жесткие и черные, посерели и выпали до самой макушки. Он шел словно бы в испуге, то и дело вздрагивая, машинально переставляя ноги, как заводная игрушка, и на лице его не было и признака радости. Мать, почти уже ослепшая, даже не заметила, как ужасно выглядел ее сын. Зато другие женщины шептали, опустив глаза в землю:

— Бедная Марина! Несчастные мы!

На Лугу слез Коль встретился со своими родными. Он почти ничего не сказал им и ни разу не улыбнулся.

По дороге женщины забросали его вопросами:

— Видел ты моего бедного Панди?

— Дай бог вам здоровья, у Панди все хорошо.

— Прислал он с тобой чего-нибудь?

— У него долг монастырю Симонос Петра.

— А Коци моего ты видел?

— Дай бог вам здоровья, он ранил ногу топором, но с помощью божьей вылечится.

— А Фани, сын Саво, как поживает, сынок?

— Ему упал дуб на спину, послал господь бог мученическую смерть, и теперь он достоин попасть в царствие небесное.

— А мой Ндречи как там, Коль?

— Дай вам бог здоровья, передал для вас крест с епископской рубашкой[1].

— А Чоме, Коль?

На сей раз Коль не ответил и поднял глаза к небу. Вопли и причитания раздавались вокруг. Толпа женщин, плача, следовала за ним.

— Несчастные мы, бедная Марина, узнает ли она его...

Так вернулся в деревню Коль, сын Стефана. Тело его было изломано, душа мертва, сам он жалок и изможден. Под глазами его висели мешки, голова тряслась.

У Марины дрожали колени, когда она вышла во двор, но он посмотрел на нее холодно, так же, как каждый день смотрел на свой талаган. Жена утешила себя, решив, что муж устал с дороги.

За день у них в доме побывала вся деревня. Заходили с любопытством, а уходили вздыхая.

— Бедная Марина! Вот она, наша жизнь!

Марина встречала и провожала гостей, потом накрыла на стол. Наконец Коль заговорил:

— Много пришлось мне перестрадать, мама, но, слава господу

---

[1] Железный крест со вделанным внутрь лоскутом епископской рубашки. Вручался ревностным верующим.

богу, вернулся вот на некоторое время, принес двадцать лир золотом, четыре иконы и одно распятие.

Он хотел сказать еще что-то, но задохнулся и прижал руку к груди, из которой воздух вырывался, как из рваного кузнечного меха. Хотел было перекреститься и поднял руку, но зашелся в кашле. Тогда кончиком языка он сотворил крест на нёбе и, обессилев, прислонился к стене.

— Ты простудился, сынок. Невестка, положи кирпич на огонь.

— Нет, мама, не поможет мне кирпич, оставь...

«Горе мне, как же это он стал таким?» — думала Марина.

Она сидела, сжавшись в комок, в ногах мужа и дрожала всем телом. Когда пропели первые петухи, мать пожелала им доброй ночи и поднялась в верхнюю комнату.

Марина постелила постель и стала ждать, когда ляжет муж, чтобы самой потушить светильник. Но у пришедшего со Святой горы были свои правила.

Он вышел в переднюю, где развесил новые иконы, упал на колени и стал молиться:

— Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое...

Сквозь приоткрытую дверь Марина слышала молитвы мужа и видела его согбенную спину.

— Господи, о господи, что же это с ним случилось? Бедная я, как он постарел!

И Марине вспомнилась юность. Вспомнился день, когда Коль пришел к ней на огород, вспомнился парень-смельчак, носивший ее на руках, вспомнился муж, которого не было больше и который никакого сходства не имел с тем, что молился рядом, за горький хлеб их насущный оставив все на чужбине.

— Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого...

Муж повторял молитвы, крестился, падал на колени и вставал.

— Ангелы небесные обрели источник жизни в райских кущах, и я обрету покаянием, я — агнец заблудший, призови меня, господи... аллилуйя... аллилуйя...

Марина вся трепетала в углу, глаза ее горели, но Коль видел одни лишь глаза богородицы. Икры Марины были белы, как снег, но он смотрел на бледный лик Иисуса Христа. Полная шея Марины вздрагивала, а несчастный видел перед собой чистое лицо старца Иосифа. Молодое тело Марины не производило на Коля никакого впечатления.

Работа изнурила Коля, и мозг его притупился, затуманенный поучениями игуменов, дымом ладана, колокольным звоном, молитвами и причастиями, тропарями и эпитафиями, адом и котлами с кипящей смолой. Душа его высохла и очерствела.

Когда Коль протяжно сказал: «...но избавь нас от лукавого»,— Марина подумала, что он кончил молиться. Но он продолжал:

— И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне...

Тогда Марина не выдержала. Она зарыдала и повалилась на подушки. Плакала в голос и рвала на себе волосы:

— Царица небесная, до чего же он дошел...

А пока жена рыдала, Коль так и заснул в передней, коленопреклоненный, с повисшей на грудь головой. Плечом он прислонился к стене, и снилось ему, будто, окруженный херувимами, летит он по светлым долинам рая.

— Господи помилуй! Господи помилуй!

АЙРИС МЕРДОК

Черный принц

РОМАН

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН и А. ПОЛИВАНОВОЙ

Супружество, я уже говорил,— очень странная вещь. Непонятно вообще, как оно существует. По-моему, когда люди хвастают, что счастливы в браке, это самообман, если не прямая ложь. Человеческая душа не предназначена для постоянного соприкосновения с душой другого человека, из такой насильственной близости нередко родится бесконечное одиночество, терпеть которое предписано правилами игры. Ничто не может сравниться с бесплодным одиночеством двоих в одной клетке. В тех же случаях, когда единство двоих оказывается генератором взаимной вражды, получается уже ад в чистом виде. Я оставил Кристиан до того, как наш ад стал настоящим адом. Мне стало ясно, к чему идет дело.

Разумеется, я был «влюблен» в нее, когда женился, и почитал себя счастливцем. Она была хороша собой. Родители ее были коммерсанты. У нее даже имелись кое-какие собственные средства. На мою мать она производила сильное впечатление, на Присциллу тоже. Они робели перед ней. Потом, когда мне уже казалось, что я стал лучше разбираться в «любви», я решил, что испытывал к Кристиан «всего лишь» неодолимое физическое влечение, усложненное своеобразной одержимостью. Я словно знал живую, настоящую Кристиан когда-то, в предыдущем рождении, и теперь был обречен, может быть даже в наказание за что-то, снова пережить знакомую, но перевернутую жизненную ситуацию. (Я подозреваю, что есть немало таких пар.) Мне иногда чудилось, будто я «помню» доброту Кристиан, хотя теперь все было — одна злоба и ведьмовство. И не в том дело, что она бывала иногда грубой и жестокой, хотя это случалось, и нередко. Но она словно для того только и существовала, чтобы дразнить, мешать, портить, подрывать, унижать. И я был соединен с ее мыслями, точно сиамский близнец. Мы ковыляли по жизни, сросшись головами.

Причина, по которой я, поклявшись, что никогда с ней не увижусь, теперь передумал и спешил на ее зов, была проста. Я вдруг понял, что не буду знать покоя, покуда не увижу своими глазами, не удостоверюсь, что она больше не имеет надо мной власти. Может быть, она и осталась ведьмой, но уж конечно не для меня. Убедиться

Продолжение. Начало в № 8.

в этом тем более важно теперь, когда по воле злосчастного случая «на нее вышел» Арнольд. По-моему, его отзыв о ней как о «таком удивительно приятном человеке» оказал на меня очень сильное действие. Где-то тут содержалась для меня страшная угроза. Явившись к ней, я сумею «разбавить» вредное влияние их знакомства. Но все это было продумано мною потом, а тогда я действовал по наитию, стремясь узнать худшее.

Маленькая улочка в районе Ноттинг-хилла, где мы жили в самом конце нашего прежнего существования, стала с тех лет гораздо роскошнее. Я, разумеется, всегда обходил ее стороной. Теперь, быстро шагая по тротуару, я на ходу замечал, как блестят свежей краской голубые, желтые, розовые фасады домов, у парадных висят новомодные дверные молотки, окна сбросили с себя железные решетки, ставни, горшки с землей. Такси я отпустил на углу, так как не хотел, чтобы Кристиан заметила меня раньше, чем я ее.

Когда внезапно возрождается минувшее, даже без кошмаров, у всякого может закружиться голова. Мне не хватало кислорода. Я спешил, я бежал. Дверь открыла она.

Вероятно, я бы не узнал ее сразу. Она казалась выше и тоньше. Когда-то она была довольно полная, с пышными формами и чувственными линиями. Теперь она выглядела суше, безусловно старше и при этом элегантнее, в простом шерстяном платье бежево-серого цвета с золотой цепочкой вместо пояса. Волосы, пышные, раньше всегда завитые, а теперь лишь слегка волнистые, были отпущены почти до плеч и выкрашены в какой-то бронзово-коричневый цвет. На лице слегка выступили скулы и появились мелкие морщины, придавая ему сходство с печеным яблоком, нисколько, впрочем, его не безобразя. А влажные продолговатые карие глаза совсем не постарели и не потускнели. У нее был элегантный и самоуверенный вид, скажем, директрисы международной косметической фирмы.

Какое у нее было выражение лица, когда она открыла мне дверь, описать трудно. Во-первых, она была взволнована, взволнована почти до идиотического смеха, но старалась казаться спокойной. Вернее всего, она все-таки успела увидеть меня в окно. Во всяком случае, она хихикнула, когда я входил, издала сдавленный радостный смешок и какой-то возглас, то ли «Господи!», то ли еще что-то. Я чувствовал, что лицо у меня сплюснуто и свернуто на сторону, словно на него надет нейлоновый чулок. Мы прошли в гостиную, где, по счастью, было довольно темно. Здесь все показалось мне точно таким же, как было когда-то. Сильные чувства затянули комнату дымным флером, лишили ее света, воздуха. Что это были за чувства, сейчас сказать нельзя (ненависть? страх?), только позже удастся оттеснить их и дать им имена. Последовала минута молчания. Потом она сделала шаг ко мне. Я подумал — ошибочно или верно, не знаю,— что она хочет до меня дотронуться, и спрятался за кресло у окна. Она засмеялась, закатилась громким протяжным хохотом, словно птица. Ее лицо, искаженное в самозабвении смеха, стало похоже на гротескную античную маску. Теперь она выглядела старой.

Потом она отвернулась и стала шарить в шкафчике.

— О господи, на меня смехунчик напал. Надо выпить, Брэдли. Виски? Нам обоим необходимо. Надеюсь, ты будешь ко мне добр. Какое ужасное письмо ты мне написал.

— Письмо?

— У тебя в гостиной лежало письмо, адресованное мне. Арнольд его захватил. На вот, возьми выпей и перестань дрожать.

— Нет, благодарю.

— Надо же, я тоже дрожу Спасибо еще, Арнольд позвонил и

предупредил о твоем приходе. Иначе я бы, наверно, шлепнулась в обморок. Ну как, рады мы увидеться вновь?

Акцент был явно американский. Теперь, присмотревшись, я отчетливо увидел среди коричнево-синих теней гостиной, до чего она стала хороша собой. Зрелость и элегантность придали прежнему назойливому полнокровию облик властной самоуверенности. Как ей это удалось — необразованной женщине, прозябавшей в провинциальном американском городишке где-то на Среднем Западе?

В комнате, кажется, все оставалось как раньше. Здесь воплотился и отразился давно забытый, прежний «я», мой более молодой и еще несформировавшийся вкус: плетеная мебель, вышитые шерстью подушечки, размытые контуры литографий, гончарные изделия ручной работы, отливающие лиловой глазурью, вручную тканные сиреневые рябенькие занавески, соломенные циновки на полу. Спокойная, приятная, немудрящая обстановка. Я создал эту комнату много лет назад. Здесь я плакал. Здесь орал и топал ногами.

— Не нервничай, Брэд. Ты просто зашел навестить старого друга, верно? Твое письмо такое взбудораженное. А нервничать совершенно не из-за чего. Как поживает Присцилла?

— Хорошо.

— А мама твоя жива?

— Нет.

— Да не сиди ты так, словно аршин проглотил. Я и забыла, какой ты деревянный. Пожалуй, похудел, да? И волосы поредели, но седины, кажется, нет, правда? Мне плохо видно. Ты всегда был немного похож на Дон Кихота. Ты выглядишь совсем неплохо. Я думала: а вдруг ты уже скрюченный, плешивый старичок? А я как выгляжу? Господи, сколько лет пролетело, а?

— Да.

— Выпей, выпей глоток. У тебя язык развяжется. Знаешь, я, ей-богу, рада тебя видеть. Я еще на корабле думала, как я с тобой встречусь. Но, пожалуй, я сейчас всех рада видеть. мне теперь звонят, звонят все на свете, и все чудно, все восхитительно: знаешь, я ведь прошла курс дзэн-буддизма. Должно быть, я достигла просветления, раз мне все вокруг кажется таким прекрасным! Я уж думала, бедняга Эванс никогда не кончит эту сцену расставания, я каждый день молилась, чтобы он скорее умер, он был очень болен. А теперь каждое утро просыпаюсь, вспоминаю, что все это правда, и снова закрываю глаза и чувствую себя в раю. Не очень по-христиански, конечно, но такова жизнь, а уж в моем-то возрасте можно себе позволить быть искренней. Ты шокирован? Осуждаешь меня? Нет, я в самом деле рада тебя видеть.

Этот грубоватый тон был в ней чем-то новым, чем-то, как я понял, заокеанским, хотя ее жизнь в Америке я представлял себе очень светской. Но своими глазами и своим телом она действовала по-старому, только, так сказать, сознательнее, с оттенком иронического самодовольства, уместного в женщине, которая стала старше и элегантнее. Женщина постарше флиртует, сохраняя четкость мысли и самообладание, и ее выпады от этого оказываются гораздо сокрушительнее слепых порывов молодости. А тут передо мной сидела женщина, для которой жить означало нравиться. Она флиртовала со мной. В молодости ее кокетство всегда было немного безмозглым, глуповатым. От этого теперь не осталось и следа. Своим искусством она овладела в совершенстве. Может быть, благодаря все тому же дзэн-буддизму.

Я смотрел на нее. и душу мою наводнял прежний, забытый страх быть неверно понятым, ложно истолкованным, это было подобно угрозе вторжения, насильственного захвата моих мыслей. Я старался

не отводить взгляд и сохранять холодность, старался найти такой тон, чтобы голос звучал твердо и спокойно. Я сказал так:

— Я пришел сюда просто потому, что иначе ты бы уж наверняка не дала мне покоя. Но все, что я написал тебе в письме,— правда. Оно нисколько не «взбудораженное», оно — простая констатация факта. Я не хочу и не потерплю возобновления нашего знакомства. Теперь, когда ты насмотрелась на меня, удовлетворила любопытство и насмеялась вдоволь, прошу тебя понять, что я больше не желаю иметь с тобой ничего общего. Говорю это на случай, если тебе придет в голову позабавиться еще, преследуя меня. Буду весьма тебе признателен, если ты совершенно оставишь меня в покое. Меня и моих друзей.

— Ну, ну, Брэд, твои друзья — это еще не твоя собственность, верно? Неужели ты уже ревнуешь?

Прошлое живо встало передо мной, я припомнил, как она всегда ловко парировала все, что ей говорили, не гнушаясь ничем, лишь бы за ней во всех случаях жизни оставалось последнее слово. Краска гнева и отчаяния залила мне лицо. Только не вступать в пререкания с этой женщиной! Я решил спокойно повторить ей то, что только что сказал, и уйти:

— Прошу тебя не беспокоить меня больше. Будь добра, впредь совершенно забудь о моем существовании.

— Не уходи, Брэд, прошу тебя. Мне ведь о многом хотелось поговорить с тобой, не только о прошлом, но вообще о жизни, понимаешь? Ты — единственный близкий мне человек в Лондоне, я растеряла всех друзей. Да, знаешь, я купила верхний этаж тоже, теперь весь дом мой. Эванс считал, что это выгодное помещение капитала. Бедный старина Эванс, упокой господи его душу, был настоящий американский дуб, но в делах разбирался прилично А я развлекалась самообразованием, иначе мне бы просто умереть с тоски. Помнишь, как мы мечтали купить когда-нибудь верхний этаж? Я жду рабочих на будущей неделе. И я подумала: может быть, ты мне поможешь кое в чем советом? Право, не уходи еще, Брэдли, расскажи мне немного о себе. Сколько у тебя книг вышло?

— Три.

— Всего? Надо же, а я думала, ты теперь уже настоящий писатель.

— Я и есть настоящий писатель.

— К нам приезжал один тип из Англии, литератор, выступал у нас в Женском писательском клубе, я спросила его о тебе, так он даже имени твоего не слышал. Я тоже немного занималась писательством, написала несколько рассказов. И ты по-прежнему тянешь лямку в налоговом управлении или нет уже?

— Недавно ушел.

— Но тебе ведь еще нет шестидесяти пяти, Брэд? У меня все в голове перепуталось. Сколько тебе лет?

— Пятьдесят восемь. Я ушел, чтобы писать.

— Страшно подумать, какие мы уже старые. Давно бы надо было тебе уйти. Всю жизнь ты отдал этой дурацкой конторе, ну разве это дело? Тебе бы надо было пуститься в странствования, сделаться настоящим Дон Кихотом, тогда бы у тебя было много материала. Птицы в клетках не поют. Я, слава богу, вырвалась на свободу. Знаешь, я так счастлива, что можно с ума сойти. Целыми днями смеюсь не закрывая рта, с тех пор как бедный Эванс отдал богу душу. Бедный старина Эванс. В нем была какая-то доброта, какая-то тонкость, но скука такая жуткая, что я чуть не померла. С тобой, по крайней мере, никогда не было скучно. А ты знаешь, что я теперь богатая женщина, действительно богатая, по-настоящему богатая? Ах, Брэдли, как хорошо,

когда человек может сказать это, как замечательно! Я начну новую жизнь, Брэдли, я еще услышу фанфары!

— *Всего наилучшего.*

— Я еще буду счастлива и буду дарить счастье. Убирайся вон!

Последнее приказание относилось, как я почти сразу понял, не ко мне, а к кому-то, появившемуся у меня за спиной, в окне, выходившем прямо на улицу. Я повернул голову и увидел за окном Фрэнсиса Марло. Он приблизил лицо к стеклу и вглядывался, подняв брови, с кроткой, покорной улыбкой на губах.

— Пошли наверх. Быстрее.

По узкой лестнице я поднялся за нею в одну из спален. Здесь все переменилось. На полу лежал ярко-розовый ковер, а мебель была черная, блестящая и современная. Кристиан распахнула окно — и вышвырнула что-то на улицу. Я подошел ближе и увидел на тротуаре полосатый мешочек, из которого вывалилась электрическая бритва и зубная щетка. Фрэнсис быстро подобрал свое имущество и выпрямился, все такой же жалкий, подняв кверху маленькие, близко поставленные глазки и по-прежнему кривя маленький рот в покорной улыбке.

— И вот еще твой шоколад! Посторонись. Нет, я лучше отдам его Брэдли. Брэд, ведь ты еще любишь молочный шоколад? Смотри, я отдаю твой шоколад Брэдли.— Она сунула шоколад мне в руки. Я положил ее на кровать.— Я не бессердечная, но он пристает ко мне со дня моего приезда, воображает, что я буду его нянчить и содержать. Настоящий паразит, живущий за счет социального обеспечения, американцы считают, что все англичане теперь такие. Ну ты только погляди на него! Что за шут! Денег я ему дала, но он желает переехать сюда и у меня поселиться. Забрался, пока меня не было, через окно на кухню, прихожу — а он в постели. О-о! Смотри-ка, кто пришел!

Внизу появился еще один человек — Арнольд Баффин. Он остановился и разговаривал с Фрэнсисом.

— Ау, Арнольд!

Арнольд запрокинул голову, помахал рукой и пошел к подъезду. Она убежала, дробно простучали вниз по лестнице каблуки, я услышал, как открывают входную дверь. Смех.

Фрэнсис по-прежнему стоял в канаве под окном с бритвой и зубной щеткой в руках. Он перевел взгляд с закрывшейся двери вверх, на меня. И, виновато улыбаясь, жестом шутовского отчаяния вскинул и уронил руки. Я бросил ему в окно плитку молочного шоколада. Как он ее подберет, я смотреть не стал, а медленно пошел вниз по лестнице. Арнольд и Кристиан стояли в дверях гостиной, и оба одновременно говорили.

Я сказал Арнольду:

— Вы оставили Присциллу.

— Брэдли, не сердитесь,— ответил Арнольд,— но Присцилла набросилась на меня.

— Набросилась?

— Я рассказывал ей о вас, Кристиан. Брэдли, вы даже не говорили ей о приезде Кристиан, а она не знала, что подумать. Ну, словом, я рассказывал ей о вас, и можете не делать такой гримасы — все, что я говорил, было очень лестно для вас, и вдруг с ней случился припадок, она набросилась на меня, обхватила руками за шею...

Кристиан шумно захохотала.

— Мне, может быть, и надо было стойко терпеть, но... словом, я, как джентльмен, не буду вдаваться в детали, но я подумал, что для нас обоих будет лучше, если я удалюсь, и тут появилась Рейчел. Она не знала, что я там, у нее было какое-то дело к вам, Брэдли. Ну я и сбежал, а ее оставил вместо себя.

— О господи, вот чудак! — проговорила Кристиан.— Да поглядите, как он взволнован! И я вам нисколько не верю, все, наверно, было совсем не так. А обо мне что вы говорили? Вы же ничего обо мне не знаете! Верно, Брэд? Ты знаешь, Брэд, этот человек меня смешит.

— Вы меня тоже смешите! — отозвался Арнольд.

И они оба стали смеяться. Веселое возбуждение, которое Кристиан еле сдерживала в продолжение нашего разговора, шумно вырвалось наружу. Она заливалась смехом, задыхалась, всхлипывала, бессильно прислонившись к дверному косяку, и слезы катились у нее из глаз. Арнольд тоже хохотал от всей души, хохотал самозабвенно, запрокинув голову и прикрыв глаза. Они выли от смеха. Они едва держались на ногах.

Я прошел мимо них в дверь и быстро зашагал по улице. Фрэнсис Марло бросился за мной:

— Брэд, погодите.

Я не обращал на него внимания, и он вскоре отстал. Уже когда я сворачивал за угол, он крикнул мне вдогонку:

— Брэд! Спасибо за шоколадку!

А потом я очутился в Бристоле.

Нескончаемые стенания Присциллы об оставленных «ценностях» сломили, в конце концов, мое сопротивление. С опаской и неохотой я все же взялся за это поручение и согласился проникнуть в дом, чтобы в отсутствие Роджера вынести ее горячо любимые побрякушки.

Присцилла составила целый список, куда вошли также кое-какие предметы покрупнее и много ее носильных вещей. Все это я должен был «спасти». Список я сильно сократил. Мне была не вполне ясна законная сторона дела. Я считал, что сбежавшая жена сохраняет право собственности на свою одежду. Присцилле я сказал, что и «украшения» остаются за нею, но в действительности отнюдь не был в этом уверен. А уж то, что покрупнее, я уносить наверняка не собирался. В итоге помимо украшений и норкового палантина я должен был доставить ей еще ряд вещей, а именно: жакет с юбкой, вечернее платье, три пуховых свитера, две блузки, две пары туфель, узел нейлонового белья, белую фарфоровую вазу в синюю полоску, мраморную статуэтку какой-то греческой богини, два серебряных кубка, малахитовую шкатулочку, расписную коробку для рукоделия флорентийской работы, эмаль «Девушка, собирающая яблоки» и веджвудский фарфоровый чайник.

Присцилла обрадовалась, когда я согласился привезти ее вещи, видимо, они имели для нее чуть ли не магическое значение. Было решено, что после этого Роджеру будет направлена официальная просьба сложить и выслать всю ее остальную одежду. Присцилла считала, что надо только добыть украшения, а остального он присваивать не станет. Она все время повторяла, что Роджер может продать ее «драгоценности» просто ей назло, и я, поразмыслив, склонен был поверить ей. Я очень надеялся, что мое согласие на эту поездку, довольно самоотверженное, если учесть все обстоятельства, развеет Присциллину мрачность, но Присцилла, успокоившись на этот счет, тут же снова начала стенать и причитать о потерянном ребенке, о своей старости, о том, какой у нее ужасный вид и как плохо обращался с ней муж, и о своей загубленной, никому не нужной жизни. Такие приступы безудержной жалости к себе, не облагороженной разумом и совестью, могут быть очень непривлекательны. Мне тогда было стыдно за свою сестру, я бы с радостью спрятал ее от людей. Но кто-то должен был с ней остаться, и Рейчел, которая уже накануне наслу-

шалась ее причитаний, любезно, хотя и без восторга, согласилась побыть это время у меня, при условии, что я постараюсь вернуться как можно скорее.

Телефон звонил в пустом доме. Было немного за полдень, рабочее время. В стекле телефонной будки я разглядывал свою выбритую верхнюю губу и думал о Кристиан. Что это были за мысли, я объясню ниже. В ушах у меня все еще раздавался демонический хохот. А несколько минут спустя, нервничая и страдая и чувствуя себя почти вором, я вставлял ключ в замочную скважину и осторожно толкал дверь. Я тихонько опустил на пол в прихожей два чемодана, которые привез с собой. В квартире что-то было не так, я это почувствовал, как только переступил порог, но не сразу смог понять, в чем дело. Потом догадался: сильно пахло свежей мебельной политурой.

Присцилла так красочно описывала мне царящее в ее доме запустение. Постели не застилаются неделями. Посуду она мыть перестала. Женщина, помогавшая по дому, разумеется, взяла расчет. Роджер с каким-то даже удовольствием увеличивал беспорядок, всю вину возлагая на нее, Присциллу Он нарочно все ломал. А она не убирала за ним. Он нашел тарелку с заплесневевшими остатками пищи и прямо в прихожей бросил ее об пол Присцилле под ноги. И она там так и лежит — осколки фаянса вперемешку со слизистой кашицей, налипшей на ковер. Присцилла тогда просто с каменным лицом прошла мимо. Но обстановка, в которую я попал, отперев дверь, была настолько не похожа на все, о чем я слышал, что мне даже пришло в голову, уж не ошибся ли я адресом. Чистота и порядок так и бросались в глаза. Полированное дерево блестело, уплтонский ковер поражал чистотой. Были даже цветы, большие белые и красные пионы в медном кувшине на старом дубовом сундуке. Сам сундук был свежеотполирован. Медный кувшин сиял.

Та же зловещая чистота и порядок царили и наверху. Постели стояли убранные и по-больничному аккуратные. Нигде ни пылинки. Мерно тикали часы. Что-то во всем этом было жуткое, как на «Марии Селесте»[1]. Я выглянул в окно — вокруг аккуратно подстриженной лужайки цвели сиреневые ирисы. Сияло яркое холодное солнце. Должно быть, Роджер после отъезда Присциллы как следует поработал в саду. Я отошел к комоду и открыл нижний ящик, где, по рассказам Присциллы, должен был лежать ларец с ее украшениями. Я вытянул ящик полностью, но в нем ничего, кроме тряпок, не было. Я запихал их обратно и стал искать в других ящиках здесь и в ванной комнате. Открыл платяной шкаф. Нигде не было никаких следов ни ларца с украшениями, ни норкового палантина. Не увидел я и серебряных кубков, и малахитовой шкатулки, которым надлежало находиться на туалетном столике. Обескураженный, я стал ходить из комнаты в комнату. Одна была почти доверху завалена Присциллиной одеждой — вещи лежали на кровати, на стульях, на полу, яркие, разноцветные, странные. В каком-то углу мне попалась на глаза сине-белая полосатая ваза, которая оказалась значительно больше, чем следовало из рассказов Присциллы; я прихватил ее. И как раз когда я стоял на лестнице с вазой в руках, размышляя, что мне с ней делать, внизу послышался шум, и чей-то голос пропел:

— Ау! Это я.

Я медленно пошел вниз по ступеням. В прихожей стоял Роджер. При виде меня у него отвисла челюсть, а брови полезли на лоб. У него был прекрасный, цветущий вид. Каштановые, с сильной проседью

---

[1] «Мария Селеста» — американская бригантина, оставленная экипажем в океане при загадочных обстоятельствах (1872 г.).

волосы тщательно зачесаны со лба вверх. Хорошо сшитый серый пиджак спортивного покроя. Я осторожно поставил полосатую вазу на сундук рядом с пионами в медном кувшине.

— Я приехал за Присциллиными вещами.

— Присцилла тоже здесь?

— Нет.

— Она не собирается вернуться?

— Нет.

— Слава богу. Зайдите сюда. Выпьем чего-нибудь.— У него был сочный, «интеллигентный» голос, довольно громкий, псевдоуниверситетский голос, голос завзятого оратора, голос завзятого подлеца. Мы, скользя по паркету, прошли в «залу» (голос паркетного шаркуна). Здесь тоже все было прибрано, стояли цветы. В окно лился солнечный свет.

— Мне нужны украшения моей сестры.

— Выпьете? А я выпью, если не возражаете.

— Мне нужны украшения моей сестры.

— Очень сожалею, но я вам сейчас отдать их не могу. Видите ли, мне неизвестна их стоимость, и пока я...

— И ее норковый палантин.

— То же самое относится и к палантину.

— Где эти вещи?

— Здесь их нет. Послушайте, Брэдли, зачем нам ссориться?

— Мне нужны ее украшения, и норка, и та ваза, что я принес вниз, и эмаль...

— О господи. Вы что, не понимаете, что Присцилла психопатка?

— Если и так, то это вы ее довели.

— Прошу вас, не надо. Я больше ничего не могу для нее сделать. Я делал все что мог. Можете мне поверить, это была не жизнь, а сущий ад. И кончилось тем, что она все бросила и скрылась.

— Это вы ее выжили! — Я увидел на каминной полке Присциллину мраморную статуэтку. Вероятно, это была Афродита. Горькая жалость к сестре охватила меня. Ей хочется иметь вокруг себя эти жалкие вещицы, в них все ее утешение. Больше у нее ничего не осталось в жизни.

— Жить под одной крышей со стареющей истеричкой, я вам скажу, не шутки. Я старался как мог. Она становилась буйной. Кроме того, она перестала убирать, в доме был развал.

— Я не хочу с вами разговаривать. Мне нужны вещи.

— Все ценное находится в банке. Я предвидел, что Присцилла захочет обчистить дом. Она может получить свою одежду, только, ради бога, не подавайте ей мысли являться сюда лично. А так я буду только рад освободить дом от ее туалетов. Но все прочее я считаю sub judice[1].

— Украшения являются ее собственностью.

— Отнюдь. Она покупала их, экономя на хозяйственных расходах. Я недоедал. И, конечно, она делала эти покупки, не советуясь со мной. Но теперь, черт возьми, я рассматриваю их как капиталовложение, как мое капиталовложение. И эту чертову норку тоже. Ладно, ладно, успокойтесь, я буду справедлив к Присцилле, я назначу ей содержание, но я совершенно не склонен делать ей дорогостоящие подарки. Сначала я должен узнать, на каком я свете,— в смысле денег. А присваивать все ценное в доме я ей не позволю. Она убралась отсюда по своей доброй воле. Сама знала, что делала.

От ярости и унижения я почти не мог говорить.

---

[1] Арестовано на время суда *(лат.)*.

— Вы же сознательно, намеренно выжили ее отсюда. Она рассказывала, как вы пытались ее отравить!

— Просто всыпал ей в тарелку соли с горчицей. Вкус, я думаю, был премерзкий. Всыпал — и сижу смотрю, как она будет есть. Картинки из преисподней. Вы этого и представить себе не можете. У вас, я видел, с собой два чемодана. Я вам вынесу кое-что из ее одежды.

— Вы сняли все деньги с вашего общего счета...

— Ну и что же? Ведь это были мои деньги, верно? Другого источника доходов у нас нет. А она втихомолку тянула фунт за фунтом и покупала себе тряпки. Она на этих тряпках просто помешалась. У нас наверху одна комната до отказа набита ее вещами, и все ненадеванные. Дай ей волю, она бы все пустила на ветер. Ей-богу, не будем ссориться. Вы же мужчина, можете меня понять, и незачем тут поднимать крик. Она обозленная неудачница, да к тому же помешанная и жестокая, как дьявол. Мы оба хотели ребенка. Она сыграла на этом, заставила на себе жениться. Я женился только потому, что хотел ребенка.

— Что вы врете! Вы же требовали аборта.

— Это она хотела сделать аборт. А я сам не знал, чего хотел. Но когда ребенка не стало, я это очень тяжело пережил. Ну, а потом Присцилла сказала, что снова забеременела. Гениальная идея вашей матушки. Но это была ложь. Я женился, чтобы не потерять и этого ребенка. А никакого ребенка не оказалось.

— О господи.— Я отошел к камину и взял с полки мраморную статуэтку.

— Поставьте на место,— сказал Роджер.— Здесь вам не антикварная лавка.

Я поставил статуэтку назад, и в это время в прихожей послышались шаги. Дверь отворилась, вошла красивая молоденькая девушка в белых брюках и длинной розовой полотняной жилетке, с темно-каштановыми растрепанными волосами, словно только что каталась на яхте. Лицо ее сияло каким-то значительным внутренним светом, а не просто здоровьем и загаром. Ей было лет двадцать. В руке она держала сумку с продуктами и опустила ее прямо на пороге.

Может быть, я перепутал и у них все-таки был в конце концов ребенок? Вот эта девица?

Роджер вскочил и бросился ей навстречу, лицо его смягчилось, губы улыбались, глаза словно стали больше, залучились, разошлись от переносицы. Он поцеловал ее в губы, прижал, потом отодвинул от себя и, улыбаясь, смотрел на нее, словно пораженный. Потом издал возглас довольного изумления и обернулся ко мне.

— Это Мэриголд. Моя любовница.

— Быстро вы обзавелись.

— Дорогая, это брат Присциллы. Скажем ему все, да, дорогая?

— Конечно, дорогой,— важно ответила девица, откидывая волосы со лба и прижимаясь плечом к Роджеру.— Скажем ему все.

Она говорила с легким провинциальным акцентом, и я теперь видел, что ей больше двадцати лет.

— Мы с Мэриголд уже давно вместе. Мэриголд была моей секретаршей. Мы уже тысячу лет живем как бы вместе. Но от Присциллы скрывали.

— Не хотели ее огорчать,— добавила Мэриголд.— Несли бремя одни. Так трудно было принять верное решение. Нелегко нам пришлось.

— Теперь все позади,— сказал Роджер.— Слава богу.— Они держались за руки.

Эта картинка любви и счастья наполнила меня ненавистью и отвращением. Не обращая внимания на девицу, я сказал Роджеру:

— Понятно, что с молодой особой, которая вам в дочери годится, жить куда приятнее, чем с пожилой женщиной, связанной с вами супружеской клятвой.

— Мне тридцать лет,— возразила Мэриголд.— И мы с Роджером любим друг друга.

— «И в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезни». И как раз когда она особенно нуждается в вашей помощи, взять и выгнать ее из дому!

— Это неправда!

— Правда!

— Мэриголд беременна,— сказал Роджер.

— Как вы можете мне это говорить,— возмутился я,— и стоять тут с таким порочно-самодовольным видом? Я что, должен радоваться, что вы зачали еще одного ублюдка? Чем вы так гордитесь? Прелюбодейством? В моих глазах это мерзость: старик и молодая девушка. Если бы вы только знали, как на вас противно смотреть! Вы точно убийцы...

Они отошли друг от друга. Мэриголд села в кресло, не сводя со своего любовника горячего растерянного взгляда.

— Мы не нарочно,— сказал Роджер.— Так уж случилось. Чем мы виноваты, что мы счастливы? По крайней мере, теперь мы поступаем по совести, мы покончили с ложью. И мы хотим, чтобы вы сказали Присцилле — объясните ей все. Черт, гора с плеч. Правда, дорогая?

— Нам так неприятно было лгать, ужасно неприятно, да, дорогой? — подхватила Мэриголд.— Мы столько времени прожили во лжи.

— У Мэриголд была квартирка, и я приезжал к ней... Унизительное положение.

— Но теперь все это позади, и мы... Господи, когда можно, наконец, просто говорить правду! Мы так жалеем Присциллу...

— Вы бы на себя посмотрели. Полюбовались бы. А теперь, будьте добры, отдайте мне Присциллины украшения.

— Мне очень жаль,— сказал Роджер.— Я же объяснил.

— Она просила украшения, норку, вон ту статуэтку, полосатую вазу, какую-то эмаль...

— Статуэтку купил я. И она останется здесь. Эмаль тоже. Она мне самому нравится. Эти вещи принадлежат не ей одной. Неужели вы не понимаете, что еще не время приступать к дележу? Речь идет о деньгах. Она уехала и все здесь бросила — может немного и подождать! А тряпки увозите, сделайте милость. В ваши два чемодана поместится довольно много.

— Я пойду упакую, хорошо? — предложила Мэриголд. И выбежала из комнаты.

— Вы расскажете Присцилле, да? — сказал Роджер.— Для меня это будет огромным облегчением. Знаете, я такой трус. Все время откладывал, не мог ей признаться.

— Когда ваша приятельница забеременела, вы сознательно выжили свою жену из дома.

— Да у меня и в мыслях не было! Все шло, как шло, само по себе, мы были очень несчастны. Жили и ждали неизвестно чего...

— Присциллиной смерти, я полагаю. Удивительно, что вы ее не убили.

— Мы хотим ребенка,— сказал Роджер.— Ребенок — самое главное, и я забочусь об его интересах. Он тоже, слава богу, имеет свои

права. И мы хотим, наконец, жить счастливо, честно и открыто! Я хочу, чтобы Мэриголд стала моей женой. Присцилла никогда не была со мной счастлива.

— А вы подумали о том, что теперь будет с Присциллой, какое существование ее ждет? Она посвятила вам всю свою жизнь, а теперь она вам больше не нужна.

— Ну, я тоже посвятил ей жизнь. Она отняла у меня не один год, когда я мог бы жить счастливо и открыто!

— Идите к черту! — Я выскочил в прихожую и увидел Мэриголд, стоявшую на коленях в облаке шелка, твида и розового нейлона. Почти все вещи были совершенно новыми.

— Где норка?

— Я же объяснил, Брэдли.

— Ну как вам не стыдно? Вы очень плохие люди. Неужели вам не стыдно?

Они сокрушенно, участливо смотрели на меня. Задеть их я не мог. Мне хотелось уязвить их, растерзать на куски. Но они были неуязвимы, блаженны.

Я сказал:

— Я не стану тут дожидаться, пока вы упакуете чемоданы.— Я не мог видеть, как эта девица встряхивает и аккуратно складывает Присциллины вещи.— Можете отправить их ко мне на квартиру.

— Хорошо, мы отправим, верно, дорогой? — сказала Мэриголд.— Наверху есть большой кофр...

— Вы ей расскажете, да? — сказал Роджер.— Только как-нибудь потактичнее. Но чтобы была полная ясность. Можете сказать и про беременность Мэриголд. Обратной дороги нет.

— Уж об этом-то вы позаботились.

— Но что-то вы должны ей привезти прямо сейчас,— сказала Мэриголд, стоя на коленях и подняв к нам безмятежное лицо, светившееся искренним доброжелательством счастливых.— Дорогой, может быть, пошлем ей эту статуэтку или?..

— Нет. Она мне самому нравится.

— Ну, тогда полосатую вазу — она ведь ее просила?

— Ладно, пускай. Ну что за доброе, нежное сердечко!

— Пойду упакую ее как следует.

— Не считайте меня дьяволом во плоти, Брэдли, дружище. Я, конечно, не святой, но, право же, самый обыкновенный человек, обыкновенней меня не найдешь, я думаю. Вы должны понять, что мне тут ой как не сладко жилось. Знаете, какое мучение, когда приходится жить двойной жизнью? А Присцилла уже много лет обращалась со мной ужасно, как настоящее исчадие ада, годы я от нее слова доброго не слышал...

Вернулась Мэриголд с громоздким свертком. Я взял его у нее из рук и открыл дверь на улицу. Мир за порогом ослепил меня, словно все это время я находился в темноте. Я вышел в дверь и оглянулся. Они стояли покачиваясь, плечом к плечу, держась за руки, не в силах подавить сияющих улыбок. Мне хотелось плюнуть им на порог, но во рту у меня пересохло.

Я пил у стойки легкий золотистый херес и разглядывал в окно черно-красно-белую пароходную трубу на фоне густо-синего, подернутого дымкой неба. Труба была очень яркой, очень осязаемой, до краев полной цвета и бытия. Небо было умопомрачительно огромным и бесконечным. кулисы, кулисы, кулисы прозрачной, зернистой, чистейшей голубизны.

Потом стреляли голубей, а труба была сине-белая, и синева смешивалась с небом, а белизна висела в пространстве, словно рулон хрустящей бумаги или змей на картинке. Змеи всегда много для меня значили. Что за образ нашей судьбы — далекая высота, легкое подергивание, натянутый шнур, невидимый, длинный,— и страх, что оборвется. Обычно я не пьянею. Но Бристоль — это город хереса. Превосходного дешевого хереса, светлого и прозрачного. На какое-то время я почти обезумел от неудачи.

Стреляли голубей. Что за образ нашей судьбы — громкий хлопок, бедный белый комочек перьев бьется на земле, машет крыльями отчаянно, напрасно пытаясь взлететь. Сквозь слезы я смотрел, как подбитые птицы падают и скатываются по крутым крышам пакгаузов. Как должно огрубеть человеческое сердце, которому назначена такая обязанность — преображать невинные, высоко парящие существа в бьющийся комок лохмотьев и страданий. Жизнь ужасна, ужасна, ужасна, как сказал философ. Когда стало очевидно, что лондонский поезд уже ушел, я позвонил домой, но никто не поднял трубки.

Я чувствовал себя, уйдя от Роджера и Мэриголд, униженным и несчастным и был от злости почти в истерике. С беспредельной ясностью я увидел, наконец, как несправедлива и жестока была судьба к моей сестре. Меня терзало сожаление о том, что я так и не сумел навязать Роджеру мою волю, уязвить, унизить его. Мне было стыдно и грустно, что я не добыл для нее даже того жалкого утешения, о котором она так самозабвенно просила. Ведь я не привезу ей «стразовый гарнитур», хрустальное ожерелье с лазуритами, янтарные серьги. И нет у меня для нее норкового палантина, нет даже мраморной Афродиты и эмали «Девушка, собирающая яблоки». Бедная Присцилла, думал я, бедная Присцилла, но жалость моя не заслуживала похвалы, ибо в сущности это была просто жалость к себе. Разумеется, я сделал для Присциллы «все что мог», сделал не колеблясь, просто потому, что раз надо, так надо. Наверно, именно эта маленькая область бесспорных обязательств, которые берет на себя человек, и есть его спасение, спасение от звериной, эгоцентрической ночи, находящейся в непосредственной близости от любого, самого цивилизованного из нас. Однако, если пристальнее всмотреться в этот «долг», в этот жалкий подвиг малодушного, заурядного человека, окажется, что ничего славного в нем нет, что это не обращение вспять реки мирового зла, отступающего перед разумом или богом, а лишь проявление все той же любви к себе, одна из тех хитрых уловок Природы, к которым она прибегает, ибо иначе как бы она могла существовать? — изменчивая и противоречивая в своей многоглавой единосущности. Наше участие безоговорочно и полно лишь там, где мы мысленно подставляем самих себя. Святой — это человек, отождествляющий себя со всем и вся. Только ведь на свете, как учит мой мудрый друг, не существует святых.

Я отождествлял себя с Присциллой по древним, формальным причинам. Будь Присцилла мне просто знакомая, я не только бы пальцем не шевельнул, чтобы облегчить ее страдания, но и самые эти страдания задержались бы в моей памяти не дольше минуты. Однако в Присциллином унижении и крахе я сам был унижен и повергнут. Я вкусил всю горечь несправедливости и был потрясенным свидетелем благоденствия моих обидчиков. Как хорошо было человеку, когда он верил в ад. Какое глубокое и мощное утешение пропало для нас с утратой этого древнего почтенного верования. Но дело не только в этом. Я был потрясен еще более возмутительным и отталкивающим зрелищем — я видел, как Роджер с его сединами, с его замашками стареющего любителя мирских утех обнимает девушку, которая годится

ему в дочери, существо юное, неживше, незапятнанное. Такое соприкосновение молодости и старости оскорбляет взор, и оскорбляет, по-моему, не без основания.

Потом безлюдная улица была как театральная декорация. Черный задник в конце ее был бортом корабля. Камень набережной соприкасался со сталью корабельного корпуса, а я сидел на камне и прижимался лбом к стальной плите. И еще я был в магазине, под прилавком, лежал на полу с женщиной, а повсюду на полках стояли клетки с мертвыми животными, которых я забыл накормить. А потом я сидел на вокзале Темпл-Мидс и беззвучно выл, терзаемый муками больной совести под безжалостными вокзальными сводами. Почему, почему никто не поднял трубку? Ночной поезд увез меня. Каким-то образом я умудрился разбить полосатую вазу. И осколки оставил в вагоне, выходя на Пэддингтонском вокзале.

Я находился у Кристиан, куда увезли Присциллу. Позже я находился с Рейчел в саду. Это был не сон. Кто-то пускал змея.

Дома я нашел записку от Рейчел, а утром, рано-рано утром, только я успел приехать, она пришла сама, чтобы объяснить мне, как все произошло: как Присцилла разнервничалась, как позвонила Кристиан, как приехал Арнольд, а потом приехал Фрэнсис. А меня все не было, и Присцилла раскапризничалась, как младенец без матери. Поздно вечером Кристиан увезла Присциллу на такси. Арнольд и Кристиан много смеялись. Рейчел боялась, что я буду на нее сердиться. Я не рассердился. «Ну, конечно, против *них* вы бессильны».

Присцилла в черном пеньюаре Кристиан сидела, прислонившись к высоко взбитым белоснежным подушкам. Ее безжизненные жидкие крашеные волосы были непричесаны, лицо без косметики казалось мягким, как глина или опара, с морщинами, неглубоко отпечатавшимися на вздутой поверхности. Нижняя губа отвисла. Можно было дать ей семьдесят — восемьдесят лет. Кристиан в темно-зеленом платье с ниткой натурального жемчуга ходила сияя, словно хозяйка удачного вечера. У нее влажно блестели глаза, точно омытые слезами, которые выступают от смеха или от удовольствия и растроганности. Изящными тонкими пальцами она то и дело проводила по своим бронзово-каштановым волнистым волосам. Арнольд был по-мальчишески взбудоражен, извинялся передо мной, но при этом все время переглядывался с Кристиан и смеялся. Он напустил на себя свой «заинтересованно-писательский» вид: я только зритель, наблюдатель, но *понимающий* наблюдатель. Лицо его лоснилось, и белесые волосы игривой мальчишеской челкой падали на светлые умные глаза. Фрэнсис сидел от всех в стороне и потирал руки, один раз он даже беззвучно похлопал в ладоши, а его маленькие близко посаженные медвежьи глазки радостно бегали от одного лица к другому. Мне он все время кивал, словно кланялся, и вполголоса приговаривал: «Ничего, все хорошо, все будет хорошо, все будет очень хорошо». Потом в какой-то момент он засунул лапу себе в брюки и с озабоченным видом почесался. Рейчел стояла неподвижно, но в ее позе было что-то от нарочитого спокойствия человека, который в глубине души сильно смущен. Она нерешительно улыбалась, чуть-чуть размыкая конфетно-розовые накрашенные губы, улыбка ее становилась шире, потом гасла, потом снова появлялась, словно в ответ на какие-то скрытые мысли, но, впрочем, возможно, что это было одно притворство.

— Брэдли, это не заговор, не смотрите так.

— Он ужасно на нас сердится.

— Он думает, что вы взяли Присциллу в заложницы.

— Я и взяла Присциллу в заложницы!
— Что с вами стряслось? Присцилла была вне себя.
— Я опоздал на поезд. Виноват.
— Почему же вы опоздали на поезд?
— Почему ты не позвонил?
— Смотрите, какой у него виноватый вид! Присцилла, поглядите только, какой у него виноватый вид!
— Бедняжка Присцилла думала, что ты попал под машину или еще что-нибудь.
— Видите, Присцилла, мы говорили вам, — никуда он не денется.
— Тише вы все! Присцилла хочет что-то сказать!
— Полно, Брэдли, не сердитесь.
— Помолчите!
— Ты привез мои вещи?
— Сядь, пожалуйста, Брэд. Ты выглядишь ужасно.
— Мне очень жаль, что я опоздал на поезд.
— Ничего, ничего, все будет хорошо.
— Я звонил.
— Ты привез мои вещи?
— Присцилла, милая, не надо так нервничать.
— К сожалению, нет.
— О, я так и знала, что ничего не получится! Я так и знала, так и знала, я же говорила.
— А в чем дело, Брэдли?
— Роджер оказался дома. Мы с ним потолковали.
— Потолковали!
— И теперь ты на его стороне.
— Мужчины все заодно, моя милая.
— Я не на его стороне. Ты что, хотела, чтобы я с ним подрался?
— Доблестный Брэд Железный Кулак!
— Ты говорил с ним обо мне?
— Разумеется!
— И они сошлись во мнениях, что женщины — исчадия
— Женщины и есть исчадия ада, если на то пошло.
— Ему плохо?
— Да.
— И в доме грязь и бог знает что?
— Да.
— Ну, а мои вещи?
— Он сказал, что пришлет их.
— Но неужели ты не мог привезти хоть что-нибудь, хоть одну вещичку?
— Он будет все паковать.
— А ты говорил ему особо про украшения и норковый палантин?
— Он все пришлет по почте.
— Но ты говорил?
— Все хорошо, все будет хорошо.
— Да! Говорил!
— Он не пришлет, знаю, что не пришлет...
— Присцилла, одевайся.
— Никогда он не пришлет мне моих вещей, никогда, никогда, я знаю, что не пришлет, они погибли для меня навеки, навеки!
— Буду ждать тебя внизу. Одевайся и поедем домой.
— Мои вещи — это все, что у меня было!
— Да нет же. Присцилла останется у меня.
— А ты нашел их, ты видел их там?
— Присцилла, вставай и одевайся.

— Разве вы не хотите, милая, остаться здесь, у меня?

— Брэдли, ну зачем вы с ней так?

— Брэд, подумай сам. Она нуждается во врачебной помощи, в наблюдении психиатров, я найму сиделку...

— Да не нуждается она ни в какой сиделке!

— Вы же знаете, Брэдли, что уход за больными — не ваше амплуа.

— Присцилла!

— Ну посмотрите, что вышло вчера.

— Пожалуй, мне пора,— сказала Рейчел, не произнесшая до той минуты ни единого слова и только неопределенно улыбавшаяся словно бы своим тайным мыслям.

— Ах, пожалуйста, останьтесь еще.

— Выпить чего-нибудь еще не время?

— Я не отдам вам мою сестру. Чтобы вы тут жалели и унижали ее.

— Никто ее не жалеет!

— Я жалею,— сказал Фрэнсис.

— А тебя вообще никто не спрашивает. Ты сию же минуту отсюда уберешься. Сейчас приедет настоящий доктор, и мне совершенно не нужно, чтобы ты тут болтался.

— Идем, Присцилла.

— Брэдли, успокойтесь. Может быть, все-таки Крис права?

— И нечего вам называть ее Крис.

— Ну знаешь, Брэд, одно из двух: либо ты от меня отрекаешься, либо...

— Присцилла абсолютно здорова, ей только нужно успокоиться и взять себя в руки.

— Брэдли не верит в психические болезни.

— Собственно, я тоже, но...

— Вы вбиваете ей в голову, что она больна, а ей нужно только...

— Брэдли. Присцилле нужен отдых и покой.

— Это здесь, по-вашему, покой?

— Брэд, она больной человек.

— Присцилла, вставай.

— Брэд, бога ради, не ори.

— Пожалуй, мне в самом деле пора.

— Вы ведь хотите остаться здесь со мной, моя милая, вы ведь хотите остаться с Кристиан, правда?

— Он не пришлет моих вещей, я знаю, я никогда, никогда их больше не увижу.

— Ничего, ничего, все будет хорошо.

В конце концов Рейчел, Арнольд, Фрэнсис и я вместе вышли от Кристиан. Вернее, я повернулся и пошел, а они потянулись за мной.

Описанная сцена происходила в одной из новых комнат на верхнем этаже, в прежние годы она была не наша. Обстановка здесь отличалась претенциозностью, хотя сейчас все пришло в запустение; посреди комнаты стояла овальная, словно из какого-то кинофильма, кровать, а стены были обиты панелями «под бамбук». Я чувствовал себя словно в ловушке, казалось, какая-то игра перспективы свела потолок под острым углом с полом, еще шаг — и уткнешься головой. Бывают дни, когда человек высокого роста ощущает себя еще выше, чем обычно. Я возвышался над остальными, как над лилипутами, а ноги мои не доставали до пола. Возможно, это еще действовало выпитое вчера вино.

На улице перед глазами у меня кишела чернота. Солнце, пробившись сквозь туманное облако, ослепило меня. Встречные люди выросли высокими черными силуэтами и проплывали мимо, как призраки, как ходячие деревья. Я слышал, что они идут за мною. Слышал их шаги еще на лестнице. Но не оборачивался. Мне было тошно.

— Брэдли, вы что, ослепли? Что вы лезете прямо под колеса, безумный вы человек?

Арнольд схватил меня за рукав. И не отпускал. Другие подошли и стали по бокам. Рейчел сказала:

— Ну пусть она побудет там день или два. Оправится немного, и тогда заберете ее домой.

— Вы не понимаете,— ответил я. Голова у меня болела, и свет резал глаза.

— Я прекрасно вас понимаю, если хотите знать,— сказал Арнольд.— Вы проиграли этот раунд и все еще не можете прийти в себя. Я бы на вашем месте просто лег в постель.

— Да. А я буду ухаживать за вами,— сказал Фрэнсис.

— Нет.

— Почему вы щуритесь и прикрываете глаза? — спросила Рейчел.

— Как это случилось, что вы опоздали на поезд? — спросил Арнольд.

— Пожалуй, я и в самом деле пойду к себе и лягу в постель.

— Брэдли,— сказал Арнольд,— не сердитесь на меня.

— Я не сержусь на вас.

— Это получилось совершенно случайно — ну, вот что я оказался там, я зашел, думал, вы уже вернулись, тут Кристиан позвонила, потом приехала. Присцилла к этому времени уже довела Рейчел до полного изнеможения, а вы все не появлялись. Я знаю, вышло не очень приятно для вас, я вполне понимаю, но, право, все было продиктовано только здравым смыслом, а Кристиан это так забавляло, и вы знаете, я неисправимый любитель волнений и суматохи. Вы должны нас простить. Никакого заговора против вас не было.

— Я знаю, что не было.

— И сегодня я зашел туда просто потому...

— Неважно. Я еду домой.

— И я с вами,— сказал Фрэнсис.

— Лучше поедем к нам,— предложила Рейчел.— Я накормлю вас обедом.

— Прекрасная мысль. Поезжайте с Рейчел. А мне пора в библиотеку продолжать работу над романом. И так столько времени растрачено на эту маленькую драму. А все из-за моего несносного любопытства. Так вы не сердитесь на меня, Брэдли?

Мы с Рейчел сели в такси. Фрэнсис бежал рядом, пытаясь что-то сказать, но я поднял стекло.

Теперь, наконец, наступила тишина. Мне улыбалось крупное спокойное женское лицо — добрая полная луна, а не черноликая, с ножом в зубах, источающая тьму. Синяк под глазом сошел, а может быть, она запудрила его. Или его вообще не было — просто так падала тень.

После вчерашнего первое, что я смог проглотить, были три таблетки аспирина, за которыми последовал стакан сливок, затем — ломтик молочного шоколада, затем — кусок картофельной запеканки с мясом, затем — немного рахат-лукума, затем — стакан кофе с молоком. Я почувствовал себя физически лучше, голова заработала яснее.

Мы сидели на веранде. Сад у Баффинов был невелик, но сейчас, в пышном июньском цвету, он казался бесконечным. Купы фрукто-

вых деревьев и каких-то перистых кустов среди высокой, красноватой травы заслоняли соседние дома, заслоняли даже свежепросмоленный штакетный забор. Только вьющиеся розы меж стволов создавали впечатление замкнутости. Сад изгибался, он был как большая зеленая раковина, источающая запахи листьев и земли. Внизу у самого крыльца была площадка, вымощенная камнем, из щелей смотрели розовые цветы чабреца, а дальше шла подстриженная лужайка, и по ней были рассыпаны белые ромашки. И мне припомнился солнечный летний день моего детства. В тот день на бескрайней поляне сквозь рыжие метелки трав ребенок, которым был тогда я, увидел молодую лису, охотившуюся на мышей. Лиса была изящна, вся новенькая с иголочки, прямо из рук творца, ослепительно-рыжая, в черных чулках, с белой кисточкой на хвосте. Она услышала и обернулась. Я видел ее живую маску, влажные янтарные глаза. Потом она исчезла. Исчез образ совершенной красоты и мистического смысла. Ребенок заплакал и почувствовал, что в нем пробудился художник.

— Так, значит, Роджер на седьмом небе от счастья,— сказала Рейчел. Я ей все рассказал.

— Но Присцилле нельзя этого говорить, верно?

— Пока нельзя.

— Роджер и эта девица. Противно!

— Знаю. Но вся сложность в Присцилле.

— Что мне делать, Рейчел, что мне делать?

Рейчел, босая, в платье без пояса, не отвечала. Она легонько поглаживала пальцами скулу в том месте, где мне привиделся синяк. Мы оба сидели откинувшись в шезлонгах и отдыхали. Но отдыхающая Рейчел была в то же время оживлена, на ее лице появилось знакомое мне выражение. Арнольд называл его «экзальтированным» — румянец каких-то предчувствий тронул обычно бледные, с веснушками, щеки и зажег огонь в спокойных светло-карих глазах. Она сидела откинувшись, живая и красивая.

— Как заводные,— сказал я.

— Кто? Кто как заводные?

— Дрозды.

Несколько дроздов, дергаясь, точно игрушечные, расхаживали в подстриженной траве.

— Совсем как мы.

— О чем вы, Брэдли?

— Заводные. Как мы.

— Возьмите еще шоколаду.

— Фрэнсис любит молочный шоколад.

— Мне жалко Фрэнсиса, но я понимаю Кристиан.

— От таких приятельских разговоров про Кристиан мне становится тошно.

— А вы не обращайте внимания. Все это одни ваши мысли.

— Вся моя жизнь — одни мысли. Лучше бы она умерла. У себя в Америке. Я уверен, что она убила своего мужа.

— Брэдли. Я хотела вам сказать, все это неправда — то, что я тогда говорила об Арнольде.

— Да, я знаю.

— В браке люди иногда говорят разные вещи просто так, ну да, механически, но они идут не от сердца.

— Не от чего?

— Брэдли, ну не будьте таким...

— У меня на сердце так тяжело словно большой камень в груди. Иногда вдруг чувствуешь над собою гнетущую власть рока.

— Ну, пожалуйста, приободритесь, прошу вас.

— А вы не сердитесь на меня за то, что я был свидетелем... ну, вот как вы и Арнольд тогда?

— Нет. Наоборот, вы только стали как-то ближе.

— Почему, почему она встретилась с Арнольдом?

— Вы очень привязаны к Арнольду, правда?

— Правда.

— Вы ведь не просто дорожите его мнением?

— Нет.

— Как странно это. Он так резок с вами. Часто говорит обидные вещи. Но вы для него очень много значите, я знаю, очень много.

— Давайте слегка переменим тему, хорошо?

— Вы такой смешной, Брэдли. Неземной какой-то. И робкий, как ребенок.

— Меня потрясло появление этой женщины. Вдруг, не ждал не гадал, и бац — пожалуйста. И она уже запустила когти в Арнольда. И в Присциллу.

— А знаете, она красивая.

— И в вас.

— Нет. Но я отдаю ей должное. Вы о ней не так рассказывали.

— Она сильно изменилась.

— Арнольд считает, что вы все еще любите ее.

— Если он так считает, то, верно, потому, что сам влюбился.

— А вы не влюблены в нее?

— Рейчел, вы хотите довести меня до истерики?

— Господи, ну и ребенок же вы в самом деле.

— Только благодаря ей я познал ненависть.

— А вы не мазохист, Брэдли?

— Не болтайте чепухи.

— Мне иногда казалось, что вы получаете удовольствие от нападок Арнольда.

— Арнольд влюблен в нее?

— По-вашему, куда он пошел, распрощавшись с нами?

— В библио... Неужели вернулся к ней?

— Конечно.

— Дьявол! Он же виделся с нею всего два-три раза.

— А вы не верите в любовь с первого взгляда?

— Так вы считаете, что он...

— Тогда в пивной он вел с ней очень долгую сердечную беседу. И потом вчера, когда она...

— Не рассказывайте мне, прошу вас. Так он?..

— Голову он не теряет. Он человек земной, но холодный. А вы не от мира сего и теплый. Он обожает всякую суматоху, как он вам говорил, обожает чужие драмы. Он безумно любопытен, ему все надо знать, всем владеть, он во все должен совать нос, всех и каждого исповедать. Из него и вправду вышел бы неплохой исповедник, он умеет поддержать человека, когда захочет. В два счета выудил у Кристиан всю историю вашего брака.

— Боже мой.

— Это еще тогда, в пивной. А вчера, я думаю, она... Ну хорошо, хорошо, не буду. Я только хотела сказать, что я на вашей стороне. Хотите, привезем Присциллу сюда?

— Поздно. О господи. Рейчел, мне как-то не по себе.

— Ну что за человек! Вот. Возьмите меня за руку. Возьмите.

Под запотевшими стеклами веранды стало безумно душно и жарко. Земля и трава запахли как-то по-нездешнему, точно воскурения, и больше не отдавали свежестью и дождем. Рейчел придвинула свой шезлонг вплотную к моему. Она подсунула свою руку мне под локоть

и довольно неловко переплела свои пальцы с моими. Потом она стала медленно поворачиваться набок лицом ко мне и положила голову мне на плечо. Я чувствовал запах ее пота и свежий чистый аромат только что вымытых волос.

Человек в шезлонге особенно беззащитен. Я тщетно ломал голову над тем, что должно означать это рукопожатие, как мне следует на него ответить, долго ли надо держать ее за руку. А когда она вдруг вытянула шею и неловко, ничуть не смущаясь, потерлась щекой о мое плечо, я неожиданно для себя испытал довольно приятное чувство полнейшей беспомощности. И одновременно сказал:

— Рейчел, встаньте, прошу вас, пойдем в комнаты.

Она вскочила на ноги. Я тоже встал, но гораздо медленнее. Обвисшая парусина не давала опоры — как она могла так быстро подняться, было выше моего разумения. Вслед за Рейчел я прошел в затемненную гостиную.

— Одну минутку, Брэдли,— она уже распахнула дверь в коридор. Ее отрывистый голос и решительный вид недвусмысленно показывали, что́ у нее на уме. Я понял, что, если я немедленно не заключу ее в объятья, случится нечто «непоправимое». Поэтому, закрыв дверь в коридор, я повернулся и обнял ее. Сделал я это не без удовольствия. Я ощутил ладонями горячую пышность ее плеч и снова — ласкающее, давящее прикосновение ее щеки.

— Сядем, Рейчел.

Мы сели на диван, и в ту же минуту ее губы оказались прижаты к моим.

Я, разумеется, не в первый раз прикасался к Рейчел. Случалось и чмокнуть ее дружески в щеку, и обхватить рукой за плечи, и похлопать по руке, но эти ничего не значащие, общепринятые жесты служат порой лишь своего рода прививкой против сильных чувств. Примечательно, какие грандиозные преграды стоят на пути к близости между людьми и как они рассыпаются от одного легчайшего прикосновения. Достаточно взять другого человека за руку определенным образом, даже просто определенным образом заглянуть ему в глаза, и мир вокруг вас навеки преобразится.

При этом я, подобно досточтимому Арнольду, старался не терять головы. Я не отрывал губ от губ Рейчел, и мы так долго оставались в неподвижности, что это уже становилось нелепым. Я по-прежнему не слишком ловко обнимал ее одной рукой за плечи, а другой сжимал ее пальцы. У меня было такое чувство, что я и держу, и сдерживаю ее. Но вот мы отодвинулись друг от друга и вопросительно заглянули друг другу в глаза — для того, наверно, чтобы понять, что же все-таки произошло.

Лицо человека, только что обнаружившего свои чувства, всегда представляет собой зрелище трогательное и поучительное. У Рейчел лицо было светлым, ласковым, сокрушенным, вопрошающим. Мне стало весело. Хотелось выразить удовольствие, благодарность.

— Рейчел, дорогая! Благодарю вас.

— Я ведь это не просто чтобы приободрить вас.

— Знаю.

— В этом есть что-то настоящее.

— Знаю. Я рад.

— Мне и раньше хотелось .. обнять вас. Но было стыдно. Мне и сейчас стыдно.

— И мне. Но... Спасибо, спасибо вам.

Минуту мы молчали, взволнованные, почти смущенные.

Потом я сказал:

— Рейчел, я думаю, мне надо идти.

— Господи, какой вы смешной. Ну хорошо, хорошо, мальчик удирает со всех ног. Ну, ступайте. Спасибо за поцелуй.

— Дело не в этом. Все вышло так прекрасно. Мне страшно испортить что-то очень важное.

— Да, да, ступайте. Я уже сама достаточно напортила, наверно.

— Какое там напортила! Рейчел, глупая. Это замечательно. Мы теперь стали ближе, верно?

Мы поднялись с дивана и стояли, держась за руки. Я вдруг почувствовал себя очень счастливым и рассмеялся.

— Я кажусь вам нелепой?

— Да нет же, Рейчел. Вы подарили мне немного счастья.

— Ну и держитесь за него, раз так. Потому что оно и мое тоже.

Я откинул жесткие, непослушные рыжие волосы с ее ласкового смущенного лица и, придерживая их обеими ладонями, поцеловал бледный веснушчатый лоб. Потом мы вышли в прихожую. Мы оба чувствовали неловкость, оба были приятно растроганы, и нам обоим хотелось провести сцену расставания так, чтобы ничего не испортить. Хотелось поскорее остаться в одиночестве и подумать.

На столике у входной двери лежал последний роман Арнольда «Плакучий лес». Я вздрогнул, и рука сама потянулась в карман. Там, вчетверо сложенная, все еще лежала моя рецензия на эту книгу. Я вынул ее и протянул Рейчел. Я сказал:

— Сделайте мне одолжение. Прочтите вот это и скажите, печатать или нет. Как вы скажете, так я и поступлю.

— Что это?

— Моя рецензия на Арнольдову книгу.

— Разумеется, печатайте, чего тут спрашивать.

— Нет, вы прочтите. Не сейчас. Я сделаю, как вы скажете.

— Хорошо. Я провожу вас до калитки.

Мы вышли в сад. Все переменилось. Наступил вечер. В его слабом грозовом освещении все предметы казались расплывчатыми и то ли слишком далекими, то ли близкими. Ближайшие купались в дымчатом медовом свете солнца, а дальше небо было черным от туч и близящейся ночи, хотя час еще был совсем не поздний. Смятение, тревога, восторг вдруг стеснили мне грудь, я почувствовал настоятельную потребность поскорее остаться одному.

Рейчел коснулась пальцами моей ладони. Я сжал ее пальцы и сразу отпустил. Она пошла по дорожке впереди меня. На полпути к калитке неясное чувство, что сзади что-то происходит, заставило меня оглянуться.

В окне третьего этажа, кажется, прямо на подоконнике кто-то сидел. Не различая смутно белевшего в сумраке лица, я все же узнал Джулиан и почувствовал укор совести: ведь я целовал мать чуть ли не в присутствии дочери. Однако внимание мое было привлечено другим. Джулиан, одетая во что-то белое, вероятно, халат, полулежала в темном квадрате распахнутого окна, прислонясь спиной к деревянной раме и высоко подтянув колени. Левая рука ее была высунута наружу. И я увидел, что она держит на веревочке змея.

Но только это был не простой змей, а волшебный. Самой веревочки не было видно, а вверху, футах в тридцати над крышей, недвижно висел огромный бледный шар и от него тянулся вниз длинный хвост. В странном вечернем освещении казалось, будто шар светится молочно-белым загадочным светом. Хвост, видимо привязанный на длинной, свободно болтавшейся веревке, потому что он отклонялся от вертикального положения при малейшем дыхании ветра, состоял из

ряда белых бантов или, как они виделись на расстоянии, комков, отходивших от материнского круглого тела.

Рейчел тоже обернулась, мы молча стояли и глядели вверх. Фигура в окне была такой странной, такой отчужденной, словно изваяние на гробнице, мне даже в голову не приходило, что я могу заговорить с ней. Но вот она медленно подняла другую руку и широким картинным жестом поднесла ее к невидимой натянутой веревке. Что-то слабо блеснуло, раздался щелчок, и бледный шар в вышине с церемонным поклоном стал, словно спохватившись, деловито, величественно набирать высоту и не спеша уходить в сторону. Джулиан перерезала веревку.

Поступок этот, такой нарочитый, показной, так очевидно рассчитанный на нежданно появившихся зрителей, произвел впечатление физического толчка, удара. Боль и печаль сжали мне сердце. Рейчел коротко сказала: «Ах!» — и быстро пошла к калитке. Я двинулся следом. У калитки она не остановилась, а вышла на улицу и, не сбавляя шага, пошла по тротуару. Я заспешил следом и нагнал ее на углу под старым буком. Заметно стемнело.

— Что это такое было?

— Воздушный шар. Какой-то знакомый ей подарил.

— Но отчего он летает?

— Надут водородом или чем-то там еще.

— Почему же она перерезала веревку?

— Понятия не имею. Очередной вызов. У нее сейчас что ни день, то какие-нибудь фантазии.

— Плохое настроение?

— У девушек в этом возрасте всегда плохое настроение.

— Любовь, должно быть?

— Не думаю, чтобы она уже испытала любовь. Просто чувствует себя личностью особенной, а тут оказывается, что никаких особых талантов у нее нет.

— Удел человеческий.

— О, она очень избалована, как и все сейчас, ни в чем не знает отказа, не то что мое поколение. Они так боятся быть обыкновенными. Ей бы отправиться кочевать с цыганами или еще там что-нибудь эдакое выкинуть. А так ей скучно. Арнольд разочаровался в ней, и она это чувствует.

— Бедное дитя.

— Нисколько не бедное, птичьего молока ей не хватает. Вы же сами говорите — удел человеческий. Ну ладно, до свидания, Брэдли. Я знаю, вам хочется от меня отделаться.

— Нет, нет...

— Не в дурном смысле. Вы такой скромник. Мне это нравится. Поцелуйте меня.

В темноте под деревом я поцеловал ее коротко, но пылко.

— Я, может быть, напишу вам,— сказала она.

— Да, напишите.

— И не беспокойтесь. Беспокоиться совершенно не о чем.

— Знаю. Всего доброго. И спасибо.

Рейчел издала загадочный короткий смешок и исчезла во тьме. Я свернул за угол и быстро зашагал по направлению к станции метро.

Я обнаружил, что сердце мое довольно сильно бьется. Я никак не мог понять, случилось со мной что-то очень важное или нет. Завтра, подумал я, все будет ясно. Теперь же оставалось только одно: не ломать себе голову, а просто лечь спать и сохранить в душе эти новые впечатления. Я все еще ощущал присутствие Рейчел, точно стойкий запах духов. Но в то же время мысленно я отчетливо видел перед

собой Арнольда, словно глядевшего на меня из дальнего конца освещенного коридора. То, что случилось со мной, случилось также и с ним.

И вот тогда-то я снова увидел воздушный шар. Он медленно плыл впереди меня над самыми крышами домов. Он уже заметно снизился и продолжал постепенно терять высоту. На улице зажглись фонари, они проливали слабый, недалекий свет под отпылавшим, но еще не померкшим небом, в котором этот бледный округлый предмет был почти неразличим. По тротуарам шли люди, но никто, кроме меня, не замечал удивительного странника. Я заторопился, на ходу пытаясь предугадать его направление. В нижних этажах загородных вилл вспыхнули квадраты незашторенных окон. В них кое-где просматривались унылые, блеклые интерьеры, мерцало голубое пламя телевизоров. А вверху над строгим силуэтом крыш и пышным силуэтом древесных крон по иссиня-черному небу пробирался, таща за собою невидимый хвост, еле различимый бледный шар. Я бросился бежать. На бегу свернул в какой-то безлюдный переулок, где стояли дома попроще. Шар теперь отставал от меня, он продвигался очень медленно и при этом почти отвесно падал. Я ждал его, глядя, как он приближается ко мне, точно блуждающая луна, таинственный для всех, кроме меня, невидимый провозвестник властной, еще не разгаданной судьбы. Я должен был его поймать. О том, что я буду с ним делать, когда поймаю, я не думал. Важнее было понять, что он будет делать со мною. Я шел по переулку, чувствуя кожей его направление и скорость падения.

На несколько секунд он скрылся за деревом. Затем, подхваченный вечерним ветерком, вдруг перелетел на ту сторону и очутился в кругу фонарного света. Несколько мгновений он стоял передо мной, большой, желтый, яростно размахивая хвостом из белых бантов. Я даже видел веревку. Я бросился к нему. Что-то мимолетное легко коснулось моего лица. В слепящем свете фонаря я судорожно хватал воздух у себя над головой. В следующее мгновение его не стало. Он исчез, опустившись где-то дальше в лабиринте ночных пригородов. Я еще побегал по узким путаным переулкам, но так больше и не увидел блуждающего знамения.

Входя в метро, я заметил Арнольда, он шел мимо турникета, чему-то про себя улыбаясь. Я посторонился, и он меня не заметил.

У двери моей квартиры меня ждал Фрэнсис Марло. Он несказанно удивился, когда я пригласил его войти. О том, что произошло между нами у меня дома, я расскажу позже.

Одно из многих отличий жизни от искусства, мой любезный друг, состоит в том, что персонажи в искусстве всегда сохраняют достоинство, а люди в жизни — нет. И однако, жизнь в этом отношении, как и в других, упорно, хотя и бесплодно, стремится достичь высот искусства. Элементарная забота о собственном достоинстве, чувство формы, чувство стиля толкают нас на низкие поступки чаще, чем можно себе представить, исследуя общепринятые понятия греха. Добродетельный человек подчас кажется нелепым просто потому, что пренебрегает бессчетными мелкими возможностями сподличать и придать себе «хороший» вид. Отдавая предпочтение истине перед формой, он не думает ежечасно о том, как выглядят его действия.

Приличный, порядочный человек (каковым я не являюсь) самым жалким образом убежал бы от Рейчел прежде, чем что-нибудь «произошло». Я, конечно, не хотел ее оскорбить. Но гораздо больше я был

озабочен тем, чтобы самому выглядеть «хозяином положения». Мне было интересно поцеловать Рейчел, и задним числом мой интерес еще возрос. Так все обычно и начинается. Серьезный поцелуй способен преобразить мир, нельзя, чтобы он совершался просто из соображений стиля, ради полноты картины. В этой мысли люди молодые несомненно усмотрят ханжество. Но именно из-за своей молодости они и не в состоянии понять, что все события имеют последствия. (Это событие тоже имело последствия, и даже весьма неожиданные.) В жизни нет отдельных, пустых, немаркированных моментов, в которые можно поступать как угодно, с тем чтобы потом продолжать существование с того места, на котором остановились. Дурные люди считают время прерывным, они нарочно притупляют свое восприятие естественной причинности. Добродетельные же воспринимают бытие как всеобъемлющую густую сеть мельчайших переплетений. Любая моя прихоть может повлиять на все будущее мира. Оттого, что я сейчас курю сигарету и улыбаюсь своим недостойным мыслям, другой человек, быть может, умрет в муках. Я поцеловал Рейчел, спрятался от Арнольда и напился с Фрэнсисом. При этом я совершенно переменил свой «жизненный настрой», что имело весьма далекие и неожиданные последствия. Разумеется, мой друг, я не могу — как мог бы я? — до конца сожалеть о том, что произошло. Но прошлое нужно судить по справедливости, какие бы дивные чудеса ни проистекли из твоих промахов по неисповедимой милости судьбы. Felix culpa[1] не может служить оправданием.

Для художника все оказывается связанным с его творчеством, все питает его. Мне, вероятно, следует подробнее объяснить мое тогдашнее состояние ума. Назавтра после воздушного шара я проснулся с мучительным ощущением беспокойства. Может быть, надо немедленно уехать в «Патару» и взять Присциллу с собой? Этим разрешилось бы сразу несколько проблем. Сестра будет у меня под присмотром. Эта элементарная, настоятельная обязанность всегда оставалась при мне, подобно острому шипу в теле моего увертливого эгоизма. Кроме того, я уеду от Кристиан, уеду от Кристиан сам, по своей инициативе. Я рассматривал Кристиан как колдунью, как низменного демона моей жизни, хотя, конечно, ни в коей мере не оправдывал себя самого. Есть люди, которые просто автоматически возбуждают в нас навязчивое эгоистическое беспокойство, неотступную досаду. От такого человека надо спасаться бегством — или же быть к нему абсолютно глухим. (Или быть «святым», о чем здесь речи нет.) Я знал, что, оставаясь в Лондоне, неизбежно должен буду опять встретиться с Кристиан. Хотя бы из-за Арнольда, чтобы выяснить, что там у них происходит. И вообще должен буду, потому что это неизбежно. Те, кто испытал подобное наваждение, поймут меня.

Когда я скажу, что считал нужным уехать из Лондона *еще и из-за Рейчел*, не надо меня понимать в том смысле, будто мною руководили исключительно угрызения деликатного свойства, хотя, разумеется, угрызения у меня были. Я испытывал в связи с Рейчел нечто большее, своего рода отвлеченное удовлетворение, включавшее в себя много составных частей. Одной из таких составных частей было довольно низменное, грубое и элементарное сознание, что теперь мы с Арнольдом квиты. Или, пожалуй, это уж действительно слишком грубо сказано. Я просто чувствовал себя по-новому защищенным от Арнольда. Было нечто важное для него, что я знал, а он нет. (Только много позднее мне пришло в голову, что Рейчел могла рассказать ему о наших поцелуях.) Такое знание всегда придает человеку уверенность в себе.

---

[1] Счастливая вина *(лат.)*.

Хотя буду справедливым и замечу, что у меня не было ни малейшего намерения идти в этом смысле дальше. Примечательно, как далеко мы с ней уже успели зайти. Очевидно, по справедливому замечанию самой Рейчел, и у нее, и у меня в душе к этому уже была подготовлена почва. Подобные диалектические скачки из количества в качество — не редкость в человеческих отношениях. И это было еще одной причиной, чтобы мне уехать из Лондона. Мне надо было многое обдумать, и я хотел обдумывать без дальнейшего вмешательства внешних событий. До сих пор все шло хорошо, достоинство и рассудок не пострадали. Я не чувствовал вины. Я хотел мирно наслаждаться теплом этой радости.

Однако стоило только встать на практическую точку зрения, и становилось очевидно, что это неподходящий способ для решения всех моих проблем. Присцилла и я в «Патаре» — это было просто немыслимо. Во-первых, я не смогу работать под одной крышей с сестрой. Мало того, что ее истерическое присутствие не позволит мне углубиться в творчество. Но я знал, что она очень скоро вообще доведет меня до исступления. И кроме того, насколько серьезна ее болезнь? Нуждается ли Присцилла в медицинском обслуживании, в психиатрическом лечении, в электрошоковой терапии? А что мне делать с Роджером и Мэриголд, с ожерельем из хрусталя и лазуритов и с норковым палантином? Пока все эти вопросы не будут решены, Присцилла должна оставаться в Лондоне, а стало быть, и я тоже.

Бремя всех этих неожиданных препятствий положительно выводило меня из себя. Потребность уехать из города и сесть за работу становилась все настойчивее. Я чувствовал себя, как это бывает с художниками в счастливую минуту, «посвященным, призванным». Я больше не принадлежал себе. Силы, которым я так долго, так самоотверженно и бескорыстно служил, готовились вознаградить меня за все. Я чувствовал в себе наконец-то великую книгу. Это было дело первостепенной, жесточайшей срочности. Мне нужен был мрак, чистота, одиночество. Я не мог терять драгоценное время на мелочи, на пустые житейские планы, незапланированные спасательные экспедиции и неприятные разговоры. Но прежде всего надо было вызволить Присциллу от Кристиан — ведь Кристиан сама прямо так и сказала, что рассматривает ее как заложницу. Осуществимо ли это без дальнейших контактов? Или мне все-таки придется прибегнуть к помощи Рейчел и замутить в конце концов чистые воды этого источника?

Я впустил в свой дом Фрэнсиса, потому что меня поцеловала Рейчел. В этот вечер разлившаяся несокрушимая уверенность в себе еще наполняла меня благожелательством и силой. И я удивил Фрэнсиса, пригласив его к себе. Кроме того, мне нужен был собутыльник, раз в жизни мне захотелось посидеть и *поболтать* — не о том, понятно, что произошло на самом деле, а совсем о других вещах. Когда у человека есть тайная радость, ему приятно потолковать о чем угодно, о предметах совершенно посторонних. Кроме того, мне было важно ощутить себя неизмеримо выше Фрэнсиса. Как сказал один умный писатель (вероятно, француз), нам мало преуспеть, нужно еще, чтобы другие потерпели неудачу. И потому в тот вечер я испытывал к Фрэнсису благосклонность за то, что он был таков, каков он был, а я таков, каков был я. Мы оба много выпили, и я позволил ему для моего развлечения повалять дурака: он обсуждал со мной способы заставить раскошелиться свою сестрицу — предмет, в котором он может быть вполне занимателен. Он сказал: «Арнольду, конечно, очень хочется снова свести вас с Кристиан». Я хохотал как безумный. Еще он сказал: «Почему бы мне не остаться у вас ухаживать за Присциллой?» Я опять захохотал. Выставил я его только сильно за полночь.

На следующее утро я встал с головной болью и с ощущением, будто всю ночь не смыкал глаз, которое так хорошо знакомо людям, страдающим бессонницей. Надо было, как видно, позвонить моему врачу и попросить еще снотворных таблеток. Я был истерзан заботой о Присцилле и раздираем безумным желанием немедленно уехать и начать работу над книгой. Помимо всего этого я еще испытывал теплое чувство признательности к Рейчел, меня даже тянуло сесть и написать ей туманно-неопределенное письмо. Впрочем, в этом отношении, как выяснилось, она меня опередила. Выйдя после завтрака, вернее после чая, так как я обычно не завтракаю, в прихожую, я обнаружил на коврике перед дверью продолговатый конверт, надписанный ее рукой,— очевидно, только что просунутый кем-то в дверь. Письмо было такое:

«Мой дорогой Брэдли, простите, пожалуйста, что я вот так сразу же села за письмо к Вам. (Арнольд спит, я одна в гостиной. Час ночи. Кричит сова.) Вы так поспешно убежали, я и половины не успела Вам сказать из того, что мне было нужно. Какой Вы все-таки ребенок. Знаете ли, Вы восхитительно *покраснели!* Я уже тысячу лет не видела, чтобы мужчина краснел. И я тысячу лет никого по-настоящему не целовала. Ведь это был по-настоящему важный поцелуй, правда? (Два по-настоящему важных поцелуя!) Мой дорогой, мне уже давно хотелось поцеловать Вас. Брэдли, я нуждаюсь в Вашей любви. Я имею в виду не интрижку. Мне нужна *любовь.* Вчера я сказала, что наговорила Вам неправду про Арнольда, когда Вы видели меня в тот ужасный день в спальне. Но это не совсем так. То, что я Вам тогда говорила, наполовину все-таки правда. Я, конечно, люблю Арнольда, но и ненавижу тоже, можно любить и в то же время не прощать какие-то вещи. Сначала, совсем недолго, я думала, что и Вас никогда не прощу за то, что Вы видели меня в кошмарную минуту моего поражения,— жена наверху плачет, а муж пожимает плечами и толкует о «женщинах» с другим мужчиной (это и есть ад). Но получилось иначе. Вместо ненависти— поцелуй. Мне теперь обязательно надо иметь в Вас союзника. Не в «войне» против мужа. Воевать с ним я не могу. А просто потому, что я одинокая, стареющая женщина, а Вы — старый друг, и мне так хочется обнять Вас, обвить Вам руками шею. Большое значение имеет и то, что Вы так любите и цените Арнольда. Брэдли, Вы спрашивали, как по-моему, влюблен ли Арнольд в Кристиан, и я Вам не ответила. Так вот, после сегодняшнего вечера я начинаю думать, что влюблен. Он столько *смеялся,* был так *весел.* (Я подозреваю, что весь день он пробыл у нее.) Без конца говорил о Вас, но думал при этом о ней. Не могу Вам выразить, как мне это больно. И вот Вам, мой дорогой, еще одна причина, почему вы мне *нужны.* Брэдли, между нами должен быть союз, союз отныне и присно. Ничто другое меня не устраивает, и никто другой для этого не подходит. Я должна, как могу, по-прежнему жить с мужем, мирясь с его неверностью и с его приступами бешенства, о которых никто посторонний, даже Вы, ничего не знает, а рассказать — не поверят, мирясь также и с моей собственной ненавистью, которая входит в мою любовь. Я не могу, не в силах простить. Когда я в тот день лежала, натянув край простыни на разбитое лицо, я заключила договор с преисподней. И, однако, я люблю его. Какая фантасмагория, правда? Мыслимо ли тут оставаться в здравом уме? *Вы должны мне помочь.* Вы единственный, кто знает правду, хотя бы частично, и я люблю Вас особенной любовью, которую Вы *не можете* не разделять. Нас теперь связывают нерасторжимые узы, а кроме того, и клятва молчания. Я ни словом не обмолвлюсь о нашем «союзе» Арнольду, и Вы, я знаю, тоже. Брэдли, я должна

Вас увидеть как можно скорее, я должна с Вами видеться часто. Надо, чтобы Вы увезли Присциллу от Кристиан и поселили у нас, тогда Вы сможете ее здесь навещать, а я буду за ней ухаживать. Позвоните мне утром, хорошо? Я съезжу подбросить Вам это письмо и сразу вернусь домой. Если Арнольд будет дома, когда Вы позвоните, я буду говорить обычным тоном, Вы сразу поймете и позвоните еще раз, попозже. О Брэдли, я так нуждаюсь в Вашей любви и совершенно полагаюсь на Вас отныне и навсегда.

Любящая, любящая Вас

Р.

P.S. Рецензию я прочитала и вкладываю в этот же конверт. По-моему, публиковать ее не нужно. Арнольду это было бы очень больно. Вы с ним должны любить друг друга. Это очень важно. Помогите мне сохранить рассудок!»

Это эмоциональное, путаное послание встревожило, растрогало, раздосадовало, обрадовало и вконец перепугало меня. Что это, новое и большое, происходит со мной, и каких надо ожидать последствий? Зачем женщинам обязательно ставить все точки над i? Почему она не оставила все как есть, в приятной неопределенности? Я сам смутно думал о ней как о союзнике против (против?) Арнольда. Но она облекла эту ужасную мысль в слова. И если я должен сходить с ума из-за отношений Арнольда с Кристиан, разве мне легче, что Рейчел тоже сходит с ума? Ее бесконечные «нуждаюсь» пугали меня. Мне захотелось поскорее увидеться с Арнольдом, поговорить с ним по душам, даже, может быть, поорать друг на друга. Но разговор по душам с Арнольдом час от часу выглядел все невозможнее. В полном смятении я опустился на стул прямо там, где стоял, в прихожей, и стал думать. И тут зазвонил телефон.

— Алло, Пирсон? Говорит Хартборн. Я собираюсь устроить небольшую вечеринку для наших сотрудников.

— Что?

— Небольшую вечеринку для сотрудников. Я думал пригласить Бингли, и Мейтсона, и Хейдли-Смита, и Колдикотта, и Дайсона, разумеется, с женами, и мисс Веллингтон, и мисс Сирл, и миссис Брэдшоу...

— Прекрасно.

— Но я хочу знать наверняка, что вы сможете прийти. Понимаете, вы у нас будете вроде почетного гостя.

— Вы очень любезны.

— Так вот, назовите мне день, когда вам удобно, и я разошлю приглашения. Помянем старые времена. Вас здесь так часто вспоминают, и я подумал, что...

— Мне любой день подходит.

— Понедельник?

— Разумеется.

— Чудесно. Значит, в восемь у меня. Да, кстати, пригласить Грей-Пелэма? Он придет без жены, так что все будет в порядке.

— Конечно, конечно.

— И еще я хочу сговориться с вами и пообедать вместе.

— Я вам позвоню. У меня под рукой сейчас нет записной книжки.

— Ну хорошо. Так вы не забудете насчет понедельника?

— Сейчас запишу. Спасибо большое.

Я еще не успел повесить трубку, когда у дверей позвонили. Я открыл. Приехала Присцилла. Она прошла мимо меня в гостиную и сразу же принялась плакать.

— О господи, Присцилла, да перестань же плакать.

— Тебе только одно нужно — чтобы я перестала плакать.

— Ну хорошо, мне только одно нужно. Пожалуйста, перестань.

Она откинулась на спинку большого «хартборновского» кресла и действительно перестала плакать. Волосы ее были в безобразном беспорядке, потемневший пробор шел через всю голову зигзагом. Она лежала в кресле в некрасивой, вялой позе, колени расставлены, рот раскрыт. На одном чулке была дырка, и в дырке выпучился кусок розового, в пятнах, колена.

— Присцилла, Присцилла! Мне так жаль...

— Да. Жалей, жалей, Брэдли. Ты знаешь, я думаю, ты был прав. Мне нужно вернуться к Роджеру.

— Присцилла, это невозможно.

— Почему? Ты же сам меня убеждал. Столько раз твердил, что я должна вернуться. Что ему плохо, что дом в запустении. Я ему нужна все-таки, наверно. И там мой дом. Там — и больше нигде. Может быть, теперь он будет лучше со мной обращаться. Брэдли, понимаешь, мне кажется, я схожу с ума. Как это бывает, когда люди сходят с ума,— сами они знают, что сходят?

— Глупости. Вовсе ты не сходишь с ума.

— Пожалуй, я пойду лягу в постель, если ты не против.

— Я, к сожалению, так и не приготовил запасную кровать.

— Брэдли, в твоей горке что-то не так. Не хватает какой-то вещицы. Куда ты переставил женщину на буйволе?

— Женщину на буйволе? — Я в недоумении осмотрел зиявшее пространство на полке.— Ах да. Я подарил ее. Подарил Джулиан Баффин.

— Ах, Брэдли, ну как ты мог? Она же моя, моя! — воскликнула Присцилла со стоном, и слезы снова побежали у нее из глаз. Она стала слепо шарить у себя в сумке, ища носовой платок.

Я вспомнил, что формально она была права. Я подарил ее много лет назад Присцилле ко дню рождения, но потом как-то нашел эту прелестную вещицу у нее в ящике комода и забрал себе.

— Ах ты боже мой!

Я почувствовал, что краснею — в полном согласии с описанием Рейчел.

— Ты даже не смог ее для меня сохранить.

— Я верну ее.

— Я отдала ее тебе на время, думала, я всегда могу прийти к ней сюда. Здесь для нее была подходящая обстановка.

— Мне ужасно жаль, Присцилла.

— Я потеряла и никогда не верну свои ценности, а теперь вот и она пропала, моя дорогая, последняя...

— Прошу тебя, Присцилла, я же сказал...

— Ты отдал ее этой противной девчонке.

— Она попросила. Не беспокойся, пожалуйста, я ее верну. А тебе сейчас лучше лечь и отдохнуть.

— Она же моя, ты сам мне ее подарил.

— Да, да, знаю, я ее верну, а теперь успокойся, пожалуйста. Можешь лечь в мою кровать.

Присцилла поплелась в спальню. И сразу же забралась под одеяло.

— Может быть, ты разденешься?

— Какой смысл? Какой смысл вообще во всем? Лучше бы мне умереть.

— Присцилла, не раскисай, возьми себя в руки. Я рад, что ты вернулась. А почему ты оттуда ушла?

— Арнольд стал приставать ко мне.

— Что?

— Я его оттолкнула, и он обозлился. Должно быть, он рассказал об этом Кристиан. И они там внизу целый день смеялись, смеялись без конца. Наверно, они надо мной смеялись.

— Вряд ли. Просто им было весело.

— Ну, а я не могла этого слышать. Не могла.

— Арнольд был там днем?

— А как же. Он вернулся сразу после твоего ухода и пробыл почти весь день, они приготовили большой обед, я чувствовала запахи, мне ничего не хотелось, я только слышала, как они все время смеялись, смеялись без конца. Я им была не нужна, они на целый день оставили меня одну.

— Бедная Присцилла.

— Я его не выношу. И ее тоже. Я им там нисколько не нужна, им до меня дела нет, и вовсе они обо мне не заботятся, для них это просто игра, просто шутка.

— Вот тут ты права.

— Они пользуются мною в своей игре, добиваются чего хотят и рады. Я их ненавижу. Я чувствую себя наполовину мертвой. Как будто я где-то внутри истекаю кровью. Как ты думаешь, я не схожу с ума?

— Да нет же.

— Она говорила, что должен прийти доктор, но никакой доктор не пришел. Я чувствую себя ужасно, у меня, наверно, рак. Все меня презирают, все всё обо мне знают. Брэдли, ты не мог бы позвонить Роджеру?

— Нет, нет, прошу тебя...

— Я все равно должна буду к нему вернуться. Дома я смогу вызвать доктора Мейси. Или же мне лучше убить себя. Да, я думаю, я убью себя. Никто и внимания не обратит.

— Присцилла, разденься толком. Или встань и причешись как следует. Я не могу видеть, как ты лежишь в постели одетая.

— Господи, какая разница? Какая разница?

Снова зазвонили у входной двери. Я побежал открывать. За порогом стоял Фрэнсис Марло, с умильным раболепием щуря свои медвежьи глазки.

— Брэд, прошу меня великодушно простить, я...

— Входите,— сказал я.— Вы предлагали свои услуги по уходу за моей сестрой. Так вот, она здесь, и вы наняты.

— Правда? Чудненько, чудненько.

— Можете идти и приступать к своим обязанностям. Она там. Найдется у вас для нее какое-нибудь успокоительное?

— Я всегда ношу при себе...

— Ну и отлично. Ступайте.— Я поднял телефонную трубку и набрал номер.— Алло, Рейчел?

— О... Брэдли.

По ее голосу я сразу понял, что она одна. Женщины умеют так много передать одним тоном, каким они произносят ваше имя.

— Рейчел! Спасибо за ваше милое письмо.

— Брэдли... могу я вас увидеть... скоро... прямо сейчас?..

— Рейчел, послушайте меня. Присцилла вернулась, и здесь Фрэнсис Марло. Слушайте. Я подарил Джулиан буйвола, на котором сидит дама.

— Что?

— Такую бронзовую фигурку.

— А-а. Подарили Джулиан?

— Да. Она попросила, когда была здесь, помните?

— Ах, да.

— Так вот, это на самом деле Присциллина фигурка, только я забыл, и она хочет получить ее обратно. Вы не могли бы взять ее у Джулиан и привезти сюда или пусть она привезет. Передайте ей мои извинения...

— Ее нет дома, но я поищу. И сразу же привезу.

— Здесь полно народу. Мы не будем...

— Да, да. Сейчас приеду.

— Он спилил мою магнолию,— жаловалась Присцилла.— Она, видите ли, затеняла клумбу. Сад у него всегда был — «мой сад», дом — «мой дом». Даже кухня и та была — «моя кухня». Я отдала этому человеку всю мою жизнь. У меня нет ничего, ничего!

— Удел человеческий мрачен и дик,— бормотал в ответ Фрэнсис.— Мы все — демоны друг для друга. Да. Демоны.— Вид у него был довольный, красные губы поджаты, медвежьи глазки поглядывали на меня скромно и удовлетворенно.

— Присцилла, позволь я расчешу тебе волосы.

— Нет, не дотрагивайтесь до меня, я чувствую себя прокаженной, мне кажется, я заживо гнию, я уверена, что от меня пахнет...

— Присцилла, сними, пожалуйста, юбку, она, вероятно, ужасно смялась.

— Ну и что, какое это все имеет значение? О, я так несчастна.

— Давай, по крайней мере, снимем туфли.

— Мрачен и дик. Мрачен и дик. Демоны. Демоны. Да.

— Присцилла, перестань так напрягаться. Ты вся деревянная, точно неживая.

— А мне и незачем быть живой.

— Ну хоть попробуй лечь поудобнее!

— Я отдала ему всю жизнь. Больше у меня нет ничего. Ничего. Что еще остается женщине?

— Ужасно и напрасно. Напрасно и ужасно.

— О, мне так страшно...

— Присцилла, тебе совершенно нечего бояться. О господи, как ты меня мучаешь!

— Страшно.

— Прошу тебя, сними туфли.

У дверей снова зазвонили. Я открыл дверь, увидел Рейчел и уже готов был сокрушенно развести перед ней руками, как вдруг заметил у нее за спиной Джулиан.

Рейчел была одета в светло-зеленый, похожий на офицерский макинтош. Руки она держала в карманах, а лицо ее, обращенное ко мне, выражало тайный восторг. Одного взгляда, которым мы обменялись в первое же мгновение, было достаточно, чтобы почувствовать, как далеко мы успели зайти со времени последнего свидания. Джулиан была в бежевом вельветовом жакете и брюках, на шее — газовый индийский шарф, коричневый с золотом. Вид был шикарный, но при этом лицо ее и весь облик выражали застенчивость и скромность, она словно говорила: «Я знаю, я здесь самая младшая, самая незначительная и неопытная, но я сделаю все, чтобы быть вам полезной, и спасибо вам большое за то, что вы вообще обращаете на меня внимание». Все это, разумеется, одна поза. В действительности

молодые люди самодовольны и совершенно безжалостны. В руках она держала женщину на буйволе и большой букет ирисов.

Рейчел поспешила объяснить:

— Джулиан как раз вернулась домой и непременно захотела привезти вам эту вещицу сама.

Джулиан сказала:

— Я так рада, что могу вернуть ее Присцилле. Конечно, раз это ее, надо ей тут же отдать. И я очень надеюсь, что это ее немного ободрит и обрадует.

Я пригласил их войти и провел в спальню, где Присцилла по-прежнему жаловалась Фрэнсису:

— Он не имел ни малейшего представления о равенстве, мужчины вообще этого не понимают, они презирают женщин...

— Мужчины ужасны, ужасны...

— Присцилла, к тебе гости.

Присцилла сидела в кровати, обложенная высоко взбитыми подушками, из-под одеяла выглядывали носки туфель. Глаза у нее покраснели и заплыли от слез, рот был скорбно растянут, точно щель почтового ящика.

Джулиан вышла вперед и села на край кровати. Она почтительно положила ирисы на одеяло под бок Присцилле и, словно забавляя ребенка, стала двигать к ней по одеялу женщину на буйволе. Фигурка ткнулась Присцилле в грудь, Присцилла не поняла, что это, и с испугом и отвращением вскрикнула. А Джулиан тем временем вздумала ее поцеловать и, подавшись вперед, потянулась губами к ее щеке. Слышно было, как они стукнулись подбородками.

Я сказал мягко:

— Посмотри, Присцилла, вот твоя женщина на буйволе. Вернулась к тебе, видишь?

Джулиан успела ретироваться к изножью кровати. Она смотрела на Присциллу с мучительной, все еще несколько застенчивой жалостью, чуть приоткрыв губы и, словно в молитве, сложив ладони. Казалось, она молит Присциллу о прощении за то, что она молода, хороша собой, чиста и неиспорченна и перед нею — долгое будущее, а Присцилла стара, безобразна и грешна и будущего у нее нет. Контраст между ними был пронзителен, как спазма.

Я ощутил эту боль, я разделил муку сестры. Я сказал:

— И смотри, что за чудесные цветы тебе принесли, Присцилла. Какая ты счастливица!

Присцилла сердито прошептала:

— Я не маленькая. Нечего вам всем так... меня жалеть. И смотреть на меня так. И так со мной обращаться, как будто... как будто...

Она нашарила на одеяле бронзовую фигурку, я думал, она хочет подержать ее. Но вместо этого она с размаху швырнула ее через всю комнату об стену. Слезы снова градом полились у нее из глаз, она зарылась лицом в подушку. Ирисы упали на пол. Фрэнсис подобрал женщину на буйволе и, улыбаясь, спрятал в ладонях. Я сделал знак Рейчел и Джулиан, и мы вышли из спальни.

В гостиной Джулиан сказала:

— Мне так ужасно жаль.

— Ты не виновата,— ответил я ей.

— Беги-ка теперь по своим делам,— сказала Рейчел.

— Мне... мне бы хотелось,— нерешительно проговорила Джулиан,— ну, ладно.— Она пошла к двери, но обернулась.— Брэдли, можно тебя на два слова? Проводи меня до угла, ладно? Я тебя не задержу.

Я по-заговорщически махнул Рейчел и вышел вслед за девушкой из дому. Она, не оглядываясь, самоуверенно прошла через двор и свернула на Шарлотт-стрит. Ярко светило холодное солнце, и я вдруг почувствовал большое облегчение, очутившись на улице в толпе спешащих, незнакомых, равнодушных людей, под ясными синими небесами.

Мы прошли несколько шагов и остановились перед оранжевой телефонной будкой. Джулиан снова стала оживленной и по-мальчишески задорной. Она тоже явно испытывала облегчение. Над нею, сзади, высилась башня Почтамта, и я словно сам был в этой вышине — так отчетливо, так близко мне видны были все ее сверкающие металлические части. Я чувствовал себя высоким и прямым — до того хорошо было вдруг вырваться из дома, прочь от Присциллиных красных глаз и тусклых волос и очутиться на минуту рядом с кем-то, кто молод, красив, не испорчен и не растрачен, с кем-то, у кого есть будущее.

Джулиан озабоченно сказала:

— Брэдли, мне очень жаль, что у меня все так плохо получилось.

— Это ни у кого бы хорошо не получилось. Настоящее страдание само отрезает к себе все дороги.

— Как ты это замечательно сказал! Но святой человек мог бы ее утешить.

— Святых нет, Джулиан. Да ты и молода еще думать о святости.

— Я знаю, мне так по-идиотски мало лет. О господи, старость так ужасна, бедная, бедная Присцилла. Послушай, Брэдли, я только хотела тебя поблагодарить за то письмо. Такого замечательного письма мне еще не писал никто.

— Какое письмо?

— Ну, то письмо. Об искусстве. Об искусстве и правде.

— А-а, ну да.

— Я считаю тебя моим учителем.

— Очень любезно с твоей стороны, но...

— И прошу тебя составить мне список литературы для чтения. Более полный.

— Спасибо, что принесла назад женщину на буйволе. Надо будет дать тебе что-нибудь взамен.

— Правда? Ах, пожалуйста! Что-нибудь, какую-нибудь маленькую вещичку. Мне бы так хотелось иметь от тебя память, меня бы это вдохновило, какую-нибудь вещь, которая у тебя давно, которую ты много раз держал в руках.

Я был растроган.

— Я поищу,— сказал я.— А теперь мне, пожалуй...

— Брэдли, погоди немного. Мы с тобой совершенно не разговариваем. Ну да, я понимаю, сейчас нельзя, но давай встретимся как-нибудь на днях, мне нужно поговорить с тобой о «Гамлете».

— О «Гамлете»? Ах, да, но...

— Мне надо подготовить его к экзамену. И потом, знаешь, Брэдли, я совершенно согласна с тем, что ты написал в своей рецензии на папину книгу.

— Где ты видела мою рецензию?

— Я заметила, когда мама прятала ее с таким таинственным видом...

— Не очень-то честно с твоей стороны.

— Знаю. Я никогда не стану святой, даже если доживу до такой же старости, как твоя сестра. Но я считаю, что папа должен раз в жизни услышать о себе правду, у всех привычка расхваливать его не думая, знаешь,— известный писатель, явление в литературе, никому

и в голову не приходит оценить его творчество критически, получается прямо заговор...

— Я знаю. Но все равно я ее не напечатаю.

— Почему? Он должен знать правду о себе. Каждый должен знать о себе правду.

— Так думают молодые.

— И потом еще насчет Кристиан: папа говорит, что занимается ею в твоих интересах...

— Что?

— Что он там делает, я не знаю, но, по-моему, тебе надо пойти к нему и все выяснить. И я бы на твоем месте уехала, как вот ты говорил тогда. Может быть, я могла бы навестить тебя в Италии, вот чудесно было бы! А за Присциллой присмотрит Фрэнсис Марло, он мне понравился. Послушай, по-твоему, Присцилла вернется к мужу? Я бы скорее умерла на ее месте.

Столько ясности одним махом — это было довольно трудно воспринять. Молодежь всегда так прямолинейна. Я ответил:

— На последний твой вопрос могу ответить, что не знаю. И спасибо за соображения, которые ему предшествовали.

— Мне ужасно нравится, как ты говоришь, ты всегда так точен, не то что папа. Он живет в розовом тумане, а вокруг Иисус, и Мария, и Будда, и Шива, и Король-Рыболов[1] водят хороводы в современных костюмах.

Это было так похоже на Арнольдовы книги, что я засмеялся.

— Я благодарен тебе за советы, Джулиан.

— Я считаю тебя своим звездочетом.

— И спасибо, что ты держишься со мной как с равным.

Она заглянула мне в глаза, вероятно опасаясь подвоха.

— Брэдли, мы ведь будем друзьями, да? Настоящими друзьями?

— Что должен был означать воздушный шар? — спросил я.

— Да просто так, небольшая демонстрация.

— Я пытался его поймать.

— Честное слово?

— Но он улетел.

— Ну и хорошо, что он пропал. Он для меня много значил.

— Жертвоприношение богам?

— Да. Откуда ты узнал?

— Тебе подарил его мистер Беллинг?

— Но откуда же ты...

— Я ведь твой звездочет.

— Мне правда был очень дорог этот шарик. Иногда, конечно, подмывало отпустить его, но я и не думала тогда, что перережу веревку.

— Пока не увидела в саду мать?

— Пока не увидела в саду тебя.

— Ну хорошо, Джулиан, теперь я должен отпустить тебя, перерезать веревку, твоя мама ждет меня.

— Когда же мы поговорим о «Гамлете»?

— Я позвоню.

— Не забывай, что ты мой гуру.

Я пошел обратно. В гостиной Рейчел поднялась мне навстречу и одним рассчитанным порывом сжала меня в объятиях. Мы закачались, едва не рухнув на пол, где валялся сброшенный ею макинтош, и наконец опустились в «хартборновское» кресло. Рейчел пыталась

[1] Персонаж мистических романов позднего средневековья о рыцарях короля Артура и священном Граале.

протолкнуть меня коленом в глубину кресла, но я сидел вытянув ноги на самом краю и держал ее перед собой, точно большую куклу.

— О Рейчел, не надо никаких осложнений.

— Вы обсчитали меня на столько минут! Называйте как хотите, но мы все равно уже переступили грань. Звонила Кристиан.

— Насчет Присциллы?

— Да. Я сказала, что Присцилла останется здесь. А она сказала...

— Ничего не хочу слышать.

— Брэдли, я должна вам рассказать одну вещь, чтобы вы могли как следует подумать. Я поняла это уже после того, как написала вам письмо. Меня больше не мучает то, что происходит у Арнольда с Кристиан, слышите? Я словно освободилась. Вы понимаете, Брэдли? Понимаете, что это значит?

— Рейчел, я не хочу никаких осложнений. Я должен работать, я должен быть один, я собираюсь писать книгу, этого мгновения я ждал всю жизнь...

— Господи, у вас сейчас такой брэдлианский вид, что я готова заплакать. Мы оба не молоды и оба не дураки. Никаких осложнений не будет, кроме тех, которые исходят от Арнольда. Просто родился новый мир, который принадлежит вам и мне. У нас теперь всегда будет прибежище. Мне нужна любовь, мне нужны люди, которых я могла бы любить, мне нужны вы, чтобы я могла любить вас. Конечно, я хочу, чтобы и вы любили меня, но даже это не так уж важно, а что мы будем *делать*, и вовсе не имеет значения. Просто держать вас за руку — как это чудесно, кровь начинает быстрее бежать у меня по жилам. Наконец-то у меня в жизни что-то происходит, наконец-то я живу, двигаюсь, изменяюсь, подумать только, как много успело всего произойти со вчерашнего дня. Я столько лет была как мертвая, я была несчастной и ужасно скрытной. Думала, сохраню верность ему до конца моих дней, и, конечно, так и будет, конечно, я люблю его, это само собой. Но, любя его, я была словно в каком-то ящике, и теперь я из этого ящика выбралась. Знаете что мне кажется, мы совершенно случайно открыли секрет полнейшего счастья. Вероятно, вообще невозможно быть счастливым до сорока лет. Вот увидите, никакой драмы не получится. Все останется по-прежнему кроме самого глубинного. Я навеки жена Арнольда. И вы тоже можете ехать куда хотите, и быть один, и писать свою книгу, и все что угодно. Но у нас будет тайное прибежище, у нас будем мы, вечный союз, словно религиозная клятва,— и в этом наше спасение, если только вы мне позволите вас любить.

— Но, Рейчел... это ведь будет тайна?

— Нет. Ах, все так вдруг переменилось, буквально за несколько мгновений. Мы сможем жить открыто, не таясь. Я чувствую себя свободной, как воздушный шарик Джулиан, я плыву высоко над миром, я наконец могу видеть его с высоты. Нам не надо будет ничего скрывать. Теперь из-за Арнольда все изменилось. У меня, наконец, появятся свои друзья, свои хорошие знакомые, будет возможность поездить по свету, будете вы. И Арнольду придется смириться, ему ничего другого не останется, может быть, он даже научится смирению, Брэдли, он будет нашим рабом. О, наконец-то я опять сама себе хозяйка. Мы стали как боги. Неужели вы не понимаете?

— Не совсем.

— Вы ведь любите меня немножко, да?

— Да, конечно, и всегда любил, но я затрудняюсь точно определить...

— И не определяйте! В этом все дело.

— Рейчел, я не хочу чувствовать себя виноватым. Это помешает мне работать.

— Ах, Брэдли, Брэдли! — И она захохотала, заливисто и беспомощно. Потом она снова подогнула колени и надавила на меня всей тяжестью своего тела. И мы провалились в глубину кресла, я снизу, а сверху она. Я ощущал ее тяжесть и видел близко перед собой ее лицо, жадное и раскованное под наплывом чувств, непривычное, беззащитное и трогательное, и я перестал сопротивляться, а она перестала давить, тело ее расслабилось и как тяжелая жидкость растеклось по моему телу, проникая во все щели подобно меду. Влажные губы проползли у меня по щеке и устроились на моих губах, точно небесная улитка, замкнувшая великие врата. На мгновение, прежде чем тьма застлала мне взор, я увидел, как в окно ко мне искоса заглянула башня Почтамта в ореоле синего неба (что было в действительности невозможно, так как дом напротив совершенно ее заслоняет).

В комнату вошел Фрэнсис Марло, пробормотал: «Прошу прощения»,— и снова скрылся за дверью. Я медленно высвободился из-под Рейчел — не из-за Фрэнсиса, его присутствие смущало меня не больше, чем присутствие собаки, а потому, что ощутил физическое желание и соответственно — тревогу. Вина и страх, которые у меня в крови, проснулись во мне неотличимые в ту минуту от самого желания, уже тогда пророчески о себе возвещая. В то же время меня глубоко растрогало, как Рейчел в меня верит. Может быть, он в самом деле существует, этот новый мир, о котором она говорила. Могу ли я войти в него, не совершив предательства? При этом больше всего меня беспокоило предательство не по отношению к Арнольду. Мне надо было подумать. Я сказал:

— Мне надо подумать.

— Ну конечно же, вам надо подумать. Вы — такой.

— Рейчел.

— Я знаю. Сейчас вы скажете, чтобы я уходила.

— Да.

— Ухожу. Видите, какая я послушная. И пусть вас не пугает то, что я говорила. Вам ничего не надо будет делать.

— Бездействующий деятель.

— Бегу. Увидимся завтра?

— Рейчел, я ужасно боюсь как раз сейчас оказаться чем-нибудь связанным. Вы, наверно, подумаете, что я низкий и бессердечный человек, но я в самом деле ценю и разделяю... Только мне нужно писать книгу, обязательно нужно, и я должен быть достоин...

— Я уважаю вас, Брэдли, я восхищаюсь вами. Это все к тому же. Вы настолько серьезнее относитесь к творчеству, чем Арнольд. Не беспокойтесь насчет завтрашнего дня и ни о чем не беспокойтесь. Я вам позвоню. Не вставайте. Я хочу оставить вас сидящим в этом кресле, такого длинного, сухопарого, серьезного. Как... как... налоговый инспектор. Только не забудьте: свобода, новый мир. Может быть, как раз этого и не хватало вам для вашей книги, как раз этого она и ждала. Ах, ну какой же вы ребенок, какой пуританин! Пора, пора вырасти и стать свободным. Прощайте, Брэдли. Да благословит вас ваш бог.

Она выбежала из комнаты. А я остался сидеть, как она хотела. Меня поразили ее последние слова насчет книги. Я размышлял о них. Может быть, действительно Рейчел — ниспосланный мне ангел. Как это все было странно, и как переполняло меня желание, и до чего все было необыкновенно.

Очнувшись, я увидел перед собой лицо Фрэнсиса Марло. Я понял, что он находится в комнате уже довольно давно. Он как-то странно

гримасничал — щурил глаза, и при этом у него морщился нос и расширялись ноздри. Проделывал он это с самым естественным и непринужденным видом, как зверь в зоопарке. Может быть, он просто был близорук и хотел получше рассмотреть меня.

— Вы хорошо себя чувствуете, Брэд?

— Конечно.

— Вы странно выглядите.

— Что вам нужно?

— Можно я схожу куда-нибудь пообедаю?

— Пообедаете? Я думал, уже вечер.

— Первый час. А в доме одна только консервированная фасоль. Можно?..

— Да, да. Идите.

— Я принесу что-нибудь легкое для Присциллы.

— Как она?

— Уснула. Брэд...

— Да?

— Вы не могли бы дать мне один фунт?

— Вот.

— Спасибо. И потом, Брэд...

— Что?

— Боюсь, что эта бронзовая вещичка повреждена. Она не хочет стоять.

Он вложил мне в ладонь теплую бронзовую фигурку, и я попробовал поставить ее на стол. Одна нога у буйвола была подогнута. Фигурка беспомощно повалилась набок. Я присмотрелся. Женщина улыбалась. Она была похожа на Рейчел. Когда я поднял глаза, Фрэнсиса уже не было.

Я на цыпочках вошел в спальню. Присцилла спала высоко на подушках, ворот блузки сдавил ей шею. Сон чуть расслабил, размягчил брюзгливую маску отчаяния, лицо ее уже не казалось таким старческим. Она дышала с тихим, ровным присвистом: «Ищу... ищу...» На ногах у нее по-прежнему были туфли.

Очень осторожно я расстегнул ей пуговицу на блузке. Раскрывшийся ворот был изнутри засален до черноты. Потом, взявшись за длинные острые каблуки, я стащил с нее туфли и тихонько прикрыл одеялом пухлые ступни в сырых, пропахших потом чулках. Она перестала пришептывать на выдохе, но не проснулась. Я ушел.

Я пошел в комнату для гостей и лег на голую кровать. Меня одолевали мысли о двух моих последних свиданиях с Рейчел и о том, как покойно и приятно было у меня на душе после первого и как разволновало и смутило меня второе. Может быть, я в самом деле готов «влюбиться» в Рейчел? Следует ли допускать это даже в мыслях? Не грозит ли мне кошмарная неразбериха катастрофических масштабов, настоящее, серьезное бедствие? А может быть, наоборот, передо мной неожиданно разверзся долгожданный проход в иной мир, уготованный мне путь к божеству? Или все это пустое, мимолетная вспышка чувств стареющей женщины, несчастливой в браке, минутное смущение пожилого пуританина, у которого так долго не было в жизни никаких приключений? Я сделал попытку трезво подумать об Арнольде. Но очень скоро перестал что-либо соображать и только чувствовал вокруг себя огненные волны неопределенного, ненаправленного физического желания.

В наш век принято объяснять безграничный и непостижимый мир причинных взаимосвязей «сексуальными влечениями». Эти темные

силы рассматриваются то как прямые двигатели исторического прогресса, то, в более общем смысле, как всемогущие мировые законы, и им приписывается власть делать из нас преступников, невропатов, сумасшедших, фанатиков, мучеников, героев, святых или, реже, преданных отцов, жен, нашедших самовыражение в материнстве, безмятежных человеко-скотов и тому подобное. Немного того, немного другого, и на свете не остается явлений, которых не могли бы вывести из «секса» такие циники и лжеученые, как Фрэнсис Марло, с чьими взглядами по этим вопросам мы вскоре должны будем подробно ознакомиться. Лично я, однако, ни в коей мере не принадлежу к фрейдистам, что и считаю необходимым, во избежание неясности, подчеркнуть на этой стадии моей «исповеди», или «апологии», или как бы там ни назвать сей несуразный опус. Я питаю отвращение к этому дешевому вздору. Мои собственные понятия об «иррациональном», не имеющие абсолютно никакого отношения ни к чему «научному», носят совершенно иной характер.

Утверждаю это особенно горячо, так как могу допустить, что человек недалекий усмотрит в моих действиях нечто именно в названном роде. Ведь я только сейчас размышлял о том, не послужит ли нечаянный дар нежности Рейчел к высвобождению запертого во мне таланта, в который я так долго и упорно верил, который так терпеливо в себе растил. Какое представление обо мне может сложиться у читателя? Боюсь, оно будет несколько неопределенным. Однако даже допуская в мыслях близость с Рейчел (о чем я к этому времени уже подумывал, но только в самых общих чертах), я был не настолько плосок и глуп, чтобы воображать, будто простая сексуальная разрядка может принести мне ту высшую свободу, которую я искал, я отнюдь не смешивал животный инстинкт с божественным началом. Тем не менее так уж сложно организовано наше сознание и так глубоко переплетаются его пласты, что перемены в одной области нередко предвещают, как бы отражают изменения, казалось бы, совсем другого порядка. Вдруг начинаешь ощущать какое-то подспудное течение, властную руку рока, происходят удивительные совпадения, и мир наполняется знамениями. И это вовсе не вздор и не бред параноика. Такие ощущения действительно могут отражать реальные, хотя еще не осознанные метаморфозы. Предстоящие события ведь и в самом деле отбрасывают из будущего свои тени. Известно, что книги нередко оказываются пророческими. Просто воображение писателей рисует перед ними то, чему предстоит произойти. Однако эти предвестия бывают двусмысленнее и загадочнее древних оракулов, и исполняются они в самой неожиданной форме. Как случилось и на этот раз.

Если в моей жизни предстояли перемены, они неизбежно должны были стать частью моего творческого развития, ибо мое творческое развитие было моим человеческим развитием. Очень может быть, что Рейчел — посланница богов. Ведь она бросила мне вызов, и теперь важно было, как я на него отвечу, хватит ли у меня храбрости. Мне часто приходило в голову, когда я задумывался поглубже, что я *плохой художник, потому что я трус.* Не настало ли время выказать смелость в жизни и тем заявить о своей смелости в искусстве, даже, может быть, таким образом обрести ее?

Однако существовала и другая сторона проблемы: титанический мыслитель, которому принадлежат изложенные выше соображения, уживался во мне с осмотрительным, совестливым обывателем, полным моральных запретов и общепринятых страхов. Во всей этой истории нельзя было не считаться с Арнольдом. Если дойдет до дела, хватит ли у меня духу, не дрогнув, противостоять Арнольдову праведному гневу? А кроме того, существовала и Кристиан. С Кристиан у меня

еще ничего не было решено. Она не шла у меня из головы, рыская по отдаленным уголкам моего сознания. *Я хотел ее видеть.* Я даже испытывал по поводу ее новоиспеченной дружбы с Арнольдом чувство, близко напоминавшее ревность. Ее оживленное любопытством, слегка морщинистое лицо виделось мне во сне. Хватит ли у Рейчел силы, чтобы защитить меня от нее? Быть может, к этому все и сводилось: я просто искал у нее защиты?

Теперь, задним числом, меня поразил возглас Рейчел: «Он наш раб!» Как можно было сказать такое о муже? А ведь мне тогда показалось, что я понимаю ее. Однако что, в сущности, эти слова означают? Не следует ли признать, что речь идет о самом обыкновенном, пошлом «романчике»? Разве уже эти мои размышления не есть грех? «Властная рука рока» легко может привести нас к жалкой зависимости. Я решил, что надо поскорее увидеться с Арнольдом и обязательно (но как?) откровенно поговорить с ним. Разве не он тут главная фигура? И что я, в сущности, к нему испытываю? Вопрос интересный. И я принял решение, сразу при этом немного успокоившись, что поговорю по душам с Арнольдом, прежде чем снова увижусь с Рейчел.

Так размышлял я, стараясь обрести покой. Но к пяти часам того же дня я все еще метался в исступлении, исступлении загадочном и темном: что это было — любовь, секс, искусство? Я испытывал мучительную потребность сделать, предпринять что-то — обычный удел человека, не знающего, как ему поступить. Кажется, совершишь какой-нибудь поступок, уедешь, вернешься, отправишь письмо и тем избавишься от нервного беспокойства, которое в действительности есть не что иное, как боязнь, боязнь будущего, принимающая формы страха перед собственными темными сиюминутными желаниями, это и есть тот самый страх, о котором говорят философы, он рождается не столько от ощущения пустоты, сколько от холодящего душу чувства, что ты находишься во власти могущественных, но еще не выявившихся сил. Под влиянием вышеописанного нервного беспокойства я взял свою рецензию на книгу Арнольда, запечатал в конверт и отправил прямо ему. Но прежде я внимательно перечитал ее:

> «Новая книга Арнольда Баффина восхитит его многочисленных почитателей. Она сделана, в соответствии с пожеланиями простодушной публики, все по тому же, старому рецепту. Речь в ней идет о биржевом маклере, который в пятьдесят лет решает пойти в монахи. Ему препятствует в этом сестра настоятеля, дама истово религиозная, незадолго перед тем вернувшаяся с Востока. Она хочет обратить героя в буддизм. Вдвоем они проводят время в горячих религиозных диспутах. Кульминация приходится на ту сцену, где настоятель (тип Иисуса Христа) служит мессу, и в это время на него случайно (или неслучайно?) падает со стены массивное бронзовое распятие и убивает на месте.
>
> Такой роман типичен для творчества Арнольда Баффина. Сзади на обложке написано: «Новая книга Баффина одновременно и серьезна, и смешна. В ней есть и глубокий сравнительный анализ религий, и захватывающий, как в авантюрном романе, сюжет». Стоит ли придираться к рекламе? То, что в ней говорится, частично правда. Книга действительно вполне серьезна и очень смешна (как почти всякий роман). Она содержит туманное, и поверхностное, и, на мой взгляд, довольно скучное сопоставление религий, которому решительно не хватает меткости и остроты мысли, а на научность оно даже не претендует

(автор смешивает махаяну с тхеравадой и, по-видимому, считает суфизм [1] формой буддизма!). Сюжет, хотя до него нелегко добраться, безусловно, мелодраматичен, правда, я не понимаю, почему говорится, что эта книга — «как авантюрный роман», по-моему, она и есть авантюрный роман. Та часть, где героиня приводит себя в состояние транса, чтобы перенести боль в сломанной лодыжке, а тем временем переполняется резервуар с водой и едва не затопляет ее,— чистейший боевик в духе «индейцев и ковбоев». Само собой разумеется, права на экранизацию романа уже куплены. Спросим себя, однако, не о том, занимательна ли эта книга, интересно ли ее читать,— спросим себя, является ли она *произведением искусства?* Ответ в данном случае — и, боюсь, во всех остальных случаях, когда речь идет о сочинениях мистера Баффина,— увы, отрицателен.

Мистер Баффин пишет быстро и непринужденно. Он — плодовитый писатель. Именно это качество и является его главным врагом. Плодовитость так легко спутать с силой воображения. И если в такую ошибку впадает сам автор, тогда он обречен. Чтобы стать настоящим художником, писатель, пишущий с такой легкостью превыше всего нуждается в одном — в смелости, он должен иметь смелость уничтожать и смелость выжидать. Мистер Баффин, судя по объему его продукции, не способен ни ждать, ни уничтожать. Только гению позволительно писать, «не вымарав ни строчки», а мистер Баффин не гений. Сила воображения дарується лишь тем из малых сих, кто готов работать, а работать нередко означает только одно: отбрасывать редакцию за редакцией, пока не будет достигнута та степень насыщенности, накала, которая и есть искусство».

И так далее, еще на две тысячи слов. Когда я запечатал это в конверт и опустил в почтовый ящик, я испытал большое, по-прежнему довольно загадочное, чувство удовлетворения. Теперь, по крайней мере, наши отношения, уже давно застывшие на мертвой точке, должны будут вступить в новую фазу. Я даже допускал, что мой тщательный анализ *может принести Арнольду пользу.*

В тот вечер Присцилле стало как будто немного лучше. До заката она проспала, а проснувшись, сказала, что хочет есть. И поела, правда совсем немного, приготовленной Фрэнсисом курицы в прозрачном бульоне. Фрэнсис, к которому я постепенно менял отношение, взял на себя заботы по кухне. Он не принес сдачи с моего фунта, но представил вполне убедительный отчет о том, на что были потрачены деньги. Из своей квартиры он принес спальный мешок и сказал, что будет ночевать в гостиной. Он был сама кротость и признательность. Я старательно подавлял в своей душе все связанные с ним опасения. Дело в том, что я решил, хотя и не сообщил еще Присцилле, в ближайшие дни уехать в «Патару», а дом оставить на Фрэнсиса. В этой части моего будущего я уже навел ясность. Как впишется в него Рейчел, оставалось пока неизвестно. Я представлял себе, что буду сочинять для нее длинные, прочувствованные письма. И кроме того, я провел длинный телефонный разговор с моим лечащим врачом (обо мне самом).

---

[1] Махаяна и тхеравада — важнейшие школы буддизма Суфизм — одна из философско-поэтических школ, распространенных в средние века на Среднем и Ближнем Востоке; своеобразная разновидность ислама.

Но пока я сидел дома в обществе Присциллы и Фрэнсиса. Мирная семейная обстановка. Десять часов вечера, шторы на окнах опущены.

Присцилла опять в моей пижаме с высоко завернутыми рукавами. Она пьет приготовленный Фрэнсисом горячий шоколад. А мы с Фрэнсисом потягиваем херес.

Фрэнсис говорит:

— Детские воспоминания всегда так фантастичны. Мне, например, все помнится каким-то темным.

— Вот забавно,— говорит Присцилла.— Мне тоже. Словно всегда стоял дождливый вечер —такое освещение.

Я сказал:

— По-видимому, прошлое представляется нам как туннель. Сегодня светло, а чем дальше вглубь, тем темнее.

— Но бывает,— заметил Фрэнсис,— что какой-то кусок из самого отдаленного прошлого видится нам очень ярко. Я вот помню, как мы с Кристиан идем в синагогу...

— В синагогу? — переспросил я.

Фрэнсис скрестил ноги и сидит в маленьком кресле, заполняя его целиком, точно скульптура святого в нише. Засаленные, заскорузлые от грязи отвороты его мешковатых, широких штанин торчат над щиколотками. На коленях сквозь вытертую до блеска, истончившуюся ткань просвечивает розовая кожа. Руки, пухлые и тоже очень грязные, сложены на животе, и вся эта умиротворенная поза слегка отдает чем-то восточным. Красные губы изогнуты в извиняющейся улыбке.

— Ну да. Мы ведь евреи. Наполовину.

— Мне-то, в общем, безразлично. Странно только, что никто этого никогда не говорил.

— Кристиан немного, ну, не то чтобы стыдится этого, но, пожалуй, стыдилась. Наши дед и бабка со стороны матери были евреи. Другие дед с бабкой у нас гои.

— Но это не очень-то вяжется с именем Кристиан, верно?

— Да. Наша мать была крещеная. Во всяком случае, она была рабыней отца, ужасного самодура. Вы ведь не были знакомы с нашими родителями? Отец слышать не желал о своих еврейских родичах. Заставил маму порвать со всеми. Имя «Кристиан» было частью этой кампании.

— И, однако, вы ходили в синагогу?

— Один раз, мы тогда были совсем маленькие. Папа был болен, и нас поселили у бабки с дедом. Им очень хотелось, чтобы мы пошли. Вернее, чтобы я пошел. До Кристиан им было мало дела. Она, во-первых, девочка. И потом, их возмущало ее имя. Когда они говорили с ней, то называли ее другим именем.

— Да, Зоэ. Помню, она раз распорядилась выбить на одном очень дорогом чемодане свои инициалы: «К.З.П.» Ну и ну!

— По-моему, он убил маму.

— Кто?

— Отец. Считается, что она умерла, упав с лестницы. Он был очень тяжел на руку. Меня бил смертным боем.

— Почему же я ничего не знал?.. Ну, бог с ним. Чего только не случается с людьми в браке — один убивает жену, другой не знает, что его жена еврейка...

— В Америке Кристиан много общалась с евреями. Этим, вероятно, объясняется перемена...

Я смотрел на Фрэнсиса. Когда про кого-то становится известно, что он — еврей, немедленно обнаруживаешь и перемену в его наружности. Так, я только недавно, после многих лет знакомства, узнал, что Хартборн — еврей.

Присциллу, выключенную из разговора, не оставляло беспокойство. Ее руки безостановочно двигались, собирая на краю простыни мелкие веерообразные складочки. Одутловатое лицо покрывал густой, неравномерный слой пудры. Волосы были, наконец, расчесаны. Она то и дело вздыхала, и нижняя губа ее мелко, жалобно вздрагивала.

— Я весь день спала... Как я теперь усну?..

— Уснете,— сказал Фрэнсис.— В шоколаде была снотворная таблетка.

— Вы меня опаиваете. Роджер хотел меня отравить...

Я сделал Фрэнсису знак, и он ушел, неслышно ступая и бормоча под нос извинения.

— Господи, ну что мне делать?..

— Ляг и усни.

— Брэдли, ты ведь не допустишь, чтобы меня признали сумасшедшей? Роджер один раз сказал, что я душевнобольная, что ему придется освидетельствовать меня и засадить в сумасшедший дом.

— Его самого надо освидетельствовать и засадить в сумасшедший дом.

— Брэдли, Брэдли, что со мной теперь будет? Мне остается только убить себя, другого выхода нет. Вернуться к Роджеру я не могу, он умерщвляет мне душу, он сводит меня с ума. Разобьет что-нибудь и говорит, что это я— просто-де память потеряла, не помню.

— Он очень плохой человек.

— Нет, это я плохая, такая плохая, я говорила ему ужасные вещи. Я уверена, что у него были женщины. Один раз я нашла носовой платок. А я пользуюсь только косметическими салфетками.

— Ляг поудобнее, Присцилла. Дай я поправлю тебе подушки.

— Возьми меня за руку, Брэдли.

— Я и держу тебя за руку.

— Если хочешь убить себя, это признак сумасшествия?

— Нет. И ты вовсе не хочешь убить себя. У тебя просто депрессия.

— Депрессия! Если бы ты только знал, каково это — быть на моем месте! У меня такое чувство, будто я сделана из старых тряпок,— труп из тряпок. О Брэдли, не уходи от меня, я сойду с ума в темноте.

— Я оставлю дверь приоткрытой, тебе будет виден свет с лестницы.

— Я просто умру от страха в темноте, мысли мои меня убьют.

— Послушай, Присцилла, я послезавтра уезжаю из города работать. Ненадолго. Тебя я поручу Фрэнсису...

— Нет, нет, нет! Брэдли, не уезжай, не оставляй меня, может прийти Роджер...

— Он не может прийти, я это точно знаю.

— Если он придет, я умру от стыда и страха... О, моя жизнь так ужасна, мое существование так страшно, ты не можешь себе представить, каково это — просыпаться каждое утро и каждое утро убеждаться, что все по-прежнему, что ты — это ты и от этого ужаса никуда не деться. Брэдли, ты не можешь уехать, скажи, ты ведь не уедешь? У меня же никого нет, кроме тебя.

— Ну, хорошо, хорошо.

— Обещай, что ты не уедешь, ты обещаешь?

— Хорошо, пока не уеду.

— Нет, ты скажи: «Обещаю», скажи это слово.

— Обещаю.

— У меня в голове какой-то туман.

— Это ты хочешь спать. Ну, спокойной ночи, будь умницей. Я оставлю дверь чуть приоткрытой. Мы с Фрэнсисом б[у]дем рядом

Она продолжала протестовать, но я вышел и возвратился в гостиную. Здесь горела только одна лампа, отбрасывая вокруг багровые тени. Некоторое время из спальни еще доносилось бормотание, потом все стихло. Я чувствовал большую усталость. Так много всего успело произойти за один день.

— Что за мерзкий запах?

— Это газ, Брэд. Я не мог найти спички.

Фрэнсис сидел на полу, смотрел на газовое пламя и держал бутылку хереса в руках. Уровень содержимого в ней значительно понизился.

— Присцилла все время твердит о самоубийстве. По-моему, если человек говорит, что убьет себя, значит, он этого не сделает. Верно?

— Да нет. Она может и сделать.

— Вы присмотрите за ней, если я уеду?

— Конечно. Мне бы только стол и квартиру и немного мелочи на...

— Все равно. Я не могу уехать. О господи! — Я прислонился спиной к одному из кресел и закрыл глаза. Спокойный образ Рейчел взошел перед моим внутренним взором, подобный тропической луне. Мне захотелось поговорить о себе, но я мог говорить только загадками. Я сказал: — Муж Присциллы влюблен в молоденькую девушку. Она уже много лет его любовница. Теперь он счастлив, что избавился от Присциллы. Собирается жениться. Присцилле я, понятно, не рассказывал. Не странно ли, как человек вдруг влюбляется. Это может случиться со всяким и во всякое время.

— Вот что,— сказал Фрэнсис.— Значит, Присцилла в аду. Ну что ж, мы все в аду. Жизнь — это мука, мука, которую осознаешь. И все наши маленькие уловки — это только дозы морфия, чтобы не кричать.

— Нет, нет! — возразил я.— Хорошее в жизни тоже бывает. Например, ну вот, например — любовь.

— Каждый из нас кричит, надрывается в своей отдельной, обитой войлоком, звуконепроницаемой камере.

— Не согласен. Когда по-настоящему любишь...

— Так, значит, вы влюблены,— сказал Фрэнсис.

— Вовсе нет!

— В кого же? Впрочем, я знаю и сам могу вам сказать.

— То, что вы видели сегодня утром...

— О, я не *ее* имею в виду.

— Кого же тогда?

— Арнольда Баффина.

— То есть вы хотите сказать, что я влюблен в ...? Что за непристойная чушь!

— А он влюблен в вас. Иначе для чего бы ему любезничать с Кристиан, для чего вам любезничать с Рейчел?

— Я вовсе не...

— Для того, чтобы заставить ревновать другого. Вы оба подсознательно добиваетесь перелома в ваших отношениях.

— Послушайте,— сказал я.— Я признателен вам за то, что вы помогаете тут с Присциллой. И пожалуйста, поймите меня правильно. У меня нет предрассудков. Я абсолютно ничего не имею против гомосексуализма. По мне, пусть люди поступают так, как им хочется. Но так уж вышло, что лично я — абсолютно нормальный, гетеросексуальный индивидуум и...

— Нужно уметь принимать свое тело таким, как оно есть. Не надо воевать с ним. А вы — сплошные нервы, сплошной трепет...

— Как же иначе? Ведь я художник!

— Вам приходится воображать себя художником из-за Арнольда, вы отождествляете себя с ним...

— Да это я его открыл! — заорал я.— Я был писателем задолго до него, я пользовался известностью, когда он еще лежал в колыбели!

— Тсс! Разбудите Присциллу. Ваши чувства находят выход, когда вы направляете их на женщин, но источником их являетесь вы и Арнольд, вы одержимы друг другом...

— Говорю вам, я не гомосексуалист и не невропат, я себя знаю!

— Ну и хорошо,— вдруг другим тоном отозвался Фрэнсис, пересаживаясь спиной к огню.— Пожалуйста. Пусть будет по-вашему.

— Вы просто все это выдумали мне назло.

— Да, я просто выдумал. Это я гомосексуалист и невропат, и нет слов, как от этого страдаю. Счастливец, вы не знаете себя. Я-то себя хорошо знаю... — И он заплакал.

Мне редко случалось видеть плачущего мужчину, зрелище это внушает мне страх и отвращение. Фрэнсис плакал в голос, заливаясь, совершенно для меня неожиданно, потоком слез. Его пухлые красные руки мокро поблескивали в газовом свете.

— Да перестаньте вы, ради бога!

— Простите меня, Брэд. Я бедный, жалкий извращенец... Всю жизнь я такой несчастный... Когда меня лишили диплома, я думал, что умру от горя. У меня никогда ни с кем не было по-настоящему хороших отношений. Я так нуждаюсь в любви, любовь всем нужна, это естественная потребность, все равно как мочеиспускание, а мне и крохи не досталось за всю мою жизнь. А сколько любви я отдал людям, я ведь умею любить, я когда люблю, то по земле расстилаюсь — пожалуйста, наступайте... Но меня никогда никто, никто не любил, даже мои разлюбезные родители. И дома у меня нет и никогда не будет, все вышвыривают меня вон рано или поздно... чаще рано. Я странник на божьей земле. Думал, хоть Кристиан меня пригреет, господи, да я бы спал в прихожей, мне просто нужно служить кому-то, помогать, заботиться, но почему-то у меня никогда ничего не получается. Я постоянно думаю о самоубийстве, каждый божий день думаю, что надо умереть и покончить с этой мукой, а сам продолжаю ползать в собственном дерьме, раздираемый ужасом и болью... Я так отчаянно, безнадежно, ужасно одинок, что готов выть целыми днями...

— Перестаньте твердить этот мерзкий вздор!

— Хорошо, хорошо. Виноват. Простите меня, Брэд. Пожалуйста, простите. Я, наверно, сам хочу страданий. Я мазохист. Наверно, мне нравится мучиться, иначе я бы давным-давно прекратил это существование, принял бы пузырек снотворных таблеток сколько раз мне приходило это в голову. Господи, теперь вы решите, что я не гожусь ухаживать за Присциллой, и вытолкаете меня взашей...

— Да замолчите немедленно! Я не могу этого выносить.

— Простите меня, Брэд. Просто я...

— Спокойной ночи.

Я повернулся и вышел из комнаты. В коридоре я остановился у Присциллиной двери и прислушался. Сначала мне почудилось, что она тоже плачет. Но нет, это был храп. Вскоре он утратил сходство с плачем и стал звучать как предсмертный хрип. Я пошел в комнату для гостей, где так и не удосужился приготовить себе постель, и лег, не раздеваясь и не погасив верхнего света. Дом тихонько поскрипывал от шагов моего верхнего соседа, подозрительного юнца по фамилии Ригби, который продавал галстуки на Джермин-стрит. Слышен был и еще какой-то звук наподобие приглушенного стука. Это было мое сердце. Я решил, что завтра рано утром поеду к Рейчел.

— Где Арнольд?

— Ушел в библиотеку. Так он сказал. А Джулиан уехала на фестиваль поп-музыки.

— Я послал Арнольду ту рецензию. Он говорил что-нибудь?

— Он никогда не читает при мне своих писем. А говорить он ничего не говорил. Ах, Брэдли, слава богу, что вы приехали.

В передней я на минуту обнял Рейчел и сквозь рыжее облако ее волос различил в слабом свете, падавшем от стеклянной двери, портрет миссис Сиддонс — цветную гравюру, которая висела на стене возле вешалки. Перед моим внутренним взором все еще стояло широкое бледное лицо Рейчел, вдруг преобразившееся от радости и облегчения, когда она открыла дверь и увидела меня. Это очень много значит, когда тебя так встречают. Есть люди на свете, которые за всю жизнь не удостоились такого приема. И ощущение того, что Рейчел уже немолода, что она замучена, тоже волновало и трогало меня.

— Идемте наверх.

— Рейчел, нам нужно поговорить.

— Можно поговорить и наверху, я ведь не съем вас.

Она за руку повела меня по лестнице, и мы очутились в той самой спальне, где Рейчел недавно лежала, точно покойница, натянув на лицо край простыни. Как только мы вошли, она задернула шторы и стала снимать с кровати зеленое шелковое покрывало.

— Брэдли сядьте вот сюда, возле меня.

Мы неловко сели рядом и посмотрели друг на друга. Под ладонью у меня был ворс шерстяного одеяла. Радостный образ встретившей меня Рейчел больше не стоял у меня перед глазами, я чувствовал скованность, смущение, беспокойство.

— Я только хочу к вам прикоснуться,— сказала Рейчел. И в самом деле провела, чуть касаясь кончиками пальцев, по моему лицу, шее, волосам, словно это был не я, а святой образ.

— Рейчел, мы должны осознать, что делаем, я не хочу поступать дурно.

— Чувство вины может помешать вашей работе.— Она прикрыла пальцами мне веки.

Я отстранился.

— Рейчел, вы это все делаете не для того, чтобы позлить Арнольда?

— Нет. Вначале — может быть. Когда это только пришло мне в голову. Ради самозащиты. Но потом, в тот раз, ну знаете, когда вы оказались здесь в комнате, вы были как бы тоже по эту сторону барьера, и я так давно вас знаю, на вас словно бы возложена особая роль — роль рыцаря, как в старину, моего рыцаря, и это так необыкновенно, так важно, вы всегда представлялись мне немного мудрецом, каким-то отшельником, аскетом...

— А дамам всегда особенно нравится соблазнять аскетов.

— Может быть. Разве я вас соблазняю? Понимаете, я должна проявить свою волю, это необходимо, иначе я умру от унижения или еще от чего-нибудь. Наступает божественная минута.

— А не безбожные ли это мысли?

— Но это и ваши мысли, Брэдли. Посмотрите, где вы находитесь.

— Мы оба добропорядочные, пожилые люди.

— Я не добропорядочная.

— Но я принадлежу еще к веку строгих нравов. А вы — жена моего лучшего друга. С женой своего лучшего друга нельзя...

— Чего?

— Ничего.

— Но это уже произошло, это уже с нами случилось, единствен-

ный вопрос: что мы будем с этим делать? Брэдли, мне очень жаль но от препирательства с вами я получаю большое удовольствие.

— Вы же знаете, куда приводят такие препирательства.

— В постель.

— Ей-богу, мы словно восемнадцатилетние.

— Они сейчас не препираются.

— Рейчел, это все — не из-за того, что у Арнольда роман с Кристиан? У них действительно роман?

— Не знаю. И это уже неважно.

— Но ведь вы любите Арнольда?

— Да, да. Но это тоже неважно. Он слишком долго был моим тираном. Я нуждаюсь в новой любви, я должна вырваться из Арнольдовой клетки.

— По-видимому, женщинам вашего возраста...

— Брэдли, вы опять за свое.

— Я просто хотел сказать, что потребность в переменах вполне естественна, но не будем делать ничего такого, что бы...

— Брэдли, сколько бы вы ни философствовали, вы же понимаете: что мы будем делать, в сущности, не имеет значения.

— Нет, имеет. Вы сами говорили, что мы не станем обманывать Арнольда. Так это будет или не так, очень важно.

— Вы что, боитесь Арнольда?

Я подумал.

— Да.

— Ну, так вам надо перестать его бояться. Друг мой, неужели вы не понимаете, что в этом-то все и дело? Я должна увидеть вас бестрепетным, бесстрашным. Это и значит быть моим рыцарем. Тогда я обрету свободу. И для вас это тоже будет решительный поворот в жизни. Почему вы не можете писать? Потому что вы робки, забиты, скованны. В духовном смысле, конечно.

Ее слова были очень близки к тому, что я сам думал.

— Значит, мы будем любить друг друга в духовном смысле?

— Ох, Брэдли, довольно препирательств. Раздевайтесь.

Все это время мы сидели вполоборота, не прикасаясь друг к другу, только концы ее пальцев легко проскользнули по моему лицу, потом по лацканам пиджака, по плечу, рукаву, словно околдовывая меня.

Теперь Рейчел вдруг отвернулась и, изогнувшись, одним движением стянула с себя блузку и лиф. До пояса нагая, она вновь посмотрела на меня. Это уже было совсем другое дело.

Она покраснела, и лицо ее неожиданно приобрело неуверенное, вопросительное выражение. Ее тело дышало скромной, непоказной чистотой. Видно было, что такое поведение для нее совсем не характерно. И к тому же я уже бог весть как давно не видел обнаженной женской груди. Я смотрел, но не двигался.

— Рейчел,— сказал я.— Я очень тронут и взволнован, но право же, мне кажется, что это в высшей степени неразумно.

— Да перестаньте! — Она вдруг обхватила меня за шею и повалила на кровать. От ее тела шел жар. Учащенное дыхание обжигало мне щеку.

Лежать одетым, в ботинках, рядом с бурно дышащей голой женщиной — это, пожалуй, не вполне по-джентльменски. Я приподнялся на локте и заглянул ей в лицо Я не мог допустить, чтобы меня затопил этот горячий шквал. Лицо ее искажала гримаса, напоминавшая мне японские картинки, в ней была как бы смесь радости и боли: глаза сужены в щелки, рот квадратно открыт. Тело у нее было полное, пышное. Я был взволнован, даже потрясен, но это еще не было жела

ние. Я словно видел себя со стороны, на картине — пожилой мужчина в темном костюме, при синем галстуке рядом с розовой голой грушеподобной дамой.

— Брэдли, разденьтесь.

— Рейчел,— сказал я,— говорю вам, я очень тронут. Я вам глубоко благодарен. Но у нас ничего не выйдет. Не потому что я не хочу. Я не могу. У меня ничего не получится.

— Вы всегда... испытываете затруднения?

— О «всегда» говорить не приходится. Я не был близок с женщиной много лет. Ваше отношение — для меня непривычная и неожиданная честь. И я оказался ее недостоин.

— Разденьтесь. Я просто хочу, чтобы вы меня обняли.

Мне было страшно холодно, и я по-прежнему видел себя со стороны, тем не менее я снял ботинки, носки, брюки, кальсоны и галстук. Рубашку я, повинуясь инстинкту самозащиты, оставил, но не мешал горячим, дрожащим пальцам Рейчел расстегнуть все пуговицы. Лежа в ее объятьях, недвижный и озябший, и ощущая робкое прикосновение ее ладоней, я вдруг увидел над рыжим облаком ее волос в щель между шторами нежно колышущуюся листву растущего за окном дерева и почувствовал, что я в аду.

— Брэдли, вы совсем закоченели. И кажется, готовы заплакать. Не огорчайтесь, мой дорогой, это не имеет никакого значения.

— Нет, имеет.

— В следующий раз все будет хорошо.

Следующего раза не будет, подумал я. И мне вдруг стало так мучительно жаль Рейчел, что я и в самом деле обнял ее и прижал к себе. Она взволнованно дышала.

И тут:

— Рейчел! Эй, Рейчел, куда ты запропастилась? — Голос Арнольда внизу.

Мы подскочили, как души грешников, подколотые вилами дьявола. Я принялся нашаривать на полу свою одежду, она вся перекрутилась и спуталась в клубок. Рейчел быстро надела юбку и блузку прямо на голое тело. И наклонившись ко мне, пока я еще возился с вывернутыми наизнанку брюками, шепнула. щекоча дыханием мне ухо: «Я уведу его в сад». Она исчезла, плотно прикрыв за собою дверь. Я услышал внизу голоса.

У меня ушло на одевание довольно много времени. Штанины оказались связаны узлом, и что-то треснуло и разорвалось, когда я, наконец, просунул ногу. Туфли я надел на босу ногу, вспомнил про носки, хотел было надеть, но передумал. Подтяжки скатались в клубок и никак не распутывались. Галстук и носки я сунул в карманы. Наконец я на цыпочках подкрался к окну и посмотрел вниз через щель в шторах. В глубине сада Рейчел, положив руку Арнольду на плечо, показывала ему какое-то растение. Вид у них был пасторальный.

Я выскользнул из спальни, спустился по лестнице и отворил входную дверь. Постарался бесшумно прикрыть ее за собой, но она не закрывалась. Тогда я слегка толкнул, и она захлопнулась с довольно громким стуком. Я бросился бегом по дорожке, поскользнулся на мхе и упал. Кое-как поднявшись, я со всех ног пустился прочь.

Я добежал по улице до угла и как раз начал переходить на быстрый шаг, но тут, свернув, на всем ходу налетел на кого-то, кто шел мне навстречу. Это оказалась девушка в очень коротком полосатом платьице и босиком. Это оказалась Джулиан.

— Простите, пожалуйста. Ой, Брэдли, вот здорово! Ты навещал родителей? Как жалко, что меня не было. Ты на метро? Можно я провожу тебя? — Она повернула, и мы пошли рядом.

— Я думал, ты на фестивале,— задыхаясь от еле скрываемого волнения, сказал я.

— Не смогла сесть в поезд. То есть можно было, конечно, но я не выношу давки, это у меня прямо клаустрофобия.

— Я тоже. Фестивали поп-музыки — не место для нас, клаустрофобов.— Я уже говорил вполне спокойно, а сам думал: «Она расскажет Арнольду, что встретила меня».

— Наверно. Я ни разу на них не бывала. Теперь ты прочтешь мне еще лекцию о вреде наркотиков, да?

— Нет. А ты хотела бы выслушать лекцию?

— От тебя — ничего не имею против. Но лучше не о наркотиках, а про «Гамлета». Брэдли, как по-твоему, Гертруда была в заговоре с Клавдием, когда он убивал короля?

— Нет.

— А была у нее с ним связь при жизни мужа?

— Нет.

— Почему?

— Неприлично. И храбрости не хватило бы. Тут нужна большая храбрость.

— Клавдий мог ее уговорить. У него сильный характер.

— У короля тоже.

— Мы видим его только глазами Гамлета.

— Нет. Призрак был настоящим призраком.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Тогда, значит, король был страшный зануда.

— Это другой вопрос.

— По-моему, некоторые женщины испытывают психологическую потребность изменять мужьям, особенно достигнув определенного возраста.

— Возможно.

— А как по-твоему, король и Клавдий вначале симпатизировали друг другу?

— Существует теория, что они были любовниками. Гертруда отравила мужа, потому что он любил Клавдия. Гамлет, естественно, это знал. Ничего удивительного, что он был неврастеником. В тексте много зашифрованных указаний на мужеложество. «Колос, пораженный порчей, в соседстве с чистым». Колос — это фаллический образ; «в соседстве» — эвфемизм для...

— Ух ты! Где можно об этом прочитать?

— Я шучу. До этого еще не додумались даже в Оксфорде.

Я шагал очень быстро, и Джулиан то и дело подбегала вприпрыжку, чтобы не отстать. При этом она умудрялась все время держаться ко мне лицом, выплясывая рядом со мной какой-то замысловатый танец. А я смотрел вниз на ее очень грязные голые ноги, выделывавшие эти скачки, прыжки и антраша.

Мы уже почти дошли до того места, где она рвала тогда в сумерки свои любовные письма и я еще принял ее сначала за мальчика. Я спросил:

— Как поживает мистер Беллинг?

— Брэдли, пожалуйста...

— Прости.

— Да нет, ты можешь говорить мне все что хочешь. Но только это все, слава богу, кончено и забыто.

— И шарик не прилетел к тебе обратно? Не было так, что ты проснулась утром, а он привязан к твоему окну?

— Нет!

Ее лицо, обращенное ко мне, все в бегучих солнечных бликах и тенях, казалось очень юным, почти детским и по-детски сосредоточенно-серьезным. Какой чистой, неиспорченной представилась она моему взгляду в ту минуту со своими грязными босыми ногами и со своими заботами о «заданной» книге. И я почувствовал сожаление, которое было, в сущности, стыдом перед нею. Что я сейчас делал? И зачем? Жизнь человека должна быть простой и открытой. Ложь, даже в гедонических целях, гораздо реже бывает оправдана, чем полагают в образованных кругах. Я понял, что запутался, и мне стало стыдно, страшно. И вместе с тем я по-прежнему чувствовал к Рейчел нежность и жалость, к которым примешивалась память о запахе ее теплого, пышного тела. Нет, я, конечно, не оставлю ее в нужде. Надо будет выработать какой-то приемлемый модус. Но как, однако же, мне не повезло, что я встретился с Джулиан. Можно ли просто попросить ее не говорить отцу о нашей встрече? Придумать для этого какую-нибудь убедительную причину, чтобы не выглядеть совсем уж бог знает как. Просто попросить и предоставить ей догадаться я не мог. Жалкие слова навеки замарают меня в ее глазах. Впрочем, разве я и без того уже не замаран и так ли уж важно, что подумает Джулиан? Гораздо важнее, что будет знать Арнольд.

В эту минуту Джулиан остановилась перед обувным магазином, у которого мы с ней расстались в прошлый раз.

— Как мне нравятся вон те сапоги, лиловые, видишь? Надо же, какая зверская цена.

И тут я вдруг сказал:

— Я тебе их куплю.— Надо было выиграть время и придумать, под каким предлогом лучше попросить ее молчать.

— Ой, Брэдли, это невозможно, они ужасно дорогие, с твоей стороны это безумно мило, но я не могу.

— Почему же? Я вот уже сколько лет не делал тебе подарков, пожалуй, с тех пор как ты стала большая, ни разу. Идем, смелее.

— Ой, Брэдли, я бы с радостью, ты такой добрый, это мне еще дороже, чем сапоги, но, понимаешь, я не могу...

— Да почему?

— Я без чулок. Не могу примерить.

— Вот оно что. Я, кстати сказать, нахожу этот культ босоножества совершенно идиотским А если наступишь на стекло?

— Я знаю. По-моему, тоже это идиотство. Я больше не буду, это я только на фестиваль. Ужасно неудобно, подошвы горят, сил нет. Надо же, как досадно.

— А чулки купить нельзя?

— Тут поблизости нет такого магазина.

Я полез в карман за бумажником и, вытаскивая руку, выронил на тротуар скомканные носки. С горящим от стыда лицом я второпях нагнулся за ними.

— Смотри-ка, вот здорово! Я могу надеть твои носки. Такая жара, неудивительно, что ты их снял. Можно, ты позволишь?

— Разумеется, пожалуйста. Они были чистые утром, но, конечно, сейчас...

— Глупости. Вот это как раз предрассудки, не то что насчет босых ног. Ах, Брэдли, мне так хочется иметь эти сапоги, но они такие ужасно дорогие. Давай я отдам тебе, когда...

— Нет. И довольно торговаться. Вот тебе носки.

Она тут же натянула их, стоя сначала на одной, потом на другой ноге и держась за мой рукав. Мы вошли в магазин. Там было прохладно и полутемно.

Мы уселись в два соседних кресла, и Джулиан попросила свой

размер. Девушка в черном помогла ей натянуть сапог на мой серый нейлоновый носок. Высокое лиловое голенище обхватило ногу, взбежала кверху застежка-молния.

— В самый раз. Можно второй? — Был надет и второй сапожок.

Джулиан встала перед зеркалом, и я посмотрел на ее отражение. В новых сапожках у нее был потрясающий вид. Выше колен — открытые незагорелые ноги, а дальше — белый в голубую и зеленую полоску подол короткого платья.

Восторг Джулиан был в буквальном смысле слова неописуем. Лицо ее расплылось и сияло, она, забывшись, хлопала в ладоши, кидалась ко мне, трясла меня за плечи, снова бросалась к зеркалу. Такая простодушная радость в другое время, наверно, совсем бы меня растрогала. Почему я увидел в ней тогда воплощение суеты мирской? Нет, эта молодая животная радость сама по себе была прекрасна и чиста. Я не мог удержать улыбки.

— Брэдли, тебе нравится? По-твоему, у них не дурацкий вид?

— Вид шикарный.

— Ой, я так рада, ты такой милый. Вот спасибо тебе!

— Это тебе спасибо. Делая подарки, мы ублажаем собственную натуру.— И я попросил чек.

Джулиан, все так же восторгаясь, стала стягивать сапоги. Сняв их и оставшись в моих носках, которые она закатала до самых лодыжек, она закинула ногу на ногу и сидела, упиваясь видом своей добычи. Я посмотрел на лежавшие на полу лиловые сапожки, потом перевел взгляд на голые ноги Джулиан, слегка загорелые ниже колен и покрытые золотистыми волосками, и тут со мной произошло нечто неожиданное и невероятное. Я испытал то, чего тщетно добивался, когда обнимал голую Рейчел: меня вдруг словно молнией пронзило желание со всеми его абсурдными, пугающими, недвусмысленными симптомами. Я так смутился, что это уже и смущением назвать было трудно. И одновременно почувствовал прилив какой-то нелепой, ни с чем не соотносимой, восторженной радости. Я поднял глаза. Джулиан сияла благодарной улыбкой. Я засмеялся тому физическому ощущению, которое возбудили во мне ее ноги и о котором она даже не подозревала. Я смеялся, и Джулиан, в детском восхищении своими сапожками, вторила мне.

— Нет, я сейчас не надену, очень жарко,— объяснила она продавщице.— Брэдли, ты ангел. Можно мне прийти на днях поговорить о Шекспире? Я всегда свободна — в понедельник, вторник — вот, например, во вторник, в одиннадцать утра у тебя? Или когда тебе удобнее?

— Хорошо, хорошо.

— И мы поговорим серьезно и подробно разберем текст?

— Да, да.

— Ой, как мне нравятся сапожки!

Когда мы прощались у метро и я заглянул в ясную синеву этих глаз, у меня не хватило духу замутить их просьбой солгать, хотя к этому времени я и успел сочинить в объяснение какую-то вполне правдоподобную чушь.

И только много позже я спохватился, что она так и ушла от меня в моих носках.

Каким-то образом оказалось, что уже двенадцать часов. Возвращаясь домой, я постепенно остыл и вскоре уже сожалел, что пренебрег возможностью обеспечить молчание Джулиан. Из какого-то смехотворно понятого чувства собственного достоинства я не принял элементарнейшей меры предосторожности. Когда Джулиан выболтает

про нашу встречу, что решит Арнольд, что придумает Рейчел, в чем она признается? Тщетно пытаясь сосредоточиться на этих мыслях, я испытывал неловкость и беспокойство, близкое любовному возбуждению. Джулиан уже, наверно, дома. Что там происходит? Может быть, ничего. Мне нестерпимо захотелось немедленно позвонить Рейчел, но я понимал, что это ничего не даст.

Когда я уходил с Шарлотт-стрит, было около половины десятого. Теперь, открывая дверь в свою квартиру, я вдруг почувствовал давящую тревогу о Присцилле и, войдя, сразу же понял, что произошло что-то скверное. Дверь в комнату Присциллы стояла распахнутая. Я вбежал туда — Присциллы не было. На кровати лежала Кристиан и читала детективный роман.

— Где Присцилла?

— Брэд, не нервничай. Она у меня.

Кристиан скинула туфли, они валялись тут же на одеяле. И красиво скрестила свои изящные шелково-жемчужные ноги. Ноги не стареют.

— По какому праву ты вмешиваешься?

— Я вовсе не вмешиваюсь. Я просто зашла навестить ее и застала всю в слезах, такую подавленную, она сказала, что ты хочешь уехать и оставить ее одну, ну я и предложила: почему бы ей не переехать обратно ко мне? Она ответила, что хотела бы, вот я и отправила их с Фрэнсисом на такси.

— Моя сестра не шарик для пинг-понга!

— Не злись, Брэд. Теперь ты можешь уезжать с чистой совестью.

— Я не собираюсь уезжать.

— Ну, не знаю, Присцилла думала, что собираешься.

— Я собираюсь немедленно поехать и привезти ее обратно.

— Брэд, ну не будь же таким глупым. Ей гораздо лучше в Ноттинг-хилле. Я сегодня на вечер пригласила к ней доктора. Оставь ты ее хоть на некоторое время в покое.

— У тебя был сегодня утром Арнольд?

— Да, он заезжал навестить меня. Почему ты спрашиваешь таким многозначительным тоном? Его очень расстроила твоя злобная рецензия. Зачем было показывать ему? Зачем причинять страдания просто так, без надобности? Тебе бы едва ли понравилось, если бы кто-нибудь поступил так с тобой.

— Значит, он приходил поплакать тебе в жилетку?

— Нет. Он приходил обсудить один деловой проект.

— Деловой проект?

— Да. Мы планируем войти компаньонами в одно дело. У меня уйма свободных денег, у него тоже. В Иллинойсе я не все время проводила в дамском клубе. Мне приходилось помогать Эвансу в делах. Под конец я просто вела его дела. И здесь я тоже не собираюсь бездельничать. Хочу открыть галантерейную торговлю. Вместе с Арнольдом.

— Почему ты не говорила мне, что ты еврейка?

— Ты никогда не спрашивал.

— А вы с Арнольдом собираетесь вместе заняться коммерцией? И как к этому отнесется Рейчел, вам не приходило в голову задуматься?

— Я не домогаюсь любви Арнольда. И вообще, по-моему, не тебе осуждать за это.

— Почему?

— Разве ты не домогаешься Рейчел?

— Откуда ты взяла?

— Рейчел сказала Арнольду.

— Рейчел сказала Арнольду, что я ее домогаюсь?

— Да. Они хохотали до упаду.

— Ты лжешь,— сказал я. И вышел из комнаты.

Кристиан крикнула мне вдогонку:

— Брэд, прошу тебя, будем друзьями!

Я подошел к входной двери, почти уже решив поехать за Присциллой и чувствуя настоятельную потребность избавиться от Кристиан, и тут зазвонил звонок. Я сразу же распахнул дверь. Это был Арнольд.

Он улыбнулся искусственной иронически-сокрушенной улыбкой. Я сказал:

— Ваша компаньонша здесь.

— Так она вам сказала?

— Да. Вы открываете галантерейную торговлю. Входите.

— Привет, дружок! — окликнула его у меня из-за спины Кристиан. Они весело и шумно пошли в гостиную, и я, мгновенье поколебавшись, вошел вслед за ними. Кристиан надевала туфли, стоя посреди комнаты в очень красивом полотняном платье исключительно яркого зеленого цвета. Теперь мне было, конечно, заметно, что она еврейка: этот изогнутый умный рот, этот хитрый закругленный нос, затененный змеиный глаз. Она была так же красива, как ее платье,— царица израильская. Я спросил Арнольда:

— Вы знаете, что она еврейка?

— Кто? Кристиан? Конечно. Знаю с первого дня знакомства.

— Откуда?

— Спросил.

— Брэд думает, что у нас с вами роман,— сказала Кристиан.

— Слушайте,— обратился ко мне Арнольд,— между мной и Крис нет ничего, кроме дружбы. Вам знакомо такое понятие, правда?

— Между мужчиной и женщиной дружба невозможна,— сказал я. Я это только что, во внезапном озарении, со всей ясностью понял.

— Возможна, если они достаточно разумные люди,— возразила Кристиан.

— Женатые люди не могут заводить друзей,— настаивал я.— Это уже измена.

— О Рейчел можете не беспокоиться,— сказал Арнольд.

— Представьте себе, беспокоюсь. И очень даже. Особенно, когда увидел ее на днях с синяком под глазом.

— Я не подбивал ей глаз. Это вышло случайно. Я же вам объяснил.

— Прежде чем мы продолжим,— сказал я,— будьте добры, попросите вашу компаньоншу, которая только что вторично выкрала мою сестру, покинуть этот дом.

— Я уйду,— сказала Кристиан.— Только сначала произнесу маленькую речь. Мне очень жаль, что все так получилось, ей-богу. Но, честное слово, ты живешь в фантастическом мире, Брэд. Я была очень взволнована, когда вернулась в Англию, и я прямо явилась к тебе. Другой бы мужчина был польщен. Мне хоть и за пятьдесят, но списывать в тираж меня еще рано. Я получила на пароходе три предложения руки и сердца, и все — от людей, которые не знали, что я богата. Да и что дурного в богатстве? Это привлекательное свойство. Богатые приятнее, спокойнее, уравновешеннее. Я — довольно выгодная партия. И я пришла прямо к тебе. Но случилось так, что у тебя я познакомилась с Арнольдом, мы разговорились, он задавал вопросы, я была ему интересна. Это и есть залог дружбы, и мы с ним стали друзьями. У нас дружба, а не роман. Зачем он нам? Мы слишком разумные люди. Я не девочка в короткой юбочке, ищущая сильных ощущений.

Я чертовски умная женщина, которая хочет остаток жизни прожить в свое удовольствие, понимаешь? Я хочу удовольствия и счастья, а не пошлой чувственной неразберихи. Уж как-нибудь я знаю собственные потребности. Там, в Иллинойсе, я много лет ходила к психоаналитикам. У меня глубокая потребность в дружеских отношениях с мужчинами. Я люблю помогать людям. Да знаешь ли ты, что помогать людям — огромное удовольствие? Я любопытна. Мне хочется знать как можно больше людей, разбираться в их внутренних побуждениях. А вовсе не ввязываться в нечистоплотные, скрытые драмы. Я намерена жить в открытую. И у нас с Арнольдом все в открытую. Ты просто ничего не понял. Я хочу, чтобы мы с тобой были друзьями, Брэд. Хочу дружбой искупить прошлое, стремлюсь к искупительной любви...

Я застонал.

— Можешь не издеваться надо мною, я говорю серьезно, я понимаю, конечно, что выгляжу смешно...

— Отнюдь нет,— сказал я.

— Женщины моего возраста сплошь и рядом выглядят по-дурацки, когда говорят всерьез, но в каком-то смысле, поскольку нам мало что осталось терять, мы, наоборот, умнее. И так как мы — женщины, наше дело — помогать людям, дарить тепло, заботу. Я вовсе не пытаюсь тебя поймать или загнать в угол. Я просто хочу, чтобы мы еще раз поближе узнали друг друга и, может быть узнав, стали бы лучше друг к другу относиться. Я много тяжелых минут пережила там, в Иллинойсе, с каждым днем отдалялась от бедного Эванса и все время вспоминала, сколько у тебя накопилось обид и как ты все время считал, что я на тебя наседаю, и, может быть, так оно и было, я не защищаюсь. Но только я стала с тех пор умнее и, может быть,— так я надеюсь — немного лучше. Ну почему бы нам с тобою не встретиться как-нибудь, не потолковать о прежних временах, о нашем браке...

— Который, как я понимаю, ты уже обсудила с Арнольдом.

— Ну, а что ж тут такого? Естественно, он интересовался, я ничего не скрывала. Это не запретная тема, почему бы мне и не обсудить ее? По-моему, нам с тобой надо поговорить откровенно, начистоту и раз и навсегда облегчить душу. Я знаю, что мне, например, это было бы очень полезно. Скажи, ты когда-нибудь обращался к психоаналитику?

— К психоаналитику?! Конечно нет!

— Напрасно ты так уж уверен, что тебе это не нужно. На мой взгляд, ты совсем запутался и нуждаешься в помощи.

— Пожалуйста, попросите вашу приятельницу уйти,— обратился я к Арнольду.

Он улыбнулся.

— Ухожу, Брэд, ухожу. Пока.

Она направилась к двери. Я сказал:

— Минутку. Тому, кто много лет ходил к психоаналитику, это может показаться грубым, но ты мне неприятна, и я не хочу тебя видеть.

— Я понимаю, тебе страшно...

— Ничего мне не страшно. Просто ты мне не нравишься. Ты принадлежишь к породе вкрадчивых поработительниц, которых я не выношу. Простить тебя я не могу и видеть тебя не желаю.

— Вероятно, это классический случай любви-ненависти...

— Никакой любви. Только ненависть. Будь честной и пойми это, раз уж ты такая умная. И вот еще что. Сейчас я поговорю с Арнольдом, а потом приеду за сестрой, и на этом всякие отношения между мною и тобой кончаются.

— Послушай, Брэд, мне, пожалуй, надо тебе сказать еще одну вещь. Я, по-моему, поняла тебя...

— Убирайся вон. Или ты ждешь, чтобы я применил силу?

Она весело расхохоталась, обнажив белые зубы и красный язык.

— Ого! Ну ладно, ладно, ухожу. Пока!

Она вышла, стуча каблучками, и я слышал, как она смеялась, закрывая за собой парадную дверь.

Я повернулся к Арнольду:

— Не знаю, что вы думаете насчет Рейчел и...

— Брэдли, я ведь не нарочно ударил Рейчел, я знаю, я виноват все равно, но это получилось случайно. Вы не верите мне?

— Нет.— Я снова испытывал нежное чувство жалости к Рейчел.

— Послушайте, погодите минуту. Рейчел давно успокоилась, а вы — вы кипятитесь из-за меня и Кристиан. Я понимаю, вы, естественно, считаете Кристиан своей собственностью...

— Ничего подобного!

— Но у нас действительно просто-напросто дружеские отношения — и только. Рейчел это поняла. А вот вы сочинили этот миф обо мне и вашей бывшей жене. И, если не ошибаюсь, используете его теперь как предлог для того, чтобы самым элементарным образом приставать к Рейчел, что я мог бы поставить вам в вину, будь я хоть чуточку старомоднее. Она рассказала мне, как вы явились к ней сегодня утром с обвинениями против меня и тут же стали предлагать себя в утешители! Разумеется, я знаю, это всем известно, что вы питаете слабость к Рейчел. Это — одна из сторон нашей дружбы. Вы питаете слабость к нам обоим. И не поймите меня ложно: для Рейчел это не просто предмет для шуток, она очень тронута. Каждая женщина рада поклоннику. Но когда вы докучаете ей своим вниманием и в то же время изображаете меня неверным мужем, это уж слишком, этого она терпеть не намерена. В самом ли деле вы верите, что Крис и я любовники, или только делаете вид, будто верите, чтобы произвести впечатление на Рейчел, только она, я знаю, этому не верит.

Арнольд сидел, вытянув вперед ноги и упираясь в пол каблуками. Характерная поза. На лице у него было то добродушно-недоуменное ироническое выражение, которое когда-то мне так нравилось.

Я сказал:

— Выпьем.

И пошел к висячему шкафчику.

Я не подумал о том, что Рейчел может избрать такой способ самозащиты и принести меня в жертву. Я рисовал себе, в случае разоблачения, пламенную ссору, взаимные упреки, Рейчел в слезах. Вернее же, если быть честным, я вообще ничего конкретного себе не рисовал. Совершая дурные поступки, мы стараемся обезболить собственное воображение. Несомненно, что для многих обезболенное воображение — необходимое условие дурного поступка или даже просто одна из его сторон. Я понимал, что могут быть неприятности, и внешне настолько примирился с этой возможностью, что даже не потрудился наврать что-нибудь Джулиан, хотя бы самое простое, сказать, что я вообще не был у них дома («Собирался зайти, но вдруг почувствовал себя плохо»,— все было бы лучше, чем ничего). Но в чем именно будут состоять эти неприятности, я не решался себе представить. Так оно всегда бывает с теми, кто рыщет у пределов чужого брака, не давая себе труда постигнуть истинную природу невидимой драмы, совершающейся за его священными, неприступными стенами.

Конечно, я должен был почувствовать — и действительно почувствовал — облегчение оттого, что все сошло так легко и просто. Но, с другой стороны, мне было грустно и обидно и так и подмывало нанести удар по его самоуверенности и показать ему письмо Рейчел. Оно, кстати сказать, лежало тут же на раскладном столике, и уголок его

виднелся из-под других бумаг. Разумеется, о подобном предательстве всерьез не могло быть и речи. Привилегия женщины — спасать себя за счет мужчины. И хотя то, что произошло — что бы это ни было,— казалось тогда затеей Рейчел и уж никак не моей, тем не менее всю ответственность мне надлежало взять на себя. И я решил не опровергать и не обсуждать изложенную Арнольдом версию, а по возможности спокойно переменить тему разговора. Но потом мне пришло в голову: а не лжет ли Арнольд? Ведь он мог лгать насчет Кристиан. Значит, мог лгать и про Рейчел. Что же в действительности произошло между ним и его женой, узнаю ли я об этом когда-нибудь?

Я посмотрел на Арнольда — он смотрел на меня. Казалось, он вот-вот расхохочется. Выглядел он прекрасно: молодой, здоровый, с худым, загорелым лицом, похожий на любознательного студента. На способного студента, который разыгрывает своего учителя.

— Брэдли, все это истинная правда, насчет меня и Крис. Я слишком дорожу своей работой, чтобы ввязываться в путаные отношения. И Кристиан тоже чересчур разумна для этого. Я в жизни не встречал женщины разумнее. Какая у нее жизненная хватка, бог мой!

— Жизненная хватка, насколько я понимаю, не может ей помешать закрутить с вами роман. Впрочем, как вы любезно заметили, это не мое дело. Я очень сожалею, что оскорбил Рейчел. У меня, право, в мыслях не было докучать ей своим вниманием. Я был подавлен, а она проявила сочувствие. Постараюсь больше не распускаться. И довольно об этом, согласны?

— Я не без интереса прочел вашу так называемую «рецензию».

— Почему так называемую? Это рецензия. Я не буду ее публиковать.

— Не надо вам было присылать ее мне.

— Верно. И если вас это в какой-то мере удовлетворит, готов сказать, что я об этом сожалею. Вы не могли бы разорвать ее и забыть?

— Я и так уже ее разорвал. Боялся, как бы меня не потянуло перечитать еще раз. А забыть не могу. Брэдли, неужели вы не знаете, какие мы, художники, ранимые и обидчивые люди?

— Знаю по себе.

— Да я и не исключал вас, что вы, ей-богу. Мы — и вы тоже. Когда удар наносят по нашему творчеству, он доходит до самого сердца. Я не говорю о газетчиках, бог с ними со всеми, но люди близкие, знакомые иногда думают, что можно презирать книгу и оставаться другом ее автора. Это невозможно. Такую обиду простить нельзя.

— Значит, нашей дружбе конец.

— Нет. В редких случаях обиду удается преодолеть, вступив с обидчиком в новые, более близкие отношения. Я думаю, это удастся и нам. Но кое-что я должен все-таки сказать.

— Я слушаю.

— Вы — и не вы один, это свойственно каждому критику — воображаете, что разговариваете с человеком, у которого несокрушимое самодовольство, вы разговариваете с художником так, словно он совершенно не видит собственных недостатков. А на самом деле художник обычно знает свои слабости гораздо лучше, чем любой критик. Только, само собой разумеется, он не обнаруживает свое знание перед публикой, это было бы неуместно. Если ты напечатал книгу, пусть она сама за себя говорит. Нелепо семенить рядом и приговаривать: «Да, да, я понимаю, она никуда не годится!» Тут уж приходится помалкивать.

— Вот именно.

— Я знаю, что я второсортный писатель.

— Угу.

— Но считаю, что в моей работе есть кое-какие достоинства, иначе бы я ее не публиковал. Но я живу, живу ежедневно, ежечасно с неотступным сознанием неудачи. У меня никогда ничего не получается так, как надо. Каждая книга — это погибший замысел. Годы проходят, а ведь жизнь-то одна. Если уж взялся, то надо работать, работать, работать, делать свое дело все лучше и лучше. И каждый для себя должен решать, в каком темпе ему работать. Я не думаю, что достиг бы большего, если бы писал меньше. Меньше просто и будет меньше, только и всего. Я могу ошибаться, но таково мое мнение, и я его держусь. Вы понимаете?

— Вполне.

— Кроме того, мне это нравится. Для меня писательство — естественный способ получать joie de vivre[1] А почему бы и нет?

— Действительно, почему?

— Можно, правда, поступать так, как вы. Ничего не доводить до конца, ничего не печатать, жить в постоянном недовольстве белым светом, лелеять в душе идею недостижимого совершенства, и на основании этого задирать нос перед теми, кто делает усилия и терпит неудачи.

— Как это метко сказано.

— Вы не обиделись на меня?

— Да нет.

— Брэдли, не сердитесь, наша дружба страдает из-за того, что я преуспевающий писатель, а вы нет — в общепринятом понимании. Прискорбно, но правда, так ведь?

— Ну да.

— Поверьте, я говорю это не для того чтобы вас разозлить. Мною движет внутренняя потребность отстоять себя. Ведь если я не отстою себя, я вам этого никогда не прощу, а я вовсе не хочу к вам плохо относиться. Убедительно с психологической точки зрения?

— Без сомнения.

— Брэдли, мы просто не вправе быть врагами. Дело не только в том, что дружба всегда приятнее, дело еще в том, что вражда гибельна. Мы можем уничтожить друг друга. Брэдли, да скажите хоть что-нибудь, ради бога.

— До чего же вы любите мелодраму,— сказал я.— Я никого не могу уничтожить. Я стар и туп. Единственное, что меня занимает в жизни, это книга, которую я должен написать. Только это для меня важно, а все остальное вздор. Я сожалею, что расстроил Рейчел. Вероятно, я уеду на некоторое время из Лондона. Мне надо переменить обстановку.

— О господи. Почему такое спокойствие, такая сосредоточенность на самом себе? Орите на меня. Размахивайте руками. Ругайте, спрашивайте. Нам надо сблизиться, иначе мы погибли. Дружба так часто оказывается на поверку застывшей, замороженной полувраждой. Мы должны спорить, бороться, если хотим любить. Не будьте со мной так холодны.

Я сказал:

— Я не верю вам насчет вас и Кристиан.

— Вы ревнуете.

— Вам хочется заставить меня орать и размахивать руками. Но я все равно не буду. Даже если вы не состоите в связи с Кристиан, ваша «дружба», как вы это называете, наверняка причиняет боль Рейчел.

— Наш брак — очень жизнеспособный организм. Всякая жена переживает минуты ревности. Но Рейчел знает, что она — единственная.

---

[1] Радость жизни *(франц.)*.

Когда много лет подряд спишь подле женщины она становится частью тебя, и разъединение невозможно. Посторонние, которым хочется думать иначе, часто недооценивают прочность брака.

— Очень может быть.

— Брэдли, давайте на днях встретимся опять и поговорим толком, не обо всех этих раздражающих вещах, а о литературе, как раньше. Я собираюсь написать эссе о творчестве Мередита. Мне очень хотелось бы знать ваше мнение.

— Мередита! Да, конечно.

— И я хочу, чтобы вы встретились и поговорили толком с Кристиан. Она нуждается в таком разговоре, она недаром говорила об искуплении. Хорошо бы, вы согласились с ней увидеться. Я прошу вас.

— Ваши, как выражается Кристиан, побуждения мне неясны.

— Не прячьтесь за иронию, Брэдли. Ей-богу, я только и делаю все время, что пытаюсь вас умилостивить и расшевелить. Проснитесь, вы живете, словно во сне. А нам нужно в борении добиться достойной взаимной прямоты. Разве эта цель не стоит усилий?

— Стоит. Арнольд, вы не могли бы сейчас уйти? Вы не обижайтесь. Возможно, это старость, но я уже не способен так долго выдерживать бурные разговоры.

— Тогда напишите мне. Раньше мы переписывались. Не будем же так по-глупому терять друг друга.

— Хорошо, хорошо. Очень сожалею.

— Я тоже очень сожалею.

— Да выкатитесь вы когда-нибудь, черт вас возьми?

— Вот так-то оно лучше, Брэдли, старина. Ну всего доброго. До скорой встречи.

Я прислушивался к шагам Арнольда, пока он не вышел со двора, потом вернулся к телефону и набрал номер Баффинов. Подошла Джулиан. Я сразу же положил трубку.

Интересно, что они сказали Джулиан?

— Он знает, что вы со мной?

— Он послал меня к вам.

Дело было назавтра утром, и мы с Рейчел сидели в сквере на площади Сохо. Сияло солнце, в воздухе стоял пыльный, унылый запах лондонского лета — бензиновый, угарный, горький, печальный и древний. Вокруг по песку топталось несколько встрепанных пожилых голубей, посматривая бесстрастными неодушевленными глазами. На соседних скамейках разочарованно сидели неудачники. Небо над Оксфорд-стрит отливало беспощадной, испепеляющей синевой. Несмотря на довольно ранний час, я был весь в поту.

Рейчел сидела понурившись и то и дело терла глаза. Она казалась больной. Безрадостное выражение ее лица, опухшие веки напоминали Присциллу. Взгляд был уклончив, она не смотрела мне в глаза. Одета она была в летнее кремовое платье без рукавов. Сзади на вороте оборвался крючок и расстегнулась до половины молния, обнажив выпуклые округлые позвонки, покрытые рыжеватым пухом. Из-под проймы на бледную полную руку выскользнула атласная, не очень чистая бретелька и повисла петлей над крупной выпуклой оспиной. Вырез плеча глубоко въелся в выпирающую мякоть ее тела. Спутанные рыжие волосы нависали надо лбом, и она все время теребила их и тянула вниз, словно ей хотелось за ними укрыться. В этой ее неряшливости, нечесанности, распоясанности было для меня что-то физически привлекательное. Какая-то интимность, благодаря которой я теперь чувствовал себя гораздо ближе к ней, чем тогда, когда мы лежали с ней в постели.

Это представлялось мне теперь тяжелым сном. И еще я испытывал к ней то смешанное чувство жалости, которое заметил в себе и проанализировал уже раньше. В сущности, ведь неправда, что жалость — худой заменитель любви, хотя многие, кому она предназначается, воспринимают ее именно так. Очень часто это сама любовь.

Не подумав, я сказал:

— Бедная Рейчел, бедная, бедная Рейчел!

Она засмеялась, словно огрызнулась, и опять потянула себя за волосы.

— Вот именно. Бедная старушка Рейчел.

— Простите, я... Тьфу, черт... Неужели он прямо так и сказал: «Ступай навести Брэдли»?

— Да.

— Точно этими самыми словами? Если человек — не писатель, от него никогда нельзя добиться точности.

— Ну, не знаю. Не помню.

— Вспомните, Рейчел. Ведь прошло не больше двух часов...

— Не пытайте меня, Брэдли. Меня и так словно всю исполосовали, изодрали, переехали. Прошлись по мне плугом.

— Мне знакомо это чувство.

— Едва ли. У вас в жизни все в порядке. Вы человек свободный. С деньгами. Нервничаете из-за своей работы, но всегда можете уехать из города или за границу и предаться размышлениям где-нибудь в гостинице. Господи, как бы мне хотелось побыть одной в гостинице! Для меня это был бы рай.

— «Нервничать из-за своей работы» — это может означать и ад.

— Все это поверхностное и — как бы сказать? — необязательное. А в моей жизни все обязательное. Ребенок, муж, от этого не уйдешь. Я заперта в клетку.

— Мне бы тоже не помешало в жизни что-нибудь обязательное.

— Вы не знаете, что говорите, Брэдли. У вас есть собственное достоинство. Одинокие люди сохраняют достоинство. А у замужней женщины ни собственного достоинства, ни своих, отдельных мыслей. Так только, какой-то придаток мужа, и муж, когда ему вздумается, может впрыснуть ей в душу чувство неполноценности, точно каплю чернил в воду.

— Рейчел, вы бредите. Это очень сильный образ, но я никогда не слышал такой чепухи.

— Ну, может быть, это относится только ко мне с Арнольдом. Я всего лишь нарост на его теле. Лишенный собственного существования. И не могу оказать на него никакого воздействия. Ни малейшего — даже если бы убила себя. Он, конечно, живо заинтересуется, придумает какое-нибудь объяснение. И скоро найдет другую женщину, с которой ему будет еще легче ладить, и они вдвоем будут меня обсуждать.

— Рейчел, какие низкие мысли.

— Ах, Брэдли, ваше простодушие меня умиляет. Неужели вы думаете, что мне еще доступны такие понятия? Ведь вы говорите с жабой, с извивающимся червяком, разрезанным на две части.

— Перестаньте, Рейчел, вы меня огорчаете.

— А вы — чувствительное растение, так ведь? Подумать, что я видела в вас рыцаря!

— В таком потрепанном жизнью...

— Да, да, я знаю. Боже мой, я все испортила. Даже вы уже не так со мною разговариваете. Арнольд перетянул вас на свою сторону. Вы для него значите гораздо больше, чем я. О, он все у меня отбирает.

— Рейчел! Вы слышите? Мои отношения с вами совершенно не зависят от моих отношений с Арнольдом.

— Прекраснодушные слова. В действительности это уже не так.

— Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, что именно он сказал вам сегодня утром, ну знаете, когда посылал вас.

— Как вы меня мучаете и раздражаете! Ну, сказал: «Не думай, что тебе теперь нельзя видеться с Брэдли. Наоборот, я бы посоветовал тебе поехать к нему прямо сейчас. Он там сгорает от нетерпения обсудить с тобой наш последний разговор. Поехала бы и поговорила с ним по душам, начистоту. С тобой он будет откровеннее, чем со мной. Он сейчас слегка обижен, и ему очень полезно облегчить душу. Так что ступай».

— И он ждет, что о нашем разговоре вы доложите ему?

— Может быть.

— И вы доложите?

— Может быть.

— Я не понимаю.

— Ха-ха.

— Это правда, что у Арнольда роман с Кристиан?

— Вы влюблены в свою Кристиан.

— Не говорите глупостей. Это правда, что...

— Не знаю. Не хочу больше об этом думать, надоело. Может быть, и нет, в строгом смысле слова. Мне наплевать. Он ведет себя как совершенно свободный человек, всегда так себя вел. Хочет видеться с Кристиан — и видится. Они собираются открыть вместе какое-то дело. И мне совершенно неинтересно, спят они вдобавок вместе или нет.

— Рейчел, возьмите себя в руки и постарайтесь отвечать яснее. Арнольд действительно считает, что я преследую вас вопреки вашей воле? Или он это придумал для приличия?

— Не знаю, что он считает, и не интересуюсь.

— Пожалуйста, постарайтесь ответить толком. Истина важна. Что произошло вчера вечером, после того, как вернулся Арнольд, а мы были... Прошу вас, опишите все подробно. Начните с того момента, как вы сбежали вниз по лестнице.

— Я сбежала по лестнице. Арнольд был на веранде. Я проскользнула по коридору на кухню, оттуда через заднюю дверь в сад и подошла к веранде, будто только что его заметила, и повела его в сад показать кое-что, и мы там пробыли какое-то время, и все было хорошо. Но полчаса спустя появилась Джулиан и сообщила, что встретилась с вами и что вы были у нас.

— Я так не говорил. Она это предположила, и я не отрицал.

— Ну, все равно. Потом она рассказала, что вы купили ей в подарок сапоги. Признаюсь, это меня удивило. Хватило же у вас хладнокровия! Тогда Арнольд поднял так брови — знаете, как он делает. Но не сказал при Джулиан ни слова.

— Минутку. А заметил Арнольд, что Джулиан в моих носках?

— Хм! Это другой вопрос. Не заметил, по-моему. Джулиан пошла прямо к себе наверх примерять сапоги. И больше не показывалась, пока Арнольд не уехал к вам. И только тогда она мне рассказала про носки. Ей казалось, что это ужасно смешно.

— Я ведь скомкал все тогда и сунул в карман и...

— Да, да, я так себе и представляла. Кстати, вот они. Я их выстирала. Еще немного мокроватые. Я сказала Джулиан, чтобы она некоторое время не упоминала о вас при отце. Из-за того будто, что его расстроила ваша рецензия. Так что с носками вопрос, по-моему, исчерпан.

— Ну, дальше. Что сказал Арнольд, когда Джулиан ушла наверх?

— Спросил, почему я не сказала, что вы приходили.

— А вы что ответили?

— Что я могла ответить? Я совершенно растерялась от неожидан-

ности. Засмеялась и говорю, что разозлилась на вас. Что вы были со мной довольно несдержанны, и я вас выставила, ну, и не хотела ему говорить, пожалела вас.

— Неужели вы не могли придумать что-нибудь более уместное?

— Нет, не могла. При Джулиан я вообще не могла думать, а потом сразу же должна была что-то сказать. У меня в мыслях была одна только правда. И самое большее, что я могла, это сказать полуправду.

— Могли бы сказать и полную неправду.

— И вы тоже. Зачем вы дали Джулиан понять, что были у нас?

— Это верно. И Арнольд поверил вам?

— Не убеждена. Он знает, что я лгунья, он часто ловил меня на лжи. А я его. Мы оба знаем это друг за другом и миримся, как все женатые люди.

— О Рейчел, Рейчел.

— Вы сокрушаетесь из-за несовершенства мира? Так или иначе для него это неважно. Если я чем-то провинилась, ему только лучше, это дает ему моральное право еще свободнее вести себя. И пока хозяин положения — он, и пока он может понемногу подковыривать вас, ему даже забавно. Он не видит в вас серьезной угрозы своему браку.

— Понимаю.

— И он, конечно, прав. Какая уж тут угроза.

— Никакой угрозы?

— Никакой. Вы просто подыгрывали мне по доброте и жалости. Пожалуйста, не возражайте, я знаю. А то, что Арнольд не рассматривает вас всерьез как ловеласа, это вряд ли может вас удивлять. И самое смешное, что ведь вы для него очень много значите.

— Да,— сказал я.— И самое смешное, что хоть я и считаю его в каком-то отношении человеком, которого можно обозвать только непечатным словом, он тоже очень много для меня значит.

— Так что, как видите, драма разворачивается между вами и им. А я как всегда — побочное обстоятельство.

— Нет, нет.

— Когда мужчины разговаривают между собой, они, естественно, предают женщин, это у них само по себе выходит, даже против воли. В том, как Арнольд делал перед вами вид, будто верит моему рассказу, было даже какое-то презрение ко мне. Презрение ко мне и презрение к вам. Но вам он все равно при этом подмигивал.

— Никогда он мне не подмигивал.

— В переносном смысле, бестолковый вы человек. Ну что ж, ладно, мой порыв к свободе был кратковременным, как видите. И кончился только жалкой бурей в стакане воды, и я снова пресмыкаюсь в грязи и ничтожестве. Снова все досталось Арнольду. О господи! Брак — это такая странная смесь любви и ненависти. Я ненавижу и боюсь Арнольда, бывают минуты, когда я готова его убить. Но я и люблю его тоже. Если бы я его не любила, у него не было бы надо мной этой кошмарной власти. И я восхищаюсь им, восхищаюсь его книгами, по-моему, они замечательные.

— Что вы, Рейчел!

— И рецензию вашу считаю глупой и злобной.

— Ну и ну.

— Вас изъела зависть.

— Не будем говорить об этом, Рейчел, прошу вас.

— Извините. Я чувствую себя такой несчастной. И зла на вас за то, что вам не хватило чего-то,— геройства? везения? — чтобы спасти меня, или защитить, или уж не знаю что. Видите, я даже не могу сказать, чего я ждала. Бросать Арнольда я не собиралась — это невозможно, я бы умерла. Мне просто хотелось немножко личной жизни, хоте-

лось иметь свои секреты, хоть что-нибудь, что не было бы насквозь пропитано Арнольдом. Очевидно, это невозможно. Вы и он все начнете по новой...

— Что за выражение!

— Снова будете вести свои интеллектуальные разговоры, а я останусь в стороне и за мытьем посуды буду слышать, как вы бубните, бубните, бубните... Все станет опять, как прежде.

— Дорогая Рейчел,— сказал я,— выслушайте меня. Почему бы вам действительно не иметь личной жизни? Я говорю не о любовной связи — и у вас и у меня неподходящий для этого темперамент. Я, вероятно, действительно очень скован условностями, правда, это меня не тяготит. Связь заставила бы нас лгать, да и вообще это нехорошо...

— Как вы это точно заметили!

— Я бы не хотел внушать вам мысль об измене мужу...

— А вас никто и не просит!

— Мы много лет были знакомы, но держались вдали друг от друга. Теперь вдруг столкнулись, но все пошло вкривь и вкось. Можно, конечно, снова разойтись на прежнее расстояние. И даже еще дальше. Но я предлагаю вам другое. Ведь мы можем стать *друзьями*. Арнольд вон мне все уши прожужжал, что они с Кристиан — друзья...

— Да?

— И я вам предлагаю: давайте установим настоящие дружеские отношения, ничего подпольного, тайного, все — открыто, все — радостно...

— Радостно?

— А почему же нет? Почему жизнь должна быть мрачной?

— Я тоже часто думаю: почему?

— Разве нам нельзя любить друг друга — немножко? Согревать друг другу душу?

— Мне нравится это ваше «немножко». Вы так твердо придерживаетесь мер и весов.

— Давайте попробуем. Вы мне нужны.

— Это — самое хорошее, что вы пока сказали.

— Арнольд едва ли будет возражать, если мы...

— Конечно, не будет. В этом-то все и дело. Иногда я начинаю сомневаться, Брэдли, можете ли вы вообще быть писателем. У вас такие наивные понятия о человеческой натуре.

— Когда хочешь чего-то определенного, простые формулировки — лучше всего. Да ведь мораль и вообще-то проста.

— И мы должны быть моральны, не правда ли?

— В конечном счете, да.

— В конечном счете. Великолепно. Вы собираетесь оставить Присциллу у Кристиан?

Этого я совсем не ожидал. Я ответил:

— Пока да.— Я еще не решил, что мне делать с Присциллой.

— Присцилла — конченый человек. Это ваш крест до конца дней. Я, кстати, передумала насчет того, чтобы за ней ухаживать. Она бы свела меня с ума Да вы так или иначе оставите ее у Кристиан. И будете навещать ее там. Начнете разговаривать с Кристиан, обсуждать, что там у вас не вышло с вашим браком, как вам Арнольд советовал. Вы не представляете себе, до чего Арнольд уверен, что он пуп земли. Такие мелкие людишки, как вы или я, могут завидовать, подличать, ревновать. Арнольд так самоупоен, что даже добр, это стало, в сущности, его достоинством. Так что в конце концов вы придете к Кристиан. Конец будет именно такой. Не за моралью, а за силой. Она женщина сильная. Мощный магнит. Она — ваша судьба. И что самое смешное,

Арнольд будет считать это своей заслугой. Мы все — пешки в его руках. Ну, да вот увидите. Кристиан — ваша судьба.

— Никогда!

— Вы произносите: «Никогда!»—а сами улыбаетесь украдкой. Вы ведь тоже очарованы ею. Так что, как видите, Брэдли, нашей дружбе не бывать. Я всего лишь придаток, вы не способны *выделить* меня, вам пришлось бы очень насиловать свое внимание, чтобы сосредоточить его на мне, а этого вы делать не будете. Ваши мысли будут заняты Кристиан, вам важно, что происходит там. Даже в том, что было между нами, вас, в сущности, толкала ревность к Арнольду...

— Рейчел, вы сами знаете, что так говорить недостойно и жестоко и что это полнейшая чушь. У меня не было холодного расчета, я просто запутался и жду снисхождения. Как и вы.

— «Запутался и жду снисхождения». Звучит смиренно и трогательно. Наверно, было бы удачным местом в какой-нибудь из ваших книг. Но я в моем ничтожестве глуха и слепа. Вам не понять. Вы живете открыто, нараспашку. А меня затянуло в машину. Даже сказать, что сама виновата, и то — какой смысл? Да ладно, вы особенно не беспокойтесь за меня. Я думаю, у всех женатых людей так. Это не мешает мне пить чай с удовольствием.

— Рейчел, мы будем друзьями, вы не отдалитесь, не убежите от меня? Передо мной вам незачем хранить достоинство.

— Вы такой правильный человек, Брэдли. Это у вас в характере. Строгость и порядочность. Но вы желаете мне добра, я знаю, вы славный. Может быть, когда-нибудь потом я буду рада, что вы сейчас так говорили.

— Значит, условились.

— Ладно.— Потом она сказала: — А ведь во мне еще много огня, имейте в виду. Я еще не конченый человек, как бедная Присцилла. Во мне еще много огня и силы. Вот так.

Она вскинула голову и вдруг встала и пошла через площадь, точно машина, которую завели. Я догнал ее и взял за руку. Рука безжизненно висела, но лицо, которое Рейчел обратила ко мне, было искажено гримасой-улыбкой, какими часто улыбаются женщины, чтоб не заплакать. Мы вышли на Оксфорд-стрит, из-за крыш выплыла вновь башня Почтамта, четкая и ясная, сверкающая, грозная, воинственная и учтивая.

— О, посмотрите-ка, Рейчел.

— Что?

— Башня.

— Ах, это. Не ходите дальше, Брэдли. Я пойду на метро.

— Когда я вас увижу?

— Никогда, наверно. Нет, нет. Позвоните мне. Только не завтра.

— Рейчел, вы уверены, что Джулиан ничего не знает о... ни о чем?

— Да, абсолютно. Кто же ей скажет? Что это вам взбрело в голову покупать ей такие дорогие сапоги?

— Я хотел выиграть время и успеть придумать убедительное объяснение, зачем мне нужно, чтобы она не рассказывала о нашей встрече.

— И, кажется, не очень успешно воспользовались этим временем.

— Да, не очень.

— До свидания, Брэдли. Даже спасибо.

И Рейчел ушла от меня. Я смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе, размахивая потертой синей сумкой,— бледные, расплывшиеся выше локтей руки ее слегка подрагивали, волосы были растрепаны, лицо растерянное и усталое. Машинальным жестом она подтянула выскользнувшую из-под платья бретельку Потом я снова увидел ее — и снова, и снова. Улица была полна усталых, стареющих женщин

с растерянными лицами, они, слепо толкаясь, куда-то шли и шли, точно стадо животных. Я перебежал через улицу и зашагал домой.

«Я должен уехать,— думал я,— я должен уехать, уехать». Как хорошо, думал я, что Джулиан ничего не знает об *этом*. Может быть, думал я, Присцилле и в самом деле будет лучше в Ноттинг-хилле. Пожалуй, думал я, надо и вправду зайти как-нибудь к Кристиан.

Здесь, приближаясь к первой кульминации моей книги, я хотел бы сделать остановку, любезный друг, и освежиться еще раз прямой беседой с вами.

Отсюда, из уединения и тишины нашего нынешнего убежища, все события тех нескольких дней между появлением Фрэнсиса Марло и моим разговором с Рейчел на площади Сохо кажутся сплошным нагромождением абсурдов. Жизнь, безусловно, сама по себе полна совпадений. Но нам она представляется еще того нелепей, ибо мы смотрим на нее с неуверенностью и страхом. Теперь, избранник и затворник, я могу, по мере того как неуверенность отходит от меня, оценить по-настоящему и мою нынешнюю свободу, и мое прежнее рабство. Блаженны те, кто понимает все это хотя бы настолько, чтобы оказывать, пусть минимальное, сопротивление одуряющей человеческой неуверенности.

Естественная тенденция человеческой души — охрана собственного «я». Каждый, заглянув внутрь себя, может увидеть катаклическую силу этой тенденции, а результаты ее у всех на виду. Мы хотим быть богаче, красивее, умнее, сильнее, любимее и по видимости лучше, чем кто-либо другой. Я говорю «по видимости», ибо средний человек, хоть и желает реального богатства, обычно стремится только к видимой добродетели. Конечно, изредка и на очень краткий миг даже худший из людей может устремиться к добру. Притягательная сила добра знакома каждому художнику. Я пользуюсь здесь словом «добро», как покровом. Что сокрыто под ним, знать хотя нам и дано, однако не может быть названо. Но спасает нас от гибели в хаосе самоубийственного младенческого эгоизма не магнетизм этой тайны, а то, что высокопарно именуется «долгом», а точнее называется «привычкой». Однако привычка эта, которой при благоприятных условиях может хватить на всю жизнь, оказывается лишь поверхностной там, где начинаются ужасы: на войне, в концентрационном лагере, в заточении семьи и брака.

Эти замечания мне хотелось предпослать анализу моих последних (условно говоря) поступков, который я теперь, любезный друг, разверну перед вами. В том, что касается Рейчел, я руководствовался смешанными и не слишком высокими побуждениями. Поворотным моментом было, я думаю, эмоциональное письмо Рейчел. Какими опасными орудиями бывают письма! Хорошо, что они теперь выходят из моды. К письму возвращаются еще и еще, его толкуют то так, то эдак, оно будит фантазию, родит мечты, оно преследует, оно служит уликой. Я уже много лет не получал ничего, что хотя бы отдаленно заслуживало названия любовного письма. То обстоятельство, что это было именно письмо, а не высказывание viva voce[1] давало ему надо мной особую абстрактную власть. Мы часто совершаем в жизни важные шаги, оказываясь в условиях обезличенности. Вдруг нам представляется, что мы что-то олицетворяем собой. Это может служить нам источником вдохновения, а может быть и поводом для самооправдания. Страстный тон ее письма сообщил мне чувство собственной значительности, энергию, чувство роли.

[1] Здесь: живым голосом *(итал.)*.

Кроме того, как я уже говорил, меня соблазняла мысль рассчитаться с Арнольдом, заведя от него секрет. Такое желание тоже, как правило, не доводит до добра. Исключая кого-то из круга посвященных в тайну, мы тем самым хотим унизить его. Моя злость на Арнольда не ограничивалась сферой нашего личного, старинного соперничества. Она проистекала также из потрясения, испытанного мною при виде Рейчел на кровати в затененной комнате,— Рейчел с лицом, закрытым простыней. В тот миг у меня в душе родилась к ней глубокая жалость — единственное, правда осквернение высокомерием, но все же относительно чистое чувство в составе всей амальгамы. Поверил ли я Арнольду, что это «несчастный случай»? Может быть. Может быть, сквозь мрак моей эгоистической жалости я уже начинал видеть Рейчел глазами Арнольда — как слегка истеричную и не всегда правдивую пожилую женщину. Общаясь с супругами, невозможно соблюдать нейтралитет. Сила их отношения друг к другу тянет симпатии третьего лица то в одну, то в другую сторону. Кроме того, я досадовал на Рейчел за то, что она поставила меня в смешное положение. Того, по чьей вине страдает наше достоинство, нам особенно трудно простить.

Тщеславие и неуверенность связывали меня с Рейчел, а кроме того — зависть (к Арнольду), жалость, нечто вроде любви и, безусловно, перемежающаяся игра физического желания. Как я объяснял, я уже тогда был в общем-то равнодушен к телу — в чем, разумеется, нет особой моей заслуги. Я соприкасался с телами поневоле, но и без явного отвращения, в тесных вагонах метро. Но так или иначе я не придавал особого значения этим вместилищам души. Для меня существовали лица моих знакомых, а остальное могло быть какой-нибудь протоплазмой. Щупать и глазеть было мне не свойственно. Вот почему мне было интересно обнаружить, что меня тянет поцеловать Рейчел, тянет, после значительного перерыва, поцеловать какую-то определенную женщину. В этом была для меня заманчивая сторона новой роли. Однако во время того поцелуя у меня не было мысли идти дальше. То, что произошло потом, носило характер непредумышленный и запутанный. Я, разумеется, не думал отказываться от ответственности и ожидал серьезных последствий. И не ошибся.

Боюсь, я до сих пор не сумел передать, в чем состояла особенность моих отношений с Арнольдом. Попробую, пожалуй, еще раз. Я, как уже говорилось, его открыл и был поначалу его покровителем. Он оставался моим благодарным протеже! Вспоминаю, что относился к нему тогда немножко как к любимой собачке (у Арнольда лицо терьера). У нас были даже свои «собачьи» шутки, ныне погибшие для истории. И только потом, постепенно в нашу дружбу проник яд, зароненный главным образом его (мирским) успехом и моими (мирскими) неудачами. (Как трудно даже лучшим из нас сохранять равнодушие к миру!) Но и тогда мы еще в основном держались в отношении друг друга по-джентльменски. То есть я изображал снисходительность, а он — почтение, которые мы отчасти испытывали и на самом деле. Подобное притворство играет важную роль в этой несовершенной жизни. В нашей дружбе не было места равнодушию. Мы думали друг о друге постоянно. Он был для меня (разумеется, не в том смысле, какой имел в виду Фрэнсис Марло) самым важным человеком. И это кое-что да значит, ведь у меня было много знакомых мужчин — сослуживцы вроде Хартборна и Грей-Пелэма, литераторы и журналисты, которых я здесь не называю, так как они не являются действующими лицами этой драмы. Едва ли будет преувеличением сказать, что я был очарован Арнольдом. Наши отношения были не гладкими, не простыми, они давали мне чувство подлинной жизни. Разговоры с ним всегда будили

у меня свежие мысли. И одновременно, как это ни парадоксально, я подчас ощущал его как эманацию моей собственной личности, как мое отчужденное, заблудшее alter ego. Он смешил меня, смешил до глубины души. Мне нравилась его веселая лоснящаяся собачья физиономия и светлые иронические глаза. Держался он всегда колюче — немного поддразнивая, немного задираясь, немного (не могу обойтись без этого слова) флиртуя со мной. Он отдавал себе отчет, что олицетворяет в наших взаимоотношениях сыновнее начало, несущее разочарования и некоторую угрозу. Эту роль он играл забавляясь, остроумно и по большей части беззлобно. Только уже в последние годы, после нескольких открытых столкновений я начал воспринимать его как источник боли и вынужден был от него немного отдалиться. Любое его замечание стало казаться мне «шпилькой». По мере того как проходили годы, а великий миг в моей жизни все не наступал, меня стал больше и больше раздражать легкий успех Арнольда.

Справедлив ли я к нему как к писателю? Быть может, нет. Кто-то сказал, что «все писатели-современники нам либо друзья, либо враги»; и действительно, быть объективным к ныне живущим трудно. Досада, с какой я, признаюсь, читал всякую благоприятную рецензию на очередную книгу Арнольда, безусловно, имела и низменные источники. Но я делал попытки разумно осмыслить его творчество. Вероятно, больше всего мне не нравилась его болтовня. Писал он очень небрежно. Но болтовня шла не от неряшливости, это была одна из сторон его «метафизики»! Арнольд все время старался завоевать мир, излившись на него, как переполнившаяся ванна. Такой вселенский империализм был абсолютно чужд моим собственным, гораздо более строгим представлениям об искусстве как о сгущении, концентрации образа, сведении его в одну точку. Я всегда чувствовал, что искусство является одной из сторон добродетельной жизни и поэтому оно очень трудно, тогда как Арнольд, к моему прискорбию, считал искусство «забавным». Именно так, хотя из-за некой «мифологической» помпезности кое-кто из критиков склонен был всерьез относиться к нему как к «мыслителю». Символика у Арнольда была непродуманна. Значением наделялось все, все входило в его «мифологию». Он все любил и принимал. И хотя «в жизни» это был умный, интеллигентный человек и умелый спорщик, «в искусстве» он оказывался беспомощен и даже не способен расчленять понятия. (А расчленение понятий — это центральный момент искусства, как и философии.) Причина здесь крылась, по крайней мере отчасти, в его особого рода велеречивой религиозности. Он был, на свой путаный лад, последователем Юнга. (Я не хочу сказать ничего дурного об этом теоретике, чьи писания просто нахожу неудобоваримыми.) Для Арнольда-художника жизнь представляла собой одну огромную богатую метафору. Но на этом мне, по-видимому, следует остановиться, ибо я уже чувствую, как мой тон становится все ядовитее. Я много слышал от моего друга Ф. об абсолютной духовной ценности молчания. Как художник, я уже и раньше на свой скромный лад инстинктивно понимал ее, и это давало мне право презирать Арнольда.

Мои отношения с сестрой были гораздо проще и в то же время гораздо сложнее. Братско-сестринские связи вообще очень запутаны, хотя принимаются всеми как данность, и люди простодушные подчас даже и не подозревают, какая паутина любви и ненависти, преданности и соперничества их опутывает. Как я уже объяснял, я отождествлял себя с Присциллой. Потрясение, которое я испытал при виде счастья Роджера, было реакцией самозащиты. То, что он сумел безнаказанно сменить старую жену на молодую, представлялось мне возмутительным. Это мечта каждого мужа, спорить не приходится, но в данном

случае старой женой был я. Я думаю даже, что в каком-то смысле мое сочувствие к Рейчел проистекало из моего сочувствия к Присцилле, хотя с Рейчел, конечно, все обстояло иначе — она была гораздо сильнее характером, умнее, содержательнее как личность и привлекательнее как женщина. С другой стороны, Присцилла раздражала меня до остервенения. Я вообще не терплю слез и нытья. Молчание, мною столь высоко ценимое, означает, среди прочего, и умение сжать зубы, когда тебя бьют. Не люблю я и слезливых признаний. Читатели, вероятно, заметили, как я поспешил пресечь излияния Фрэнсиса Марло. В этом еще одно мое отличие от Арнольда. Арнольд был готов без разбора от всех и каждого выслушивать исповеди и жалобы, утверждал даже, что это входит в его «обязанность» как писателя. (Так он «проявил интерес» к Кристиан в первый же вечер их знакомства.) Шло это у него, конечно, больше от злорадного любопытства, чем от сочувствия, и часто приводило потом к недоразумениям и обидам. Арнольд был большой мастер разыгрывать участие как перед женщинами, так и перед мужчинами. Я презирал в нем это. Возвращаясь, однако, к Присцилле, я должен сказать, что был очень обеспокоен ее бедами, но решительно не хотел оказаться в них втянутым. По-моему, берясь помочь ближнему, нужно трезво оценивать свои возможности, в этом залог доброты. (Арнольд был абсолютно не способен к такой самооценке.) Я не собирался допускать, чтобы из-за Присциллы страдала моя работа. И я не намерен был считать ее, как говорила Рейчел, «конченым человеком». Так легко люди не погибают.

То, что Присциллу увезла Кристиан, было, конечно, «неприлично», но меня это уже больше озадачивало, чем возмущало. Я склонялся к тому, чтобы оставить все, как есть. Выкупа за свою заложницу Кристиан не получит. Но я не думал, чтобы она бросила Присциллу, убедившись в этом. Возможно, что и тут я находился под влиянием Арнольда. Есть люди, у которых сила воли заменяет мораль. Хватка, как называл это Арнольд. В бытность свою моей женой Кристиан употребляла эту силу воли на то, чтобы поработить и заполнить собою меня. Человек более мелких масштабов, наверно, покорился бы и взамен получил брак, который мог бы оказаться даже счастливым. Мы видим повсеместно немало довольных жизнью мужчин, управляемых и, так сказать, манипулируемых женщинами с железной волей. Моим спасением от Кристиан было искусство. Душа артиста во мне восстала против этого массированного вторжения (подобного вторжению вирусов в организм). Ненависть к Кристиан, которую я лелеял в сердце своем все эти годы, была естественным продуктом моей борьбы за существование, ее главным, первичным оружием. Чтобы свергнуть тирана и в обществе, и в личной жизни, надо уметь ненавидеть. Но теперь, когда угроза, в сущности, миновала и я начал склоняться к большей объективности, мне стало отчетливо видно, как правильно, как *разумно* Кристиан себя организовала. Быть может, на меня подействовало открытие, что она — еврейка. Я был почти готов к новому виду состязания с ней, сулившему мне легкую победу. Моим конечным триумфом могла быть демонстрация холодного, даже веселого безразличия. Но все это думалось мне мельком и неясно. Магистральной мыслью была моя уверенность в том, что Кристиан — человек деловой и надежный, а я — нет и что поэтому ей можно доверить Присциллу.

В свете последующих событий я был склонен поначалу осуждать себя за все, что я тогда делал. Не спорю, дурные поступки иногда порождаются осознанными злыми намерениями. (Такие злые намерения я приписывал Кристиан, хотя, как выяснилось, по-видимому, не вполне справедливо.) Но чаще они являются плодами полусознательного невнимания, некоего полуобморочного восприятия времени. Как я уже

говорил вначале, всякий художник знает, что промежуток, отделяющий одну стадию творчества, когда замысел еще не настолько созрел, чтобы осуществиться, от другой стадии, когда уже поздно над ним работать, часто бывает тонок, как игла. Гений, быть может, в том и состоит, чтобы растягивать этот тонкий промежуток на весь рабочий период. Большинство художников по лени, усталости, неумению сосредоточиться переходят, не успев оглянуться, прямо из первой стадии во вторую, с какими бы надеждами и благими намерениями ни приступали они к новой работе. И это, в сущности, моральная проблема, поскольку всякое искусство есть в определенном смысле стремление к добродетели. Такой же точно переход существует и в нашей каждодневной нравственной деятельности. Мы закрываем глаза на то, что делаем, покуда не оказывается, что уже ничего нельзя изменить. Мы не позволяем себе сосредоточиться на решающем моменте, а ведь его и так бывает нелегко выделить, даже если специально искать. Мы отдаемся мутному потоку своего существования, ищем слепо удовольствий, уклоняемся от обид и так и плывем, пока не становится очевидно, что исправить уже ничего невозможно. Отсюда извечное противоречие между познанием самого себя, которое дается нам в объективных самонаблюдениях, и ощущением своего «я», приобретаемым субъективно; противоречие, из-за которого, наверно, достижение истины вообще невозможно. Самопознание слишком абстрактно, самоощущение слишком лично, обморочно, замороченно. Может быть, какое-то цельное воображение, своего рода гений морали сумел бы внести сюда ясность как функцию высшего и более общего сознания. Существует ли *естественная*, шекспировская радость в нравственном бытии? Или правы восточные мудрецы, ставя перед учениками цель постепенного, но полного разрушения грезящего «я»?

Проблема эта остается невыясненной, потому что нет философа и едва ли найдется хоть один писатель, который сумел бы объяснить, из чего же состоит это таинственное вещество — человеческое сознание. Тело, внешние объекты, летучие воспоминания, милые фантазии, другие души, чувство вины, страх, сомнения, ложь, триумфы, пени, боль, от которой заходится сердце,— тысяча вещей, лишь ощупью доставаемых словом, сосуществуют, сплавленные воедино в феномене человеческого сознания. Как тут вообще возможна личная ответственность — вопрос, способный поставить в тупик любого внегалактического исследователя, который бы вздумал изучить наш способ движения во времени. И как можно трогать эту таинственную материю, вносить какие-то усовершенствования, как можно изменить сознание? Оно движется, обтекая волю, как вода обтекает камень. Быть может, выход — в непрестанной молитве? Такая молитва была бы постоянным впрыскиванием в каждый из этих многочисленных отделов одной и той же дозы антиэгоизма (что, разумеется, не имеет никакого отношения к «богу»). Но на дне сосуда все равно так много мусора, почти все наши естественные проявления имеют низкую природу, так что лоскутное наше сознание только и сплавляется воедино в горниле великого искусства или горячей любви. Ни то, ни другое не присутствовало в моих запутанных, полубессознательных действиях.

Боюсь, что до сих пор не сумел с достаточной ясностью передать могучее предчувствие, что я на пороге великого произведения искусства, предчувствие, полностью захватившее меня в этот период. Им освещался каждый из отделов моего сознания, так что, прислушиваясь, например, к голосу Рейчел или вглядываясь в лицо Присциллы, я ни на минуту не переставал думать: «Срок настал». Не в словах, я вообще не думал об этом словами, но просто ощущал нечто необычайное, что ждало меня в близком будущем и было магнетически

связано со мной, с моей душой и моим телом, которое по временам, в буквальном смысле слова, дрожало и покачивалось под грозным и властным воздействием его притягательной силы. Какой представлялась мне будущая книга? Я не мог бы сказать. Я лишь интуитивно чувствовал ее присутствие и ее совершенство. Художник, обретя силу, наблюдает за бегом времени с божественным спокойствием. Свершения надо лишь терпеливо ждать. Твой труд объявит о себе или прямо возникнет в готовом виде, когда придет его час,— только бы прошли так, как надо, годы твоего служения и ученичества. (Так мудрец всю жизнь смотрит на ветвь бамбука, чтобы потом нарисовать ее безошибочно одним росчерком пера.) Мне нужно было только одно: одиночество.

Каковы они, плоды одиночества, я знаю теперь, мой любезный друг, гораздо лучше и глубже, чем тогда, благодаря своему опыту и вашей мудрости. Тот человек, каким я был тогда, видится мне слепцом и пленником. Предчувствия меня не обманывали, и направление было избрано верно. Только путь оказался гораздо длиннее, чем мне представлялось.

На следующее утро, то есть назавтра после того обескураживающего разговора с Рейчел, я снова принялся укладывать чемоданы. Я провел беспокойную ночь, кровать словно горела подо мной. И я принял решение уехать. Кроме того, я намерен был съездить в Ноттинг-хилл — повидать Присциллу и провести холодный, деловой разговор с Кристиан. Искать перед отъездом встречи с Рейчел или Арнольдом я не хотел. Лучше написать им обоим из моего уединения по длинному сердечному письму. Я заранее предвкушал удовольствие от писания этих писем: теплого и подбадривающего — Рейчел, иронического и покаянного — Арнольду. Мне только надо было немного подумать, и я, без сомнения, разобрался бы в положении вещей, нашел бы способ защитить себя и удовлетворить их обоих. Для Рейчел — amitié amoureuse [1], для Арнольда — бой.

Ум, постоянно озабоченный собою, чувствительно реагирует на все, что наносит ущерб его достоинству (читай: тщеславию). И при этом неутомимо изыскивает способы восполнить понесенный ущерб. Я был расстроен и устыжен тем, что Рейчел считает меня пустословом и неудачником, а Арнольд изображает дело так, будто в чем-то «разоблачил» (и еще того хуже — «простил») меня. Но мысленно я уже переписывал всю картину. Ведь они оба у меня в руках, Рейчел я еще утешу, с Арнольдом рассчитаюсь. В ответ на вызов моя пострадавшая гордость опять поднимала голову.

Я утешу Рейчел *невинной* любовью. Это решение и самый звук «правильного» слова принесли мне в то незабываемое утро ощущение собственной добродетели. Но мысли мои были больше заняты другим: образом Кристиан. Именно образом, а не какими-то связанными с ней соображениями. Эти образы, проплывающие в пещере нашего сознания (ибо сознание наше, что бы там ни говорили философы, действительно темная пещера, в которой плавают бесчисленные существа), разумеется, не нейтральны, они уже пропитаны нашим отношением, просвечены им. Я все еще чувствовал по временам прежнюю смертельную ненависть к своей угнетательнице. Я чувствовал также упомянутую сомнительную потребность исправить произведенное мною жалкое впечатление, демонстрируя безразличие. Я выказал слишком много эмоций.

[1] Дружба-любовь *(франц.)*.

Теперь буду смотреть на нее с холодным любопытством. Так я стал мысленно разглядывать ее блестящий образ и вдруг увидел, как он преображается прямо у меня на глазах. Не возвращалась ли ко мне память о том, что когда-то я любил ее?

Я встряхнул головой, закрыл крышку чемодана и защелкнул замок. Мне бы только сесть за работу. Один день одиночества, и я смогу написать что-то: драгоценные, чреватые будущим несколько слов, словно семя, брошенное в почву. А уж тогда я смогу наладить отношения с прошлым. Ни с кем не мириться, ничего не искупать, а просто сбросить бремя горького раскаяния, которое тащил на себе всю жизнь.

Зазвонил телефон.

— Говорит Хартборн.

— А, здравствуйте.

— Почему вас не было?

— Где?

— У нас на вечере. Мы специально выбрали день, когда вам удобно.

— Ах, боже мой! Простите.

— Все были так огорчены.

— Мне ужасно жаль.

— Нам тоже.

— Я... я надеюсь, что вечер, несмотря на это, удался...

— Несмотря на ваше отсутствие, вечер удался на славу.

— Кто был?

— Вся старая компания. Бингли, и Грей-Пелэм, и Дайсон, и Рэндольф, и Мейтсон, и Хейдли-Смит, и...

— А миссис Грей-Пелэм была?

— Нет.

— Замечательно. Хартборн, мне очень жаль.

— Не беда, Пирсон. Может, пообедаем вместе?

— Я уезжаю.

— А, ну да. Я бы тоже не прочь куда-нибудь податься из города. Пришлите открытку.

— Право, мне очень жаль...

— Ну что вы, что вы.

Я положил трубку. Я чувствовал на себе десницу рока. Даже воздух вокруг меня был душен, словно полон воскурений или цветочной пыльцы. Я посмотрел на часы. Пора было ехать в Ноттинг-хилл. Я остановился перед горкой, где лежал на боку маленький буйвол со своей всадницей. Я так и не рискнул выправлять ножку буйвола из страха сломать хрупкую бронзу. За окном косое солнце бесплотным контрфорсом подпирало замызганную стену, высвечивая кружевным рельефом разводы грязи и трещины между кирпичами. Все и внутри, и снаружи трепетало ясностью, казалось, неодушевленный мир готовился изречь слово.

И тут позвонили в дверь Я пошел открывать. Это была Джулиан Баффин. Я поглядел на нее с недоумением.

— Брэдли! Ты забыл. Я пришла на беседу о «Гамлете».

— Я не забыл,— ответил я и про себя выругался.— Входи.

Она прошла впереди меня в гостиную и придвинула к инкрустированному столику два лирообразных стула. На один из них она села и положила перед собой открытую книгу. На ней были лиловые сапоги, ярко-розовое трико, какое называют теперь колготками, и короткое, похожее на рубаху сиреневое платье. Свои густые золотисто-русые волосы она зачесала или просто закинула назад, и они стояли веером позади ее головы. Лицо ее сияло летом, солнцем, здоровьем.

— Те самые сапожки,— сказал я.

— Да. Жарковато, конечно, но я хотела показаться в них тебе. Они мне так нравятся, я ужасно тебе благодарна. Ты в самом деле не против, если мы поговорим немного о Шекспире? У тебя такой вид, будто ты куда-то собрался. Ты правда помнил, что я должна прийти?

— Да, да. Конечно.

— Ах, Брэдли, ты так успокоительно действуешь на мои нервы! Меня все раздражают, кроме тебя. Я не стала доставать второй текст. У тебя ведь есть?

— Да. Вот, пожалуйста.

Я сел против нее. Она сидела на стуле боком, выставив из-под стола ноги в лиловых сапожках. Я оседлал свой стул, сжимая его коленями. И открыл лежащий на столе том Шекспира. Джулиан рассмеялась.

— Чему ты смеешься?

— У тебя такой деловитый вид. Убеждена, что ты не ждал меня. Забыл и думать о моем существовании. А теперь вот сидишь — вылитый школьный учитель.

— Может, ты тоже успокоительно действуешь на мои нервы.

— Брэдли, как это все здорово!

— Еще ничего не было. Может быть, выйдет совсем не здорово. Что будем делать?

— Я буду задавать вопросы, а ты отвечай.

— Что ж. Начинай.

— Видишь, у меня тут целый список вопросов.

— На этот я уже ответил.

— Про Гертруду и... Да, но ты меня не убедил.

— Ты что же, намерена отнимать у меня время этими вопросами да еще не верить моим ответам?

— Это могло бы оказаться отправной точкой для дискуссии.

— Ах, у нас еще и дискуссия, оказывается, будет?

— Если у тебя найдется время. Я ведь понимаю, как тебе некогда.

— Ничуть. Мне абсолютно нечего делать.

— Я думала, ты пишешь книгу.

— Все враки.

— Ну вот, ты опять меня дурачишь.

— Ладно, давай. Не сидеть же нам целый день.

— Почему Гамлет медлит с убийством Клавдия?

— Потому что он мечтательный и совестливый молодой интеллигент и не склонен с бухты-барахты убивать человека только потому, что ему привиделась чья-то тень. Следующий вопрос?

— Брэдли, но ведь ты же сам сказал, что призрак был настоящий.

— Это я знаю, что он настоящий, а Гамлет не знает.

— М-м. Но ведь должна быть еще и другая, более глубокая причина его нерешительности, разве не в этом смысл пьесы?

— Я не говорил, что не было другой причины.

— Какая же?

— Он отождествляет Клавдия с отцом.

— А-а, ну да. И поэтому он, значит, и медлит, что любит отца и у него рука не поднимается на Клавдия?

— Нет. Отца он ненавидит.

— Но тогда бы ему сразу и убить Клавдия.

— Нет. Ведь не убил же он все-таки отца.

— Ну, тогда я не понимаю, каким образом отождествление Клавдия с отцом мешает Гамлету его убить.

— Ненавидя отца, он страдает от этого. Он чувствует себя виноватым.

— Значит, его парализует чувство вины? Но он нигде этого не говорит. Он ужасно самодовольный и ко всем придирается. Как, например, он безобразно обращается с Офелией.

— Это все стороны одного и того же.

— То есть чего?

— Он отождествляет Офелию с матерью.

— Но я думала, он любит мать?

— Вот именно.

— Как это вот именно?

— Он не может простить матери прелюбодеяния с отцом.

— Подожди, Брэдли, я что-то запуталась.

— Клавдий — это продолжение брата в плане сознания.

— Но невозможно же совершить прелюбодеяние с мужем, это нелогично.

— Подсознание не знает логики.

— То есть Гамлет ревнует? Ты хочешь сказать, что он влюблен в свою мать?

— Ну, это общее место. Знакомое до скуки, по-моему.

— Ах, ты об *этом*.

— Да, об этом.

— Понятно. Но я все равно не понимаю, как он может думать, что Офелия — это Гертруда, они нисколько не похожи.

— Подсознание только тем и занимается, что соединяет разных людей в один образ. Образов подсознания ведь всего несколько.

— И поэтому разным актерам приходится играть одну и ту же роль?

— Да.

— Я, кажется, не верю в подсознание.

— Вот и умница.

— Брэдли, ты опять меня дурачишь?

— Нисколько.

— Почему Офелия не спасла Гамлета? Это у меня такой следующий вопрос.

— Потому, моя дорогая Джулиан, что невинные и невежественные молодые девицы, вопреки своим обманчивым понятиям, вообще не способны спасать менее молодых и более образованных невропатов — мужчин.

— Я знаю, что я невежественна, и не могу отрицать, что я молода, но с Офелией я себя не отождествляю!

— Разумеется. Ты воображаешь себя Гамлетом. Как все.

— Всегда, наверно, воображаешь себя главным героем.

— Для великих произведений это не обязательно. Разве ты отождествляешь себя с Макбетом или Лиром?

— Н-нет, но все-таки...

— Или с Ахиллом, или с Агамемноном, с Энеем, с Раскольниковым, с мадам Бовари, с Марселем, с Фанни Прайс...

— Постой, постой. Я тут не всех знаю. И, по-моему, я отождествляю себя с Ахиллом.

— Расскажи мне о нем.

— Ой, Брэдли... Ну, я не знаю... Он ведь убил Гектора, да?

— Ладно, неважно. Ты меня поняла, я надеюсь?

— Н-не совсем.

— Своеобразие «Гамлета» в том, что это — великое произведение, каждый читатель которого отождествляет себя с главным героем.

— Ага, поняла. Поэтому он хуже, чем другие основные произведения Шекспира?

— Нет. «Гамлет» — лучшая из пьес Шекспира.

— Тогда тут что-то странное получается.

— Именно.

— В чем же дело, Брэдли? Знаешь, можно я запишу вкратце вот то, что мы с тобой говорили о Гамлете — что он не мог простить матери прелюбодеяния с отцом и все такое? Черт, как тут жарко. Давай откроем окно, а? И ничего, если я сниму сапоги? Я в них заживо испеклась.

— Запрещаю тебе что-либо записывать. Открывать окно не разрешаю. Сапоги можешь снять.

— Уф. За это благодарствуйте.— Она спустила молнии на голенищах и обнажила обтянутые в розовое ноги Полюбовавшись своими ногами, она расстегнула еще одну пуговицу у ворота и хихикнула.

Я спросил:

— Ты позволишь мне снять пиджак?

— Ну конечно!

— Сможешь увидеть мои подтяжки.

— Как обворожительно! Ты, наверно, последний мужчина в Лондоне, который носит подтяжки. Это теперь такая же пикантная редкость, как подвязки.

Я снял пиджак и остался в серой в черную полоску рубашке и серых армейского образца подтяжках.

— Ничего пикантного, к сожалению. Если б я знал, мог бы надеть красные.

— Значит, ты все-таки не ждал меня?

— Что за глупости. Ты не против, если я сниму галстук?

— Что за глупости.

Я снял галстук и расстегнул на рубашке две верхние пуговицы. Потом одну из них застегнул снова. Растительность у меня на груди обильная и седая (или с проседью серебристой, если угодно). Пот бежал струйками у меня по вискам. сзади по шее, змеился через заросли на груди.

— А ты не потеешь,— сказал я Джулиан.— Как это тебе удается?

— Какое там. Вот смотри,— она сунула пальцы в волосы, потом протянула мне через стол руку. Пальцы у нее были длинные, но не чересчур тонкие. На них чуть поблескивала влага.— Ну, Брэдли, на чем мы остановились? Ты говорил, что «Гамлет» — единственное произведение...

— Давай-ка мы на этом кончим, а?

— Ой, Брэдли, я так и знала, что надоем тебе! И теперь я тебя не увижу много месяцев, я тебя знаю.

— Перестань. Всю эту тягомотину насчет Гамлета и его матушки ты можешь прочитать в книжке. Я скажу в какой.

— Значит, это неправда?

— Правда, но не главное. Интеллигентный читатель схватывает такие вещи между делом. А ты интеллигентный читатель in ovo [1].

— Что «и ново»?

— Дело в том, что Гамлет — это Шекспир.

— А Лир, и Макбет, и Отелло?..

— Не Шекспир.

— Брэдли, Шекспир был гомосексуален?

---

[1] В зародыше *(лат.)*.

— Конечно.

— А-а, понимаю. Значит, на самом деле Гамлет был влюблен в Горацио и...

— Помолчи минутку. В посредственных произведениях главный герой — это всегда автор.

— Папа — герой всех своих романов.

— Поэтому и читатель склонен к отождествлению. Но если величайший гений позволяет себе стать героем одной из своих пьес, случайно ли это?

— Нет.

— Мог ли он это сделать несознательно?

— Не мог.

— Верно. И стало быть, вот, значит, о чем вся пьеса.

— О! О чем же?

— О личности самого Шекспира. О его потребности выразить себя как романтичнейшего из всех романтических героев. Когда Шекспир оказывается всего загадочнее?

— То есть как?

— Какая часть его наследия самая темная и служит предметом бесконечных споров?

— Сонеты?

— Верно.

— Ой, Брэдли, я читала одну такую удивительную штуку про сонеты...

— Помолчи. Итак, Шекспир оказывается загадочнее всего, когда говорит о себе. Почему «Гамлет» — самая прославленная и самая доступная из его пьес?

— Но это тоже оспаривается.

— Да, однако факт, что «Гамлет» — самое широко известное произведение мировой литературы. Землепашцы Индии, лесорубы Австралии, скотоводы Аргентины, все самые темные и дикие представители рода человеческого слышали о Гамлете.

— Может быть, лесорубы Канады? По-моему, в Австралии...

— Чем же это объяснить?

— Не знаю, Брэдли, ты мне скажи.

— Тем, что Шекспир силой размышления о себе самом создал новый язык, особую риторику самосознания...

— Не поняла...

— Все существо Гамлета — это слова. Как и Шекспира.

— «Слова, слова, слова».

— Из какого еще произведения литературы столько мест вошли в пословицы?

— «Какого обаянья ум погиб!»[1]

— «Все мне уликой служит, все торопит»[2].

— «С тех пор, как для меня законом стало сердце»[3].

— «Какой же я холоп и негодяй!» [4]

— «На время поступишься блаженством» [5].

— И так далее, до бесконечности. Как я и говорил, «Гамлет» — это монумент из слов, самое риторическое произведение Шекспира, самая длинная его пьеса, самое замысловатое изображение его ума. Взгляни, как легко, с каким непринужденным, прозрачным изяществом закладывает он фундамент всей современной английской прозы.

---

[1] «Гамлет», акт III, сц. I, перевод Б. Пастернака.
[2] Акт IV, сц. IV.
[3] Акт III, сц. II.
[4] Акт II, сц. II.
[5] Акт V, сц. II.

— «Какое чудо природы человек...» [1]

— В «Гамлете» Шекспир особенно откровенен, откровеннее даже, чем в сонетах. Ненавидел ли Шекспир своего отца? Конечно. Питал ли он запретную любовь к матери? Конечно. Но это лишь азы того, что он рассказывает нам о себе. Как отваживается он на такие признания? Почему на голову его не обрушивается кара настолько же более изощренная, чем кара простых писателей, насколько бог, которому он поклоняется, изощреннее их богов? Он совершил величайший творческий подвиг, создал книгу, бесконечно думающую о себе не между прочим, а по существу, конструкцию из слов, как сто китайских шаров один в другом, высотою с Вавилонскую башню, размышление на тему о бездонной текучести рассудка и об искупительной роли слов в жизни тех, кто на самом деле не имеет собственного «я», то есть в жизни людей. «Гамлет» — это слова, и Гамлет — это слова. Он остроумен, как Иисус Христос, но Христос говорит, а Гамлет — сама речь. Он — это грешное, страждущее, пустое человеческое сознание, опаленное лучом искусства, жертва живодера-бога, пляшущая танец творения. Крик боли приглушен, ведь он не предназначен для слуха. Красноречие прямого обращения, oratio recta, а не oratio obliqua [2]. Но адресовано оно не нам. Шекспир самозабвенно обнажает себя перед почвой и творцом своего существа. Он, как, быть может, ни один художник, говорит от первого лица, будучи на вершине искусства, на вершине приема. Как таинствен его бог, как недоступен, как грозен, как опасно к нему обращаться, это Шекспиру известно лучше, чем кому бы то ни было. «Гамлет» — это акт отчаянной храбрости, это самоочищение, самобичевание пред лицом бога. Мазохист ли Шекспир? Конечно. Он король мазохистов, его строки пронизаны этим тайным пороком. Но так как его бог — это настоящий бог, а не eidolon [3], идолище, порожденное игрой его фантазии, и так как любовь здесь создала собственный язык, словно бы в первый день творения, он смог претворить муку в поэзию и оргазм в полет чистой мысли...

— Брэдли, погоди, остановись, прошу тебя, я совершенно ничего не понимаю...

— Шекспир здесь преобразует кризис своей личности в основную материю искусства. Он претворяет собственные навязчивые представления в общедоступную риторику, подвластную и языку младенца. Он разыгрывает перед нами очищение языка, но в то же время это шутка вроде фокуса, вроде большого каламбура, длинной, почти бессмысленной остроты. Шекспир кричит от боли, извивается, пляшет, хохочет и визжит — и нас заставляет хохотать и визжать — в нашем аду. Быть — значит представлять, играть. Мы — материал для бесчисленных персонажей искусства, и при этом мы — ничто. Единственное наше искупление в том, что речь — божественна. Какую роль стремится сыграть каждый актер? Гамлета.

— Я один раз тоже играла Гамлета,— сказала Джулиан.

— Что?

— Я играла Гамлета, еще в школе, мне было шестнадцать лет.

Я сидел, положив обе ладони поверх закрытой книги. Теперь я поднял голову и внимательно посмотрел на Джулиан. Она улыбнулась. Я не ответил на ее улыбку, и тогда она хихикнула и залилась краской, одним согнутым пальцем отведя со лба прядь волос.

— Неважно получалось. Скажи, Брэдли, у меня от ног не пахнет?

— Пахнет. Но пахнет восхитительно.

---

[1] Акт II, сц. II.

[2] Прямая речь, а не косвенная *(лат.)*.

[3] Идол *(греч.)*.

— Я лучше надену сапоги.— Она стала, вытянув ножку, заталкивать ее обратно в лиловую оболочку.— Прости, я прервала тебя, продолжай, пожалуйста.

— Нет. Спектакль окончен.

— Ну, пожалуйста! Ты говорил такие дивные вещи, я, конечно, мало что понимаю. Жалко, что ты не позволил мне записывать. А можно я сейчас запишу? — Она застегивала молнии на голенищах.

— Нет. То, что я говорил, не пригодится тебе на экзамене. Это премудрость для избранных. Если ты попробуешь сказать что-нибудь такое, непременно провалишься. Да ты и не понимаешь ничего. Это неважно. Тебе надо выучить несколько простых вещей. Я пришлю тебе кое-какие заметки и две-три книги. Я знаю вопросы, которые они задают, и знаю, за какие ответы ставят высшие баллы.

— Но я не хочу облегчать себе работу, я хочу делать все по-серьезному, и потом, если то, что ты говорил,— *правда*...

— В твоем возрасте нельзя бросаться этим словом.

— Но мне очень хочется понять. Я думала, Шекспир был деловой человек, интересовался деньгами...

— Конечно.

— Но как же он тогда...

— Давай выпьем чего-нибудь.

Я встал. Я вдруг почувствовал себя совершенно обессиленным, я был с головы до ног весь в поту, словно купался в теплой ртути. Я открыл окно и впустил вялую струю чуть более прохладного воздуха, загрязненного, пыльного, но все-таки донесшего из дальних парков полувыветрившиеся воспоминания о запахах цветов. Комнату наполнил слитный шум улицы — машин, людских голосов, неумолчный гул лондонской жизни. Я расстегнул рубашку до самого пояса и поскреб в седых завитках у себя на груди. Потом обернулся к Джулиан. И, подойдя к висячему шкафчику, вынул стаканы и графин с хересом.

— Итак, ты играла Гамлета,— сказал я, разливая вино.— Опиши свой костюм.

— Да ну, обычный костюм. Все Гамлеты ведь одеты одинаково, если только представление не в современных костюмах. Наше было не в современных.

— Сделай, что я тебя просил, пожалуйста.

— Что?

— Опиши свой костюм.

— Ну, я была в черном трико, и черных бархатных туфлях с серебряными пряжками, и в такой хорошенькой черной курточке, сильно открытой, а под ней белая шелковая рубашка, и толстая золотая цепь на шее, и... Ты что, Брэдли?

— Ничего.

— По-моему, у меня был костюм, как у Джона Гилгуда на картинке.

— Кто он?

— Брэдли, это актер, который...

— Ты меня не поняла, дитя. Продолжай.

— Все. Мне очень нравилось играть. В особенности фехтование в конце.

— Пожалуй, закрою окно,— сказал я,— если ты не возражаешь.

Я закрыл окно, и лондонский гул сразу стал смутным, словно нутряным, словно бы звучащим где-то в сознании, и мы оказались с глазу на глаз в замкнутом, вещном пространстве. Я смотрел на нее. Она задумалась, расчесывая длинными пальцами изжелена-со-огнистые слои своих волос, воображая себя Гамлетом со шпагой в руке.

— «Так на же, самозванец-душегуб!»[1]

— Брэдли, ты просто читаешь мои мысли. Ну, пожалуйста, расскажи мне еще немного, ну вот что ты сейчас рассказывал. В двух словах, а?

— «Гамлет» — это пьеса à clef[2]. Пьеса о ком-то, кого Шекспир любил.

— Но, Брэдли, ты этого не говорил, ты говорил...

— Довольно. Как поживают родители?

— Ну вот, ты опять меня дурачишь. Поживают обычно. Папа целыми днями в библиотеке — строчит, строчит, строчит. Мама сидит дома, переставляет мебель и понемножку киснет. Обидно, что она не получила образования. Она ведь такая способная.

— Этот снисходительный тон крайне неуместен,— сказал я.— Они не нуждаются в твоей жалости. Это замечательные люди, и он, и она, и у обоих есть своя настоящая личная жизнь.

— Прости. Это, наверно, прозвучало ужасно. Я, наверно, вообще ужасная. Я думаю, все молодые ужасны.

— «Во имя бога, бросьте ваш бальзам!»[3] Не все.

— Прости, Брэдли. Но правда, приходил бы ты к родителям почаще, мне кажется, ты на них хорошо действуешь.

Мне было немного стыдно спрашивать ее об Арнольде и Рейчел, но я хотел удостовериться и удостоверился, что они не говорили ей обо мне ничего плохого.

— Итак, ты хочешь быть писателем,— сказал я. Я все еще сидел, откинувшись к окну, и она повернула ко мне свое скрытное, оживленное узкое личико. Грива густых волос делала ее похожей скорее на славную собачонку, чем на наследника датского трона. Она закинула ногу на ногу, выставляя для обозрения лиловые сапоги и высоко открытые, обтянутые розовым ноги. Рука ее теребила ворот, расстегивала еще одну пуговицу, ныряя за пазуху. Пахло ее потом, ее ногами, ее грудями.

— Да, я чувствую, что могу писать. Но я не тороплюсь. Я готова подождать. Я хочу писать плотную, жесткую, безличную прозу, ничуть не похожую на меня самое.

— Умница.

— Конечно, я не буду подписываться Джулиан Баффин...

— Джулиан,— сказал я,— теперь ты лучше уходи.

— О, прости... Брэдли, мне было так приятно, так интересно. Не могли бы мы встретиться как-нибудь поскорей еще раз? Я знаю, как ты не любишь себя связывать. Ты уезжаешь или нет?

— Нет.

— Тогда, пожалуйста, дай мне знать, если появится возможность нам опять встретиться.

— Хорошо.

— Ну, мне, очевидно, надо идти...

— Я тебе должен одну вещь.

— Какую вещь?

— Какую-нибудь вещь. Взамен женщины на буйволе. Помнишь?

— Да. Я не хотела напоминать...

— Вот возьми.

Я сделал два шага к камину и снял с полки золоченую овальную табакерку, которую очень любил. И вложил ее в ладонь Джулиан.

---

[1] Акт V, сц. II.

[2] С ключом (подтекстом) *(франц.)*.

[3] Акт III, сц. IV.

— Ой, Брэдли, это так мило с твоей стороны, она такая изящная и, наверно, страшно дорогая и смотри-ка, тут что-то написано. «Дар друга», ой, какая прелесть! Мы ведь друзья, правда?

— Правда.

— Брэдли, я так, так благодарна...

— Ну, ну, ступай.

— Ты не забудешь обо мне?

— Ступай.

Я проводил ее до двери и запер замок, как только она оказалась за порогом. Потом возвратился в гостиную и плотно прикрыл за собой дверь. В комнате был разлит густой и пыльный солнечный свет. Ее стул стоял там, куда она его придвинула. А на столе она оставила своего «Гамлета».

Я упал на колени перед камином, потом вытянулся и лег во весь рост ничком на ковер. Ибо воистину со мной только что случилось нечто совершенно невероятное.

(Продолжение следует)

ЭРВЕ БАЗЕН

Крик совы

РОМАН

Перевод с французского
Н. БРАНДИС и А. ТЕТЕРЕВНИКОВОЙ

I

Порывистый ноябрьский ветер завывает за круглым решетчатым окошком ванной, толстые запотевшие стекла которой напоминают церковные витражи. Водопроводные трубы дрожат на стыках, когда в кухне закрывают кран, вибрация прекращается, но тогда они шумно чихают и тоненькая струйка, лившаяся на меня сквозь сетку душа, забитую накипью, превращается в горячее водяное копье, больно колющее мою уже лысеющую голову.

— Ты кончил? — кричит Саломея через дверь.— Теперь можно мне?

Хотя встал я поздно, потому что вчера долго работал, я все-таки слышал шум душа: она принимает его каждое утро, чтобы придать еще больше крепости своему маленькому телу, которое угадывается под ее платьем, шелковистой спинке и упругой груди. Сейчас, должно быть, ей осталось причесаться и можно бежать к лодке.

— Пять минут — и я готов, детка!

Интересно, почему это я, не стыдясь, представляю себе Саломею в костюме Евы? Ведь не осмелился бы я вообразить в таком виде Бландину, ее сестру! Ну, ладно! Закроем кран, возьмем мохнатое полотенце, разотрем гусиную кожу на груди — волосы на ней кое-где уже тронуты сединою. Потом встанем на весы с увеличительным стеклом над шкалой — они всегда здесь, под окошком; на них уже многие годы проверяется вес всех в семействе, точно так же как антропометром, сделанным в виде жирафы и прибитым напротив к моющимся обоям, измеряется их рост. Хотя я щелкнул по регулятору, чтобы стрелка перескочила на ноль, или даже чуть левее, потому что весы эти склонны к преувеличению, все равно почти семьдесят пять килограммов. Для мужчины ростом в метр семьдесят два это не катастрофа, правда, если память мне не изменяет, в пятьдесят девятом я запретил себе весить больше семидесяти четырех, а в пятьдесят четвертом — больше семидесяти трех. Внезапная мысль: у меня мокрые волосы и на руке часы. Это надо иметь в виду. Другая мысль, промелькнувшая без видимой причины: Бертиль, которая так старалась изгнать из дома все, что свидетельствовало о ее «предшественнице», конечно, вышвырнула бы и эти весы, если бы знала, что когда-то на них легко вскакивала Моника с нашим сынишкой на руках.

«Мой вес,— говорила она,— никогда не меняется, ни на один грамм. Чтобы узнать, сколько весит Жаннэ, достаточно произвести вычитание».

Тыльной стороной руки я протираю запотевшее стекло. В те годы, когда Моника, малыш и я, тесно прижавшись друг к другу, на мгновение удерживались на узкой площадке весов и, проявляя поистине чудеса эквилибристики, чуть не свернув себе шею, еще умудрялись прочесть у самых своих ног приговор стрелки,— в те годы мы втроем тянули не более ста... Протираю другое стекло. Мне не страшно: окно слишком высоко, так что снизу можно увидеть только мою голую спину. Впрочем, я уже одеваюсь, глядя на илистую воду Марны, поднявшуюся от проливного дождя, река течет широким потоком с востока на запад под низкими, тяжелыми облаками, бегущими в обратном направлении. Вода затопила подвал, и там теперь танцуют всплывшие бочки; она затопила гараж — позавчера я вовремя успел вывести оттуда наш «ситроэн». Сегодня утром она уже хлынула через садовую ограду, и теперь там у стены скапливаются пустые бидоны и пластмассовые бутылки. Ей тесно под арками моста Гурнэ, она откатывается назад, достигает деревьев на набережной, так что кажется, что теперь они растут прямо из Марны. Вода ползет все дальше и дальше по параллельным улицам, выплескивается из люков, заливает сточные канавки, потом мостовую, тротуар и в конце концов подбирается к самым дверям, врывается в парки: по тому, насколько затоплен кустарник, сразу можно определить разницу в уровнях почвы. Саломея ждет... Ничего, успеет! Я не могу отказать себе в удовольствии открыть окно и потянуть носом воздух. Для меня, почти всю жизнь прожившего у реки, это одно из самых цепких воспоминаний: острый запах тины, перегнивших листьев в сочетании с мощным шумом воды, взбаламученной ливнем и бьющейся о тысячи преград, кипенье водоворотов, извергающих из глубины клочья грязной пены, которая повисает на изгородях из бересклета, на остриях кольев. В Бель-Анжери раз или два в год, обычно после сильных мартовских дождей (в ноябре половодье бывает реже), когда рудникам уже грозило затопление, воды Омэ, спущенные где-то в верховьях, около Верна, каким-нибудь неведомым смотрителем шлюзов, внезапно подкатывали к нам, меньше чем за час выходили из берегов и, застилая пеленой низкие луга, размывали свежие коровьи лепешки, топили кузнечиков и кротов, заставляли ворон и сорок уподобляться чайкам и на лету хватать плывущую падаль, а нас, мальчишек, убираться со своими флотилиями поближе к поросшим травою склонам, на которых разбросаны фермы.

Но вот слышится скрип, грохот железа, призывные удары багра — у дежурной лодки спасательной службы, которая во время наводнений развозит школьников и доставляет хозяек на рынок; она высаживает их на холме у моста, а потом снова забирает — ведь нет точного расписания. Поверх кустов бирючины я вижу в ней полдюжины мокрых зонтиков. На носу здоровенный парень с выбивающейся из-под каски рыжей гривой тянет за веревки, привязанные к садовой решетке, чтобы лодка быстрее подошла к берегу, а главное, чтобы ее не отнесло на середину реки, не увлекло течением и не разбило о пилоны моста. На корме стоит молодой новобранец. Хотя у него наивная румяная физиономия, он ловко орудует багром и во всю мочь свистит в лоцманский свисток, оповещая прибрежных жителей.

— Двадцать девятый! Двадцать девятый! — кричит рыжий.

Он дает два свистка, потом еще девять, и в окне второго этажа, к которому приставлена лестница, появляется мадам Сотрель, наша соседка. Первый этаж ее дома, почти на уровне земли, затоплен водой. Похоже, что там плавает буфет, со страшным грохотом перевер-

нувшийся среди ночи вместе со всей посудой. Какой-то мальчуган взбирается по лестнице, чтобы передать мадам Сотрель почту, и я узнаю... своего собственного сына — это Обэн, которого мать уже час назад послала в булочную, чтобы он в четверг[1] не болтался без дела. Добравшись до предпоследней перекладины, он подает соседке сумку с провизией. Мадам Сотрель проверяет ее содержимое, берет сдачу и пересчитывает мелочь. Потом Обэн, никогда не упускающий случая немного подработать, ловит на лету брошенную ему монету, соскальзывает вниз и, подхваченный соседом из дома № 35, мосье Галюшем, пенсионером, которого нетрудно узнать по совершенно лысому черепу, исчезает в группе зонтиков. Перегруженная лодка снова пускается в плаванье.

— Тридцать первый! — визжит рыжий.

— А вот и лодка. Ничего не поделаешь! Придется бежать непричесанной,— кричит Саломея, и я уже слышу как она, стуча высокими каблучками, сбегает с лестницы.

Закрою окно. Обэн наверняка сообразит, как доставить нам почту, а Саломее, уж конечно бегущей на свидание со своим дружком Гонзагом, вовсе не обязательно поправлять в зеркале прическу, которую она все равно испортит. Уже открывая дверь ванной, все же бросаю последний взгляд в окно, прежде чем направиться в свой кабинет. Лодка, свернув наискосок в наши широко распахнутые ворота (иначе их снесло бы напором воды), пересекла лужайку, скрытую под метровым слоем желтой жижи, и стукнулась о пятую ступеньку крыльца, уже исчезнувшую под водой. Обэн, прыгая в лодку, видимо, забрызгал пассажиров, о чем можно судить по негодующим восклицаниям дамы в черном (кто она, определить трудно, потому что я смотрю сверху, а она все еще держит над собой огромный черный зонт). Но голос, голос ее меня тревожит:

— Ах ты бесенок! Не можешь поосторожнее, что ли? — И сразу же: — Подождите, я тоже здесь выйду.

Тут я снова поспешно открываю окно, нагибаюсь, чтобы лучше видеть, лучше слышать, лучше осознать невероятное. Мне не почудилось. Этот голос, перешедший в верхний регистр как у всех старых дам, немного тугих на ухо и потому говорящих по-актерски, громче обычного, этот голос сохранил тот же тембр, тот же повелительный тон, и Саломее, которая как раз появилась на террасе и бежит, на ходу застегивая свой прозрачный плащ, не придется сесть в лодку:

— Нет, девочка, нечего убегать, раз я высаживаюсь. Такое случается не каждый день.

■

Это *она*! Я прекрасно узнал ее по кольцу на безымянном пальце морщинистой руки, которая держит Саломею за плечо,— на этот самый бриллиант в лапках мой отец раскошелился еще с полвека назад... Это наша старая Психимора, иначе говоря, наша матушка, еще иначе — мадам Резо, тиран моей юности! Я чувствую, как у меня сводит желудок. Потом я быстро прикидываю про себя: шесть лет с Моникой, восемнадцать с Бертиль — значит прошло двадцать четыре года, половина моей жизни, с тех пор как я ее видел в последний раз, эту милую даму, которой перевалило далеко за семьдесят... Применив способ, строжайше запрещенный детям, я в несколько прыжков с грохотом сбежал по ступенькам, отделявшим меня от первого этажа. И вот я уже внизу. Тут я сталкиваюсь нос к носу с моей женой, выходящей

[1] Французские школьники не занимаются два раза в неделю — в воскресенье и в четверг.

из кухни, и с Бландиной, которая поднимается из затопленного подвала, неся в руке складной метр, в то время как Обэн, держа под мышкой две булки, выбегает из столовой.

— На два сантиметра меньше — вода понемножку спадает,— объявляет Бландина; она явно не в курсе того, что произошло.

— Ты опять грыз! — возмущается Бертиль, беря у Обэна булки, обе откусанные.

— Тебя спрашивает какая-то старуха, она в гостиной,— бросает мне Обэн.

— Это ваша бабушка Резо.

Мой ответ произвел впечатление. Все они недоверчиво смотрят на меня. Владелица маленькой кондитерской, бабушка Дару весит все сто килограммов. Она монополизировала здесь роль прародительницы. Существование другой, от нее отличающейся, как черное от белого, как уксус от сахара, представлялось до сих пор чем-то не вполне реальным. Судя по слухам, она царила одна в тридцати ледяных комнатах обветшалого дома — мои дети в нем никогда не были, но однажды видели его издали, с дороги, во время каникул, когда я по их просьбе сделал крюк и, прежде чем направиться в Порник, проехал на малой скорости вдоль парка. Но бабушка Резо существовала всегда — просто она невидима в силу своей сущности. Потому что отказалась от своего потомства. Для моих детей это какая-то провинциальная Гофолия, хотя Гофолия обычно не покидает Ветхого завета, чтобы посетить Новый, разве что в театре. Мне приходится повторить:

— Уверяю вас, это моя мать. Я видел в окно, как она приехала.

— Долго же она собиралась! — говорит Бертиль.

Из приличия она снимает передник — не будем возражать! — и ворчит:

— Явиться вдруг, без предупреждения! Значит, она уже признает, что я существую.

Но глаза Бертиль блестят от любопытства. Она взмахивает правой рукой, а это у нее означает: «Ну, давай же, приосанивайся, нечего робеть». Она решительно открывает дверь и входит, выпятив грудь. Гостья, очевидно, уже представилась Саломее, и та успела усадить ее в кресло. Невозмутимая — впрочем, это относится и к нашей дочери,— матушка сидит, вытянувшись как струна; когда мы входим, она поворачивается, чтобы взглянуть на нас. Можно подумать, что она здесь хозяйка. Деланная улыбка не в состоянии скрыть за наплывом морщинистых век зеленый блеск ее глаз, которые смотрят скорее весело и заинтересованно, нежели агрессивно. Дряблая, с обвислым подбородком, вся словно растрескавшийся глиняной горшок, она сильно постарела, но не изменилась. Напротив! Торчащее, словно гриб среди белесого мха редких волос, ухо, нос крючком, задранный кверху подбородок, с двух сторон очерченный глубокими складками, сбегающими от уголков рта,— все вместе придает ей карикатурный вид, который лишь подчеркивает надменная небрежность в одежде, зеленовато-черное пальто, кое-как починенная сумка и бриллиант, сверкающий хоть и на грязной руке, но способный тем не менее внушить иным насмешникам уважение к семьям, где скупость неотделима от добропорядочной строгости.

— Вот так сюрприз, матушка! — восклицает Бертиль, напирая на слово «матушка», и беззастенчиво косится в сторону черного зонта, вокруг которого у стены уже образовалась небольшая лужица.

— Мне очень жаль, дочь моя,— отвечает мадам Резо, напирая на слово «дочь».— Я вижу, что своим зонтиком испортила вам паркет... Но я счастлива, что нашла детей в таком прекрасном виде.

Добрая старая бабуля, которая говорит о здоровье внучат так,

словно только и делает, что печется об этих дорогих крошках, а ведь она их еще и не знает, несмотря на то что старший уже совсем взрослый, вот-вот окончит военную службу.

— А как твоя печень? — продолжает мадам Резо, обращаясь ко мне.— Приступы больше не повторяются? Заметь: их можно было предвидеть — ведь желчный пузырь ты унаследовал от меня.

Намек на недавно перенесенную мною операцию совершенно ясен: он сразу погружает меня в атмосферу клана, где всегда считалось хорошим тоном выражаться недомолвками. Понимать же надо так: «Всегда была в курсе всех твоих дел». А из этого вытекают по меньшей мере три следствия: 1) «У меня есть свои осведомители»; 2) «Я не переставала интересоваться тобой»; 3) «Ты один виноват в том, что мы так долго не виделись». Я улыбаюсь — этого она и добивалась. Уверенная в том, что ее поняли, мадам Резо может теперь добавить:

— Ну и погода! Я думала, что никогда не доберусь.

Это, в свою очередь, означает: «Доказательством того, что все произошло по твоей вине, мой мальчик, служит тот факт, что я явилась сюда наперекор стихиям, что я взяла на себя инициативу и всего через каких-нибудь двадцать лет принесла тебе прощение и весть об окончании той давнишней распри, которую я старалась замять, тогда как ты всячески ее раздувал». Еще час назад я думал, что никогда ее не увижу. Еще час назад, если бы кто-нибудь описал мне эту сцену завуалированного примирения, я утверждал бы, что такого не может быть. Впрочем, напрашивался простейший вывод: достаточно сделать вид, будто ничего не произошло, будто все всегда шло нормально. И представьте, это подействовало! Все уже смотрят на меня удивленными глазами: «Да неужто она и впрямь фея Карабос, злая богиня-разрушительница? Уж не придумано ли все это?» Вы наверняка на это рассчитывали, матушка, а вдобавок еще и надеялись, что здесь, в самом сердце вражеской крепости, у вас найдется сообщник. Ну, конечно же, в моем лице! Вместе со своими детьми, разве я не из одного с вами лагеря, разве могу я быть непричастным к чему-либо, к чему причастны вы? Не потому ли я сейчас так ощущаю свой пуп, через который — уж с вами по крайней-то мере — я был связан? Трудно остаться равнодушным, вновь оказавшись перед существом, жизнь которого — источник твоей собственной жизни — тебя не интересовала четверть века, а гордиться этим тебе не приходится. Но почему вы так поздно спрятали в карман вашу гордость? Почему покинули ваш заросший терновником Краон?

Тем временем мадам Резо встала, чтобы приложиться к невестке, потом поочередно к каждому из внуков, потом ко мне.

— Четверо! — посмеивается она.— А у брата твоего — десять! Как же вы кляли свое детство! А теперь, глядишь, у самих уже отпрыски.

Одна только Саломея поцеловала ее в ответ — сперва в правую щеку, потом в левую, как любят целоваться в семье Дару. Саломея ведет себя всегда неожиданно. Впрочем, и Бертиль тоже. Я-то думал, она надуется, будет держаться натянуто. А она наступает рассыпаясь в любезностях:

— Вы останетесь обедать, матушка?

— К сожалению, нет, мне нужно быть в Париже к двум часам. У меня сейчас много хлопот с прабабушкой ваших детей — мадам Плювиньек. Я приехала только предупредить вашего мужа...

Последняя фраза адресована мне. Прежде, если кто-нибудь умирал, меня никогда не предупреждали. В чем же тут дело? Я ловлю себя на том, что считаю по пальцам, прежде чем проговорить:

— Ей около ста, не так ли?

— В нашей семье живут долго,— продолжает матушка.— Твой

дед умер восьмидесяти восьми лет. Бабушке девяносто четыре. Они намного пережили своего зятя.

Я хотел было пояснить, но матушка комментирует сама:

— Твой бедный отец женился на мне ради богатства, но так им и не воспользовался. Это поучительная история.

Она заводит какую-то новую песню. Следует ожидать продолжения. Как это я сразу не догадался, что мы приближаемся к истинной цели ее визита? Сейчас меня поставят в известность; вот, уже начинается:

— С твоей бабушкой на днях случился удар. Я недавно приехала из Сегре, но в Париже я одна. Твой брат Марсель с женой путешествуют по Карибскому морю, я даже не уверена, получили ли они мою телеграмму.

Она придвигается ко мне совсем близко. Я вновь ощущаю тот запах, который папа называл «ароматом гектаров»: мадам, должно быть, провела какое-то время в хлеву, беседуя с фермершей, прежде чем сесть в автобус и поехать на станцию. Еще одна подробность: у нее уже не один, а три золотых зуба во рту; преодолевая одышку, она произносит:

— К тому же, если говорить начистоту, я сейчас не в ладах с Марселем. Твоя бабушка, по его настоянию, сделала такие распоряжения, которые сильно ущемляют меня... да, впрочем, и тебя тоже. Я тебе объясню.

Она вздыхает. По правде говоря, мне уже не нужно никаких объяснений. То, что Марсель присвоил себе право на все наследство семьи Резо,— это еще куда ни шло! Но он, видно, вошел во вкус, и теперь норовит зацапать еще и имущество Плювиньеков, иными словами, состояние нашей матери — вот тут уже стоп! Этого она не допустит. Появиться в обличье жертвы — весьма ловкий способ проникнуть сюда: мадам Резо приехала просто-напросто для того, чтобы предложить мне, своему бывшему врагу, союз против моего брата.

II

Звоню по телефону Батисту Форю, кузену Бертиль, а главное, другу — по профессии он художник,— и слышу, как Батист смеется в бороду.

— Да это просто история с привидениями,— говорит он.— Привидений я никогда не рисовал. Если она снова появится, позволь мне написать ее портрет.

■

Звоню Арно Макслону, моему коллеге и соседу, с которым мы дружны уже двадцать лет. Как и я, он женат во второй раз и окружен детьми от обеих жен. Он любит добродушным тоном пророчить нам худшее.

— Ну что ж,— говорит он,— она ждала истечения срока давности. Берегись: это пахнет рецидивом.

■

Звоню Поль, которая была моей приятельницей еще до появления Моники. Она старше меня и относится ко мне немного по-матерински. Мы не виделись со времени ее отъезда в Испанию. Но теперь, когда она вернулась, раз в месяц мы болтаем по телефону. Поль говорит, что она стала совсем седая и, если я ее увижу, она много потеряет в моих глазах. Слух у нее прекрасный и голос, который я слышу, не видя ее, заявляет с царственным равнодушием:

— Вот видишь! Клятвы в любви, клятвы в вечной ненависти — цена им одна. Приглядись к мадам Резо: осталось только имя, а человек уже не тот.

■

В отсутствие Жаннэ, который, возможно, занял бы особую позицию, семейный совет высказался за обедом вполне единодушно. Мнение Бертиль: «У меня не было сомнений. Восстановить в правах бабушку — значит восстановить в правах детей». Мнение Саломеи: «Твои прежние ссоры с ней нас не касаются — лишь бы она не затевала новых». Мнение Бландины: «Поживем — увидим». Мнение Обэна: «Будем держать ухо востро». А я размышлял: для такого шага матушке понадобился серьезный стимул. Но будем справедливы: для этого нужно мужество, а возможно, и нечто большее, своего рода высокомерие («Чего только обо мне ни болтали, а мне наплевать»), и хитрый расчет («Мой сын? Да, он ни за что не устоит — до смерти рад будет оказать мне услугу»), и умение все взвесить. А может быть, тут усталость? Или одиночество? Ведь мы все друг на друга похожи. С годами мы меняемся. Взять, к примеру, меня. Жана Резо: остался ли я таким же, каким лазал на ветви тиса, а позже покоился в объятиях другой женщины? Конечно, я не забыл свою молодость. Но с тех пор я знавал времена и похуже. Если новое горе и не вытесняет прежнего, оно заслоняет его, как одно дерево заслоняет другое, даже далекое — последнее из посаженных в моей жизни деревьев давало куда больше тени.

Согласившись лишь на рюмку портвейна, мамаша поспешно удалилась, не оставив даже адреса своей гостиницы и только потребовав, чтобы мы приехали к ней по первому зову:

— А главное, приезжай на машине! Говорят, у тебя «ситроэн». Я-то думала, ты любишь машины, которые могут обогнать ветер. «Без блеска, без треска, зато полный комфорт»,— говаривал твой отец. «Ситроэн», в общем, меня устраивает. Надеюсь, ты не подведешь.

Я ничего не обещал. Уткнувшись носом в бювар, я размышлял за своим письменным столом, растревоженный возобновлением старых козней. Меня разбирали противоречивые чувства: я опасался, что меня одурачит матушка, и в то же время что я одурачу себя сам; я пытался сохранить душевное равновесие, и в то же время меня одолевало желание вновь окунуться в свою молодость. Надвигающиеся события всегда пробуждают во мне давнишнюю страсть к анализу. Передо мной на бюваре лежит листок бумаги, который я вынул из ящика стола: небольшое генеалогическое древо (Фред говорил: «Местами оно генеанелогическое»), изображенное рукой моего отца. Семьи обычно собираются вместе в одних и тех же местах: в церкви, в мэрии, на кладбище; для некоторых существует еще и дом, где воспоминания укоренились так же глубоко, как вязы в фамильном парке. Но и в таком доме семья никогда не собирается в полном составе, и местом общей встречи поневоле оказывается генеалогия, представленная либо в виде дерева, чьи весенние листики символизируют наших детей, либо в виде пирамиды, где квадратики, подвешенные друг к другу черточками, напоминают мобили Колдера[1].

Генеалогическое древо, лежавшее у меня перед глазами, относилось как раз к этому второму типу и не знаю почему («*Не знаю почему?*» Так ли? Ведь я происхожу от своих предков, и те, что появились на свет следом за мной, получили жизнь от меня), но после смерти отца я аккуратно его дополнял. Хотя между мной и другими чле-

[1] Движущиеся скульптуры. Впервые это название было дано движущимся скульптурам американского скульптора А. Колдера (род. в 1888 г.).

нами семьи не было никакой связи, сведений для этого мне хватало. У меня тоже были свои семейные осведомители — троюродные братья, вечно твердившие по этому поводу: «В конце концов, право же, тут все должно быть в порядке», перебежчики, воодушевленные противоположными чувствами; а главное, были соседские кумушки, которых нисколько не обескураживало мое молчание. Диву даешься, до чего их будоражат подобные ситуации! В течение восемнадцати лет некая мадам Ломбер, владелица книжной лавки в Сегрэ, подписывавшаяся своим именем и не скрывавшая своего адреса, вменила себе в обязанность каждые четыре месяца посылать мне краткий отчет. Выглядело это так: «Печальная новость, мосье! Ваш тис лежит на земле, как и все прочие деревья ценных пород. Здесь стараются выколотить побольше денег».

Или так: «Ваша матушка прочла в «Западном курьере» о рождении Обэна. Поначалу она отреагировала так же, как много лет назад, когда узнала о смерти вашей первой жены: «Мог бы все же меня известить». Потом проворчала: «Назвать ребенка Обэном... Надо же придумать! Правда, это анжуйское имя».

Или: «Мне понравилось последнее речение вашей матушки: «А этот растяпа в конце концов все-таки преуспел!» Я прекрасно поняла, что, по ее мнению, можно и преуспевая оставаться растяпой; но поскольку всякое преуспеяние по сути своей глубоко буржуазно, она попытается воспользоваться случаем и примкнуть к вам на каком-нибудь повороте».

Или: «Было ли это сказано для красного словца? Или с искренним чувством? Когда Жобо, ее фермерша, подарила ей иммортели, мадам Резо, говорят, заметила: «Ведь и я тоже сохну».

С некоторых пор мадам Ломбер перестала мне писать, не преминув объяснить свое молчание в почтовой открытке, изображавшей лимонные деревья Ментоны:

«Мой муж продал наше дело, и мы переехали сюда. Так что я теперь в изгнании, в теплых краях. И больше я уже не смогу быть вашим глазом и вашим ухом у вас на родине. Вы скажете, что никогда не просили меня об этом. Но вы мне этого и не запрещали — ведь вы же ни разу не отослали обратно мое письмо. Разве это не было молчаливым согласием?»

■

Но вернемся к лежавшему передо мной листку бумаги. Он разделен по горизонтали на три части. В самой верхней из них как бы царит кромешная мгла: там указаны имена тех, кого я никогда не знал. Ниже, за четкой линией — она обозначает рубеж смерти к моменту моего рождения,— в легком сумраке воспоминаний находятся умершие недавно; население этой второй зоны довольно велико, и она словно давит на пространство, отведенное для живых, напирая на неустойчивую черту, проведенную карандашом (ибо время от времени приходится стирать ее резинкой и перемещать ниже). Линия эта — не что иное, как новый рубеж смерти, отсекающий стариков, иногда делающий зигзаг, чтобы отнять у Марселя маленького сынишку, у меня — молодую жену.

Над нами уже осталось только трое: умирающая бабушка Плювиньек; восьмидесятилетний папский протонотариус, который доживает свои дни в монастыре, где в меру сил исполняет обязанности казначея; и моя матушка — на пересечении трех ветвей, ведущих к трем ее сыновьям.

Представители старшей ветви — ветви Фердинанда, или Фреда, которого мы прежде звали Рохлей, насколько мне известно от друзей,

а также из пространных (и отчаянных) сообщений мадам Ломбер,— вызывают одновременно и смех и слезы. О мой отец! Вы, который так гордились своим «чисто буржуазным родом, насчитывающим уже три века», своей фамилией, «почитаемой вплоть до набережной Конти, и в известном смысле ни в чем не уступающей дворянским фамилиям»... интересно, стали бы вы сегодня утверждать, что «геральдические цвета не передаются по наследству»? Отпрыск моего старшего брата Фреда, который немало помыкался по свету, в конце концов каким-то образом очутился на острове Реюньон, откуда через несколько лет вернулся с туземкой Амандиной Гомес и маленьким квартероном... Да, сын Фреда по имени Жак — так звали и его покойного деда,— никому не известный мелкий служащий какого-то банка в Монлери, обитатель жалкой лачуги в Лонпоне, старший в семье, «наследник имени и герба», пал так низко, что дальше уже некуда.

Марсель, помеченный от меня слева, наоборот — позаботился о том, чтобы в жилах его детей текла голубая кровь: наш Кропетт, ставший студентом Политехнического института, потом артиллерийским офицером, женился на Соланж де Кервадек, племяннице кардинала. Откупившись от службы в армии, он стал инженером, а потом президентом и генеральным директором brain-trust[1] (раз уж теперь выражаются так), находящегося в Пеке и специализирующегося в области engineering[2]. Единственный и безусловный наследник своей крестной матери, баронессы Сель д'Озель, наследник еще трех благочестивых теток, завещавших ему все свое состояние (за вычетом 15%, предназначенных на благотворительные цели — в качестве пропуска, который они предъявят у райских врат апостолу Петру). Марсель, что называется,— хороший муж, хороший отец, примерный христианин с приличными доходами, еще округлившимися благодаря доходам его жены, которая вознаграждает его тем, что, в лучших традициях героического материнства, сама округляется в среднем каждые два года. «Да это не дом, а какой-то крольчатник!» — говорят, воскликнула матушка после появления девятого отпрыска. У меня там есть и племянницы, и племянники, но тут моя генеалогия не полна. Я знаю только Луи, Розу, Эмэ, остальное — безымянное скопище (но скопище детей воспитанных, крещеных, которым читают нравоучения, которые обращаются к родителям на «вы»... Словом, настоящие Резо! Фирма почтенная).

■

Между этими двумя ветвями — я со своим семейством. Я нахожусь в середине, но по чистой случайности: о чем бы ни шла речь, я никогда не мог и не старался где бы то ни было устраиваться. Сбежав из Общества («О» заглавное), из того Общества, которое уже не осмеливается называть себя «хорошим», продолжая, однако, считать себя таковым, я не примкнул ни к какому другому. Я человек деклассированный: всем этим браминам, этим крупным буржуа, я предпочел неприкасаемых; однако же последние мечтают об обществе без классов и смотрят на меня как на перебежчика, не способного смыть с себя первородный грех. К счастью, с некоторых пор нас стало много: те, кто поднимается по социальной лестнице, и те, кто спускается по ней,— все оказываются в одном мешке... За отсутствием классового критерия мгновенно появляются другие: критерий денег, критерий должности, ванны, машины — ведь в этих приметах благополу-

[1] Мозговой трест *(англ.)*. Так называют специалистов, дающих консультации по тем или иным вопросам экономики, политики или техники.

[2] Инженерного дела *(англ.)*.

чия и заключена вся прелесть нашей эпохи... Но пойдем дальше. И пойдем быстро, потому что путь от случайной удачи к привилегированному положению не долог, а когда ты ублажен по всем статьям, даже если и не слишком, ты уже можешь спокойно смотреться в зеркало своей чистой совести, говоря при этом, что тебе неудобно перед приятелями.

Впрочем, когда я просто смотрюсь в зеркало, у меня тоже лукавый вид, ибо я вспоминаю, каким я был в молодости,— правда, тут уж ублаготворенность исчезает. Этого почтенного гражданина я хорошо знаю, я брею его каждое утро. Он, слава богу, еще не сдал! Еще полон жизни, хотя жить с ним не стало легче; в глазах живые огоньки, но одна бровь выше другой. Не изменился? Нет, на этот счет не будем заблуждаться. Волосы выглядят прилично благодаря красящему шампуню, которым я пользуюсь раз в три месяца. Но если голова у меня по-прежнему такая же квадратная, а лицо с широкими скулами, если зубами я все еще могу разгрызать косточки от персиков и подбородок так же выдается вперед, то время, увы, не пощадило моей кожи. Все это называется зрелым возрастом, пришла пора пожинать плоды.

Плоды моего труда стоят того, чего они стоят. Я не распространяюсь о них в семье. Я полагаю — эту точку зрения я унаследовал от отца,— что значимость или незначительность того, что ты делаешь, и той суммы, которую ты зарабатываешь, должны быть дома окутаны тайной, дабы это не сказывалось на родственных отношениях, которые не должны от этого зависеть. Когда занимаешься делом, которым занимаюсь я, когда знаешь, как трудно выплыть на поверхность чернильного моря тогда легко оцениваешь преимущества такого принципа и довольно скоро отдаешь себе отчет в том, что не стоит особенно уточнять источник своих доходов. В тех семьях, где думают только о карьере и никогда — о призвании, писательство в минуту откровения именуют чем-то премерзким, вроде стриптиза. В таком случае самое правильное вести себя так, чтобы они забыли, что мы и впрямь, как те дамы определенной профессии, которые, правда, обнажают только себя, тоже ходим обнаженными и попутно раздеваем наших близких и наших друзей, по роду своей деятельности стараясь захватить их врасплох в интимной жизни.

«Когда я узнаю в твоих героях что-то от себя,— говорила мне Моника,— у меня такое впечатление, будто ты проделал отверстие в стене ванной комнаты и выставил меня напоказ перед тысячью зрителей».

■

Несуществующая теперь, кто знает, может, она и посетовала бы на то, что окружена молчанием? Портрет ее висит не в моем кабинете, а в комнате Жаннэ (уменьшительное, родившееся в ее устах, чтобы отличить сына от отца). Между собой мы никогда не говорим о ней. Только обмениваемся взглядами, если случайный намек, вырвавшийся у Бертиль, вызывает в нашей памяти образ той, что исчезла навсегда. Мы даже не каждый год навещаем ее могилу в Тиэ. Между тем множество предметов в нашем доме было выбрано ею. Я ни за что не расстанусь с бумажником, совсем уже потрепанным, ее последним подарком. Жаннэ было шесть лет, когда произошла катастрофа, и он не может помнить свою мать, но тоже никогда не расстается с тоненькой цепочкой которую она носила на шее, иногда покусывая образок, как другие кусают ногти.

Однако вырастила его — порою делая над собой усилие — Бертиль, которую он зовет мамой, так же как Саломея называет меня папой. В их устах эти слова звучат так же естественно, как у Бландины

или Обэна; и посторонние с любопытством смотрят на нашу семью, где гены явно распределились с самой необузданной фантазией. Дети мосье, описанного мною выше; дети мадам (которая на десять лет моложе мосье), урожденной Дару, жившей ранее в Перре с родителями, выходцами из Буржа, типичной провинциалки с кармином на губах и ногтях, которую — ввиду ее происхождения — я называю иногда «берришонкой»... Так вот, дети мосье, непоседливого человека с неменяющейся и в общем довольно вульгарной внешностью, и дети мадам, убежденной домоседки, которой достаточно перекрасить волосы, чтобы удовлетворить свою склонность к переменам,— дети их, все четверо, мальчики и девочки, совершенно друг на друга не похожи.

Двадцатичетырехлетний Жаннэ — плотный, голубоглазый блондин, рост — 1 метр 85 сантиметров, вес — 80 килограммов, грива точно у Абесалома[1]. Впрочем, он отнюдь не мягок, не нежен. Скорее упрям. Бескорыстием пошел в свою покойную мать. Независим, хотя таким не кажется. Отнюдь не простак, хотя и кажется таким. В настоящее время, после длительной отсрочки, служит сержантом и благодаря своему диплому программиста работает на армейском компьютере. Чемпион Иль-де-Франса в беге на пятьсот метров.

Восемнадцатилетняя Саломея, сокращенно Смэ (так называет ее младший брат, ее любимец),— напротив, типичная южанка с рассыпанными по плечам черными кудрями. Она — вот ведь ухитрилась! — до такой степени похожа на Бертиль, что иной раз фотографию ее матери в молодости можно принять за недавний портрет дочери. Саломея невелика ростом и потому носит высокие каблуки. При виде ее маленькой, но пухленькой фигурки глаза у мужчин начинают плотоядно блестеть. Очень решительная, она весело командует братьями, когда ей случается выступать в роли Бертиль. Окончила лицей, однако учиться дальше не хочет. Влюблена в Гонзага, сына врача из Ланьи, и ни в грош не ставит все остальное, кроме своей скрипки.

Бландина — шестнадцатилетняя девушка, словно сошедшая с картины Рубенса, тем более что она еще и рыжая. Томная, пылкая, но при этом живая и лукавая. Она меньше, чем ее сестра, приспособлена к тому, чтобы командовать в доме, зато весьма популярна в лицее — отлично успевает по всем предметам, кроме математики. Ее хобби — фотография, и поэтому она историограф нашего клана.

Наконец, Обэн — Хватай-Глотай[2] в двенадцатилетнем возрасте, но только Обэну ни от кого не приходится защищаться. Немного кривляка. Едва на него перестают обращать внимание, начинает злиться — смотрит на вас, прикрыв глаза стрелами ресниц, и кажется, будто это щель в лопнувшей скорлупе каштана. Нужно ли добавлять, что этот непоседливый, как белка, мальчуган в кожаных штанишках, чья забавная мордашка так и вытягивается, если перед ним ставят тарелку с сельдереем, имеет надо мной известную власть?

III

У края освободившейся от воды набережной кипела Марна, снова входившая в свои берега,— мы только что видели, как по ней плыл живехонький петух, забравшийся на дубовое бревно. Все жители набережной шлепали по тине, вдыхая вонь от всплывшего на поверхность содержимого помоек, и граблями счищали отбросы со своих лу-

[1] Абесалом — по библейскому преданию, сын царя Давида; преследуемый своим врагом, запутался длинными волосами в ветвях деревьев и был убит.

[2] Хватай-Глотай — прозвище, данное в детстве Жаку Резо, от лица которого ведется повествование (см. первую часть трилогии «Семья Резо» — «Змея в кулаке». М, «Художественная литература», 1965).

жаек. Жена моя мыла подвал, выливая целыми ведрами хлорированную воду, а я обдавал струей из шланга загаженный гравий двора, как вдруг около десяти часов зазвонил телефон. Я бросился в дом, оставив грязные сапоги у входа, и в одних носках вбежал в кабинет, в то время как Бертиль входила туда в чулках. Я думал, что звонят из газеты насчет статьи. Оказалось, что звонит матушка — вернее, ее привратница, поскольку матушка туга на ухо. Без всякого предисловия она заявила визгливым голосом:

— Прошу вас принять мои соболезнования, мосье Жан. Ваша бабушка скончалась. Мадам Резо сидит у меня в швейцарской на улице Вано, дом шестнадцать и ждет, чтобы вы срочно свезли ее в Рюейль.

Ну, конечно же, в Рюейль, в дом покойницы, урожденной Вароль, появившейся на свет еще при Второй империи, единственной дочери уже не молодых в ту пору родителей: краснолицего полковника Эрика Вароля д'Эндана, по прозвищу Баран, взятого вместе с маршалом в плен при Седане, и его домоправительницы Леони, на которой он женился вовсе не по необходимости, а на следующий день после получения ею наследства, которое позволило ему счесть ее достойной себя (папа очень любил рассказывать нам по секрету эту историю). Я знал, что вилла в Рюейле, куда, оставив политику и квартиру на улице Пуссена, Плювиньеки удалились еще в 1930 году, мечтая только о том, как бы прожить подольше, довольно обширна и что на нее зарится Марсель. Но почему же матушка не там? Разве она не присутствовала при кончине бабушки? В общем, я знал об этом далеко не все; вернее, я почти ничего не знал.

— У нее есть где остановиться в Париже? — спросила Бертиль, вешая трубку.

— Возможно.. Так или иначе поехали!

Детей не было дома, в том числе и Саломеи,— в это время она сдавала экзамен, чтобы получить водительские права. Мы второпях оделись, нацарапали записку, оставили ключ соседке и помчались в гараж, где наш «ситроэн» ожидал конца наводнения. Бертиль — почти всегда машину ведет она — отдала мне руль и за весь путь, вместо того чтобы, по обыкновению, придираться к водителю, не проронила ни слова. Я же, искоса на нее поглядывая, думал: вчера ей было интересно разыгрывать из себя невестку; сегодня эта роль ей не по вкусу. День стоял серый, рестораны были полны, движение на дорогах — умеренное. В полдень я входил в привратницкую на улице Вано.

■

Матушка ела бутерброд, наполовину вытащив его из промасленного бумажного пакета; она сунула пакет в карман своего пальто и встала.

— Счастливо оставаться, Мелани,— сказала она, обратившись на «ты» к толстой привратнице, не сводившей с меня глаз.— Если я к вечеру не приеду, то позвоню тебе.

Она устроилась на заднем сиденье машины и вновь принялась жевать бутерброд, с жадностью вонзая в него свои золотые зубы.

— Пари держу, что вы не успели поесть,— сказала она, не переставая жевать.

Потом, без всякого перехода:

— Ты узнал Мелани?

Я отрицательно покачал головой.

— Дочь наших бывших фермеров из Ла-Вержере,— объяснила она.— Сестра Мадлен, которая недавно умерла в Руж-Сэль от рака. У Мелани есть мансарда на восьмом этаже. С тех пор как дочка вышла замуж, она мне уступает ее, когда я приезжаю в Париж. Это

в центре. Я могу пользоваться телефоном в привратницкой. Могу сварить себе там яйцо... А что ты думаешь? Гостиница мне не по карману: я не богата, приходится экономить.

Мадлен, моя козочка, с которой я, когда ей было пятнадцать лет, баловался под кедром, где гнездились коршуны, и которая в двадцать пять стала дородной хозяйкой соседней фермы... неужели умерла? Нет, этого я не знал. Что касается Мелани, то, конечно, она, уроженка Крана, не может забыть родные края, почитает «мадам» и из любви к местам своего детства готова ей помогать. Разве не назвала она меня по телефону «мосье Жан», как называла тридцать лет назад, когда ходила в сабо на босу ногу? Значит, не иссякло еще раболепие? Заметив выражение враждебности на моем лице, матушка на сей раз ничего не может понять. Ей и невдомек, что меня коробят эти следы былых привилегий, которые столь для нее лестны. Полагая, очевидно, что мне не нравится, как она управляет имением, она подождала, пока я проехал еще три улицы, и лишь тогда решилась прокомментировать:

— У твоего отца уже после первой войны начались трудности. Можешь себе представить, как тяжело приходится мне! И как я хочу, чтобы меня обобрали в пользу Марселя под предлогом, что ты и Фред тоже мои наследники и что если наследство сначала попадет ко мне, то состояние Плювиньеков может оказаться у вас...

Ах, вот оно что! Не здесь ли зарыта собака? Она хочет поживиться, а я должен ей посодействовать. Хороший урок для Бертиль — она же мне не верила! Между тем матушка сочла уместным изобразить скорбь.

— Бедная мама! — продолжала она.— Она была слишком стара, чтобы отрешиться от своих предубеждений. Впрочем, и Марсель не зевал...

Потом я уже слышал только шум мотора и скоро увидел в зеркальце весьма назидательное зрелище — мадам Рєзо, сунув за щеку мятную лепешку, вытащила свои четки и, решительно перебирая их пальцами, молча шевелила губами: воздавая добром за зло, она молилась за покойницу.

Площадь Звезды, застава Майо, площадь Обороны, Мальмезон. Еще полчаса — и приехали. Несмотря на то что здесь как грибы растут небоскребы, которые до тридцатого этажа будут набиты мелкими служащими — уж больно соблазнительна плата, установленная за квадратный метр,— район этот все еще сопротивляется нашествию, цепляясь за XIX век. Большинство особняков построено здесь еще в ту пору, когда не любили показной роскоши и фасады домов, обращенные в сторону парка, не должны были вызывать зависти прохожих, которым внушали уважение высокие стены, ощерившиеся битым стеклом, с плотными рядами деревьев за ними. Дверь с глазком в той стене, у которой я остановился, была отворена, и из нее выходила молодая женщина с большим чемоданом.

— Это что такое? Что она несет? — встрепенувшись, спросила матушка.

Я осведомился: то была сиделка, спешившая по другим адресам, туда, где витала смерть. Но мадам Резо уже переступила порог. Она бросила, казалось, чуть смягчившийся взгляд на лужайку, на тенистые деревья, на узенькие аллеи, усыпанные мелким песком, по которым когда-то ступала в своих высоких зашнурованных ботинках мадемуазель Плювиньек, и тотчас же, устремившись к вилле, натолкнулась на первое препятствие. Скрытый густыми кустами акубы, я не-

много отстал вместе с Бертиль, которая, глядя на пышный фасад в викторианском стиле, прошептала: «Ну и ну!» Я услышал:

— Мосье Марсель приехал с вами? Мадам Плювиньек очень просила меня...

И тут же вместо ответа грозное рычание:

— Да вы что!..

Я сразу понял, что как шофер и одновременно внушающий уважение спутник я могу оказаться полезен матушке. Чувствуя за собой поддержку, она легко привела в замешательство ту, что вышла ей навстречу. Пока завещание не прочитано, дочь умершей по естественному праву была здесь, бесспорно, у себя дома, и компаньонка, уполномоченная превратившейся в труп хозяйкой, оказалась в трудном положении. Благословенное путешествие, благодаря которому не поспел вовремя привилегированный наследник! Я выступил вперед. Бертиль тоже. Мы были в большинстве, и матушка, казалось, угомонилась, получив, наконец, возможность пойти наперекор последней воле покойницы — единственного человека на свете, которого она так и не смогла заставить плясать под свою дудку. Компаньонка же чуть не лишилась чувств.

— Но, мадам,— отважилась она пролепетать,— я получила распоряжения...

Репутация — какое это верное средство для устрашения глупцов! Сам дьявол в моем обличье прошел мимо этой девицы, жесткой, сухой, с морщинистой шеей и руками. А потом и жена дьявола, которая проворчала: «Вы как знаете, а я хочу есть». Теперь достаточно было отправить этого цербера в бельевую, но матушка на мгновение растерялась.

— Теперь, мадемуазель, распоряжаюсь здесь я,— возвысила она голос,— и прежде всего я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вам тут больше нечего делать. Нотариус заплатит вам все, что вам причитается.

Глубоко оскорбленная, старая дева быстро ретировалась, теребя свой передник. Матушка же остановила взгляд на служанке Анне. В чепце, какие носят уроженки Орейя, она не отступала ни на шаг от домоправительницы. Но второй стычки не последовало: Анна, рабыня Плювиньеков, служившая им еще в старом поместье сенатора Морбиана, быстро приняла сторону дочери покойной. Впрочем, улыбка ее красноречиво говорила об ее отношениях с побежденной.

— Бедная мадам лежит там, в голубой комнате,— пролепетала она.— Через час ее должны положить в гроб. Я не провожаю вас, мадам Поль, сами знаете, как пройти.

■

Пусть же настежь распахнутся застекленные двери передней и да проследует наше траурное шествие по толстому ковру, прикрепленному к лестнице медными прутьями! Рядом я слышу шепот: «Если бы тебя увидел здесь твой брат, у него разлилась бы желчь». Нечего и сомневаться, мое присутствие будет расценено как знак благоволения ко мне, а вовсе не как оказанная мною услуга. Но вот и площадка лестницы, освещенная мягким светом стеклянных горок, набитых разными безделушками, весьма типичными для буржуазного дома девятисотых годов: бронзовые статуэтки, фаянс, саксонский бисквит. И вот, наконец, широко раскрытая дверь голубой комнаты.

Вокруг кровати с колоннами и драпировками нагромождены остатки былого великолепия — впрочем, по-настоящему уцелели только вещи из прочных материалов: стекло, дерево, металл, а цветастый ковер и портьеры с кистями, обшитые тесьмой, пришли в ветхость.

В самой кровати нет, видно, почти ничего — нечто среднее между миниатюрной амазонкой и яблоком ранет в конце сезона. Заметнее всего руки...

— Как! — воскликнула сирота.— У нее в руках оставили четки с ангелами!

И в самом деле, пальцы покойной обвиты четками из слоновой кости, каждая бусина которых — крошечная головка ангела в золотой оправе, а вместо взрослого Христа ювелир с наивным садизмом пригвоздил к кресту младенца Иисуса. Это — редкая вещица, и мадам Резо не колеблется. Одну за другой она высвобождает бусины из уже окостеневших пальцев покойницы, сует их к себе в сумку, откуда достает в качестве замены собственные четки, добротные, будничные четки из косточек маслин, напоминающих благочестивым душам ужасы Гефсиманского сада. Вдобавок они освящены (четки с ангелочками — вряд ли), да к тому же еще не успели остыть от жарких молитв мадам Резо.

— Ну и ну! — вздыхает Бертиль за моей спиной.

Мадам Резо, которая не слышала ее вздоха, хватает веточку розмарина, плавающую в блюдце на ночном столике, и с напускной торжественностью трижды взмахивает ею в воздухе: несколько капель воды падают на отороченную кружевами простыню. Матушка поворачивается ко мне, потом спохватывается, наверняка вспомнив о моих отношениях с бабушкой, если не о моих отношениях с небом. И кладет розмарин на место.

Потом она вдруг задергивает полог кровати и, ради приличия изолировав таким образом покойницу, пикирует прямо на шкаф. Она распахивает его настежь, перетряхивает две стопы белья и под третьей находит то, что искала: конверт с надписью: «Здесь находится мое завещание», причем даже не запечатанный. Матушка тем не менее лихорадочно разрывает его. Она потрясена: это подлинное завещание, целиком написанное синими чернилами на гербовой бумаге рукою покойницы, ее красивым почерком воспитанницы Монастыря Птиц. Она читает, вся передергивается, кричит:

— Ну и подлецы!

И — раз, два! — рвет завещание пополам, потом на четыре части, на восемь частей.

■

Такого я не ожидал даже от нее! Вот она пыхтит от бешенства и топчет ногами обрывки завещания. Перед нами воскресла Психимора. Но на этот раз я не участвую в игре, я всего лишь зритель. Я словно с другой планеты вижу, как наследница задыхается от злости.

— Марсель — единственный наследник! Ему завещан дом и все, что в нем есть. Никакого раздела! У меня право только на то, что по закону положено дочери. А как вам нравится приписка: «Не ищите моих драгоценностей: я ими распорядилась»?

— Остались только самые пустяки,— произносит чей-то голос.

Это Анна, которая потихоньку вновь вошла в комнату; вид у нее такой, будто ей очень весело. Она объясняет:

— Мосье Марсель приезжал за несколько дней до своего путешествия. Я видела, как он спускался с большой коробкой. Я была в передней, а тут как раз мадам Плювиньек позвала его обратно и сказала что-то, уж не знаю что. Он вернулся, оставил коробку на стуле... Стал выносить пакеты, да не один, а десять, может, двадцать. Я подумала: ну, это все-таки слишком, он вывозит все, пользуется тем, что у мадам с головой плохо... Я решила посмотреть — коробка была набита футлярами. Открываю один, оказывается, там камень, ей-богу не вру, такой большой, с мой ноготь...

— Солитер в десять карат! — простонала мадам Резо.

— В другом — ожерелье, браслет, брошь с синими камнями...

— Бальный гарнитур с сапфирами!

Я чуть не прыснул. Однако же окончательно ли из меня изгнан дьявол? Живя на заработанные, а не на полученные в наследство деньги, хорошо зная, что кроме домашней утвари, дома и мебели (хотя уже одно это могло бы осчастливить два десятка супружеских пар, которые из кожи вон лезут, чтобы заплатить за свои двухкомнатные квартиры) не много остается от огромного состояния, сколоченного в начале века благодаря спекуляциям банкира Плювиньека... я начинаю все же досадовать, сознавая, что в конце концов я играю дурацкую роль во всей этой заварухе и что если у него, у брата, десять детей и это в какой-то мере извиняет его грабеж, то и у меня тоже четыре рта.

— Экономка поехала прямо к нотариусу предупредить его о том, что происходит,— добавила бретонка. И, глядя на валяющиеся на полу клочки бумаги, заметила: — Знаете, у них есть еще другой экземпляр завещания, у нотариуса.

■

Но мы и не пытаемся остановить мамашу, которая словно сорвалась с цепи. Она уже шарит в комоде, потом в шифоньере. Находит забытый медальон, сует его в карман, находит камею и пихает ее туда же, находит золотую коробочку для пилюль и ее тоже сует в карман, приговаривая:

— Раз уж он захапал все, мы будем просто дураками, если не соберем хотя бы последние крохи!

Нет никакой надежды на то, что мы зайдем на кухню перекусить. Она будет таскать нас за собой из комнаты в комнату, она будет хватать своей крючковатой рукой все, что попадет на глаза, и, не переставая, возмущаться подлой неблагодарностью человеческого рода. Она охрипла от крика. Пусть даже все это сплошное притворство, она не перестает повторять, что у нее ничего не останется на память о ее отце: ни единой его вещицы, ни портрета, а ведь точно в таком же положении по ее вине оказался и я, но она и глазом не моргнув изливает мне свои обиды. Она вся во власти бешенства, ее злит не столько то, что ее обобрали, сколько то, что ее одурачили. Она хватается за какую-нибудь безделушку, потом бросает ее, роется, переворачивает все вокруг, и, глядя на нее, становится ясно, что хотя, при ее алчности, ей и очень тяжело отказаться от мысли завладеть желаемым, самое страшное для нее — потерять власть.

Самой невероятной будет финальная сцена. В два часа позвонит нотариус. Услышав в трубке мой голос, он выразит удивление и в то же время радость, что в этих прискорбных обстоятельствах я нахожусь рядом с мадам Резо, которую постигло такое несчастье, и вежливо попросит меня сообщить свой клиентке и другу, «если ей это не известно», что дом завещан ее сыну Марселю. В три часа мы все вернемся в спальню, чтобы присутствовать при положении во гроб, затем гроб спустят вниз и поставят в передней у подножия серебряного распятия, поблескивающего в сумеречном свете четырех канделябров. В четыре часа над нами, наконец, смилуются, дадут чаю с сухим печеньем, а затем возобновятся поиски, и тут мы обнаружим стенной шкаф, набитый облигациями русского займа, по ценности равными стоимости бумаги, на которой они напечатаны, хотя на всех шестистах облигациях и раскинули крылья шестьсот двухглавых орлов. Наконец, в пять часов, снова раздастся телефонный звонок: Марсель позвонит

из Тринидада; он примет меня за служащего похоронного бюро, сообщит, что завтра прибудет на самолете и попросит передать всем в доме, чтобы до его приезда не смели ни к чему прикасаться.

Охваченная новым приступом злобы, матушка кидается на столовое серебро и швыряет его в чемодан. Потом хлопает себя по лбу с возгласом: «А кружева-то!» — протискивается позади гроба, наполовину загораживающего дверь в гостиную, и хватает там бретонские и ирландские кружева, по-видимому, великолепные.

А мы дожидаемся в передней. Мы сыты всем этим по горло. Нам хочется домой. Бертиль, убедившись, наконец, в моей правоте, хрустит пальцами... Но вот мадам Резо возвращается с тюком, второпях завязанным в какую-то занавеску. Тюк такой огромный, что она не может его пронести. Она вытягивает шею. В раздражении щелкает языком.

— Отодвиньте же крест! — кричит она.— Он мне мешает...

И так как, пораженные, мы не трогаемся с места, она вздымает свой тюк на вытянутой руке и перебрасывает его через гроб к нашим ногам.

IV

Как призналась сама Бертиль, результаты «испытания» оказались необнадеживающими, а потому мы не без колебания оставили у себя матушку на уик-энд, так как похороны должны были состояться только в понедельник утром. Мне не слишком приятно было видеть, как она сразу же перенесла свою добычу в багажник «ситроэна». Еще менее приятно было, что из этой кучи она извлекла комплект столовых приборов в подарок моей жене. Я обратил на это внимание за обедом, когда заметил рядом с нашими тарелками ножи и вилки с вензелем Серолей. Торжествующий взгляд матушки, ожидавшей потока благодарностей, соответствовал смущенному взгляду Бертиль, которая не посмела отказаться от подарка. Я повертел в руках ложку в стиле Людовика XVI (хорошая копия середины XIX века), как будто отыскивал на ней пробу. В ту же минуту вспышка фотоаппарата Бландины, не переставшей запечатлевать сцены нашего примирения, увековечила на пленке мои сомнения. Мадам Резо, сидевшая от меня справа, слегка уязвленным тоном протянула:

— Не бойся, она серебряная. Пусть это будет моим свадебным подарком, хотя и несколько запоздалым.

— Благодарю вас, матушка,— с трудом выговорил я.

Приборы только что почистили, и суп, как мне показалось, явственно отдавал порошком для чистки посуды.

■

Мадам Резо, видимо, поняла, что произвела на нас в Рюейле неприятное впечатление. Она держалась натянуто. Но не стушевалась, нет, даже безмолвствуя, она занимала слишком много места. Она и не растерялась, несмотря на то что старые правила хорошего тона под моей либеральной крышей не соблюдались. Ее пронизывающий взгляд не дремал: осуждая наше время, он старался не замечать сутулящихся спин, локтей на столе, тарелок, которые дети приподнимали во время еды или вытирали хлебным мякишем на глазах у безразличных к этому родителей. Ее ухо поворачивалось то ко мне, то к Бертиль, то к Саломее, в знак особого расположения причисленной ею к разряду взрослых; она старалась не замечать болтовни детей, которые влезали в разговор, когда их не спрашивали. Но могла ли она отвергнуть простодушие Обэна:

— Послушайте, бабуся, хотите еще пирожного?

Ироническая улыбка, однако утвердительный кивок головой, тем более недвусмысленный, что пирожное было достойно похвалы,— и на ее тарелку свалилась изрядная добавка. Что поделать, если дети не умеют вести себя за столом? Зато здесь отличное меню, полное семейное согласие и центральное отопление! По временам она, округлившаяся, отяжелевшая, добродушная, забывала держаться прямо, разваливалась в кресле и, словно кошка, глядела узкими зрачками на нашу уютную трапезу.

Я продолжал держаться очень сдержанно, но Бертиль совсем размякла, глядя на свекровь, которая сокрушенно помешивала свою настойку шиповника и забрасывала ее вопросами о ребятишках. Кончилось тем, что в полночь, после долгого совещания в супружеской постели, Бертиль отпустила ей грехи:

— Дадим ей возможность искупить былое.

Бертиль соглашалась с тем, что нужно принять кое-какие меры предосторожности. Но желание наверстать упущенное побеждало в ней смутное предчувствие опасности, и она непрестанно повторяла один и тот же довод: не слишком ли долго мы пренебрегали интересами детей? Вправе ли мы из гордости не воспользоваться случаем снова сделать их полноправными Резо — ведь они же ничуть не хуже других! Осталась ли их бабушка все такой же коварной и не следует ли нам попытаться обезвредить ее, окружив заботами, которых требует ее возраст, и угощая сластями? Как почти у всех женщин, у Бертиль есть что-то от бойскаута. Она уже мечтала об обращении мадам Резо... Какая благородная миссия: превратить из демона в ангела эту несчастную, чье пренебрежение к нам наверняка объяснялось пренебрежением к ней собственной матери, а тут еще древние предрассудки, неудачный роман, брак без любви, приведший к своеобразному раздражению против семьи, к чему-то вроде вариации на тему арии тореадора: «Я не люблю тебя, я не люблю тебя, так пусть же твои дети берегутся меня!»

■

Самое любопытное состоит в том, что, не признавая за мной никаких достоинств, кроме моего «невозможного характера», прибегая к туманным намекам на свои невзгоды, выгодно используя то обстоятельство, что и малая частица истины сообщает правдоподобие любой небылице, сама же матушка как бы дала «зеленую улицу» такому объяснению. Человек быстро хватается за то, что его оправдывает или позволяет ему сохранить лицо. На следующий день матушка постаралась держаться еще более смиренно. Но было ли это действительно притворством? Если ее манера набрасываться на паштет, потом втягивать в себя спагетти с таким же энтузиазмом, с каким курица заглатывает червяка, свидетельствовала о неудовлетворенном аппетите, то вся эта сложная игра пересекающихся морщин, кудахтающих смешков, моргающих век — не выдавала ли она иного голода? Разумеется, даже памятуя о древней истории, я был далек от мысли, что за неимением волчат в один прекрасный день у сосцов волчицы можно найти Ромула или Ромулу! Но то, что матушка могла сожалеть о прошлом, казалось мне вполне возможным.

Кстати, в воскресенье произошли три эпизода, в которых мадам Резо проявила себя как существо благодушное. Во-первых, она не возмутилась, что к мессе ей пришлось идти одной. Во-вторых, с одиннадцати утра до шести вечера у нас было целое нашествие молодежи, что ее, конечно, утомило; но и здесь она оказалась на высоте. Наступила очередь наших детей принимать у себя, и, как это всегда бывает

раз в месяц, наш дом заполнили Марк и Сюзанна Машу, Клэр, младшая дочь (если не ошибаюсь) Жиля Макслона, Луиза Форю и ее лохматый племянник Андре Форю с двумя незнакомыми мне девочками, Кармен, подруга Бландины, Гонзаг, дружок Саломеи, Мари, подружка Жаннэ, и другие. Они расхаживали по всему дому, заглядывали в спальню, хозяйничали в холодильнике, рылись среди пластинок, топтали паркет, до блеска натертый Бертиль, шумели и со свистом, хлопая в ладоши, тряся в такт музыке головой и задом, плясали с таким неистовством, что обтянутые колготками бедра моих дочерей обнажались чуть ли не до пояса. Разумеется, матушке пришлось ретироваться на кухню и, стараясь не выказывать удивления нашей неприхотливостью, наскоро поесть там вместе с нами. Прощаясь с Гонзагом, Саломея позволила ему поцеловать себя в губы, и только это зрелище заставило матушку раскрыть рот.

— Они помолвлены? — спросила она.

— Знаете,— ответила Бертиль,— теперь это не имеет значения.

Шея матушки слегка передернулась. Но она проглотила и это. После того как молодежь разбежалась, явилась бабушка Дару, чтобы за семейным ужином отпраздновать свой шестьдесят пятый день рождения. Встреча двух бабушек, двух вдов, у одной из которых муж был судьей, а у другой — кондитером, могла оказаться довольно кислой. Не будучи знакомы, они издали недолюбливали друг друга: одна кичилась своей лавочкой, другая — мантией покойного супруга. Но нам дано было насладиться двойным номером искусства очаровывать, причем у мадам Резо это искусство умерялось остатками высокомерия, а у мадам Дару — веселой недоверчивостью.

— Откровенно говоря, мадам, я вас представляла себе иначе...

Мадам Дару, с ее бесцветными, как у вареного судака, глазами, обрамленными реденькими ресницами, с жирным, словно у гусыни, животом, покачивавшимся в такт ее плоскостопной походке, с каркающим, исходившим откуда-то изнутри голосом, выглядела не слишком презентабельно и сама это знала. Но она знала также и то, что со времени своего рождения поднялась по социальной лестнице, тогда как мадам Резо спустилась. Она долго сетовала вместе с матушкой на новые правила аренды земли, на исчезновение повинностей, дичи, прислуги, законов, морали, облаченной в длинную мантию, и твердой власти в лице ее усатых представителей; мадам Дару все это нисколько не тревожило — ей просто нужно было поддакивать матушке, чтобы вести с ней разговор на равных. Она досадовала еще на увеличение стоимости торговых патентов, ограничение прибылей и на невероятную дерзость молодого поколения: дело дошло до того, что некоторые родители — она лично знакома с такими,— когда у них похищают ребенка, еще требуют от похитителей платы за то, что берут его обратно.

— Об этих я не говорю, мадам, ваши еще сносные...

Обсуждали также политические вопросы: мадам Резо, претендуя на роль Кассандры, заявила, что государственная машина, хоть и порядком износившаяся, как уверял когда-то Людовик XV, переживет еще, бог ты мой, ее самое, а возможно, даже и ее (жест в сторону Бертиль), но уж во всяком случае не ее (жест в сторону Саломеи), этой-то суждено умирать под властью серпа и молота.

— Да, тут уж ничего не поделаешь, когда-нибудь придется же восстанавливать порядок!

— Вы меня пугаете, мадам!

Преуспев, в общем, недавно, не потеряв надежды утвердиться в жизни, мелкая буржуазия уже не шла за буржуазией крупной, которая к тому же вела себя двусмысленно,— мадам Резо нарочно чуть

провоцировала: она зондировала почву, ожидала моей реакции. Я учтиво слушал. Буржуазная глупость не лишена забавных сторон; достаточно сказать, что она сама же выставляет себя на посмешище. Но, подобно кухонным запахам, она требует вентиляции. Я уже хотел было встать и пойти немного проветриться, когда обе дамы, возмущенные какой-то фривольной афишей, наклеенной возле моста Гурнэ, стали сокрушаться по поводу невиданного разгула секса... поглядывая при этом на наших дочерей. Без видимой связи с предыдущим мадам Резо сказала:

— Да, кстати, на кой черт этим девочкам дали такие странные имена? Почему вдруг Саломея — в честь той, что приказала отсечь голову Иоанну Крестителю? Почему Бландина — в честь мученицы, которой выпустила кишки лионская корова?

— Я сама захотела такое имя,— сказала Бландина.

— Ты что, смеешься надо мной? — воскликнула мадам Резо.

— Да нет, бабушка,— вмешалась Саломея,— я тоже изменила имя. Зачем же носить то, которое нам дали, не спросив нашего согласия?

Я ждал, что матушка взорвется от такой дерзости, но она даже не поинтересовалась, какое же настоящее имя у Саломеи.

— Видать, эта девочка с характером,— процедила мадам Резо.

— Вся в тебя,— ответила Саломея.

Кое-что произошло в этот момент, но никто, кроме меня, этого не заметил. Сморщенные веки мадам Резо, на мгновение опустившиеся на ее глаза цвета бутылочного стекла, медленно поднялись, и из-под них сверкнули изумруды. Привыкнув называть на «ты» свою бабушку Дару, Саломея только что и к бабушке Резо обратилась на «ты».

V

Было два оповещения. В нашем перечислялись все: «Вдова мадам Поль Резо, мосье и мадам Фердинанд Резо и их дети, мосье и мадам Жан Резо и их дети, мосье и мадам Марсель Резо и их дети с прискорбием извещают...» Впрочем, мне не легко было, как выражается матушка, «расцветить» это сообщение. Но Анна предупредила нас по телефону, что Марсель, вернувшись с Карибского моря, пренебрег нашим оповещением и заказал другое, в котором были названы только вдова мадам Поль Резо и он сам — газета «Фигаро» поместила его в отделе «Хроника», в рубрике траурных известий. В результате одни и те же люди получили по два варианта некрологической прозы; похороны обещали быть многолюдными. И даже комичными.

Подъезжаем мы—с опозданием на несколько минут—вместе. Гроб с венками уже погружен на автомобиль — катафалк, стоящий у двери, обрамленной черной материей. Марсель держится возле катафалка, в сером костюме с черным галстуком и черной повязкой на руке, он стоит такой подтянутый, словно на нем мундир. Лицо замкнутое, каким было и в двадцать лет (он словно на всю жизнь загримирован сорокалетним). Соланж, которую я видел раза три-четыре еще девушкой и теперь с трудом узнаю, до того она высохла, тихонько болтает с компаньонкой. Нацепив на себя приличествующую случаю скорбную мину, все трое кажутся, однако, встревоженными — они втянули головы в плечи, будто в ожидании ужасного скандала. Вероятно, по этой причине, дабы не омрачать невинные души — или опасаясь вопросов,— Марсель не взял с собою детей. Уж не решил ли он обойтись и без соседей? Гроб собираются провожать каких-нибудь десять человек.

Но мы это сейчас уладим. Из пяти машин нас выходит двадцать

человек. Все мои — в полном составе, и даже Жаннэ, которого отпустили на похороны. Все Дару — им захотелось укрепить непризнанное родство, и я их не отговаривал: бабушка, обе ее дочери и оба зятя, сын и невестка, да еще несколько мальчуганов. Чета Форю, чета Макслон, Гонзаг. Наконец, Мелани с мужем, сталепрокатчиком на заводе Рено,— их присутствие должно придать похоронам особенно респектабельный вид... Бедный Марсель! Его опущенные веки растерянно поднимаются, и, когда матушка, под траурной вуалью из черного крепа, опираясь на мою руку, со скорбным видом подходит к нему, он шипит:

— Бабушка не одобрила бы вас!

— Будь она жива, конечно, не одобрила бы,— шепотом соглашается мадам Резо.— Но теперь, умерев, она должна понимать, что к чему.

Марсель наблюдает за мной характерным для него взглядом: сверху вниз. Сомнения нет: наши братские узы вот-вот оборвутся. Жаннэ по-военному отдает честь Марселю, на что дядюшка, вперив взгляд в племянника-сержанта, непроизвольно вздергивает подбородок. Но вот является распорядитель и облегчает положение: обмен любезностями и представления теперь уже были бы некстати.

— Прошу вас, мосье! — приглашает он с приторной вежливостью.

Марсель, как будто дело идет о его престиже, сразу выступает на два шага вперед. Он — главный наследник, он хоронит *свою* бабушку. Траурную процессию должен возглавлять он — это неоспоримо. В отсутствие Фреда я здесь, к сожалению, старший, и я не большой любитель чечевичной похлебки и не продавал за нее своего права первородства. Шнуры по обеим сторонам процессии не протянуты: значит, старшему полагается быть справа. Я обхожу генерального директора, а он, пораженный тем, что оказался слева, замедляет шаг, пытается чуточку отстать, чтобы в свою очередь обойти меня. Увы! Жаннэ подходит сзади и идет рядом со мной, я немного сторонюсь, и Кропетт, стремясь занять место справа, оказывается в канавке, куда местные кумушки так часто заставляют присаживаться своих пуделей. В конце концов Обэн встает в один ряд со своим братом, между тем как мой брат отступает: он переползает во второй ряд и идет один, ощетинившись притворным безразличием и подстриженными ежиком волосами. Повернув на секунду голову, я замечаю, что Соланж тоже вытеснили из первого ряда: она плетется в хвосте, делая вид, что ей совершенно все равно.

Но испытание будет недолгим, сестрица! Это сосредоточенное топтание позади траурного автомобиля, словно происходящее в фильме с замедленной съемкой, длится на протяжении всего лишь трехсот метров. Вот уже и церковь, увешанная широкими черными полотнищами, по которым струятся серебряные слезы. Звуки органа, дующего в свои самые толстые трубы, колышут стоячую воду кропильниц и спертый воздух храма, где среди столь угодного богу запаха горелого стеарина вырос густой лес свечей. «Толпы нет, но народу много»,— говорил мой отец, рассказывая о церемониях высокого класса. Сегодня именно такой случай. Мэр, поверенный, адвокат и нотариус Плювиньеков, директор местного отделения Лионского кредитного банка, генеральный советник — все они здесь: они пришли хоронить не столько бабушку, сколько вдову сенатора, в общем, его вторую половину, оказавшуюся прочнее первой. Вокруг них — с полсотни анонимов, среди которых и обычные плакальщицы с сухими глазами, старые дамы, провожающие такую же, как они, старуху в рай для рантье, обеспеченный им благодаря молитвам и мессам, которые будут отправляться на их по-

жертвования, зарегистрированные в приходских книгах. Я заметил, как одна из них, увидев меня, толкнула локтем другую.

■

Довольно насмехаться. Пройдем к нашей скамье. От девяностолетней старухи, упрятанной в обитый атласом гроб, который выгружают из траурного автомобиля и ставят на затянутый черным сукном катафалк, мне досталась четвертая часть моих генов. Моя бабушка со стороны Резо передала мне отнюдь не больше, а все-таки ее смерть — мне было тогда лет десять — оказалась для меня катастрофой. Со смертью бабушки Плювиньек я ровным счетом ничего не лишаюсь, и хвастать мне тоже решительно нечем. Но ненормальное остается ненормальным, тем более что эти Плювиньеки, которые не дали мне ни нежности, ни материальных благ, наградили меня как своими физическими чертами, так и своим характером. Они надолго себя переживут — до той поры, пока я хожу по земле. Вы меня слышите, бабушка? Где бы вы ни были, знайте: от вашей упрямой, наглой и цепкой породы, чуть испорченной тем, что бумажник, который ее представители носили на сердце, стал чересчур уж толстым, нить преемственности тянется ко мне, к Обэну, шепчущему мне на ухо:

— Скажи, тетя Соланж — это та, что не толще велосипеда? — И потом сразу же: — А бабуся-то ничуть и не плачет...

Я шикаю на него, но он прав: бабуся, которую зовут так, на русский манер, со вчерашнего дня, потому что, по мнению Обэна, она должна была бы жить где-нибудь в Сибири, раз от нее веет на нас таким холодом, бабуся и в самом деле не плачет. Ни единой слезинки, только какая-то каменная скорбь, от которой голова ее совсем ушла в плечи. Те, кто был старше ее, ее не любили, и теперь пустота разверзлась над нею, ближайшей кандидаткой на кончину. Те, кто за нею следует, тоже не предлагают ей ничего — ни тепла, ни участия. Началась заупокойная служба. Но чем мертвые отличаются для нее от живых? Ее рот медленно раскрывается, словно ей не хватает воздуха. Я вижу, как она кладет руку на плечо Саломеи.

■

Она будет пребывать в прострации до самого отпущения грехов. Но ей приходится встать и идти на кладбище... а там вдруг опять начинается все тот же балаган.

После окропления разверстой могилы и гроба — когда его опускали в землю, раздался такой треск, словно кто-то ударил топором по ящику, а когда вытаскивали веревки, по крышке забарабанили мелкие камушки,— Марсель и Соланж, с минуту посовещавшись в тени кипариса, приняли удивительное решение: вместо того чтобы встать вместе с нами и, разумеется, позади нас и выслушать соболезнования, они становятся по другую сторону аллеи: слегка ссутулившись, с выражением скорби и с предупредительной улыбкой на лице, навострив уши и подставив щеки для поцелуев верных друзей. Компаньонка бросается к ним.

— Мадам Плювиньек этого не заслужила,— рыдает она, уже заключенная в разверстые навстречу ей объятия; руки в перчатках похлопывают ее по спине.

Утешься, дочь моя! Мадам Плювиньек никогда нас больше не увидит; при жизни она не знала, что этот мир уже не принадлежит тем, кто, распоряжаясь почтенным состоянием, полагал, что им будет принадлежать и другой мир. Она хотела иметь все — сначала землю, а потом небо. Она этого, конечно, не заслужила... Тем временем компаньонка не замечая нас, уходит, прямая, как «и», увенчанное шляпой,

словно диакритическим знаком, при этом она украдкой бросает взгляд на происходящее за ее спиной. Увы! За ней стоит красный от мучительных сомнений нотариус: он не знает, как ему быть. Если мною можно пренебречь, то в отношении матушки, его клиентки, этого делать не следует. Она может вверить свои интересы нотариусу из Соледо, который, как человек предусмотрительный, постарается к тому же, чтобы она сделала завещание в пользу достойнейшего. И вот этот несчастный человек разрывается на части. Левой ногой он делает шаг в сторону матушки, кланяется ей, говорит то, что следует, потом быстро поворачивается, правой ногой делает шаг к Соланж, которой выказывает те же знаки уважения. Тотчас отскочив назад, он оказывается передо мной, бормочет любезности и тут же кидается в противоположную сторону, чтобы выразить свои симпатии Марселю. Слава богу, справа их только двое, и потому он не рискует вывихнуть себе шею... Теперь он может семенить прочь, отвешивая легкие поклоны всем остальным, стоящим с моей стороны.

Но так как нас все-таки значительно больше, это производит впечатление на присутствующих, и не все следуют примеру нотариуса. Арно и Батист, мэр, генеральный советник совершенно пренебрегают Марселем и Соланж, так что те инстинктивно приближаются к нам; теперь, если бы их забыли, это выглядело бы просто нелепо. В конце концов они встают на расстоянии метра от нас и невозмутимо торчат там, пока движется, сменяя друг друга, поток соболезнующих. Марсель уставился на меня, как на стену. Впрочем, выражение его взгляда нетрудно расшифровать: «Поскольку ты отсутствовал двадцать четыре года, ты потерял право считать себя принадлежащим к роду Резо. Тебя больше не существует. Чего тебе тут надо?» Я с ним почти согласен. Мне трудно привыкнуть снова. Наконец, вот и Анна, старая служанка. Марсель снисходительно протягивает ей два пальца, произносит два слова, потом добавляет:

— Кстати, в два часа нотариус будет опечатывать дом. Готовьтесь к отъезду.

Он говорит это в отместку нам. Но я уже отпарировал:

— Если вам некуда ехать, Анна, можете поселиться у нас, хотя бы временно.

— Я уже решила,— сказала Анна.— Я возвращаюсь в Орэ к своим племянникам.

— Пошли! — говорит Соланж и, стуча каблуками по гравию, тянет за руку своего супруга.

Марсель ведет себя сдержаннее ее. Он знает, что после того, как дом опечатают, производить опись имущества бывает очень затруднительно, если эксперт противоположной стороны оценит его слишком высоко. И вот он колеблется — что же делать: обвинять? обливать презрением? блюсти этикет? Но вскоре он улыбается — он нашел решение, за ним останется последнее слово.

— Церемония окончена,— говорит он.— Благодарю вас.

Но он слишком понадеялся на свою собственную серьезность. У самых ворот кладбища он чуть съежился, словно сдерживая желание чихнуть. Как он ни старался, все мы слышали — и в каком-то смысле это даже утешительно: он не смог удержаться от смеха.

VI

Так как опечатывание дома должно было производиться в присутствии мадам Резо, я оставил машину Бертиль и поручил ей доставить матушку домой. Но этого оказалось недостаточно.

— Ты останешься с нами, Саломея? — спросила бабушка.

Саломея, собиравшаяся ехать вместе с Гонзагом, не посмела отказаться. Я же вернулся с остальными детьми в старом сереньком «рено» Батиста Форю — он живет возле моста в одном из четырех домов-башен, недавно построенных на берегу канала. У меня была срочная работа, у ребят — уроки, а Жаннэ хотел прокатиться в спортивный клуб.

И вот, три часа провозившись с корректурой, испещрив ее знаками переноса и выкидки, я услышал позвякивание чашек. Значит, мои вернулись. Они трещали, как стая скворцов, заглушаемая карканьем вороны.

— Ты спустишься перекусить? — крикнула снизу Бландина.

Я подошел к застекленной двери в домашних туфлях и на секунду остановился. Матушка, разумеется, неподвижно сидела, позволяя себя обслуживать, и ее спокойную уверенность в том, что она таким образом следует естественному порядку вещей, казалось, разделяли все... «Бабушка, хотите пряник?» — «Бабушка, сахарку?» — «Матушка, шоколад не слишком горячий?» Все порхали вокруг нее, словно мотыльки, а бабушка, по правде сказать, очень небрежно причесанная и, вероятно, не лучше того умытая, но при этом изысканно светская, отставив мизинец, бросала себе в рот маленькие кусочки и не переставая разглагольствовала:

— Это уж точно! Я с ним церемониться не стану, с этим нотариусом. Я обращусь к мэтру Дибону, преемнику мэтра Сен-Жермена в Соледо. Завтра же поеду к нему, а вы будете так милы и проводите меня к восьмичасовому поезду.

Я отворил дверь. Едва повернув голову, она продолжала:

— Предложил мне оценить имение в ту же сумму, что и в момент смерти папы! Чтобы избежать расходов на переоценку! Да это же мошенничество... Два гектара в Рюейле, при теперешних-то ценах на землю, можете себе представить! И какое местоположение — покупатели так и набросятся! А Соланж пишет: «Бабушка взяла с нас клятву, что мы сохраним дом». Ручаюсь, не пройдет и двух лет, как все будет продано.

Итак, здесь, в кругу *моей* семьи, она вновь повела речь о крупных деньгах, которые наряду с «великими принципами» и мелкими компромиссами всегда занимали *ее* семью. И снова меня охватил страх — страх, смешанный с чувством отвращения, с ненавистью беглеца к родному племени. И в то же время внутренний голос говорил: «А мы-то надрываемся, выплачивая взносы за дом. Располагать нам хотя бы третью той земли, что причитается нам по праву...» Черт побери, это ведь заманчиво!

Я тоже не прочь закусить хорошим камамбером со стаканчиком красного вина, да не какого-нибудь, а бургундского. Все это ожидало меня на круглом столике, а перед столиком — соломенный стул... Хорошо, что мы еще не спим на соломе. Но сейчас я сел на нее. Мадам Резо продолжала вещать:

— Дом принадлежит Марселю — тут уж я ничего не могу поделать. Но если за парк назначат ту цену, какую он стоит, из чего же будут они выделять мне мою долю — просто не пойму. Чтобы сохранить Рюейль и спекулировать земельными участками, ему придется продать Бель-Анжери... Смотри-ка, ты, оказывается, здесь! Что, кончил марать бумагу?

— Уже выдал положенное число страниц? — как эхо, повторила Бертиль.

«Марать бумагу» и «выдать положенное число страниц» — это были священные формулы, избавлявшие меня от всяких восторгов Но если под «выдать положенное число страниц» подразумевалось до-

стойное похвалы прилежание и даже намек на два латинских изречения с розовых листков «Малого Ларусса»: «Labor omnia vincit improbus»[1] Вергилия и «Nulla dies sine linea»[2] Плиния,— то «марать бумагу» содержало некую оценку, вероятно относящуюся к прошлому, во всяком случае, единственную, которую матушка когда-либо высказывала, молчаливо подразумевая при этом, что заработок есть заработок и что тут уж нельзя не считаться с пословицей: «Abusus non tollit usum»[3].

— Впрочем, Марсель очень хорошо все понял,— добавила мадам Резо.— Он уступит. Он знает, что я не дам себя обобрать.

Камамбер был что надо — никто не умеет так хорошо выбирать сыр, как Бертиль. Я наблюдал за своим маленьким мирком: Бландина скучала, Обэн дурачился, Саломея внимательно слушала, а Жаннэ был настроен явно враждебно. Произошло то, что должно было произойти.

— И вам нужна такая куча денег? — спросил Жаннэ; на голубые глаза его упала белокурая прядь.

От изумления матушка открыла рот.

— Спроси у своего отца, сколько нужно денег, чтобы прожить,— сухо отрезала она.— Впрочем, эти деньги также и ваши!

Дело пошло веселее! Слова «это мои денежки» — никого не трогают. Когда же вы говорите: «Это деньги моих детей», вы выступаете в роли жертвы и привлекаете к себе симпатию толпы (забывающей о предварительном условии: они получат их только после моей смерти).

— Жаннэ — чистая душа,— сказала Саломея, зарешечивая ресницами свои черные глаза.— Но ест он за четверых.

Бертиль дважды прищелкнула языком: условный знак, к которому мы прибегали при посторонних, чтобы прекратить спор, наносящий ущерб доброму имени Эрде (Р. Д., то есть Резо-Дару, согласно вензелям, вышитым крестиком на салфетках). Матушке это доставило истинное наслаждение — она обнаружила первую трещину в нашем семействе: отсутствие взаимной симпатии между двумя старшими детьми. Жаннэ встал, стиснув зубы.

— Он весь в тебя, этот мальчик! — прошипела мадам Резо в мою сторону, но настолько внятно, что эту сентенцию можно было слышать на улице.

— Вы мне льстите,— сказал Жаннэ уже в дверях.

Бертиль строго посмотрела на меня. Мой сын всегда становится на сто процентов моим, когда что-нибудь неладно, и я должен отвечать за его выходки. Впрочем, Бертиль напрасно встревожилась. Для Кассандры возможность прокомментировать что-либо — всегда удовольствие:

— Видишь, до чего просто воспитывать детей! Пришла твоя очередь, мой мальчик, желаю тебе удачи! Потому что такие хищные звери, как ты, прежде составляли исключение, а теперь они — правило.— И добавила, желая выразить сочувствие Бертиль: — Вам, наверно, порой бывает нелегко, бедняжка вы моя!

— Делаю что в моих силах,— ответила Бертиль слишком поспешно.

Я нахмурил брови, отчего жена моя смутилась, а матушка просияла.

— Жаннэ будет куда опаснее тебя,— продолжала она.— Ты заставил меня дорого заплатить за свое послушание. Но твой сын ведь

[1] Упорным трудом можно добиться всего *(лат.)*.

[2] Ни дня без строчки *(лат.)*.

[3] Хоть и знаешь, что поступаешь неблаговидно, не всегда от этого отказываешься *(лат.)*.

не станет бунтарем, он будет «активным деятелем». Для них это все равно что вступить в монашеский орден, теперь у них такая манера.

От гнева, от сознания, что осмеливаются ей противоречить, она, как прежде, становилась откровенной и прямолинейной. Раззадоренная моим молчанием, раззадоренная своим выпадом против Жаннэ, она совсем распоясалась:

— Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасно знаю! В глубине души ты согласен с твоим вороненком. Ты думаешь, что я корыстна... Ну и что же! Да, я корыстна. В жизни никем и ничем не воспользовалась. Даже когда командовала твоим отцом, я это делала во имя его принципов и его притязаний, подкрепленных моим приданым. После его смерти меня эксплуатировал Марсель... С меня довольно. Теперь я старая, малопочтенная дама, которая хочет воспользоваться тем, что у нее осталось.

— Я вам налью еще шоколада, матушка? — предложила Бертиль, спеша поправить положение.

— Не откажусь,— согласилась мадам Резо.

Бландина уже услужливо протягивала тарелку с пирожным. Но в тот момент, когда кувшин с шоколадом коснулся носиком чашки — трах! — он вдруг выскользнул из рук Бертиль и вдребезги разлетелся у самых ног мадам Резо, обутых в черные туфли, не чищенные уже больше года.

— Ну вот! — воскликнула Бертиль.— Опять на меня эта напасть нашла...

■

Она трет себе правую ладонь, прочерченную у самого запястья длинным лиловым шрамом. Удрученная, уже не раздумывая, она старается оправдаться перед свекровью, вокруг ног которой разлилась коричневая лужа:

— Извините меня, со мной это бывает после того несчастного случая. Время от времени большой палец вдруг перестает действовать.

Растерявшись, она умолкает, но слишком поздно. Впрочем, если бы матушка и не заметила смущения Бертиль, ее насторожили бы наши тревожно забегавшие взгляды. О том, что вырвалось сейчас у Бертиль, мы не говорим никогда.

— Какого несчастного случая? — ласково спрашивает мадам Резо.

Солгать при Саломее, Бландине, Обэне? Об этом не может быть и речи. Тем самым мы только подчеркнули бы важность события. Лучше сказать правду, не вдаваясь в подробности, и лучше, чтобы сказал ее я.

— У Бертиль был серьезный перелом кисти.

Вернулся Жаннэ. Он, вероятно, подумал, что оставил меня в трудном положении, что лучше ему давить на стул своими восемьюдесятью килограммами, сидя за столом напротив бабушки. Он все слышал и теперь словно окаменел. Пусть даже он весьма смутно помнит о случившемся, все-таки у него есть жестокая уверенность, что он при этом присутствовал; Саломея не менее серьезна, хотя она и не подозревает, что в общем тоже была там. Что до Бертиль, то вместо того, чтобы броситься за тряпкой и положить конец этой сцене, она стоит, опустив руки, и не двигается с места. Матушка встала и весело шагает по шоколадной луже, осколки фарфора трещат под ее ногами, как кости. Она берет руку Бертиль и качает головой:

— Ну, вам еще повезло — могли остаться вовсе без руки!

Теперь она уже не сомневается: вместо того чтобы сгустить тайну, наше молчание только прояснило ее. Матушка еще не вполне улавливает связь между событиями, но можно быть уверенным: если

это звено разомкнется, разомкнутся и все остальные. Деликатность, уважительное отношение к тайным ранам других людей — не ее амплуа. Толстый указательный палец матушки направлен на Бертиль... ради того, чтоб узнать, она не постесняется разворошить все. Она бурчит себе под нос, ни на кого не глядя, и таким тоном, будто не придает своим словам никакого значения:

— Значит, вы были в машине, когда погибла первая жена моего сына? Вы ее знали?

Жаннэ сжимает кулаки в карманах. Но поскольку молчать уже невозможно, Бертиль вновь обретает хладнокровие.

— Это была моя кузина,— говорит она.

■

Теперь ноги уже слушаются ее, и она идет за тряпкой. Разговор на этом пресекся, но вечер все равно испорчен тягостным ощущением невскрытого нарыва. Бертиль и я делаем похвальное — и вполне очевидное — усилие, чтобы найти тему для беседы. Нас воодушевляет сознание того, что матушка уезжает с вечерним поездом. Но мы все высчитали по старому расписанию и, усомнившись в нем лишь около пяти часов, слишком поздно позвонили в справочное бюро вокзала Монпарнас. Намеченный нами поезд отменен. Есть, правда, другой, около одиннадцати часов, прибывающий ночью, но на него все места забронированы для делегатов всефранцузского съезда цветоводов. Если матушка и попадет на этот поезд, наверняка ей придется всю дорогу стоять.

— Но я непременно должна быть завтра утром у Дибона. Тут медлить нельзя! — по крайней мере трижды повторяет мадам Резо. И делает вывод, который, видимо, вполне ее устраивает: — Послушай, если бы ты мог на два дня освободиться, проще всего было бы, чтобы ты отвез меня туда. Переночуешь завтра в Бель-Анжери, а в среду вернешься.

Как отказаться? Я спрашиваю, как отказаться от приманки, если тобою вдруг овладело желание отведать ее? Решительно, я не перестаю себе удивляться. И вот уже самшитовые кусты с маленькими красными ягодами; широкий луг, прорезанный канавой, полной лягушек; флюгера с сидящими на них, как на вертеле, живыми воробьями, которые поджариваются на солнце; гладкая поверхность пруда, усеянного глазками водяных лилий,— вот уже все это кажется мне таким безобидным! Я с удовольствием погляжу на все это вновь — мимоходом, разумеется, только мимоходом и когда не будет рядом владелицы этих мест.

— Жаль, что Жаннэ надо возвращаться на службу, а у Бертиль на шее лицеисты,— продолжает матушка.— Они приедут в другой раз. Но мы можем взять с собой Саломею. Я вас ненадолго покину. Пойду немного отдохну. Спущусь к ужину.

■

Бертиль смотрит на меня как-то необычно. Саломея тоже. Ребром правой руки она полирует себе ногти на левой. Бландина, послюнив палец, прижимает его к чулку — в том месте, где спустилась петля. Наконец, мы услышали наверху тяжелые шаги матери. Жаннэ встает и начинает расхаживать взад и вперед по комнате.

— Я тебя не узнаю, папа,— говорит он.— Твоя мать требует, диктует, а ты слушаешься. На кладбище мы выглядели смешно. Там на тебя будут смотреть как на диковинного зверя. Во всяком случае, мне не верится, что эта старуха желает тебе добра...

— Жаннэ! — прикрикнула Бертиль.

— ...и будь я дома, когда она сюда явилась,— продолжает Жаннэ,— я мигом препроводил бы ее обратно в лодку!

В свою очередь поднялась Саломея — и так стремительно, что грудь ее под кофточкой дрогнула. Облизнув губы кончиком языка, она возражает:

— Препроводил бы обратно, не спросив нас? По какому же праву?

Ее довод попал в цель. Жаннэ корректирует стрельбу:

— Не один я думаю, что к нам возвратился дьявол! Ей некому было больше вредить, стало скучно, и она явилась сюда разыгрывать прощение всех обид... Да что говорить! Достаточно посмотреть, в каких она теперь отношениях с дядей Марселем: она просто сменила объект своих нападок.

— Ну, что касается дяди, то он сам этого добился, теперь пришла его очередь,— сказала Бландина.— А я вовсе не прочь познакомиться с бабушкой. Разумеется, она не святая, но что ни говорите, она первая пришла к нам, а не наоборот.

— Я бы скорее стыдилась этого,— сказала Саломея.— Кто должен был сделать первый шаг, мы или она?

— Во всяком случае, на похоронах было забавно! — сказал Обэн.

— А тебя не пугает, что похороны кого-либо из членов семьи могут быть забавны? Неужели ты будешь забавляться на папиных похоронах?

Тут они все испуганно уставились на меня, а мне стало тепло от этих взглядов. Но не для того ли Саломея выбрала в качестве примера не свою мать, а меня, чтобы не вообразить самое для себя ужасное?

VII

Хотя посреди Мана у меня лопнула шина, которую мне пришлось менять с помощью Саломеи — при случае она умеет помочь не хуже взрослой,— в то время как матушка докучала нам своими советами, сожалея о старых, надежных домкратах, заляпанных черной колесной мазью, сразу превращавшей холеные белые руки господина судьи в руки плебея... Хотя вдова вышеназванного судьи хотела сделать кое-какие покупки и потому просила меня ехать торговыми, а стало быть, самыми людными улицами Сегрэ, где мы встретили множество изумленных женщин, кивавших нам головой, и мужчин, которые приветствовали нас в два приема, то есть слегка приподнимали шляпу при виде матушки, а глядя на меня, не очень любезно нахлобучивали ее на голову... Хотя мы посетили мэтра Дибона, надутого и молчаливого, весь дом которого утопал в стеганых обивках — и дверь, и стены, и кресла, и сам нотариус, ухитрявшийся, косясь одним глазом на матушку, а другим на грудь Саломеи, разглядывать еще и меня и одновременно почесывать себе колено, размышляя о неожиданных переменах, происходящих в семьях... Хотя, подъехав к роще, я увидел, что не так уж она красива, что ее живые изгороди местами поломаны бульдозерами, трава со всех сторон осаждает последние купы старых деревьев, а ангары, крытые рифленым железом, уродуют пейзаж, но зато все — от пруда до пруда, от проселочной дороги до узкой тропки — свидетельствует о торжестве ферм над замками... Хотя, проезжая мимо изредка встречавшихся каменных ворот, свежевыкрашенных в белый цвет, за которыми виднелась расчищенная аллея, ряды сосен, вздымающие к небу свои два кубометра деловой древесины, а дальше — большие черепичные крыши, фасады в стиле Людовика XIV без единой царапины,— хотя, проезжая мимо всего этого, сидевшая у меня в машине владелица замка замечала: «Ну, ясно! Ведь эти де Гламоты во время войны торговали на черном рынке!..» Или: «Ну, ясно!

Американцы купили замок Гонтронов и хорошенько отмыли его... Хотя на подступах к Бель-Анжери мы не встретили ни одной знакомой мне фермерши, которая, как прежде, гнала бы на водопой корову, потряхивая своим шиньоном... Словом, несмотря на ощущение, что я старею, охватывающее всякого, кто наталкивается на перемены, пытаясь вновь обрести себя среди того, что осталось от былого,— наше путешествие прошло совсем не плохо.

— Семья Барбливьен в свое время держала пять бретонок,— сказала матушка у последнего поворота.— Жобо держат восемь нормандок и разводят табак. Ты увидишь, они превратили ригу в сушилку.

Опять победа фермеров — победа, в жертву которой принесено все! Место стало неузнаваемым. Парк исчез, за исключением нескольких платанов: их древесина ничего не стоит. Исчезли ограды вокруг участков — вместо них стоят деревенские изгороди: вбитый в землю кусок рельса чередуется тут с каштановым колом или расколовшимся цементным столбом, кое-как обмотанным ржавой железной проволокой. Океан зелени с островками навозных лепешек подступает к самым домам; и на поверхности его видны лишь легкие борозды протоптанных тропок. Я поставил машину на траве, у каркаса большого строения, где когда-то была оранжерея. В ней не осталось ни одного стекла, лишь несколько осколков застряло в уголках рам, обвитых пышно разросшимися побегами глицинии. Тут же валялись куски черепицы и туфа, свидетельствовавшие о плачевном состоянии здания: стены его покрылись трещинами, а крыша, подозрительно вздувшаяся оттого, что стропила, вероятно, прогнили так же, как и обрешетка, поросла мхом и лишайником. В разломанных ставнях не хватало половины дощечек, а наверху слуховые окошки, окаймленные облупившимся кирпичом, превратились в зияющие дыры, куда прямиком влетали воробьи.

— Что я могу поделать? — сказала матушка, подчеркнуто обращаясь к Саломее.— Твой дядя Марсель не дает на ремонт ни одного су.— Потом, сложив руки рупором, она закричала в сторону речки Омэ: — Фе...ликс! Мар...та!

Тут я заметил фермеров, которые большими граблями сгребали листья для подстилки. Мужчина не двинулся с места, а только поднял руку. Женщина, толстуха, запакованная в блузу, неторопливо направилась к нам.

— Это Марта Аржье, из Бертоньеры,— объяснила матушка.

— С приездом, мадам! Дать вам ключи, мадам? — крикнула Марта, подойдя на расстояние десяти метров.

При всей ее осторожной сдержанности, маленькие поросячьи глазки и выпяченные вперед губы фермерши говорили о жадном аппетите к новостям.

— А ведь и вправду это мосье Жан! — продолжала она.— Я была совсем крошкой, когда он отсюда уехал, а все-таки сразу его узнала. Намедни я говорила Феликсу: едва лисенок завизжит, его и след простыл! А эта симпатичная барышня, кто ж она есть?.. Жаль, нет у меня времени. Пойдемте же, мадам, я отдам вам ваше добро.

Фамильярность тона, некоторая небрежность формы обращения красноречиво свидетельствовали о перемене в отношениях между хлевом и салоном. Но здесь, вероятно, было и нечто другое.

— Я всегда оставляю ключи Марте, когда уезжаю,— сказала мадам Резо.— Подождите меня минуточку.

■

Минута растянулась на целую четверть часа. Мне странно было вновь очутиться здесь; еще более странно то, что окружающее не ка-

залось мне чужим — напротив: я словно бы вернулся домой, и вместе с тем меня коробило от одной мысли, что я причастен к этим руинам, что я вышел из этого отжившего свой век, поблекшего мирка, к которому, однако, меня непреодолимо влекли воспоминания молодости. Воспоминания! Они как засахарившееся варенье! Я медленно обошел правый флигель дома и попал во внутренний двор, где от прежних огромных цветников остался только один жинериум с пышными метелками листьев, росший среди усеянной птичьим пометом глинистой пустыни, по которой бродили куры разных пород. Издали я увидел тетку Жобо с мешком на спине, которая вышла из своего дома и исчезла в доме напротив; следом за нею шла матушка, бережно неся большую жестяную коробку кубической формы — из тех, что предназначены уберегать от сырости уложенное в десять слоев печенье. Я знал, что обе женщины сейчас будут отпирать двери: дверь внизу, ведущую на лестницу, затем дверь на площадке, потом дверь гардеробной и попадут, наконец, в святая святых — спальню мадам. Саломея, стуча зубами от холода, в изумлении смотрела на этот ряд полуразвалившихся строений, на эти башенки, вонзающиеся в серый туман, уже спускавшийся на пастбища.

— Как она тут живет? — сочувственно сказала девушка.— Она разорена, у нее ничего не осталось, это сразу видно.

Каблуки Марты Жобо уже стучали по лестнице. Лучше было ответить вполголоса:

— Если говорить о доходах, детка, то ты отчасти права, хотя кое-что твоей бабушке дает ферма, к тому же она получает половину пенсии твоего дедушки и еще небольшую ренту. А потом, ты сама видела мешок и коробку от печенья. Опасаясь пожара, бабушка при каждой отлучке отдает их на сохранение фермерше. Так вот представь себе, что там на несколько миллионов ценных бумаг и фамильных драгоценностей.

А зачем, в сущности говоря, делать вид, будто для меня это тайна? Фермерша вышла. Потирая руки, я бросил:

— Все в порядке? Сокровища в целости и сохранности? Можно подниматься, мадам Марта?

Лицо тетки Жобо на миг сжалось, замкнулось в знак преданности и уважения к чужой тайне. Потом ее маленькие глазки засветились дружелюбием — видимо, потому, что я назвал ее «мадам Марта». Она засмеялась.

— С ума сойти, мосье Жан. Представляете, вдруг все это сгорит у меня в доме? Меня просто дрожь берет, когда я думаю об этом. Двадцать раз я ей говорила: ведь существуют же банки! Но если положить в банк, отвечает она, то после моей смерти это будет поделено между всеми. А я хочу отдать тому, кому мне захочется. А потом, скажу вам правду: она перебирает их, свои бумаги, ласкает, отрезает по одному купончики... Для нее это развлечение. Что ей еще остается, кроме разговоров со мной после воскресной мессы да по вечерам? Единственная знакомая, к которой она ходила в базарные дни в Сегрэ, мадам Ломбер...

— Мадам Ломбер?..— воскликнул я, совершенно ошарашенный тем, что так поздно открыл столь простое объяснение всему.

— Да, она переехала. Мосье Марсель больше не появляется. Он рассердился на мадам Резо: она спиливает деревья, продает мебель. Ну, а дети его, что им здесь делать? — Она секунду помолчала в нерешительности, потом стала выкладывать дальше: — Однажды — было это уже давненько — мадам залучила к себе на две недели Розу, его старшую дочь. Бедняжка! Она умирала от скуки. Есть всякую дрянь, без конца выслушивать замечания: «А ну, держись прямо! Надо

говорить: «Да, бабушка, благодарю вас, бабушка!»...» Через пять дней девчонка стащила у нее ассигнацию и удрала. Я и сама не люблю, когда мои ребятишки болтаются возле замка. Иной раз ей и хочется, чтобы они пришли, она ходит вокруг них, как наши мужчины вокруг какой-нибудь машины — до того охота заглянуть, что там у нее внутри. Но это ей быстро надоедает, она начинает браниться, кричит. Однажды поймала моего мальчишку и давай щипать его за руку, да еще с вывертом. Ничего не скажу, сорванец обозвал ее старой козой. Но уж это мое дело надавать ему подзатыльников.

— Так вы тут сплетничаете? — раздался вдруг громкий бас моей матушки, высунувшейся из окна.

— Это я разболталась,— крикнула Марта и добавила: — Феликс меня ждет, побегу.— Но сама не сдвинулась с места и зашептала мне на ухо: — А все-таки никак она не привыкнет жить одна. Вот уж десять лет твердит, что поедет с вами повидаться. Все искала подходящий повод... Выходит, правда, что мосье Марсель прибрал к рукам наследство?

Я только наклонил голову и пожал плечами. Марта даже не улыбнулась: уступать то, что принадлежит тебе по праву, в глазах крестьянки — непростительное легкомыслие. Но она промолвила назидательным тоном:

— Добро свое не выманивают: его пóтом добывать надо.— И тут же, возвращаясь к практическим вопросам, добавила: — А поесть вы с собой привезли? У вас-то в гостях мадам наедается досыта, от нее же, кроме трех сухих картофелин, ничего не дождешься... А средство против блох у вас есть?

Я снова только кивнул: я знал этот дом. Я ступил в него твердым шагом.

■

Уже в дни моей молодости дом в Бель-Анжери был довольно потрепан; теперь же разрушения стали еще заметнее. «Дом превращается в лабиринт пещер,— писала мадам Ломбер.— Ваша матушка пользуется всего одной комнатой». Во мраке передней, куда сквозь щели в поломанных ставнях проникало достаточно света для того, чтобы можно было через нее пройти, мы ступали по выпавшим плиткам пола, по валявшемуся здесь какому-то тряпью, которое никто и никогда не убирал, по сухим листьям, должно быть занесенным ветром, дувшим под дверь. В комнате почти не осталось мебели; отклеившиеся местами обои висели клочьями; гравюры в рамках были настолько засижены мухами, что невозможно было понять, каков их сюжет.

— До чего же мрачно! — прошептала Саломея, прижавшись ко мне.

Я толкнул ногой дверь в полуосвещенную столовую, которая, как и гостиная и вся анфилада комнат, окнами выходила на теплицу. Красивый камин, сложенный из плиток, разрисованных моим прадедом-художником, был невредим. Но в воздухе пахло чем-то неопределенным, похожим на запах тления; зелень деревьев, вытканных на обюссонах, висела клочьями, а роспись потолка, деревянная обшивка стен, стоявший посреди комнаты огромный стол с гнутыми ножками, шкаф в стиле Ренессанса, буфет эпохи Людовика XIV, настоящий, и напротив него второй, скопированный после очередного раздела имущества,— все было покрыто тонким беловатым слоем плесени. По прогибавшимся под ногами паркетинам я прошел через большую гостиную, потом через малую; всюду не хватало мебели, всюду царила сырость, разрушавшая ту, что еще уцелела.

— Уж очень тут неприятно пахнет! — сказала Саломея, когда мы вошли в кабинет.— Не могу больше, я открою окно.

— Если сумеешь. Рамы заклиниваются, и закрыть их потом еще труднее,— сказала мадам Резо.

Она спустилась по другой лестнице и ждала нас здесь, усевшись в углу на сундуке для дров, неподвижная, как сова в привычном для нее полумраке...

— Кстати, начиная отсюда и дальше в доме есть электричество. Я велела сделать проводку в пяти комнатах.

Щелкнул выключатель — и загорелся скупой, тусклый свет: лампочка в пятнадцать ватт освещала комнату площадью в тридцать квадратных метров, отчего комната показалась еще более пустой: по стенам тянулись стеллажи, но на них не было ни одной книги.

— Мне пришлось продать библиотеку,— сказала мадам Резо.— Все равно ее ели черви и мыши. Да и к чему теперь мне книги? Из-за катаракты я стала очень плохо видеть... Я отведу вас в ваши комнаты.

Поднимаясь по лестнице, на площадке слева я заметил проем, заделанный кирпичом: чтобы упростить дело, мадам Резо велела замуровать комнаты в этом конце дома. Она предложила мне спальню в стиле ампир, а Саломее — комнату епископа, в которой девушка сразу же распахнула ставни. У каждого из нас на кровати лежала пара тонких, как кисея, сероватых простынь и наволочка столь же сомнительной белизны — результат полоскания в мутных водах речки Омэ.

— У меня нет такого комфорта, как у вас, сами знаете,— заметила хозяйка.— Воду, девочка, найдешь в кувшине, дрова — в корзинке. В семь часов я позвоню...

— Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем,— сказала Саломея.— Ужин я приготовлю.

— Это не дитя, а просто ангел! — воскликнула мадам Резо.

Она исчезла, словно ее всосал в себя бесконечный коридор, ведущий вдоль мансард в другие жилые комнаты, которые она себе оставила. Я прошел следом за ней метров десять, чтобы посмотреть, во что превратилась моя бывшая берлога, но нашел там лишь две кучи картофеля, пустившего длинные лиловые ростки. Рядом, в бывшей ризнице, источали аромат разложенные там яблоки — ранет вперемежку с кальвилем. Но часовня в башенке была на замке. Я вернулся в комнату в стиле ампир, где Саломея при помощи газетной бумаги и щепок растапливала печь.

— Почему, интересно, твоя матушка так держится за этот дом? — спросила она.— В небольшой теплой квартирке в городе ей было бы в сто раз лучше, чем в этом полуразвалившемся замке!

— Твой дед ответил бы на это: «Мы жили здесь при Людовике Шестнадцатом». Довод вроде бы довольно зыбкий, но для некоторых он основательнее, чем капитальная стена. Половина здешней округи еще принадлежит людям такой породы.

— Разгорается,— сказала Саломея, запихивая в печь последний номер «Западного курьера».

— Вот и хорошо! Это первый этап. Теперь прогоним мух.

— Что? — в ужасе воскликнула Саломея.

Я обнял ее.

— Ну, ты горожанка! Разве ты не знаешь, что осенью мухи улетают с полей и на зиму переселяются в плохо защищенные дома, где уютно устраиваются за мебелью? Когда топят печи, они в тепле просыпаются. Так вот, второй этап: ты заходишь в комнату, моришь их дезинсектaлем, потом выходишь и ждешь, чтобы яд хорошенько подействовал. После ужина — третий этап: надо подмести пол, стараясь по возможности не давить мух ногами. Однажды я сам видел: их собрали

целое ведро. Но зато у гостя, по крайней мере, есть надежда выспаться.

■

Сколько раз мы «приготовляли» таким вот способом комнаты для нежданных гостей, когда, бывало, зимой внезапно к нам заезжали протонотариус или баронесса. Полчаса спустя все уже шло по обычной программе: в натопленных комнатах, среди адского жужжания бессчетного множества мух (musca domestica[1], круживших вперемежку с большими синими мухами и даже со слепнями), я снова наполовину опорожнил флакон дезинсекталя. Не упустил из виду и паркет, по которому прыгали подозрительные черные точки. Потом сошел вниз помочь Саломее, пораженной отсутствием удобств — явлением вполне обычным для здешних хозяек.

— Как можно жить без водопровода? Все грязное. Ни одной чистой кастрюли. Достань-ка наш дорожный набор.

Я принес. Мы наскоро вытерли стол и поели на уголке из алюминиевых тарелок в двух метрах от стенных шкафов, набитых фарфоровой посудой, столь же драгоценной, сколь и грязной. Уже темнело. Сначала матушка бродила вокруг нас со своим фонариком в руке, потом у нее начались затяжные приступы кашля; она поднялась к себе и легла спать не поужинав — только попросила Саломею зайти к ней, пожелать спокойной ночи. В восемь часов мы тоже поднялись в свои комнаты, вымели мух, перетряхнули матрацы, вытерли мебель, усеянную мухами, уже дохлыми или еще вяло трепетавшими крыльями. Когда мы вошли к матушке, она лежала с открытым ртом и храпела при мерцающем свете ночника, под строгим взглядом моего папы, который, в судейской шапочке, с медалями на мантии, взирал с высоты своей рамы на закопченное логово, где почивала пережившая его супруга. Над ночным столиком я заметил распятие из черного дерева с отломанной рукой и чашу для святой воды, совершенно сухую, где поблескивала связка ключей. Мы тихо вышли. Саломея легла и очень быстро уснула. Через некоторое время, услышав, что у матушки снова начались приступы кашля, я в пижаме направился к ней.

— Это ты? — прошептала матушка.

Я подошел, послав впереди себя кружок света от моего карманного фонаря.

— Пусть Саломея не беспокоится! — сказала она.— Это просто легкая эмфизема. Но скажи мне...— Она села в постели и, как-то странно глядя на меня, повторила: — Скажи мне... Ты действительно женился на Бертиль семнадцатого декабря? Я сейчас нашла эту дату в одном старом письме.

Мне ничего не оставалось, как ответить «да». Она продолжала в полумраке, теребя пряди своих волос:

— Это любопытно, я никогда не сопоставляла даты. Я думала, что прошло два года, но ведь несчастный случай произошел за одиннадцать месяцев до твоей женитьбы. Ты очень скоро женился вторично.

— У меня ведь был Жаннэ,— ответил я, быть может, излишне торжественно.

И ушел к себе, думая: «Поделом мне! Не надо было приезжать!» Я закутался во влажные простыни, но все равно не смог ни заснуть, ни помешать нескольким особенно живучим мухам, на лету боровшимся со смертью, в конце концов упасть среди ночи прямо мне на физиономию.

[1] Муха домашняя *(лат.)*.

VIII

Мы смешны — вот что больше всего меня пугает в нашей семье. Представить себе только во второй половине двадцатого века, что ты происходишь от этой смеси мелких дворян-ультрамонтанов, священнослужителей в цветных сутанах, от этих пузатых толстяков, живущих за дверьми с золочеными табличками и ценимых в зависимости от того, во сколько оценивается их имущество; что ты родной внук депутата-консерватора, сведения о котором во время выборов газеты давали в столь лестном для него сокращении: «Фердинанд Резо, консерв., 37 489 голосов, избран»,— словом, что ты последыш, родившийся среди каких-то обломков девятнадцатого века, вклинившихся в двадцатый... Это удручает.

Отсюда и мое бегство, и мои колебания — даже спустя столько лет,— стоит ли возвращаться в родные места? Впрочем, мне нечего было тревожиться: все они умерли и лежат в земле — и сами они, и их слуги. Склеп графов Соледо в жалком состоянии; заброшены склепы и четырех других семейств, которые владели всеми землями этого прихода. Жанни и Симон, чета Аржье, садовник и полевой сторож Перро — все они покоятся в одной ограде: их могилы, давно заброшенные, усыпаны бусинами с заржавленных венков. Неподалеку от претенциозного надгробья мэтра Сен-Жермена приятно выглядит еще свежая могила Мадлены, вся в хризантемах. Отрадно, что могила моего отца, который сначала был похоронен в Сегрэ (в нашем склепе уже не оставалось места), а потом перевезен Марселем в Соледо, являет взору лишь мраморную плиту (да и то из искусственного мрамора) с лаконичной надписью: «СЕМЬЯ РЕЗО».

На могиле ни единого цветочка. Прежде чем уйти, я наклоняюсь за круглым камушком и кладу его над буквой «М» в слове «семья». «Только твердое сохраняется надолго»,— говорили крестьяне, обтесывая гранитные плиты для своих могил. Если вы где-то существуете, папа, то взгляните: сюда приходил один из ваших сыновей.

Я спускаюсь по дороге, ведущей к плотине. Заслышав мои шаги, две или три головы на мгновение высовываются из-за живых изгородей. Потом щелчок хлыста, рассекающего утренний воздух, и обычные ругательства — значит, чья-то упряжка снова тронулась с места. Кое-где тарахтят тракторы, но крохотные поля батраки пашут еще на лошадях, оставляющих вдоль борозды кучи горячего, дымящегося навоза. Облака спустились низко — они плывут, они движутся от Сегрэ к Верну, и в ту же сторону клонятся трепещущие тополя, высоко подрезанные садовым ножом; с их верхних ветвей свисают шарики омелы — это недосягаемое рождество, которое справляют дрозды, лакомясь клейкими белыми ягодами. И вдруг зазвонил колокол...

Колокол! Я слышал много колоколов, но звук этого я узнаю среди тысячи. Я забыл, что в прежнее время распорядок дня был более торопливым и соблюдался строже — мы от этого отвыкли,— и думал, что успею прогуляться до того, как проснутся женщины. Но мадам Резо, хотя делать ей нечего, продолжает по старой привычке жить по солнцу: она садится за стол в половине седьмого утра, потом в половине двенадцатого, потом в половине седьмого вечера. Сбежав с откоса, я иду прямиком по широкому лугу. Нормандские коровы, опустив головы и время от времени облизывая языком ноздри, жуют густую для этого времени года, сочную траву без примеси мха или осоки. Они бредут по пастбищу, покачивая розовым выменем и медленно переступая своими шерстистыми ногами, на которых не увидишь ни единого комочка навоза. Хороший хозяин этот Жобо, только уж очень мало у него земли. Он давно заметил меня, но крепко держится за

ручки своего красного мотокультиватора и продолжает окучивать в огороде капусту. Вот что важно, и я уверен в этом так же, как и он: сила перешла от землевладельца к арендатору. Земля, подобно женщине, принадлежит не тому, кто считает ее своею, а тому, кто проникает в нее.

Колокол звонит во второй раз, теперь уже более продолжительно. Я вхожу в кухню, где пахнет пригорелым молоком. Саломея повисла на веревке и заливается смехом.

— Ну, звони, звони,— говорит матушка, вертя ручку кофейной мельницы.— Все в Соледо будут ломать голову, кто же это ко мне приехал.

Всклокоченная, в стоптанных шлепанцах на босу ногу, в старом, вылинявшем халате, она ликует, она словно расцвела в этом грязном тряпье и лучится всеми своими морщинами. Ее неравнодушие к Саломее становится все более явным. Впервые я спрашиваю себя: уж не хотелось ли ей иметь дочь?

— Ты, вероятно, был на кладбище,— говорит матушка.— А мы ходили к Марте за молоком.

Она смеется, глядя на свою внучку.

— На обратном пути,— сказала Саломея,— я опрокинула кувшин, и мы снова пошли за молоком...— она смеется, глядя на бабушку,— которое убежало, пока мы тут рассматривали старые фотографии тридцатилетней давности.

Обе они смеются, словно подключенные друг к другу. Мадам Резо, видимо не столь уж безболезненно преодолевая свою скупость, весело заканчивает:

— Марта недавно сняла сливки. Молока у нее больше нет. Но ее мальчишка сведет Саломею в Бертоньеру... А тебе я позвонила, чтобы узнать, какие у тебя планы.

— Я же сказал: после завтрака мы поедем. Мне надо быть в Париже самое позднее в два часа.

— Тогда иди быстрее, моя кошечка.

В устах мадам Резо такие нежности! Она и сама от удивления облизывает зубы кончиком языка. Заботливость так и рвется из нее наружу, и она кричит вдогонку Саломее, уже направившейся к ферме:

— Раз ты все равно туда идешь, скажи Марте, пусть приготовит корзину яблок.

Во что, однако, обойдутся мне эти яблоки? По тому, как она смотрит вслед Саломее, по ее улыбке, постепенно тонущей в серьезности лица, я уже догадался, что матушка все поняла. Она снова взялась за ручку своей старой кофейной мельницы и, заглушая шум, кричит:

— Прости, что я возвращаюсь к этому. Но имею же я право знать. Мне не хватало одной даты — даты рождения Саломеи. Она мне ее назвала. Несчастный случай произошел в январе, девочка рождается в мае, ты женишься на ее матери в декабре. От кого же Саломея?

Несчастный случай — и как реальность, и как воспоминание — переживается всего за несколько секунд, но эти несколько секунд странным образом растянуты, они протекают в каком-то другом времени, не в том, которое показывают наши часы. Габриель, брат Батиста, передал мне руль — просто так, ради моего удовольствия. С бензином пока еще трудно, поэтому после войны мне редко приходилось водить машину. Грузовик, идущий впереди, мчал по дороге на Мальзерб со скоростью около ста километров в час между двумя рядами деревьев и кустарника, от мороза превратившихся в щетки. Габриель сидит справа от меня, и месту его суждено сейчас снова оправдать

свою репутацию места смертника. За спиной Габриеля — моя жена, Моника, позади меня — его жена, Бертиль, беременная на шестом месяце. Жаннэ спит, вклинившись между двумя кузинами. И вдруг машина теряет управление, начинает скользить...

— Не тормози! — кричит Габриель, но слишком поздно.

Вода из лопнувшей трубы деревенского водопровода покрыла дорогу ледяной скатертью. Машина метнулась к обочине, наискосок врезалась в платан. Ни единого крика. А самый удар словно бы расслоился: с правой стороны захрустело, разламываясь, листовое железо, одновременно хлынул дождь плексигласа и, визжа на одной пронзительной ноте, в воздух взметнулся какой-то металлический предмет — уже потом, метрах в сорока от машины, нашли совершенно целый верхний багажник.

Вот и все. Я стал вдовцом, и Бертиль овдовела. Здоровой рукой она держит Жаннэ, которого спасла, закрыв своим телом. Она в ужасе повторяет:

— Мы одни.

Я слышу ее голос, вижу ее отражение в зеркальце и вижу перед собой уходящую вдаль траурную ленту гудрона. Но моя грудная клетка в нескольких местах продырявлена, и мне трудно говорить, я едва дышу. Чтобы нас извлечь, чтобы увезти нас в этот леденящий холод, от которого я еще так долго не смогу отделаться, пришлось развороти́ть крышу машины. Вслед за «скорой помощью» пришел автофургон, и в него — потому, что я затормозил, вероятно, потому, что я затормозил,— задвинули покрытые простыней две пары носилок. И произошел какой-то немыслимый обмен, обмен партнерами между мертвыми и живыми. Ни я, ни Бертиль не могли оставаться в одиночестве: был шестилетний ребенок; был другой, еще не родившийся; и то, чего лишился каждый из нас, было ему возвращено другим... От кого же Саломея? От судьбы.

■

Все это я только что кое-как объяснил этой старой даме, и она вот уже минут десять сокрушенно качает головой. Насколько упорно она стремилась узнать, настолько спокойно, по видимости, приняла она мое известие. Родство по женской линии? В нашей семье это не ново. Теперь матушка посвящена в важную тайну, но это ставит ее на равную ногу с Бертиль. Что до Саломеи, то тут нет никакого сомнения: в глазах матушки она ничего не потеряла, напротив, мадам Резо с тем большей радостью могла теперь назвать ее своей внучкой.

— Ты хорошо поступил,— повторяет матушка.— Только вот никак не пойму, зачем надо было так тщательно скрывать это от меня?

Впервые матушка одобряет мой поступок, но боюсь, что она меня неверно поняла. Что она думает? Я отнюдь не считал себя обязанным жениться на Бертиль, я не исполнял тут никакого долга. Просто каждый из нас нашел прибежище в другом.

— Девочка знает? — спрашивает матушка, поглядев, наконец, мне прямо в лицо.

— Поневоле! Она одна носит фамилию Форю.

Хоть и поздно, но — и это тоже впервые — матушку, без видимой задней мысли, занимает что-то для меня важное. Она шепчет:

— Я хотела спросить: знает ли она, как погиб ее отец?

— Да, но без подробностей.

Неопределенное движение рукой, сопровождающее мой ответ, достаточно многозначительно: «подробности» — это моя ответственность за несчастный случай, впрочем, спорная. Не могу сказать, к добру или к худу, что Саломея ни о чем не догадывается. Нам не хотелось от-

равлять ей жизнь и отвращать от того, кто воспитал ее как родную дочь (с тем большей охотой, что, кроме Батиста, никого из Форю не осталось, так же как у Жаннэ не осталось никого из Арбенов).

Через несколько минут Саломея придет сюда, она будет суетиться с мягкой непререкаемостью, которая подчиняет ей всякого, и матушка, любуясь ею, забудет о своем стынущем шоколаде. Я всегда знал ее ненасытную жадность к деньгам, к власти, к почестям. Но совсем иную жадность выражает трепет ее лиловых губ и этот вожделенный взгляд, брошенный на быстрые молодые колени, на нежный изгиб юного плеча. Когда настанет время отъезда, матушка, взяв с Саломеи слово вернуться, наденет ей на руку тоненький девичий браслет; потом она как бы невзначай обратится ко мне с таким наивным в своей прозрачной хитрости предложением:

— Кстати, если хочешь, я сдала бы тебе флигель. Его надо привести в порядок, и вы могли бы приезжать сюда на каникулы.

IX

Уф! Наконец-то я с радостью вернулся домой после этой двухнедельной экскурсии в прошлое. К своим недостаткам привыкаешь; труднее свыкнуться со своими противоречиями, со своею тоской по былому. Я, между прочим, убежден в том, что есть три категории людей: сущность одних исчерпывается глаголом «иметь», сущность других — глаголом «быть» и сущность третьих — глаголом «делать». Ничего не имея, будучи никем, я выражаю свою сущность этим последним глаголом, и, глядя вокруг на энтузиастов, новаторов или догматиков трезвым взглядом ремесленника, я никогда не искал в белизне бумаги или простынь ничего иного, кроме прибавления работы или прибавления семейства — и не без того даже, чтобы по нескольку раз начинать сызнова и порою испортить то, что сделано. Я хочу заткнуть дыру, хочу отрицать, что мне чего-то не хватает, хочу приблизиться к норме. Но все это возможно лишь при решительном отказе от того, что меня произвело. Я боялся за свою целостность. Именно в этом, по возвращении домой, я в первую очередь признался Бертиль.

— Не вижу оснований,— сказала она, поправляя мне галстук.— Ты ведь давно уже не тот, каким себя воображаешь.

Я застал ее, как всегда, за работой: она постукивала на «ундервуде» в моем кабинете. Горение, азарт, присущие людям в двадцать лет, Бертиль не свойственны. В жизни для нее всего важнее семейное согласие, комфорт — спокойное, почти притупившееся чувство удовлетворения, которое, кажется, приходит само собой, но на самом деле требует от нее постоянной заботы. Бертиль — фея машин: стиральной, гладильной, швейной, вязальной. Она — богиня миксеров, мельниц, взбивалок, мешалок, а также пишущей машинки и фотоувеличителя; она знает все о кнопках, о перезарядке, о сроках действия, о том, когда и куда надо закапывать масло. Всегда причесанная, с маникюром, она одновременно хозяйка, кастелянша, кухарка, воспитательница, машинистка, секретарь, делопроизводитель и счетовод, и все это — на дому, стало быть, не тратясь на дорогу и не теряя лишнего времени, но зато и не получая никакого жалованья. К счастью, она умеет заставить мужа, сыновей и дочерей помогать по хозяйству: они приучены вносить — почти безропотно — свою лепту в дела семьи. Оправившись после несчастья, Бертиль быстро наладила домашний быт, вновь обрела душевное равновесие, а мне оставалось лишь приспособиться к ней. У нее хорошее здоровье, легкий нрав, она мила, в обращении серьезна, не лишена чувства юмора. Добавим, что выглядит она моложаво: умудрилась в свои годы не прибавить ни грамма веса, у нее нет ни

одного седого волоса, а груди еще такие острые, что колют ладони. Она очень хороша в постели, но шепчет: «Как я наслаждаюсь!» — когда ждешь от нее: «Я тебя люблю». Она торжествующе обыденна, как вода из крана, забывающая о том, чем она обязана чуду родников.

Я ценю Бертиль. Враждебность матери, гибель Моники дважды лишали меня самых больших привязанностей, и — если не считать отцовских чувств — я довольствуюсь теперь контрактами. Я тоже стал обыденным, как электрический ток, к которому подключают лампу на потолке. И в жизни, и в мечтах главное для меня — что-то производить на свет: либо детей, либо литературные персонажи, невзирая на риск, с которым это связано в наше время, когда первые вступают в споры, а вторые вызывают споры, так что и те и другие могут одурачить меня в третий раз. Но что поделать? Наши порождения предназначены не для нас. Чтобы оправдать свое существование, мне достаточно приносить плоды.

■

Жизнь вошла в привычную колею. Прошла неделя, а из Бель-Анжери не было никаких известий; впрочем, мы и сами ничего не сообщали туда. Но в доме как будто действовал чей-то дурной глаз. Жаннэ, уже на последнем месяце службы, понизили в звании и посадили на гауптвахту из-за того, что он повздорил со своим капитаном. У Бландины был жар, и она томилась в постели с жестоким гриппом, осложненным воспалением лобных пазух, да еще таким стойким, что пришлось ввести ей в нос трубочки. Ветер переменился, стояли сухие морозы, и, пытаясь сломать лед маленького бассейна, чтобы вытащить из него золотых рыбок, Обэн умудрился вывихнуть себе ногу. Только Саломея была здорова, она вовсю помогала матери, ухаживая за братом и сестрой,— по крайней мере, когда бывала дома. Но дома она оставалась все реже и реже. Ее дружок Гонзаг беспрестанно появлялся у калитки со своей машиной. Чаще всего он не заходил в дом, а просто давал о себе знать прерывистым гудком. Иногда даже свистел. Я ничего не имею против этого парня: сын одного из лучших врачей нашей округи и сам студент-медик, он очень хорош собой, модно одет — пожалуй, даже слишком модно; у него, по-видимому, много денег — пожалуй, слишком много. В его несколько развязной манере держаться, в его равнодушии к родителям любимой девушки нет ничего особенного, ничего исключительного для нашего времени. Я не мог бы точнее определить, почему же он все-таки мне не по душе. Но прелесть Саломеи, все более сочная, пышная, окутанная смятым шелком и ароматом духов, уже становилась прелестью женщины. Ее скрипка изменила звучание, стала исполнять другую мелодию. Очень редко бывая дома, Саломея либо говорила что-то односложное, либо совсем не объясняла нам, куда она уходит. Услышав скрип калитки, я незаметно смотрел в окно: вот она убегает, вот возвращается, быстро перебирая ногами, стянутыми узкой юбкой, и в конечном счете больше всего я тревожился за нее.

X

Окруженная, словно поясом, пятью с половиной малышами, круглая как шар мадам Сотраль (младшая) величественно шествует, загромождая собою почти весь тротуар. Она вынуждает посторониться мадам Шокс — говорят, в постели мадам Шокс не хуже, чем за столом; сейчас она тащит то, что особенно любит набивать,— сумку для провизии. Поскольку все на набережной знакомы, дамы здороваются, оглядывая друг друга на уровне пупа; потом расходятся, доволь-

ные собой, своими животиками: одна — тем, что из него выпускает, другая — тем, что в него закладывает. А я, совершая ежедневную утреннюю прогулку по набережной, от моста до железного мостика (три раза туда и обратно, чтобы сохранить фигуру), я не мог бы сегодня рассудить, чьи достоинства выше. Бывают дни, когда спрашиваешь себя, почему мир устроен таким образом, почему люди, заботящиеся о других, так мало получают взамен, почему мадам Шокс настолько глупа, что завидует добродетелям мадам Сотраль. Бывают дни, когда собственной семьи тебе хватает выше головы. Бывают дни, когда ты сознаешь, что привязанность подобна наркотику: она держит тебя в плену, она тебе дорого обходится, она никогда не удовлетворяет тебя вполне, и все-таки, когда она исчезает, ты начинаешь мучиться.

Я весело спускаюсь к завтраку. Обэна нет: прихрамывая, он уже поковылял в школу. Саломеи тоже нет: она вдруг решила записаться на курсы медицинских сестер (не для того ли, чтобы в будущем помогать Гонзагу?). Бертиль пылесосит спальни. Застаю одну Бландину с трубочками в носу, отчего у нее какой-то печальный вид и голос утенка. И тут мне бросается в глаза эта вещица — она лежит на полу возле стула Саломеи. Это прозрачная целлофановая пластинка с наклеенной сверху фольгой. В пластинке двадцать одно углубление, в каждом лежит розовая пилюля, и на каждой пилюле указан один из дней недели. Неужели изменился их цвет? Насколько я помню, Бертиль употребляла голубые пилюли, и ни это, ни другие противозачаточные средства не валялись у нее где попало. Я протянул руку, пробормотав себе под нос:

— Смотри-ка! Она забыла.

— Вряд ли,— прогнусавила Бландина.— Я видела, как Саломея только что проглотила одну такую пилюлю. Вероятно, они выпали у нее из сумочки.

— Ах, вот оно что!

Я не взглянул на Бландину и вышел, хлопнув дверью. Хорошо же вы выглядите, если неожиданно младшая дочь приводит вам доказательство того, что старшая завела любовника, да еще делает это покровительственным тоном просвещенной девственницы, считающей вполне нормальным, что сестра ее пользуется подобными средствами! Правда, я и сам подозревал это. Я же не слепой. И не пуританин. В самом деле: то, что в молодости было хорошо для меня с Мадленой, Эммой, Поль и другими женщинами, не потеряло своей прелести для тех, кто молод сегодня. Прямоходящее животное испокон веков только о том и мечтает, как бы прилечь. С течением времени количество опрокинутых на спину девиц, я полагаю, не меняется, однако я не слыхал, чтобы земля от этого вертелась медленнее или быстрее. И все-таки этот новый стиль меня коробит! Вот, кстати, подходящий сюжет, который даст мне возможность проверить, начисто ли отказываются от прошлого перебежчики вроде меня, сторонники обновления, последствия которого они переносят плохо, хотя и продолжают экспериментировать, живьем сдирая с себя кожу. Оставим даже в стороне эти медикаменты, которые не следует продавать несовершеннолетним без согласия их родителей и которые, говорят, спасают от пагубных последствий страсти, подобно тому как аспирин спасает от головной боли. Разве это естественно? Разве это не опошление того, что естественно? Люди нашего поколения считались с неудобствами и риском, сопряженными с любовью. Разумеется, и мы уже свели любовь с пьедестала святости, уже и для нас она перестала быть священной и осталась только чудесной. Но если все прочее было лишь декорацией, я не могу мириться с торжеством физиологии.

— Почта у тебя на письменном столе,— кричит мне в окно Бертиль.

Ноги сами привели меня к калитке. Скрип песка под каблуками вторит шуму у меня в голове. Отчего я испытываю чувство досады? Я недолюбливаю Гонзага, это правда. Хотя у меня нет к тому оснований — и это тоже правда. Я вспоминаю слова Арно Макслона, которому не слишком повезло с его дочерью и которому только и остается что отшучиваться:

«Подумаешь! Теперь считается куда хуже, если тебе проколют шину, чем если проколют твою собственную дочь. А начнешь тревожиться, скажут, что тревожиться надо за себя — ведь в каждом из нас сидит Эдип,— сам же еще и окажешься свиньей».

Я уже на крыльце, я уже в дверях. Была ли Саломея нетронутой, как Бертиль, какою ее знал Габриель, не я? Если все хорошенько взвесить, не так уж это и скандально По крайней мере, это доказывает, что беррийская прививка удалась и привитое растение преобразилось. Отцу, каков бы он ни был, его роль, его возраст запрещают быть мужчиной по отношению к дочери. Но ничего не поделаешь: по воле языковых законов слово «дочь» для отца является одновременно и женским родом от сына, и женским родом от мальчика[1] Особенно в некоторых случаях... Как мутны источники нашего возмущения! Помилуй нас, святой Сигмунд!

— Ты почему смеешься? — спрашивает Бертиль, подходя ко мне на лестнице с письмом в руке.

Объяснять ей это кажется мне слишком сложным. Я подумал, что было бы, если бы Саломея в нынешней ситуации была дочерью моего отца. Ярость! Отчаяние! Пощечины, проклятья! Негодующий перст, показывающий на дверь: вон из дома — с позором, без денег, без ничего! Ну и подвезло же нашему поколению! Воспитанные во времена запретов, мы были последышами общества, где еще царила строгость, и в то же время первыми, кто вынужден разрешать! Не в этом ли причина нашего слабоволия и всех вытекающих из него недомолвок? Но удалив честь из черного треугольника, в котором ее заменила гигиена, не поторопились ли мы и не зашли ли слишком далеко в нашей снисходительности?

— Есть открытка от Жаннэ! — сказала Бертиль.— Его освобождают двадцать первого. И письмо от твоей матери. Прочти: у нее неожиданное предложение.

Я беру письмо и читаю его тут же, сидя на ступеньках лестницы, ведущей на бывший чердак, разделенный на четыре спальни для детей. От текущих событий перейдем к прошлому: оно тоже осаждает меня через Бертиль, которая — я это чувствую — к предложению матушки отнесется благосклонно.

> «Как я и предвидела, дочка, Марсель ищет покупателя на Бель-Анжери. Вы знаете, что еще при моем муже все имение было продано за пожизненную ренту Гюйарам де Кервадек, которые отдали его в приданое Соланж. Я имею право пользоваться только замком и прилегающей к нему маленькой фермой. Значит, очень легко ликвидировать Ла-Вержере и Бертоньеру, отличные фермы, срок аренды которых к тому же почти истек. Труднее избавиться, даже по дешевке, от Бель-Анжери: дом в плохом состоянии, в нем живу я, да еще родственники поднимут крик, если узнают, что я его продаю. Мне уже осторожно предлагали за умеренную цену откупить право на владение.
>
> Но зачем это делать мне? Почему бы не Вашему мужу? Подумайте. У меня есть кое-какие соображения, как легче осуще-

[1] Слово «fille» по французски означает и девушка и дочь.

ствить эту сделку. Я буду в Париже 23 декабря из-за описи имущества».

Дешевый конверт из пачки в двадцать пять штук, купленной в магазине стандартных цен в Сегрэ. Бумага с грифом (зачеркнутым) моего отца: мадам Резо, видимо, пишет не часто, раз она до сих пор еще не израсходовала запас. Бертиль садится возле меня на ступеньку и вопреки своему обыкновению не противится тому, что я запускаю пальцы в ее волосы.

— Тебя поразили пилюли Саломеи,— шепчет она.— Меня тоже. Она вольна распоряжаться собой. Но по нашему уговору она обязана была все нам сказать, однако главное сейчас — не восстанавливать ее против нас, и я не знаю, стоит ли из-за этого созывать семейный совет.

Ее голова упала ко мне на плечо, из ее полуоткрытого влажного рта исходит свежий аромат зубной пасты, обволакивающий ее вопрос:

— А что мне ответить твоей матери?

Последние слова она проговорила прямо мне в губы. Под передником у нее только бюстгальтер. Она немного ворчит, пока длится поцелуй, косясь глазом в сторону, потому что Бландина где-то поблизости. Все, что когда-либо делалось в Бель-Анжери, делалось по воле властителя, а те, кого это касалось, никогда не имели права голоса... Отличный случай! Я отпускаю Бертиль.

— Объясни ей, что такое наш совет, и попробуй созвать его... Скажи, что мы обсудим ее предложение. Заодно можно будет задать вполне «доброжелательный» вопрос Саломее.

XI

Одно из самых тяжелых воспоминаний моего детства — это тот день, когда мосье Резо, восседая в самом центре большого стола с гнутыми ножками, от имени мадам Резо предписал нам закон, закон непререкаемый, деспотичный, требовавший, чтобы мы в безмолвном страхе и даже с благочестивой признательностью целиком подчинялись родительской власти. С десяти до пятнадцати лет, вспоминая эту сцену, я в ярости мечтал о республике мальчишек, удалившихся на Авентинский холм, чтобы на равных правах договариваться с Римом взрослых. Когда сам я оказался в этом стане (разумеется, не по своей воле: ведь только веление возраста остается неоспоримым), мне всегда претило распоряжаться юными существами. Даже если они еще не способны сознательно отличать плохое от хорошего, у них есть инстинкт, связанный с чувством физической самостоятельности: кто дышит воздухом, какой он сам для себя избрал, быстро задыхается в чужой атмосфере.

По этой причине в нашей семье учрежден совет. Наивно? Не думаю. Того, что наша повседневная жизнь обсуждается всеми домашними, без учета разницы в возрасте, еще недостаточно (из уст взрослого слова *падают* в уши ребенка тяжелым грузом, и уже сама по себе эта центростремительная сила губит отношения). Надо еще время от времени, в важных случаях, выбирая подходящий для этого день, создавать декорум, торжественную обстановку, когда каждому предоставляется возможность воспользоваться своим правом голоса, поупражняться в гражданственности, то есть в дебатах за которыми следует голосование, а затем и подчинение воле большинства. У нас в доме не предпринимается ничего существенного, будь то, к примеру, покупка мебели или выбор места, где проводить каникулы, без того, чтобы не было выслушано мнение каждого. Финансовые вопросы тоже обсуждаются сообща: трудно себе представить, насколько менее требовательными становятся дети, если они вместе с вами утверждают бюджет. Что касается выбора наказания, то и это полезно обсуждать,

и, если только возможно, хорошо, когда наказуемый соглашается с выбором. Жаннэ однажды сам голосовал за то, чтобы ему запретили в течение двух недель выходить из дома — у него в табеле были очень плохие отметки,— в то время как я требовал всего лишь недели. Правда, тогда ему как раз минуло двенадцать: на протяжении пяти лет у него был совещательный голос, а тут впервые он получил решающий.

■

И вот Бертиль сидит в центре стола, между Обэном и Жаннэ; на мальчиках красные мантии с белой полосой. Я сижу напротив, между Бландиной и Саломеей — моей рыженькой и моей черненькой: одна — в платье из светло-зеленого трикотажа, другая — в брючках и блузке из черного атласа; общего у них — только косметика. У бабушки Дару грипп, ее постоянное место на конце стола свободно. Но мадам Резо здесь... Она прикатила производить опись имущества и позвонила от Мелани, чтобы я за ней приехал. Она, не улыбаясь, с любопытством наблюдает за нами, как исследовательница нравов незнакомого племени.

— И правда эта ваша система дает лучшие результаты, чем родительский приказ? — спросила она садясь.— Ну, а если вы, родители, оказались в меньшинстве, решение остается в силе?

Но ее тут же передернуло, когда, раскрыв семейную книгу и отметив присутствующих, Бландина, «секретарь заседания», начала читать:

— Прежде всего вполне доброжелательный вопрос: признавая, что восемнадцатилетняя девушка сама вправе решать, как ей следует поступать, мать спрашивает Саломею, которая доверилась Гонзагу, почему она не поставила об этом в известность родителей.

Лицо у мадам Резо было напряженное и вместе с тем снисходительное, когда Саломея встала и, смущенная гораздо меньше бабушки, спокойно ответила:

— Я думала, что дала вам это понять в достаточной степени, а вдаваться в подробности я не хотела.

— Но молчание не самое... — слабым голосом проговорила мадам Резо.

Она не закончила: братья и сестры открыли настоящий заградительный огонь.

— Любовь,— заявила Бландина,— это не болезнь, объявлять о которой обязательно.

— Ничего не понимаю,— удивился Жаннэ (на этот раз он был в одном лагере с Саломеей).— Вы же не интересуетесь именами моих подружек. Вы даже предпочитаете не знать их. Почему к девушке одно отношение, а к парню другое?

— А подумали ли вы вот о чем: ведь то, что может привести к увеличению семьи, в какой-то мере касается нас всех? — парировала Бертиль.

Наступила короткая пауза, и тут Жаннэ выпалил:

— В таком случае, если ты захочешь сделать нам еще одного братца, предупреди заказным письмом. А вдруг мы не согласимся!.. — Воспользовавшись произведенным эффектом, он тут же добавил: — Как видишь, это лишено смысла.

Матушка сидела неподвижно. Она была где-то далеко-далеко, унеслась бог весть в какую эпоху. Приложив руку к уху, она сделала вид, что не расслышала. Она знала, что у китайцев, например, тоже происходят невероятные вещи: «В этом году мандарины свергли с престола Чу за то, что он осудил двадцать их приверженцев, осудил справедливо, но осужденных посадили на кол из дерева, а не из слоновой

кости» Случайно я встретился взглядом с Бертиль, движением век говорившей мне «да». Да, не будем настаивать. Мы принадлежим к переходному поколению, которое считает себя освободившимся от табу, и однако же, мы не можем, подобно некоторым молодым людям, принять любовь, прежде именовавшуюся блудом, за выражение естественности и свободы.

— А ты, папа, что об этом думаешь? — спросила Бландина.

— Я думаю что Саломея просто хотела пощадить нас,— мягко ответил я.— Но тех, кто вас любит, щадить нельзя: им сразу же начинает казаться, что их отстранили.

— Противный! — воскликнула Саломея со слезами на глазах.

— Ну, ладно,— сказала Бертиль,— перейдем к предложению вашей бабушки. Следует ли нам откупать Бель-Анжери?

■

Вдруг матушка выпрямилась. «Она стала совсем другой!» — сказала мне по телефону Поль, и это подтверждалось все больше и больше. Несмотря на свои застарелые предрассудки, она наглядеться не могла на юную грешницу. Привыкшая говорить намеками, она шла на открытый разговор, в ходе которого мальчишка мог сказать ей в лицо все, что он о ней думает. Жаннэ уже повел прямую атаку.

— Прежде всего надо выяснить, что означает откуп,— заявил он.— Мы «разбуржуазившиеся» Резо, и мы вовсе не желаем возвращаться в эту касту. Согласны?

Возражений не последовало. Матушка теребила двойную нитку жемчуга у себя на шее с тем «двусмысленным» выражением лица, которое было трудно разгадать.

— Не забывайте,— продолжал Жаннэ,— что Бель-Анжери остается символом того, от чего мы отрекаемся; к тому же эта груда камней чересчур велика. Вы знаете мои взгляды. Можно мириться с собственностью в пределах, необходимых любому животному: для нас они сводятся к дому и саду. Но если территория увеличивается, это уже противоречит природе, это становится...

— Стоп! — не вытерпел Обэн.— Мы это знаем наизусть.

— Какие благородные у тебя чувства, Жаннэ! — язвительно заметила мадам Резо.— Твой отец, разумеется, не богач, но ведь он и не нищий. Одно время ему приходилось туго, но если ты и ел сухие корки, то лишь от сдобных булок... Кстати, эта груда камней не стоит и половины того, что нужно уплатить за виллу на берегу моря.

— Простите нас, матушка,— сказала Бертиль.— Мы говорим здесь все начистоту. И я тоже прямо поставлю два вопроса: хотим ли мы откупить это имение? Есть ли у нас для этого средства?

— Имеем ли мы на это право? — добавил я.

— То есть как это, право? — удивилась матушка.

Пришлось напомнить ее же собственное трюкачество:

— Прошу прощения, но нас было и остается трое братьев. Наследство получил один, который и продает имение. Это можно считать своего рода возмещением, и в таком случае Фреду тоже должно быть предоставлено слово.

— Понятно, в кого пошел Жаннэ,— заметила матушка,— но в известном смысле твоя позиция логична. Фред даст тебе благословение, вернее, он тебе его продаст.

— Мы пока не расплатились за дом в Гурнэ,— сказала Саломея.— Можем ли мы взваливать на себя еще один дом?

Толчками передвинув свой стул, бабушка оказалась рядом с внучкой.

— Ты носишь мой браслет, это мило с твоей стороны,— сказала

она.— Я тебе скажу сейчас кое-что по секрету... Как заплатить? Очень просто. Я могу заранее выдать твоему отцу часть причитающегося ему наследства — ему придется платить мне только проценты, а основная сумма автоматически погасится после моей смерти. В конце концов для меня это будет обыкновенное помещение капитала.

— Не стоит говорить о процентах и даже о содержании дома,— сказал Жаннэ.— Там ведь нет ни воды, ни канализации, ни отопления — мы сможем жить в этом доме только после перестройки, хотя бы частичной. Однако даже такой расход нам не по карману...

— Возражение серьезное,— сказала мадам Резо.— Я уже подумала. Эту сумму вы у меня тоже займете.

Щедрость в сочетании с коварством! Матушку всегда страшила возможность сокращения доходов. Она не усовершенствовала, даже не ремонтировала Бель-Анжери, лишь бы не тратить на это денег. Ссудив мне некую сумму она будет жить в перестроенном доме и не потеряет при этом ни единого су из своей ренты. Какая дикая мешанина у нее в голове! Во что бы то ни стало ей нужно было спасти главную резиденцию семьи Резо: Марсель-то ведь от нее отказывается. С Фредом считаться нечего, так что последняя возможность — это я. Надо было любой ценой устранить постороннего покупателя, который, став хозяином, не потерпит ни порубки леса, ни сделок с антикварами. А быть может, ей нужно зачеркнуть прошлое, освободиться от тяготевшей над ней легенды? Наконец, нужно привлечь людей в Бель-Анжери: она больше не выносит одиночества, не в силах больше нести бремя своей кары. Напряженный взгляд матушки говорил об этом достаточно красноречиво: если от ее предложения, за которым скрывалась просьба, не страдали ее капиталы, то, во всяком случае, страдала гордость.

— А там в реке есть рыба? — пропищал вдруг голосок Обэна.

Славный малыш пробил брешь в наших молчаливых размышлениях.

— Ну, рыбы-то хватает,— ответила мадам Резо.— От нее попахивает тиной, но твой отец, бывало, приносил мне полные сети: щук, угрей, ельцов.

— Ельцов? — повторил Обэн, очень заинтересовавшись, но не понимая краонского наречия.

— Ну, язей, если тебе так больше нравится,— объяснил я.— Особенно хорошо они ловятся на кузнечиков, которых надо ставить перед самым их носом, у поверхности воды.

— Сочельник ты проведешь у нас, бабушка? — спросила Саломея.

— Я собиралась прикинуться дамой легкого поведения и заказала себе столик в «Красном муле»,— сказала мадам Резо.— Но если вы меня приглашаете...

— Разумеется,— ответила Бертиль.— Так что мы решаем?

Мадам Резо сделала вид, что встает, снова села, снова приподнялась, опираясь на плечо внучки, и в конце концов опять уселась, вздыхая, словно обезоруженная. А я лишний раз убедился в том, до какой степени трудно определить, искренна она или хитрит или и то и другое вместе.

— Я предпочла бы не знать, кто высказался «за», а кто «против»,— заявила она.— У вас открытое или тайное голосование?

— Мне очень жаль,— сказала Бертиль,— но у нас каждый подписывает свой бюллетень — так получается откровеннее. А что до открытого голосования поднятием руки, то мы заметили что при этом старшие оказывают слишком большое влияние на младших... Ты хочешь что-то добавить, милый?

— Да, я хотел сказать, что, в сущности, здесь два вопроса. Первый — мы, кажется, только его и поставили — сводится к тому, откупаем ли мы Бель-Анжери, невзирая на расходы, которые с этим связаны, и на то, как это может быть воспринято. Второй вопрос вытекает из первого и формулируется в нескольких словах: можно ли считать, что вы зачеркиваете разрыв, продолжавшийся между нами двадцать четыре года? Отрицательный ответ на первый вопрос вовсе не означает желания ответить отрицательно также и на второй. Сам я воздержусь.

— Признайся, папа, ты скорее «против»! — воскликнул Жаннэ.

— Он скорее «за»,— возразила мадам Резо.— Это он только для очистки совести делает вид, будто подчиняется семейной демократии.

XII

Обошлось без неожиданностей — один голос «против» подал Жаннэ. Четверо голосовали «за»: Бертиль («У каждого человека две ноги, у каждой семьи две линии родства»,— сказала она мне потом), Саломея, Бландина (по примеру решительной матери, а не колеблющегося отца) и Обэн (побуждаемый чувством симпатии к язям, плавающим в речке Омэ). Один незаполненный бюллетень — мой. Мадам Резо отказалась участвовать в голосовании:

— Свои решения я принимаю самостоятельно.

Как только результат был занесен в семейную книгу, она исчезла вместе с Саломеей и, несмотря на резкий холод, увлекла эту мерзлячку прогуляться. Пока недовольный Жаннэ вертелся вокруг меня и ворчал: «Во всяком случае, ноги моей не будет в Бель-Анжери», я издали видел, как они расхаживают под руку по бульвару Баллю и беседуют. Не слыша их, я заранее мог сказать, о чем идет речь, и Саломея подтвердила мне это часом позже. Мамаша настаивала:

— Неужели, внученька, нельзя получить от них хоть какое-нибудь официальное подтверждение?

Она была готова пожертвовать гораздо большим, чем я мог ожидать.

— А главное, скажи этому мальчику, что ты не без гроша. В случае надобности можешь на меня рассчитывать.

И, отступив перед спокойной откровенностью девушки, отвечавшей: «Нельзя же, бабушка, быть такой старомодной: Гонзаг еще несколько лет не сможет жениться; у нас и в мыслях этого нет; мы любим друг друга, и достаточно...» — мадам Резо, наконец, сдалась:

— Ну что ж, ну что ж...

Под конец она совсем размякла и, вспомнив, быть может, какой-то грешок своей молодости, показала себя перед девушкой почти безразличной к своему прошлому, к своим принципам:

— Ну что ж, я ведь хочу воспользоваться тем, что мне в жизни еще осталось. А ты пользуйся тем, что начинаешь жить. Все так быстротечно...

■

В самом деле, все так быстротечно — она знает это по опыту, я тоже, а Саломея скоро узнает. Но сейчас у нас праздник: вокруг — гирлянды и аромат индейки с каштанами. Каждого ждет приятный сюрприз; ровно в полночь Бертиль впустит нас в столовую и снимет простыню, прикрывающую подарки, приготовленные для каждого из нас и разложенные кучками на десертных тарелках.

Все подарки мы готовим к 25 декабря. Но от деда-мороза, приходящегося сродни Предвечному Отцу и по праву старика пришедшего

на смену младенцу Христу,— от него мы отказались, равно как и от елки, которая по две недели сохнет в каждой семье и, плача, роняет на паркет иголки от имени трех миллионов своих юных сестер, этих детей леса, безжалостно вырубаемых каждый год ради того, чтобы позабавились наши дети. Все мы друг другу что-нибудь дарим и подарки временно передаем Бертиль. Если дети преподнесут взрослым хотя бы карандаш, то, получая свой подарок, они чувствуют себя независимее и радуются вдвойне, потому что сами тоже что-то подарили.

Что до матушки, имевшей обыкновение дарить нам в сочельник по апельсину и явившейся в Гурнэ с пустыми руками, то и она получила сюрприз: пять пакетиков в нарядной обертке, перевязанных ленточкой с пышным бантом. Ей никогда столько не дарили: ее родители, как и мой отец, были люди прижимистые. Несмотря на морщины, она жеманится, как избалованный ребенок, кончиками ногтей терпеливо развязывает узлы, разворачивает бумагу, не разрывая ее, и издает мышиный писк, обнаружив коробочку мятных конфет (Обэн), вязаную кофту (купленную вскладчину девочками), коробку с мылом (иронический подарок Жаннэ), электрокофемолку взамен ее допотопной мельницы (Бертиль) и, наконец,— то ли в знак вызова, то ли как символ — оливковое деревце из серебра с шестью ветками, украшенными шестью медальонами с нашими фотографиями — все это мы наспех собрали сегодня днем, узнав, что она остается.

— Спасибо, детки,— повторяет она,— спасибо.

Она в восторге. Но в то же время и уязвлена. Она теряет престиж. Она ходит взад и вперед по столовой, украшенной Жаннэ: на этот раз была его очередь придумать праздничное убранство, и он, расположив стеклянные шарики разной величины вокруг люстры, изображавшей солнце, тонущее в розовом сиянии цветного пластика, смастерил модель солнечной системы. Мадам Резо останавливается под спутником, который по двойной проволочной нити совершает облет Юпитера... Вдруг мы погрузились в ночь. Жаннэ потушил свет, и спутник, мигая, понесся к потолочному карнизу. Он возвращается, снова летит. Мы в восхищении. Потом нам это надоедает. Снова включаем свет. Мамаша сидит на прежнем месте, но осанка ее стала неузнаваема. Поистине с монаршим величием она подходит к невестке.

— Надеюсь, вы простите меня, Бертиль но я ничего не припасла. Впрочем, мой сын создал мне в этом отношении вполне заслуженную репутацию: я очень скупа.

Она закинула руки себе за шею и что-то делает ими. Легкий щелчок — она отцепила двойную нитку жемчуга, смесь белого, серого, черного и розового, редкая драгоценность, единственная, оставшаяся от бабушки Резо.

— На старой коже восточное украшение не смотрится,— продолжает она.— Вам, дочь моя, оно будет больше к лицу.

И вот на шее у изумленной Бертиль двести настоящих жемчужин, выловленных из глубины южных морей, где акулы порой заглатывают отважных искателей жемчуга. У мадам Резо отлегло от сердца. Мадам Резо торжествует. О своем ожерелье она будет жалеть до самой смерти. Но зато она покрасовалась; теперь она может есть, пить, а потом в комнате для гостей храпеть, как сапер, пока мы с Бертиль, лежа в постели, будем обсуждать события прошедшего дня, между тем как при легком ветерке, приносящем издали шум кабачков, Жаннэ в пуловере под кожаной курткой и Саломея, запахнувшись в шубку из кошачьего меха, которая оказалась в числе полученных ею подарков, потихоньку, порознь, скользнут навстречу своей любви.

(Окончание следует)

Литературное наследие

ЛУДОВИКО АРИОСТО

Из «Неистового Роланда»

К 500-летию со дня рождения

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Октавы из «Неистового Роланда», предлагаемые читателю в переводе Евг. Солоновича, составляют, по общему признанию критики, центральный эпизод этой уникальной в европейской литературе поэмы. В нем, в сущности, расшифровка названия поэмы. Недаром гениальный архитектор в поэзии Ариосто поставил его в центр огромной своей стихотворной композиции.

В сцене «неистовства» Роланда, пожалуй, всего очевиднее проявлялись характернейшие черты художнического гения Ариосто: чувство композиции и живописность.

В истории мировой повествовательной поэмы Ариосто прослыл виртуознейшим распорядителем движения и пространства. Движение, непрерывная изменчивость природы, динамика человеческого естества — в основе «Неистового Роланда». В движении — смысл и логика природы во всех ее проявлениях. Эта идея, столь близкая сердцу и мышлению людей эпохи зрелого Возрождения, пронизывает всю поэму. Свободный человек со всеми лучшими его чертами и слабостями — центр мироздания. Герои Ариосто, в отличие от персонажей предшествующих рыцарских поэм, не идеальны, не платоничны, а естественны, натуральны. Их мир не одномерен, а пространственен. И хотя разница во времени между поэмой Ариосто и его ближайшими предшественниками (например, поэмой Маттео Боярдо «Влюбленный Роланд», сюжетным продолжением которой формально является ариостовская поэма) очень незначительна, кажется, что между ними пролегает целая эпоха. У Ариосто нет ничего застывшего, абсолютизированного, все в движении, обновлении, в изменчивости, начиная от географического калейдоскопа поэмы, кончая чувствами героев. В этом смысле поэма, которая когда-то представлялась критике чуть ли не образцом безграничного поэтического вымысла, лишенной реальной почвы, на самом деле является очень точным выражением духа исторической эпохи, ее породившей.

Фантазия и реальность там не антитезы. Причудливая география поэмы, например, как нельзя точнее соответствует тогдашним представлениям: «хождения за три моря» многочисленных отважных мореплавателей, открытие Америки, морских путей в Азию. Самые смелые фантазии казались тогда реальностью. Леонардо да Винчи проектировал «человека-птицу». Вера в безграничность человеческих возможностей была еще полной. Стало быть, дело не просто в творческом воображении автора, но прежде всего в его способности углубленно понимать действительность, видеть «невидимое». Кстати, вера в человеческий разум и силу не мешали появлению и некоторых черточек если не скепсиса, то мягкой иронии. Но и это шло от времени, когда Италия уже вступала в полосу жесточайшего политического и экономического кризиса, но чувствовали его приближение только самые проницательные.

Поэма поражает своей цельностью. Несмотря на гигантские размеры (46 песен, около 40 000 стихотворных строк), она рассчитана архитектурно безукоризненно.

«Движение» лежит в основе стиля поэмы, во внутренней структуре октавы и в системе сцепления октав. Динамизм октавы Ариосто — в прочнейшей слаянности не только первых шести стихов между собой, но и их с заключительным двустишием, которое иногда резюмирует сказанное, иногда подчеркивает его, иногда становится выводом из сказанного. Это двустишие нередко служит перекидным мостиком к соседней октаве. Очевидная установка на непринужденность повествовательной речи, разговорность стиха, когда порой стих уже перестает казаться стихом, слова обронены как бы невзначай, второпях (с нередкими в просторечии повторами), речь взахлеб, лишь бы скорее добраться до картины, до изображения действия и места. И тут начинается разгул красок, как у венецианцев Тициана или Джорджоне. Многие эпизоды так и просятся на холст. И это результат не нахлынувшего неуправляемого вдохновения, а тщательно продуманной архитектоники, гигантской, почти тридцатилетней работы. Свобода, купленная ценой жесточайшей дисциплины и точного расчета.

Связь искусства Ариосто с живописью его времени подмечена давно. Ее, кстати, не утаил сам автор в начальных октавах XXXIII песни, где он говорит о величайших современных художниках от Леонардо до Микеланджело и Тициана. Именно у этих мастеров — тут достаточно сопоставить разборы их живописи, оставленные нам Джорджо Вазари, с поэмой Ариосто — автор обучился пространственным и живописным решениям. Как и у них, у Ариосто пейзаж и фигуры неотделимы друг от друга. Пейзаж — всегда характеристика, а не просто фон. У них Ариосто обучился живописать группы, не подменяя их комбинацией изолированных фигур. Это свое умение Ариосто завещал следующим литературным поколениям. Достаточно сказать, что многому у него научился в этом смысле сам Сервантес. Роль Ариосто в истории европейской повествовательной поэмы несоразмерима с ролью никакого другого поэта.

Отсюда легко понять всю соблазнительность и одновременно огромность задачи дать полный, соответствующий подлиннику перевод этой грандиозной поэмы. Труд чрезвычайный. Подступов к переводу этой поэмы у нас, на русском языке, было несколько. Существует полное прозаическое переложение, сделанное в XIX веке В. Р. Зотовым. Переложение вялое, а порой и не очень точное даже в буквальном смысле. Существует полный стихотворный перевод, сделанный также в XIX веке С. Уваровым. Опубликован он частично. Сожалеть об этом, однако, не приходится. Настолько перевод этот немощен. Известный поэт Иван Козлов перевел небольшой отрывок из XXIX песни четырехстопным ямбом вольной рифмовки без соблюдения строфичности оригинала. С. Раич пытался передать итальянскую октаву двенадцатистишной строфой с чередованием четырехстопного и трехстопного ямбов Долгое время дело упиралось в проблему русской октавы, пригодной для воссоздания октавы ариостовской поэмы.

Как и во многих других случаях, связанных с жизнью русской поэзии, едва ли не решающую роль сыграл опыт Пушкина.

В 1826 году Пушкин переводит тринадцать октав из того самого эпизода о «неистовстве» Роланда, который ныне в полном виде предлагается читателю. Цель этого перевода в литературе о Пушкине надлежащим образом еще не осмыслена. Задался ли он целью дать собственно перевод, были ли то какие-то «рабочие прикидки», поиски новой строфической формы, так сказать, «впрок» — решать не тут. Пушкин переводит отрывок из «Неистового Роланда», не соблюдая строфической формы оригинала. Каждую строфу он переводит, произвольно выбирая стих и систему рифмовки. Но любопытно при этом то, что Пушкин неукоснительно чередует окончания последнего стиха строфы с первым стихом последующей строфы (женская рифма — мужская; женская — мужская и т. д.). Пушкин точно уловил естественность ариостовского стиха, избегающего монотонности.

Почему, однако, Пушкин не перевел отрывок из Ариосто октавами? На русской почве октава к тому времени уже существовала. Ею пользовался и Жуковский, и сам Пушкин в стихах 1821 года о Крыме («Кто видел край, где роскошью природы...»). Стихи эти написаны цезурованным пятистопным ямбом. Каждая октава начинается и кончается женским стихом, образуя столкновение нерифмующих стихов при переходе от строфы к строфе. Но Пушкин был почему-то неудовлетворен этим. Во всяком случае, переводя Ариосто, он такой октавой не воспользовался, видимо не считая ее окончательной для русского стихосложения. Через четыре года (1830), работая над «Домиком в Коломне», Пушкин (возможно, вслед за Дельвигом) чередует женские и мужские рифмы от строфы к строфе. Получилось живее, разговорнее. Система, принятая Пушкиным в «Домике в Коломне», как будто бы узаконила русскую октаву. Сядь Пушкин за перевод Ариосто после написания этой поэмы, он, вероятно, перевел бы его именно такой октавой.

Последующие переводчики (В. Брюсов, Ю. Верховский и др.) почему-то вернулись к пушкинской октаве стихов о Крыме. Вероятно, из молчаливого предположения, что раз у Ариосто все стихи женского окончания, то пусть и в русской передаче господствует это женское иго! Переводчики в данном случае забыли, что женское окончание у Ариосто — это свойство итальянского языка, а не стиха.

Форма, выработанная Пушкиным для русской октавы, явилась наиболее пригодной для перевода великой поэмы Ариосто.

Н. ТОМАШЕВСКИЙ

Фронтиспис к поэме «Неистовый Роланд» с портретом Ариосто издания 1530 года.

Из песни двадцать третьей

(октавы 100–136)

Конь Мандрикарда мчался напролом
Сквозь заросли, и сколько сарацина
Роланд ни ищет в сумраке лесном,
Того и след простыл. Кругом пустынно.
Два дня не расстается граф с седлом,
И вот пред ним волшебная картина:
Блестит ручей под сенью древних крон
И сочный луг цветами испещрен.

В полдневный зной бесчувственное стадо
Сюда прохлада и вода влекут.
Поляна эта — путнику награда:
Где отдохнуть ему, когда не тут?
Но чем расстроен витязь? О, досада
Нежданная! О, горестный приют!
Боюсь, что слов в природе слишком мало,
Чтоб описать подробности привала.

Он видит, что едва ль не каждый ствол
Вокруг изрезан вензелем, в котором
Он не узнать бы руку предпочел
Красавицы китайской. Он с укором
Глядит на письмена. Рассказ привел

Туда Роланда, где она с Медором
Нередко в те уединялась дни,
Что провели у пастыря они.

На сто ладов Медор и Анжелика
Сплелись, куда глаза ни повернуть,
И что ни вензель — новая улика
И новый гвоздь, Амуром вбитый в грудь.
Несчастный рыцарь бродит взглядом дико,
Вотще себя надеясь обмануть,
Что просто совпаденье знаки эти:
Ну разве мало Анжелик на свете?

А почерк? «Но, по здравому суду,
Быть может,— молвит он,— она хотела
Схитрить и, выводя «Медор», в виду
Меня под этим именем имела.
А я, глупец!..» Так, на свою беду,
Безумец утешает неумело
Себя, и правда, вопреки всему,
Еще неправдой кажется ему.

Но чем он больше жаждет отрешиться
От подозрений, тем они сильней.
Так если в сети угождает птица
Или на ветку, где размазан клей,
Чем больше машет крыльями певица
И лапками сучит, тем хуже ей.
Покорный неизбежному закону,
Роланд влачится дальше вниз по склону.

Разросся плющ и дикий виноград
У входа в грот, где от лучей палящих
Скрывались те, чьи имена глядят
С неровных стен пещеры на входящих.
Здесь больше вензелей во много крат,
Чем на стволах, следы ножа хранящих,
И там, где нож порой не преуспел,
То уголь надпись начертал, то мел.

Увы, Роланд последние сомненья
Внизу отбросит, строки увидав,
Дописанные словно в то мгновенье,
Как спешился у грота бедный граф.
Испытанные в гроте наслажденья
В стихах — должно быть, звучных — описав,
Медор на камне вывел их при входе.
Вот их значенье в нашем переводе:

«Зеленая трава, прозрачный ток,
Тенистый грот в прохладной толще склона —
Уединенья и любви чертог,
Где часто дочь нагую Галафрона
Ласкал Медор! Что может он в залог
Блаженства, кроме низкого поклона,
Оставить вам? Отныне что ни час
Мой долг священный — славословить вас.

И повторять и рыцарю, и даме,
И селянину — всем, кто влюблены,
Влекомые фортуной или сами
Они придут сюда, что все должны
Желать, прощаясь с этими местами:
— Благого солнца вам, благой луны,
Деревья, травы, грот, струи прохлады.
Да оградят от стада вас наяды».

Язык арабский рыцарю знаком
Был, как родной, и, ведая немало
Наречий, в случае чего на нем
Он говорил свободно, что, бывало,
Среди неверных, в лагере чужом,
Его от неприятностей спасало.
Но чем гордиться графу, если нет
Сегодня пользы в том, а только вред?

Все очевидней надпись роковая
Доходит до него. В глазах тоска.
Он верить хочет, вновь и вновь читая,
Что он не разумеет языка,
Но каждый раз как будто ледяная
Безжалостно сжимает грудь рука.
Все больше камню сам уподобляясь,
На камень смотрит он, не отрываясь.

Еще бы миг — и наземь тяжело
От нестерпимой витязь рухнул боли,
С какою ни одно на свете зло
Нельзя сравнить, поверьте мне, тем боле,
Что я ее изведал. Граф чело
На грудь склоняет, на котором воли
И мужества уж не видна печать;
Нет слез — рыдать и голоса — стенать.

Вотще спешит несчастный, веря в чудо,
Исторгнуть скорбь, разлившуюся в нем;
Так если горло полного сосуда
Намного у́же по сравненью с дном,
Не хлынет содержимое оттуда,
Коль резко мы сосуд перевернем,
Но лишь сочиться будет понемногу,
Себе же самому закрыв дорогу.

Едва придя в себя, он вновь готов
С собой, не веря в истину, лукавить:
Быть может, цель жестоких этих слов —
Китайскую царевну обесславить,
Или стремился кто-то из врагов
Томиться графа ревностью заставить,
И в почерке зело искусно ей
Нарочно некий подражал злодей.

Надеждой этой зыбкой окрыленный,
Он сызнова садится на коня.
Порядок соблюдая заведенный,

Пора сестре сменить светило дня
На небе. Вскоре витязь утомленный,
Заметив кровли и пары огня
Над ними, направляется к жилищу —
Его надежд последних пепелищу.

Коня он оставляет под надзор
Смекалистому парню; остальные —
Кто принимает меч, кто пряжки шпор
Отстегивает, кто на боевые
Доспехи блеск наводит. Здесь Медор
В объятьях Анжелику сжал впервые.
Едва с дороги, рыцарь лечь спешит,
Без ужина по горло горем сыт.

Но несмотря на все его старанья,
Ему не спится. Без конца в глазах
Терзающие сердце начертанья —
На окнах, на дверях и на стенах.
Спросить он хочет, но хранить молчанье
Несчастному повелевает страх,
Затем что легче тешиться обманом,
Пока сокрыта истина туманом.

Не знать Роланду более того,
Что знал Роланд, когда бы все молчали.
Однако пастырь, гостя своего
Желая от неведомой печали
Отвлечь, про то, как в доме у него
Медор и Анжелика побывали,
Ведет — наивная душа! — рассказ,
Которым прочих потчевал не раз.

Хозяин говорит, как он Медора
По просьбе Анжелики приютил,
Как с помощью ее леченья скоро
Тот выздоровел и набрался сил,
Как, наконец, не встретив в ней отпора,
Внезапно бог любви ее сразил —
И над собой она лишилась власти,
Сгорая от неугасимой страсти.

Он говорит, как потеряв покой,
Дерзнула дочка самого большого
Из всех владык восточных стать женой —
Подумать только! — воина простого.
И путнику, рассказ окончив свой,
Без умысла показывает злого
Ее подарок — дорогой браслет.
Он не солгал. Сомнений больше нет.

Браслет, к тому же в доме очевидца,
Для графа — что секира палача.
Амур сумел на славу потрудиться,
Без промаха рубя стократ сплеча.
Ничем себя не выдать рыцарь тщится,
В душе проклятья пастырю шепча

И силясь не расплакаться от боли
И слезы удержать усильем воли.

Но вот уходят все. Отброшен стыд,
И можно отпустить узду страданий:
Потоком слезы хлынули с ланит,
Он стонет, задыхаясь от рыданий,
И тело сверху донизу горит,
Как будто бы для вящих испытаний
Бог знает чем набит под ним тюфяк,
Ведь уголья — и те бы жгли не так.

И вдруг догадка новая, о боже!
Что ложе, на которое один
В изнеможенье он свалился,— то же,
Где принимал в объятья сарацин
Неблагодарную. Покинуть ложе
Спешит с таким же чувством паладин,
С каким, кто прикорнуть на травке хочет,
Змею завидя рядом, тут же вскочит.

Будь проклята злосчастная постель,
Болтливый пастырь и его лачуга!
Без промедленья на коня! Ужель
Терпеть всю ночь иль ждать, пока округа
Луною осветится? Прочь отсель!
Он меч берет и, оседлавши друга,
Въезжает в заросли и уж теперь
Страданьям настежь раскрывает дверь.

Он плачет в голос, не переставая,
Он от селений держится вдали;
Ему ночлеги — чаща вековая,
Вставая с ложа, он встает с земли.
Понять он хочет, голову ломая,
Как столько места слезы в ней нашли
И сколько человек вздыхать способен,
И часто говорит: «Мой жребий злобен!

Я в заблужденье впал, вообразив,
Что из очей струятся слез потоки:
Они давно иссякли, не излив
Моей печали. То огонь жестокий,
Дорогу глаз от слез освободив,
На жизненные ополчился соки,
Чтоб мукам положить моим предел
И чтобы я при том не уцелел.

И эти знаки моего бессилья —
Не вздохи, что похоже грудь тесня,
Подобного не знают изобилья:
Амур вокруг жестокого огня
То опускает, то вздымает крылья,
Чтоб не погасло сердце у меня.
Скорее бы сгореть ему, тем паче,
Что ты, Амур, боюсь, решил иначе.

Я сам не тот, каким кажусь на взгляд,—
Роланда больше нет, его сгубила
Любимая, и днесь могильный хлад
Удел его, обманутого милой.
Я дух его, попавший в этот ад,
Я тень Роланда, взятого могилой,
Пример наглядный тем, кто вновь и вновь
Надежды возлагает на любовь».

Всю ночь, до солнца, через лес дремучий
Вслепую продирался он во мгле,
Пока опять его не вывел случай
К покрытой надписью в стихах скале.
На эти строки рыцарь смотрит тучей,
Все ощущенья — на его челе:
Гнев, ревность, ярость, жажда расплатиться;
И тянется к мечу его десница.

Он рубит письмена, и до небес
Взлетают камни облаками пыли.
И гроту горе, и стволам древес,
Что графу тайну страшную открыли!
И вот уже тенистый грот исчез,
Чьи своды отдых пастухам дарили,
И чистых вод струящийся кристалл
От ярости безумца пострадал.

В ручей прозрачный рушатся с налета
Стволы, кусты, коряги, валуны.
Отныне это не ручей — болото:
За мутью не увидеть глубины.
Усталый граф не утирает пота,
Но силы наконец истощены,
И упадает витязь изможденный,
На берег, кое-где еще зеленый.

Что сделал с ним неистовства порыв?
Он больше сил для гнева не находит,
Лежит недвижно, в небо взгляд вперив,
Где солнце трижды всходит и заходит.
Он, о еде и о питье забыв,
Рассудок свой терзаньями доводит
До помраченья полного. Но вот
Четвертый день за третьим настает.

Все части снаряженья без изъятья
Летят в кусты — нагрудник, и шелом,
И наручи... Всего перечислять я
Не стану: список оборву на том,
Прибавив, что пришла пора и платья —
И паладин остался нагишом,
И впал в такое бешенство, что, право,
Любая ярость перед ним забава.

Другие ощущенья заглуша,
Им движет сила бешенства слепого,
И ни меча сейчас, ни бердыша

Ему не нужно для отмщенья злого.
Во многих бранях недругов круша,
В себе не знал он силача такого.
С корнями вырывает он сосну
Высокую — и ладно бы одну!

Дубы он повергает величавы
И вязы, точно фенхель с грядки рвет,
И нет спасенья букам от расправы,
Ни ясеням, ни елям в свой черед.
Так, если птицелов среди дубравы
Освобождает место для тенет,
Что для него тростник или крапива,
То дерева для графа: эко диво!

Пасущие в лесу свои стада,
На страшный треск спешат к ручью селяне.
И что же видят, прибежав туда?
Однако мой рассказ достигнул грани,
Заранее намеченной, когда
О том, что им предстало на поляне,
Я ненадолго отложу рассказ,
Иначе скука одолеет вас.

Иллюстрация
к поэме Ариосто
«Неистовый Роланд».
1524 год.

Критика

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО

В РЕКЕ, ГДЕ МНОГО ПИРАНИЙ

Не будет преувеличением сказать, что на протяжении полутора десятилетий вплоть до своей скоропостижной смерти в 1968 году самым популярным и самым «читаемым» бразильским писателем-сатириком, журналистом, композитором, музыковедом, телевизионным комментатором и радиорепортером был Сержио Порто. Уже один этот перечень дает некоторое представление о широте его творческих интересов. Правда, в Бразилии — стране весьма скудных должностных окладов — совместительство в сфере интеллектуального труда является вынужденным и очень распространенным средством борьбы за существование. Большинство бразильских журналистов, чиновников, адвокатов, которых я знал, получали заработную плату в нескольких «присутственных местах», рассматривая это явление со здоровым цинизмом людей, которые никому не позволят себя одурачить. Сержио Порто, однако, в отличие от большинства своих коллег, трудился одновременно в газете, журнале, на радио, телевидении, в театре и... в банке, не только и не столько из-за денег, сколько потому, что не мог работать иначе.

Думаю, что употребленная несколькими строками выше формула «широта творческих интересов» столь же бедно характеризует эту своеобразную и неповторимую личность, как и прочие холостые патроны из той же литературно-критической обоймы, вроде «ненасытная жажда творчества», «разносторонне одаренный писатель» или, скажем, «популярный и любимый широкими массами художник слова». Сержио Порто открыл новый этап в истории бразильской литературы и журналистики. Не сомневаюсь, что в не столь отдаленном будущем бразильцы начнут изучать и на университетских семинарах, да и на уроках словесности и литературы в общеобразовательных гимназиях творчество этого удивительного человека, который умудрился стать одновременно и самым популярным писателем, и самым любимым литературным героем бразильцев.

Чтобы понять причины этого феномена, необходимо прежде всего учесть некоторые особенности литературных вкусов и привязанностей бразильского читателя. И в первую очередь так называемого «кариоки» — жителя Рио-де-Жанейро, родного города Сержио Порто, где прошла вся его жизнь, где жили и живут и герои, и почитатели его новелл, хроник и фельетонов.

Можно сказать, что «кариока» — понятие собирательное: это типический бразилец в типических обстоятельствах. Он воплощает в себе все самые яркие черты и особенности, свойственные представителям этой стомиллионной нации. Одной из наиболее интересных особенностей его духовного облика, под влиянием которой формируется его характер, его интерес к жизни, восприятие окружающего мира вообще, искусства — в частности, и, следовательно, его литературные симпатии и привычки, является присущее «кариоке» и подавляющему большинству его соотечественников чувство юмора. Это, впрочем, не пикантный и изящный юмор парижанина и не утонченно-рафинированный интеллектуальный юмор «подданных Ее Величества». «Кариока» — это крикливый озорник и балагур, обладающий поразительной способностью и умением высмеивать свои житейские невзгоды и неурядицы. Всю свою трудную жизнь он ведет ожесточенную борьбу за существование,

за место под солнцем, очень редко добиваясь того, к чему стремится, но никогда не унывает, не падает духом, не признает себя побежденным. Суровые условия жизни приучили его довольствоваться малым, но не отняли способности мечтать. Он обладает поистине неподражаемым умением казаться веселым, когда ему плохо, шутить, когда по законам обычной логики следовало бы плакать, и пускать слезу умиления там, где англичане, возможно, остались бы равнодушными, а французы смеялись бы от души. Он редко бывает сыт, но часто бывает весел. Он ходит с пустым кошельком, но с сердцем, полным надежд и фантазий. Если же ему улыбнется фортуна и у него вдруг заведутся деньги, он не обратит внимания на самые заманчивые, обоснованные до последних мелочей рекламные призывы банков, обещающие «удвоить ваш капитал», «сделать из вас миллионера», и, не колеблясь ни секунды, рискнет последней монетой на футбольной лотерее или ипподромном тотализаторе. Стало поистине антологическим бесшабашное озорство «кариок», их полное пренебрежение служебными инструкциями и правилами уличного движения, распоряжениями властей и требованиями здравого смысла. «Кариока», как и любой рядовой бразилец,— это человек, который никогда никуда не приходит вовремя и ни за что не станет делать работу сегодня, если ее можно отложить на завтра. Он *толкает* дверь с указателем «К себе», а там, где написано «Входите без стука», он стучит и... убегает»,— пишет известный юморист Шико Анизио.

Этот несколько сумбурный и поверхностный «словесный портрет» не отражает, конечно же, с достаточной глубиной психологию и внутренний мир бразильца, но все же может служить подсобным материалом для анализа причин беспрецедентной популярности Сержио Порто, точнее говоря, Станислава Понте Преты, под именем которого и прославился этот писатель. Впрочем, речь в данном случае идет не просто о литературном псевдониме. Станиславом Понте Претой Сержио Порто назвал главного героя своих новелл и фельетонов, в которого он сам в конце концов перевоплотился, став, по выражению журналиста Моасира Вернека, «воплощением «кариоки», выдающимся насмешником, великим жизнелюбом, всегда способным и готовым открыть и обыграть во всех ситуациях и в любых людях черты гротеска». Вместе с яркой фигурой Станислава Сержио Порто «изобрел» и целую плеяду его родственников — семейство Понте Преты, поселившееся вместе со Станиславом на страницах книг и хроник Сержио Порто.

Об этом семействе стоит рассказать подробнее, ибо каждый из его членов был весьма яркой и колоритной фигурой. Чего стоила, например, одна только тетушка Зулмира, девяностолетняя, почитаемая всеми соседями затворница, удалившаяся от мирской суеты в старенький особняк на окраине Рио-де-Жанейро в квартале Бокадо-Мато. Каждый раз, когда, кутаясь в теплый плед, она вспоминала любопытные эпизоды своей бурной юности, в ее глазах вспыхивали игривые огоньки.

Ей действительно было что вспомнить: она выступала в балете с непревзойденным Нижинским, занималась психоанализом с Фрейдом, автомобильным спортом с Мануэлем Фанхио, изучала теорию относительности у самого Эйнштейна, а искусством кино овладевала под вдохновляющим руководством Чарли Чаплина. В Париже тетушка танцевала в «Фоли-Бержер», что, впрочем, не помешало ей защитить диссертацию по истории французской литературы. Решившись на переезд в Англию, она осуществила его не совсем обычным образом: вплавь преодолела Ла-Манш, заняв третье место в мужском заплыве. В Лондоне тетушка Зулмира весьма близко сдружилась с Чарльзом Дарвином. В 1913 году она уже была в Варшаве, где давала уроки игры на фортепиано и выступала с концертами. Во время первой мировой войны эта неутомимая особа работала в органах контрразведки Антанты и для выполнения какого-то специального задания вынуждена была выйти замуж за новозеландского дипломата. Брак оказался весьма удачным, несмотря на специфичность побудивших его мотивов. Тетушка Зулмира провела медовый месяц в Петербурге, откуда выехала в Бразилию вскоре после окончания войны.

Под стать этой симпатичной старухе был ее престарелый, но преисполненный энергии племянник Алтамирандо Понте Прета. Он никогда не покидал пределов родной Бразилии, но сумел отличиться и на отчей земле: уже в пятилетнем возрасте был изгнан из детского сада после того, как обругал в весьма крепких выражениях святого Франциска. Гимназию он тоже не окончил: сбежал с преподавательницей естествознания. Алтамирандо с гордостью рассказывал о том, что в юности именно он организовал выращивание марихуаны на подпольных плантациях в предместьях Рио-де-Жанейро, а в старости сумел получить государственную пенсию, хотя никогда и нигде не работал.

Другой родственник тетушки Зулмиры — Розамундо Понте Прета — прославился своей рассеянностью: он мог, например, отправиться на вечернюю прогулку с ошейником, но без собаки, умудрялся пустить слезу на свадьбе и радостно воскликнуть: «Поздравляю!» — на поминках. А однажды, связавшись с одной из «этих» женщин, для которых, как говорила тетушка Зулмира, чувство верности стоило столько же, сколько пара коньков для дряхлого старика, пришел в такое отчаяние, что решил покончить с собой, открыв газовую горелку. Утром Розамундо проснулся как ни в чем не бывало: готовясь отойти в лучший мир, он... забыл о продолжавшейся уже несколько дней забастовке работников системы газоснабжения.

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО
В РЕКЕ, ГДЕ МНОГО ПИРАНИЙ

После военного переворота 1964 года Сержио Порто посетил в старом домике в Бока-до-Мато внучатого племянника тетушки Зулмиры — Бонифасио Понте Прету, который был прозван Патриотом. Бони стал воплощением патриотизма, гражданственности и веры в нерушимость Святых Идеалов Нации. С утра до вечера он насвистывал гимн эскадрона «Драгуны Независимости», охраняющего президентский дворец, а встречаясь с друзьями и знакомыми, обращался к ним только с таким приветствием: «Как поживаете, мой дорогой соотечественник?»

Главой, «отцом» и, безусловно, самой яркой фигурой этого колоритного семейства и был Станислав Понте Прета, который вместе с тетушкой Зулмирой и остальными обитателями квартала Бока-до-Мато в течение почти полутора десятилетий поддерживал неослабевающий читательский интерес к хроникам Сержио Порто, которые появлялись в газете «Ултима ора» *ежедневно* с 22 ноября 1955 года до дня его кончины 30 сентября 1968 года. И помимо этого — в *каждом* номере еженедельника «О крузейро». Чтобы понять причины этой беспрецедентной популярности хроник Сержио — Станислава, попробуем познакомиться поближе со спецификой этого литературного жанра.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в последние десятилетия хроника стала самым любимым или, по крайней мере, одним из наиболее распространенных в Бразилии литературных жанров. Хроники писали и пишут десятки виднейших писателей и журналистов. Такие, как Карлос Друммонд де Андраде и Рубен Брага, Пауло Мендес Кампос и Энрике Понгетти, Нестор де Оланда и Дина Силвейра де Кейрос, Жозе Карлос де Оливейра и Фернандо Сабино. На прилавках книжных магазинов постоянно появляются новые сборники хроник. Лучшие из них экранизируются, используются в качестве литературной основы при подготовке театральных и телевизионных спектаклей. Учитывая эти давние вкусы и привязанности читателей, почти каждая солидная газета и каждый еженедельник считают себя обязанными иметь эту рубрику, и именно здесь, в прессе, с наибольшей силой проявляются ее характерные особенности и свойства, обусловившие притягательность произведений этого жанра для читателя: оперативность, динамичность, злободневность. Потому что хроника — это... хроника повседневной жизни, наблюдаемая, анализируемая и комментируемая писателем. Как правило, с юмором или с иронией. Хроника — это свежий отклик на факты и события, размышления о людях, с которыми встречается писатель, о прочитанной книге или увиденном фильме. Иногда хронист вместо литературного «комментария на темы дня» публикует маленькую новеллу или лирическое эссе, фельетон или даже свежий анекдот, услышанный в автобусе. Хроника печатается и, следовательно, пишется ежедневно (или раз в неделю). Читатель тыскивает ее по утрам в каждом номере газеты или журнала на одной и той же полосе, в одном и том же месте этой полосы. Это делает хронику самым оперативным и динамичным жанром литературы, но в то же время приводит иногда к мелкотемью, к потерям, рождает отписки, пустую болтовню по незначительному поводу.

При внимательном изучении можно отметить некоторые, хотя и не очень существенные, различия в стиле, языке и даже тематике хроник, публикуемых в газетах, по сравнению с хрониками, публикуемыми в журналах, определяемые характером (ежедневным или еженедельным) цикла работы автора. Не будем, впрочем, углубляться в эти детали. Обратимся, наконец, к хроникам Сержио Порто и к их героям — семейству Понте Преты.

«Изобретение» этой семейки явилось для Сержио Порто чем-то неизмеримо более значительным, чем удачный литературный прием или остроумная творческая находка. Сержио Порто сумел сделать их советчиками и душеприказчиками своих читателей, тонко и остроумно высмеивающими социальные язвы и пороки, ненавязчиво и деликатно преподающими уроки гражданственности и патриотизма. Именно в этом и заключалась главная заслуга писателя и основное достоинство его творчества, позволившее ему поднять этот жанр на недосягаемую для других авторов высоту.

Думаю, однако, что он смог добиться этого не только благодаря удачному подбору своих героев и мастерству, с которым писал их образы. Секрет обаяния хроник и всего творчества Станислава Понте Преты кроется в удачном соотношении его героев с окружающим миром, с «обществом массового потребления», в котором вращаются и многочисленные Понте Преты, и сами читатели. Отправной точкой почти каждой комической ситуации, описываемой Станиславом Понте Претой, является доходящая до абсурда, граничащая с наивностью и невежеством простота характеров его героев и заурядность места и обстановки, в которой они действуют: пляж или автобус, галантерейная лавка или парикмахерская, погоня за такси или бегство от сборщика налогов, операционный зал банка или убогий будуар дешевой проститутки. И чем банальнее ситуация, в которой действует или размышляет Станислав, тем неожиданнее и парадоксальнее звучит развязка описываемой истории либо финальная сентенция, подводящая философский иронический итог сказанному.

В хронике «Маленький гражданско-военно-бюрократический эпизод», ярко рисующей нравы режима, в котором единственной реальной, чтимой и уважаемой силой является военный мундир, Станислав отправляется в министерство финансов, чтобы выполнить одну из бесчисленных бюрократических формальностей, обременяющих жизнь рядового налогоплательщика. Он едет через весь город, страдает от жары, долго ищет в забитом автомобилями центре города местечко, где можно оставить свою машину без риска быть оштрафованным,

нервничает, теряет массу времени и сил, но успевает появиться у окошка чиновника примерно минут за десять до окончания рабочего дня. Все эти десять минут высокомерный чиновник не обращает никакого внимания на уныло торчащего перед ним Станислава, болтает по телефону с какой-то девицей, затем обсуждает с молоденькой сослуживицей футбольные новости и в конце концов отказывается принять от Станислава документ, мотивируя это тем, что рабочий день уже кончился.

«...Тут-то и появился хорошо одетый солидный сеньор с чуть поседевшими волосами, с точно таким же, как у нас, документом в руке. И только для того, чтобы подтрунить над товарищем по несчастью, мы решили понаблюдать за происходящим. И увидели, как чиновник отрицательно покачал головой, в ответ на что почтенный сеньор поинтересовался металлическим голосом:

— И у вас хватило бы мужества отказать в этом пустяке генералу?

Нет, разумеется, не хватило бы... И в доказательство того, что не хватило бы, чиновник быстренько открыл окошко и тут же получил документ, сияя улыбкой и расточая извинения. Вслед за тем он вернул седому сеньору квитанцию и застыл с тупой ухмылкой, какую можно видеть на физиономии телевизионной девицы, когда она уже прочитала свое объявление, а камера все еще не выключается.

И тут мы решили воспользоваться этим великолепным воякой, которого бог нам послал ни за что ни про что, хотя сами мы принадлежали к цивильным гражданам второй категории. Мы вновь подошли к окошку и спросили, не могут ли принять и нашу бумагу, раз уж была принята бумага этого сеньора. Чиновник уже раскрыл было пасть, чтобы прорычать свое полнозвучное «нет», как генерал этот вдруг повернулся к нему и сказал, что раз уж бумага была получена от него то вполне могла бы быть принята и от меня. Так и было сделано.

Немного погодя генерал и ваш покорный слуга, бьющий в эту минуту по клавишам своего неустрашимого полупортативного «ремингтона», спускались с квитанциями в руках по лестнице этого гнусного присутственного места. И желая выразить благодарность за своевременное заступничество, мы изрекли:

— Спасибо, генерал. Если бы не вы, мне пришлось бы вернуться сюда завтра.

Генерал был и в самом деле воплощением любезности. Он поглядел на нас отеческим взором, сказал, что ему было очень приятно помочь нам, и, прежде чем распрощаться, попросил:

— Только не зовите меня, пожалуйста, генералом, сын мой. Я просто-напросто поинтересовался у этого кретина, хватило ли бы у него мужества отказать в такой просьбе генералу. Но это вовсе не означает, что сам я — генерал. Я — доктор Жил да Алмейда, специалист по болезням мочевого пузыря

И вручил нам свою визитную карточку на случай, если у нас вдруг возникнет нужда в его услугах».

■

С особой силой зазвучала гневная ирония Сержио Порто в нелегкие для бразильской литературы, да и не только литературы, времена, наступившие после военного переворота 1964 года, который привел к установлению в стране военного режима, к массовым преследованиям лиц, подозревавшихся в симпатиях к «коммунизму». Только такие мужественные и стойкие люди, как он, не замолчали в эту трудную пору. Не испугались драконовской цензуры, не переключились на «безопасные» темы вроде футбола или театра.

В сентябре 1968 года, когда резко обострились противоречия между правящей верхушкой и широкими массами, когда страну потрясали студенческие демонстрации, а в кабинетах министерства юстиции готовились новые репрессивные декреты, Сержио Порто публикует «Сказку о рабочем и льве» — блестящий образец смелой политической сатиры.

«Эта сказка была почерпнута в европейском фольклоре уважаемой тетушкой Зулмирой ученой отшельницей из Бока-до-Мато, которая имеет нынче обыкновение тратить свое бесценное время на фольклорные изыскания.

Жил-был лев. Он работал в цирке, находящемся в далеком королевстве, и был признан и почитаем народом этого королевства как один из самых свирепых львов в мире. Слава его была столь велика, что, когда он работал на арене, цирк заполнялся до отказа.

И однажды — а было это в воскресенье — народ этого королевства прослышал, что лев покажет новый номер. И тогда все отправились в цирк, чтобы поглядеть на этот трюк и малость развлечься.

Но случилось так, что рассвирепевший внезапно лев вдруг разгромил свою клетку и удрал на улицу.

Немедленно вспыхнула паника. Все пустились наутек. Все, кроме щупленького парнишки, который стоял на углу, ожидая свою возлюбленную. Лев бросился к нему, но отважный юноша вытащил перочинный ножик, который всегда держал с собой, чтобы затачивать кончик спички и таким образом экономить деньги, не покупая палочки-зубочистки. И этим ножичком он убил льва. Хищник прыгнул на паренька, но тому повезло — он одним-единственным ударом поразил льва прямо в сонную артерию, и зверь мгновенно сдох.

Это было потрясающе. Немедленно сбежался народ, чтобы поздравить героя, появилась пресса, радио, телевидение и даже представители высоких властей.

Какой-то министр, потрясенный отвагой

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО
В РЕКЕ, ГДЕ МНОГО ПИРАНИЙ

паренька, незамедлительно поинтересовался, не является ли он командиром эскадрильи истребителей. Нет, парнишка не был им. Офицер морского флота захотел выяснить: может быть, юноша служит штурманом подводной лодки? Нет, он не служил во флоте и вообще не имел никакого отношения к вооруженным силам этого королевства.

— Ну, так кто же тогда ты? — поинтересовался редактор крупнейшей газеты той страны.

— Да я рабочий,— ответил паренек.

И на следующий день все газеты королевства опубликовали на первых полосах заголовок:

«Беззащитный и затравленный лев зверски убит кровожадным коммунистом».

Как сноровка моряка оттачивается в штормах, как уменье воина закаляется на войне, так и талант Сержио Порто окреп в эти трудные для страны годы, последние годы его жизни, когда колонки Станислава Понте Преты в «Ултима ора» и «О крузейро» окончательно завоевали сердца читателей. Об этом можно судить по тому факту, что читательская почта Сержио Порто в эти годы была самой богатой и обширной по сравнению с остальными хронистами. Благодаря тысячам писем, идущим непрерывным потоком со всех концов страны, он сумел создать своеобразную службу «Прета-пресс», возвращавшую читателям полученную от них информацию в форме постоянных ежедневных сводок о ходе так называемого «ФЕБЕАПА» — «Фестиваля идиотизма, охватившего страну» [1]. Эта форма тоже явилась счастливой находкой Сержио Порто.

«ФЕБЕАПА» стал главной целью, против которого обратил свой талант, свое сатирическое оружие Сержио Порто. Умело обходя рогатки цензуры, мастерски пользуясь эзоповым языком он обнажал социальные язвы общества, безжалостно высмеивал лизоблюдство чиновников, заискивающих перед вышестоящим начальством, обличал политическое мракобесие и духовную тупость, чинопочитание и казнокрадство. В информациях о ходе «Фестиваля идиотизма» он опубликовал, например, распоряжение некоего бравого префекта, назначившего сотрудницей своей префектуры... лошадь. Или приказ начальника какого-то департамента с объявлением взыскания чиновнику, умершему еще в прошлом году. Или прочие перлы бюрократического творчества, вроде того, что был найден им в так называемом «Диарио официал» — официальном вестнике государственных узаконений и распоряжений. Станислав Понте Прета вычитал в нем декрет Национального конгресса, утвержденный подписями президента страны, министра юстиции и министра финансов и ассигнующий 22 крузейро (около 10 долларов) на лечение какого-то мелкого чиновчика Колумба Дантаса в крошечном поселке Пакоти (штат Сеара). Изложив суть этого очередного вклада «Диарио официал» в «ФЕБЕАПА», Станислав Понте Прета заканчивает сообщение саркастической концовкой: «Чтобы вылечить Колумба из Пакоти, понадобилось совместное решение президента и двух министров республики. Другому Колумбу, пытавшемуся достичь поставленной цели, хватило надбитого яйца. Увы, в штате Сеара яйца нынче очень дороги».

И еще одно сообщение «Прета-пресс»:

«ЦАРЬ — ПОДРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

Известный фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», который должен был демонстрироваться на кинофестивале в городе Белем, был снят с показа секретарем по просвещению, который пояснил, что это решение принято в соответствии с пожеланием «вышестоящих инстанций», «обеспокоенных «красными» тенденциями, обнаружившимися на этом фестивале».

Кинофестиваль, таким образом, был превращен в «Фестиваль идиотизма», это становится очевидным, если мы вспомним, что Октябрьская революция произошла в 1917 году, тогда как вышеупомянутый царь Иван умер в 1584-м И между эпохой его правления и эпохой коммунизма в России был перерыв в 333 года, который царю Ивану очень трудно преодолеть, каким бы грозным он ни был».

Нелегким был путь Сержио Порто, многие жанры испробовал он в литературе и журналистике. От лирической новеллы до памфлета. От политического комментария до полицейской хроники. От литературных эссе до театральных рецензий. Начал он в газете «Жорнал до повo», сочетая скромную работу кинокритика со службой в банке. Когда газета была закрыта цензурой, Сержио перешел в «Сомбра», который тоже протянул не очень долго. Потом работал еще в нескольких газетах и журналах, на радио и телевидении, где стал родоначальником нового жанра: своеобразного телевизионного обозрения — шоу, которое он вел в присущей ему спокойной манере, с ненавязчивым юмором и легкой иронией. Знакомя телезрителей с новинками театра, музыки и кино, анализируя и комментируя их, он с одинаково теплой улыбкой представлял и прославленных «звезд», и талантливых новичков. Подобно тому как каждую среду на страницах «О крузейро» печаталась рубрика «Станислав Понте Прета», каждый четверг на экране телестанции «Континенталь» появлялась музыкальная заставка «Станислав Понте Прета — шоу».

Во время одной из наших встреч с Сержио Порто в грязном, убогом буфете этой телестудии он жаловался на бесконечные рогатки, которые ставило ему руководство «Континентал», на цензурные придирки, на постоянное давление «патросинадоров», покупающих телевизионное время для рекламы своих товаров.

— Моя программа слишком умна для нашего телевидения живущего одними толь-

[1] Festival de besteira que assola o país. *(Здесь и далее — примечания автора.)*

ко заботами о сводках ИБОПа [1],— говорил он, прихлебывая слабенький кофе: крепкий ему давно уже запретили врачи из-за быстро прогрессирующей болезни сердца.— Если бы я занимался клоунадой, шпагоглотанием или разгадыванием снов, я мог бы рассчитывать на то, что моя программа продержится в эфире хотя бы полгода, а сейчас...

Он сокрушенно махнул рукой. И был прав: через месяц примерно после этого разговора «Станислав Понте Прета — шоу» было заменено в программах «Континенталь» многосерийным американским «вестерном» производства 30-х годов, что, впрочем, не спасло телестудию от последовавшего вскоре банкротства.

Удивительная одаренность Сержио Порто проявилась и в музыке, где он создал одну из самых любимых бразильцами самб, и в театре, где он явился автором сценария, режиссером и ведущим одного из наиболее популярных музыкальных шоу последних лет.

Принципиальность, гражданское мужество Сержио в его неустанной борьбе с реакцией и мракобесием вызывали восхищение друзей и ярость врагов. За свою непримиримость он едва не поплатился жизнью в августе 1968 года, когда экстремисты из «команды охотников за коммунистами» и «антикоммунистического движения» взрывали в театрах бомбы, разбрасывали листовки с угрозами в адрес левых политических и общественных деятелей, прогрессивных писателей, артистов и других работников культуры и искусства: Сержио Порто подмешали яд в термос с кофе, который он обычно пил в антракте своего спектакля. Врачам удалось спасти Сержио. Но ненадолго: надорванное сердце этого человека отказывалось служить ему. В сорокапятилетнем возрасте он уже с трудом подымался по лестнице на второй этаж редакции и вынужден даже был до минимума сократить свою ежедневную норму кофе. А можно ли представить себе бразильца без кофе?

И все же он продолжал работать, отдаваясь радости творчества: «Всегда будет в нашей жизни расписание, которому нужно следовать, работа, которую необходимо выполнить, как бы жарко тебе ни пришлось. И никогда не придет время, когда можно будет растянуться на пляже и забыть о заботах»,— написал он однажды.

Следуя этому железному закону, выполнение которого стало для него не вопросом дисциплины или условием заработка, а самой насущной потребностью, он работал так, как не работают розовощекие здоровяки, никогда не задумывающиеся о близком конце. С десяти часов утра до семи вечера он не вставал из-за пишущей машинки, если не считать короткого перерыва на обед. В это время он писал свои книги и сценарии, новеллы и статьи, фельетоны и, разумеется, хроники для «Ултима ора» и «О крузейро». В конце каждого рабочего дня он вручал их посыльному «Ултима ора», перепечатанные начисто, точно выдержанного размера, без помарок и без поправок, с резервным абзацем (если вдруг на полосе останется место), с очередной порцией сообщений «Прета-пресс» с шутливыми и остроумными репликами — ответами на письма читателей, которые не подозревали, что их Станислав неизлечимо болен.

В семь вечера он надевал вечерний костюм и отправлялся на телевидение, где (помимо уже упомянутого «Станислав Понте Прета — шоу») участвовал в десятках программ, в том числе *ежедневно* вел страничку театра, музыки и кино в вечернем выпуске теленовостей. С телевидения он ехал в театр, из театра — в один из ночных клубов, где часто и всегда с шумным успехом выступал в качестве сценариста и режиссера музыкальных программ. В мутном потоке порнографии и пошлости, захлестывающем эти зрелищные заведения, спектакли, поставленные и руководимые Сержио Порто, отличались безукоризненным вкусом, чувством меры и особым, свойственным только ему изяществом и остроумием.

«Рабочий день» этого неизлечимо больного человека зачастую превышал 16 часов в сутки. Это было поразительно, но у него хватало сил на все: на свои хроники и на политические памфлеты с требованием восстановления демократических свобод. На участие в музыкальных спектаклях и в уличных демонстрациях вроде знаменитого «марша ста тысяч», прошедшего в середине 1968 года по улицам Рио. На ежевоскресные визиты в ложу прессы стадиона «Маракана» где он с мальчишеским фанатизмом «болел» за «Флуминенсе», и на постоянное и активное участие в борьбе за освобождение политических заключенных.

Он казался бесхитростным и веселым, как герои и читатели его книг. И никто, кроме близких друзей, не подозревал о страданиях этого человека, который не хотел от жизни ничего, кроме возможности жить и работать. И кроме этого совсем немного: «Солнечный пляж — в январе, карнавальный наряд — в феврале, рюмочку коньяку — в июне[1], новую книжку — в августе и еще неплохо бы — по субботам — ту самую мясную поджарку, которую только нега[2] Мерседес умеет приготовить, в сопровождении бутылки хорошего пива».

Когда Сержио стало совсем плохо, его брат Флавио обратился к известнейшему в Бразилии хирургу Жезусу Зербини с просьбой подумать об операции по пересадке сердца: Зербини был вторым после Кристиана Бернарда хирургом в мире, осуществ-

[1] ИБОП — Институт изучения общественного мнения в Бразилии, занимающийся, в частности, изучением запросов и вкусов телезрителей и радиослушателей.

[1] Июнь — время традиционных в Бразилии «июньских праздников» с народными балами, фейерверком, иллюминацией.

[2] Нега — шутливо-ласкательная форма, образованная от слова «негритянка».

ИГОРЬ ФЕСУНЕНКО
В РЕКЕ, ГДЕ МНОГО ПИРАНИЙ

лявшим такие операции. Врач согласился. Сержио отказался, смеясь: «После этого мне придется уйти на пенсию?»

Впрочем, его, очевидно, уже ничто не могло спасти. Очередной приступ оказался роковым. Когда его, уже почти без сознания, увозили в больницу, он и тут умудрился улыбнуться и пошутить, обращаясь к плачущей медсестре: «Туника, отвернись, пожалуйста, ты же знаешь, что я не могу спокойно видеть плачущую женщину». Потом, теряя последние силы, сказал брату: «Поцелуй эту красавицу за меня».

...На его похороны пришли тысячи друзей и читателей, телезрителей, радиослушателей, поклонники его таланта и люди, для которых Станислав Понте Прета стал членом семьи, другом, советчиком. Насмешливым и добрым. Лиричным и остроумным. Язвительным и сентиментальным. Кто-то плакал. Кто-то пытался произносить речи, такие неуместные и напыщенные. Короче всех и точнее всех сказал над его гробом Жуселино Кубичек — бывший президент страны, лишенный «революцией» 1964 года политических прав: «Мы потеряли великого патриота Бразилии...»

Шел дождь. И впервые в присутствии Станислава никто ни разу не улыбнулся.

■

...Со дня его смерти прошло шесть лет. И с каждым днем и годом, удаляющим нас от Сержио Порто и его героев, становится все более очевидным и зримым глубочайший след, навечно оставленный семейством Понте Преты, в бразильской национальной культуре. Писатель, академик и виднейший бразильский историк Жилберто Амадо сказал о наследии Сержио Порто: «Он был более значителен, чем Данинос во Франции, чем Арт Бухвальд в США. Он был величайшим в истории Бразилии».

Устойчивая, успешно выдерживающая проверку временем популярность творчества Сержио Порто объясняется не только политической остротой его лучших работ, не только личным гражданским мужеством, но и высочайшим профессиональным уровнем его произведений в любом жанре, к которому бы он ни обращался. «Своим современным стилем, до невероятности изобретательным языком своих произведений,— писал о Сержио его коллега из «Ултима ора» Моасир Вернек,— он покорил всю нашу страну, проник во все общественные слои, завоевал приверженцев и поклонников как среди весьма утонченных интеллектуалов, которые считали его одним из самых выдающихся знатоков нашего языка, так и у простого народа».

Творческое использование и развитие традиций Сержио Порто (или откровенное подражание его манере, его стилю — у тех, кто победней интеллектом и талантом) стало в последние годы, пожалуй, одной из наиболее характерных примет бразильской литературы «малых форм»: очерка, новеллы, фельетона, эссе и, разумеется, хроники. Многие начинающие фельетонисты или хронисты, не обременяя себя творческими муками, пытаются писать «под Станислава», подобно тому как в цирке или на эстраде сотни эпигонов стараются повторить рекордный трюк какого-то великого «маэстро» либо аттракцион выдающегося иллюзиониста. Однако стиль Сержио был и остается неподражаем. «Солнце входило в его фразу со всех сторон»,— сказал известный журналист Барбоза Лима Собриньо. А один из крупнейших лингвистов Бразилии Антенор Насцентес назвал его язык самым выдающимся явлением в португальской филологии последних десятилетий. Трудно, а может быть и невозможно, найти другого современного писателя Бразилии или Португалии, который так сильно обогатил бы и литературный и разговорный португальский язык: по приблизительным подсчетам филологов, более тысячи выражений, словечек и поговорок, впервые появившихся в устах «семейства Понте Преты», прочно вошли сейчас в речевой обиход бразильцев, да и не только бразильцев.

Хотелось бы подчеркнуть вместе с тем, что взаимосвязь литературного языка Станислава Понте Преты с разговорной речью «кариокас» была, разумеется, двусторонней. Писатель умело и тонко использовал в своем творчестве самые интересные «находки», услышанные им у соотечественников. А его влияние на язык бразильцев вообще объяснялось в значительной степени тем обстоятельством, что тиражи его книг не уступали тиражам романов Жоржи Амаду и исчезали с прилавков книжных магазинов со скоростью, беспрецедентной для Бразилии.

Именно Сержио Порто изобрел, например, хорошо известный музыковедам всего мира термин «босса-нова», которым именуется с тех пор важный этап в развитии бразильской самбы. Вот некоторые из ставших крылатыми выражений Станислава Понте Преты. Они характеризуют «времена и нравы», в которых ему довелось жить и работать:

«Бразилия с такой скоростью пятится назад, что те, кто не успеет сесть в последнюю каравеллу Кабрала[1], могут вскоре превратиться в индейцев».

«В реке, где много пираний[2], даже крокодил вынужден плавать на спине».

«Море нынче — не для рыбы, время нынче — скорее для ворон, чем для колибри».

Профессиональных «секретов» у Сержио Порто множество. Но главный из них «секретом», пожалуй, и не назовешь. Он очевиден и прост, и именно он выделил Сержио, поднял над большинством его собратьев по перу — бесчисленных хронистов, новеллистов, очеркистов, заваливающих своими опусами книжные лавки Рио и Сан-Паулу, Белу-Оризонте и Порту-Алегре: Сержио Порто был не просто талантливым художником. Он был писателем-гражданином,

[1] Кабрал, Педро Алварес — португальский мореплаватель, открывший в 1500 году территорию нынешней Бразилии.

[2] Пиранья — хищная рыба.

он понимал, что искусство, как сказал Маяковский, «не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло».

Назвав Сержио Порто «одним из самых выдающихся журналистов нашей эпохи», Жоржи Амаду говорит о нем следующее: «Создание фигуры Станислава — это литературный подвиг. Он явился следствием прочувствованной Сержио Порто необходимости найти инструмент, с помощью которого он смог бы наиболее глубоко поразить своей критикой общество абсурда, в котором мы живем... Этот персонаж является в одно и то же время тезисом и антитезисом, он — Дон Кихот нашей эпохи и нашего Рио-де-Жанейро, Дон Кихот, в котором есть нечто от Рабле и очень много от Марка Твена».

В то время как большинство хронистов — по собственному убеждению или опасаясь свирепой цензуры — старались не касаться острых социальных проблем, избегать кричащих противоречий капиталистического «общества массового потребления» и ограничивались бесконечным пережевыванием морально-этических сюжетов да смакованием бесчисленных анекдотов о тупых бюрократах, незадачливых полицейских, хитрых служанках и их истеричных хозяйках, в хрониках Сержио Порто читатель обнаружил, как сказал Жоржи Амаду, «противоречивый и многоликий мир»; время ужасной скорби, но вместе с тем и анонимного героизма; город с его одиночеством и болью, но также и со своими житейскими радостями и теплом человеческой души. «Я часто был растроган,— писал Жоржи Амаду,— читая эти страницы о людях, печальных и хрупких, страдающих, но наполненных жаждой жизни, пытающихся на фоне самых удивительных в мире красот искать для себя надежду, убежище и мир, которые кажутся невозможными».

«Страдающие, но наполненные жаждой жизни» бразильцы полюбили своего Станислава.

«...Прекрасная история эта, рожденная фантазией бессмертного Сержио Порто, будет передаваться из поколения в поколение. Его столь волнующее творчество мы никогда не забудем и его столь прекрасную сатиру на нашем карнавале воспоем...»

Этими наивными, но идущими от сердца словами начиналась трогательная самба, с которой вышла на карнавальное шествие 1971 года одна из самых убогих в Рио-де-Жанейро фавел [1] «Унидос де Падре Мигел». Ее авторами были малограмотные обитатели этой фавелы, и «самбинья» эта была принята и подхвачена гигантской аудиторией зрителей и участников карнавала на главном проспекте Рио — авениде Президента Варгаса, когда на авениду вышли полторы тысячи негров и мулатов из «Падре Мигел».

Сам факт, что о «бессмертном» Сержио Порто сочиняют и поют самбы в фавелах Рио-де-Жанейро, достаточно убедительно свидетельствует о том, сколь дорого простому народу Бразилии его «волнующее творчество» и сколь близка и понятна бразильцам «прекрасная сатира» этого выдающегося писателя.

СТАНИСЛАВ ПОНТЕ ПРЕТА

ПИСАТЕЛЬ-РЕАЛИСТ

Новый, совсем современный писатель, ну прямо «босса-нова», весь в поисках нового способа передачи своих мыслей читателю, писатель, страдающий модной сейчас болезнью усложнять все ясное, сел за пишущую машинку, чтобы начать роман, призванный произвести переворот в литературной технике и в стиле романа Бразилии.

Вставил лист белой-белой бумаги в машинку и глубоко вздохнул. Чувствовалось, что новый писатель находится у истоков гениального создания. Чувствовалось, что это решающий момент в истории западной литературы, как позднее написал бы Ото Мариа Карпо [2].

Новый писатель, искавший наивысшей оригинальности, посмотрел с надменным видом на листок белой бумаги в машинке и начал писать: «Жоан пересек лужайку, направляясь к Марии, которая бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Он прижал ее к себе и сказал...»

Здесь новоиспеченный писатель остановился, чтобы несколько поразмыслить. Ему не приходила на ум подходящая, точная, определяющая фраза, которая вылетела бы из уст Жоана. Он зажег сигару и задумался.

Писатель решил не спешить. Вдохновение должно прийти само по себе. Он встал, подошел к окну, посмотрел на несведущих, наивных людишек, сновавших внизу и не подозревавших, что сверху за ними наблюдает великий художник. Он еще подышал немного свежим воздухом. Затем вернулся к машинке, перечитал написанное, но не находил слов, достойных быть запечатленными на бумаге.

Писатель прошел в ванную, слегка смочил лоб холодной водой и вновь уселся за машинку. Еще раз прочел написанное им: «Жоан пересек лужайку, направляясь к

[1] Фавела — скопище лачуг и бараков, в которых обитают беднейшие слои городского населения.

[2] Бразильский литературовед, академик. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Марии, которая бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Он прижал ее к себе и сказал...»

Здесь писатель остановился, не найдя точного выражения, но в этот момент такое выражение, к счастью, забрезжило в его мозгу. Новый, совсем современный писатель, озабоченный тем, как выделиться среди других, улыбнулся и написал:

«— Я люблю тебя».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АД

Источником нижеописанной истории является фольклор Белу-Оризонте, где она была освещена в политическом плане. Мы к той версии не имеем никакого отношения. Здесь же она будет описана в чисто фольклорном стиле.

«Сыграл в ящик» один человек. При жизни он частенько занимался мошенничеством, выдвигался кандидатом в члены муниципального совета от Бразильской трудовой партии, был директором института социального обеспечения и, кроме того, другом Тенориу [1], так что после смерти он отправился прямехонько в ад. Оказавшись там, добился аудиенции у Сатаны и спросил его:

— Как здесь обстоят дела?

Сатана объяснил ему, что преисподняя поделена на различные отделы, каждым из которых управляет определенная страна, но усопшему не обязательно идти в отдел той страны, из которой он прибыл. Он может выбрать любой другой отдел. Человек этот горячо поблагодарил Сатану, сказав, что посетит различные отделы, с тем чтобы выбрать наиболее подходящий.

И вот, покинув кабинет Сатаны, он, разумеется, направился в отдел Соединенных Штатов Америки, полагая, что там ад организован наилучшим образом и что он останется там навсегда. В отделе Соединенных Штатов режим был таков:

— Пятьсот ударов розгами каждое утро, затем два часа пребывания в котле при температуре двести градусов. Вечером: пребывание в морозилке при температуре сто градусов ниже нуля до трех часов и затем вновь котел при двухстах градусах.

Покойника это вывело из себя, и он выбежал оттуда, чтобы поискать нечто более подходящее. Посетил отделы многих стран, но повсюду ему отвечали одинаково. Разделение было необходимо лишь для облегчения службы в преисподней, а режим везде был один и тот же: пятьсот ударов розгами каждое утро, котел с температурой двести градусов днем и морозилка с температурой сто градусов ниже нуля вечером.

Расстроенный, покойник плелся по одной из улиц ада и вдруг увидел надпись на двери: отдел Бразилии. Здесь очередь у входа была значительно длиннее, чем в других отделах. «Ага, здесь наверняка можно что-нибудь выгадать»,— подумал он. Встав в очередь, он поинтересовался у стоявшего перед ним субъекта, почему очередь здесь самая большая, а люди в очереди более веселые. Субъект притворился, что не слышит, но новичок оказался таким настырным, что тот, боясь привлечь чье-либо внимание, сказал шепотом:

— Притворись глухим и не болтай. Здешний котел не работает, а морозилка тоже неисправна и не дает ниже тридцати пяти градусов.

— А пятьсот ударов розгами?

— Ха... лицо, назначенное на эту должность, приходит сюда утром, расписывается в табеле и тотчас сматывает удочки.

ЖУЛИКИ-«СТИЛИСТЫ»

Управляющие магазинами так часто жалуются на пропажу товаров с витрин и прилавков, что полиция уже изучила различные способы воровства. Кроме клептоманов, ворующих, так сказать, из любви к искусству, из-за своей страсти надуть ближнего, что Фрейд объясняет на странице четвертой своего обстоятельного учебника, существует и собственно жулик, профессионал, специализирующийся в одном каком-то «стиле» воровства, который переходит из магазина в магазин, зарабатывая таким путем себе на жизнь. В Рио-де-Жанейро в последнее время случаи хищений в больших элегантных магазинах участились, в связи с чем репортеры спешат в обворованные магазины с целью подготовить соответствующий репортаж.

Управляющий одного из магазинов, в котором кражи были совершены уже несколько раз, готов был даже нанять частного детектива, чтобы схватить грабителя. Свое намерение он высказал одному из репортеров, в то время как прибывший с ним фотограф возился с указателями товаров, выставленных в магазине. Управляющий, подобно полицейскому, знал преотлично, как работают «магазинные крысы». И гордился своей эрудицией.

— Вы понимаете,— говорил он с высокомерным видом репортеру,— мой опыт позволил мне быть более сведущим в этом вопросе, чем полиция.

— Интересно,— произнес репортер.

[1] Имеется в виду сенатор Тенориу Кавалканти.

Чувствуя себя победителем, управляющий продолжал:

— Бывают случаи грубого нападения со стороны «оппортуниста», который подсматривает, как с грузовика фирмы разгружают товары, и при малейшем недосмотре хватает какую-то вещь и несется прочь. Но это мелкий воришка, без своего собственного стиля, «неклассный». Наш же магазин — неоднократная жертва именно «стилистов».

— Позвольте, и у каждого грабителя свой стиль? — удивился репортер.

— Разумеется,— воскликнул управляющий, приняв позу профессора.— Одни действуют под видом покупателя. Приходит такой тип, берет какой-нибудь товар, будто бы намереваясь приобрести его, и несет к одному из продавцов, который отвлекся чем-нибудь в этот момент «Покупатель» объясняет ему, что купил эту вещь накануне, что она ему не подошла и он хотел бы обменять ее. Продавец, ничего не подозревая, берет товар и любезно вручает проходимцу другой.

Есть типы, которые пользуются моментом, когда магазин оказывается полупустым. Если продавец один, он входит, выбирает то, что намерен будто бы купить и что — он уже заранее это знает — находится во внутреннем помещении. И как только служащий скрывается там, чтобы найти необходимую «покупателю» вещь, последний пользуется случаем и исчезает с другим предметом под мышкой.

Репортер записал услышанное, и управляющий перешел к другому случаю. Для хищения мелких предметов, которые обычно выставляются на прилавке, жулье предпочитает пользоваться чемоданчиками с фальшивым дном.

— Как так? — заинтересовался репортер, после того как попросил фотографа сделать снимок управляющего. Последний принял позу Наполеона и объяснил:

— Чемодан с фальшивым дном — простая штука. У него нет дна. Вор входит, ставит чемоданчик на предмет, который он намеревается стянуть. Когда он поднимает чемоданчик, фальшивое дно оказывается на месте, а похищенный предмет внутри, и жулик уносит его без особого волнения.

Этот случай напоминает мне другой, когда вор пользуется просторным пальто или дождевиком. Входит такой субъект в магазин и принимается осматривать витрины. Как только ему представляется удобный момент, он прячет выбранную вещь под пальто или плащом. Похититель проделывает это так быстро, что продавцу бывает трудно заметить кражу.

— Ого! — восхищается репортер.— Выходит, существует множество способов краж?

— А ведь это только кражи, совершаемые ворами-одиночками. Но есть и жулики, орудующие «дуэтами» и целыми группами. Приходит один, берет несколько вещей, будто намереваясь купить их, и передает все своему дружку, который исчезает незамеченным. Когда служащие обнаруживают пропажу, первый цинично предлагает обыскать его.

— Это впечатляет,— воскликнул репортер, делая последние заметки. А затем добавил: — Могу ли я отсюда позвонить?

— Разумеется,— согласился управляющий и показал, где находится телефон.

— Раймундо, иди сюда,— позвал репортер фотографа, и тот, взяв в руки чемодан с фотооборудованием, последовал за ним.

Прошло несколько минут, а фотограф и репортер не возвращались. Управляющий пошел за ними, но нашел около телефона только записку следующего содержания: «Друг мой, знаете ли вы такой способ кражи, когда один выдает себя за репортера, а другой — за фотографа, наполняя чемоданы товарами, находящимися у него под рукой?»

ЗЕЗИНЬЮ И ПОЛКОВНИК

Полковник Иоландо всегда был грозой квартала Когда плут Зезинью был еще совсем карапузом, играть в футбол на улице было неслыханной дерзостью, ибо полковник, едва мяч появлялся на асфальте, выбегал из дому с саблей в руке и протыкал его. Однажды Зезинью прорвался по левому краю и уже готов был забить гол, как полковник военной полиции — в то время еще капитан — выбежал и преградил ему дорогу, раскрыв руки. Он был похож на правого крайнего защитника, пытавшегося остановить нападающего соперника. Страстный любитель футбола, Зезинью не удержался, обвел статного военного и забил гол, влетев в ворота вместе с мячом.

О, ребята... тут раздался гром и засверкали молнии. Иоландо, тогда еще капитан, стал похож на ягуара, страдающего синуситом На том самом месте он поклялся, что не позволит никакому бродяге играть в мяч перед его домом. И, используя свою власть, оскорбленную дриблингом шкета Зезинью, поставил на каждом углу полицейских, дежуривших в течение долгих месяцев В квартале каждую ночь были случаи грабежа, однако полковник предпочитал иметь на углу двух постовых, надоедавших ребятне, чем заставлять их преследовать грабителя.

Я вам рассказываю это для того, чтобы вы почувствовали весь трагизм положения и жестокость полковника Иоландо.

И никто в округе не мог понять, как этот франкенштейн в форме мог иметь такую дочь, как Ирэна, такую хорошенькую, такую нежную, такую пухленькую. Среди

тех, кто не понимал этого, был и тот самый Зезинью, тот сорванец, который в былы времена гонял по улице мяч.

Исследователь в душе, Зезинью потихоньку стал ухаживать за Ирэной. Для начала сказал ей комплимент у дверей кино, затем у них произошел короткий разговор у входа в кафе-мороженое, и так мало-помалу дело дошло до того, что он сделал ей признание. Когда Ирэна поняла все, она уже по уши влюбилась в Зезинью. Если бы он захотел, она даже стала бы его жевательной резинкой.

Само собой разумеется, что ухаживание скрывали от полковника Иоландо, который не допускал даже возможности того, чтобы его дочь смотрела на кого-нибудь, а тем более на Зезинью, этого бродягу, коммуниста.

Без гуляния нет наказания. Отец не знал, и дочь развлекалась, пока однажды, точнее, однажды вечером, когда Ирэна отправилась к Маргаридинье, естественно, выдуманной ею, и после того, как она целых два часа провела в объятиях Зезинью под хлебным деревом на второй поперечной улице направо, Ирэна позволила парню проводить ее до самого дома.

Злополучное совпадение: полковник Иоландо как раз собирался выйти из дому, чтобы возглавить батальон для разгона студенческой демонстрации. Он подошел к окну именно в тот момент, когда Ирэна и этот бесстыжий находились почти у двери. Полковник выхватил револьвер из кобуры и спустился по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, выпуская клубы пара через раздувавшиеся ноздри, точно буйвол в морозный день.

Он не позволил противнику и рта раскрыть. Заревел на Ирэну:

— Марш домой, бесстыдница,— и девушка тотчас исчезла.

Затем повернулся к бедняге Зезинью, который стоял ни жив ни мертв, весь какой-то поникший, и схватил его за шиворот, оторвав его на целую пядь от земли; парнишка попытался было сказать ему: «Господин полковник, вы выбили почву из-под моих ног»,— чтобы шуткой разрядить обстановку, но не успел.

— Кретин,— зарычал Иоландо,— ты видишь этот револьвер?

(Зезинью видел.)

— Так вот, я приставлю дуло к твоему глазу и разряжу оружие в твою черепушку, негодяй. Тебе понятно?

(Зезинью понимал.)

— И вот что скажу тебе: я запрещаю тебе жить в этом квартале. Завтра я лично приду проверить, переехали вы или нет, ты слышал?

(Зезинью слышал.)

— Если вы не переселитесь по крайней мере за пятьдесят километров отсюда, я ежедневно буду посылать к вам патруль, чтобы задать тебе трепку. А теперь исчезни, насекомое.

Полковник выпустил Зезинью, который, почувствовав твердую почву под ногами, поспешил как можно быстрее убраться восвояси. Полковник в свою очередь отправился разгонять демонстрацию студентов, и о том, что произошло, вы уже читали в газетах, после чего он вернулся домой, где нашел свою супругу весьма озабоченной.

— Не смотри ты на меня, как загнанный кролик,— процедил Иоландо,— я только дам пару пощечин нашей бесстыжей дочке.

— Я не этим озабочена, совсем не этим, Йойо (она называла полковника Йойо). Я боюсь за тебя.

— За меня?! — удивился полковник.

— Видишь ли, Ирэна и Зезинью только что отправились венчаться в церковь Епископа из Мауры. И просили обнять тебя.

ОДА ОСЛУ

Для одних карнавал кончился, для других он еще продолжался, однако на смену февралю уже пришел март. Прежде всего, по вполне понятным причинам, мы воспроизводим здесь циркуляр, распространенный муниципальной палатой Пиндамоньянгабы: «Заключение Финансовой комиссии в отношении законопроекта № 4/67 Исполнительной власти. Председатель-докладчик — Депутат муниципального совета Анибал Лейте де Абреу. Посредством вышеуказанного законопроекта исполнительная власть муниципалитета намеревается продать двух вьючных животных, являющихся собственностью префектуры и перешедших уже тридцатилетний рубеж. Многим такой шаг покажется нормальным, обычным, не заслуживающим более глубокого рассмотрения и изучения. Мы не претендуем на это, а хотим только посочувствовать (ибо настоящий документ не хвалебная речь) печальной судьбе этих обожаемых животных, которые после 25 лет изнурительной работы по уборке общественных мест в настоящее время, будучи хромыми и находясь в полном упадке сил, будут проданы за тридцать сребреников. Понятно, что они проживут свои последние дни, погоняемые безжалостным кнутом какого-нибудь жестокого, одержимого, но считающегося разумным хозяина и испустят свой последний вздох, будучи привязанными к оглоблям тяжеленных колымаг, или же их тела будут четвертованы в какой-нибудь солильне, производящей колбасы из мяса вьючных животных и конины. В то время когда эти животные благо-

даря своей преданности, дружелюбию, трудолюбию или своей святейшей покорности заслуженно пользуются большим уважением своих разумных братьев, когда представительные личности интеллектуального или политического мира нашей мятущейся столицы готовятся воздвигнуть памятник Ослу, этому животному, чей вид насчитывает тысячи лет существования, животному, которое уступило свою кормушку для ложа Учителя Учителей, которое перевезло на своей удобной спине Марию и маленького Иисуса в Египет, недопустимо, чтобы в Пиндамоньянгабе местная префектура совершила акт вопиющего беззакония в отношении этой незабвенной вьючной скотины. Мы могли бы напомнить благородным членам об активном участии осла в становлении Бразильской империи, когда он героически переносил тяжеловесные корзины, спускался с круч, нагруженный золотом, драгоценными металлами или камнями, и карабкался в горы с хорошим импортным вином, инструментами и другими богатствами.

В завоевании внутренних районов Бразилии, в движении за расширение территории, в освоении сертанов, в сооружении шахт и при основании городов осел всегда участвовал как проводник прогресса и цивилизации.

Каждый из нас на своем государственном посту во многих случаях должен проявлять больше сердечности и быть как можно более гуманным. Мы не хотим показать тем самым чрезмерную доброту или качество, которым мы часто не обладаем, но будет несправедливо, если старые и утомленные животные оплатят своими страданиями и своей жизнью цену нашего безразличия или нашей забывчивости. Поэтому мы выступаем против одобрения законопроекта № 4/67 и рекомендуем господину муниципальному префекту — и, если это необходимо, выработаем законопроект — всех животных, принадлежащих префектуре, которые в силу своего возраста становятся бесполезными для служб, выпустить на свободу на участок у плотины, являющийся собственностью муниципалитета, где они проведут свои последние дни. Сумма, которую префектура получила бы от продажи этих животных, была бы незначительной, в то время как пример справедливости и понимания наших властей должен заявить во весь голос о позиции наших нынешних муниципальных руководителей. Пиндамоньянгаба, 6 марта 1967 года — Анибал Лейте де Абреу — Председатель-докладчик Финансовой комиссии».

ИНФАНТИЛИЗМ

В один и тот же день члены муниципального совета Севера и депутаты Юга поддержали престиж национального «Фестиваля идиотизма». В Арковерди (Пернамбуку) было проведено секретное заседание муниципального совета, которое, однако, передавалось по радио Арковерди.

В Рио (Гуанабара) депутаты обсуждали вопрос о придании официального характера лотерее с целью оказания помощи Бразильскому легиону обеспечения (БЛО), и господин Соза Маркес заявил: «Просьба БЛО была недостаточно удачной, так как покинутые дети не были бы довольны, если бы узнали, что им помогают деньгами, которые удалось выманить у простого люда и даже у богатых с помощью определенной игры». Как будто покинутые дети имеют предубеждение к какой-либо помощи.

ПОМЕШАННЫЙ КОМИССАР

В конце 1966 года «ФЕБЕАПА» блистал особенно ярко. Газета «Пятое марта», издающаяся в Гойас, с тем чтобы доказать читателям, что полицейский комиссар первого района Анаполиса подписывает любую бумажку, которую ему кладут на стол, опубликовала удостоверение о проживании президента Франции. Какой-то шутник подсунул бумаженцию комиссару, и тот подмахнул ее, так что свет увидел следующий перл на официальном бланке: «Штат Гойас — Министерство общественной безопасности — Полицейский участок первого района — Анаполис. Удостоверяю по просьбе заинтересованного лица, что господин Шарль де Голль, национальность — француз, гражданское состояние — женат, профессия — президент Французской республики, проживает в этом городе по улице Бенжамена Констана, № 306».

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Министр юстиции, посетивший северо-восток Бразилии с целью изучения вопросов, связанных с движением полковников и бандитизмом, был потрясен царящей там бедностью. Его превосходительство заявило: «Представьте себе, в одном из штатов северо-востока закрыли тюрьму из-за недостатка средств на ее содержание».

Ишь как разволновалось его превосходительство! Нет школы — ничего страшного, нет больницы — сойдет, а вот закрытие тюрьмы — уже конец!

ЖИТЕЛЬ БАИИ — ПЛОХОЕ МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ

Выступая по телевидению, губернатор Луис Вьяна Филью коснулся цен на молоко, которое в городе Салвадоре стоит 600 крузейро один литр. Эта особа дала прямотаки чудесное объяснение факту:

«Молоко в нашем штате достигло такой высокой цены ввиду того, что население штата еще не привыкло часто пить молоко, и, как следствие этого, его потребление незначительно, что вынуждает владельцев молочного скота повышать цены».

Более того, он сказал, что правительство, обеспокоенное этим вопросом, намеревается развернуть кампанию с целью «приучить население употреблять молоко», пищевой продукт, необходимый, как сказал сам доктор Луис Вьяна, «особенно для детей».

Итак, по мнению знаменитого губернатора Баии, проблемы бразильского народа легко разрешимы, для этого достаточно только, чтобы народ научился есть больше, с тем чтобы снизить цены на пищевые продукты. Таким образом, бедный только потому беден, что не умеет тратить деньги, так или не так? А молоко в Баии подешевеет только после того, как жители научатся сосать его.

МЫ В БУТЫЛКЕ

Мы спускались по откосу и жевали гоябу, как вдруг перед нами откуда ни возьмись появился элегантный кавалер с улыбкой на лице; он встретил нас с распростертыми объятиями. Но так как у нас хорошая память на лица и мы поняли, что изысканный кавалер не является нашим близким знакомым, мы подумали, что это специалист по изъятию портмоне.

Но нет, он оказался промышленником. Показал свою визитную карточку и объяснил, почему осаждает этого известного «писаря». Он сказал, что его промышленность хмельная, и, прежде чем мы успели выразить свое удивление, пояснил, что она производит спиртные напитки.

К нашему большому удивлению, он утверждал, что нуждается в нашей помощи.

— Хотите выпить с нами? — спросили мы, подготовив тотчас отговорку, чтобы защитить нашу печень.

К счастью, речь шла не об этом. Элегантный кавалер, приняв позу оратора, старающегося вдохновить своей речью аудиторию, сказал, что, если бы мы захотели выпить, для него было бы удовольствием предложить нам свои напитки; однако он пришел с другим намерением. Его фирма собирается выпустить в продажу национальный коньяк (и увидав, что наши лица перекосились в гримасе отвращения, он сначала запнулся, но затем поклялся, что это не какой-то самогон, подделанный под коньяк, а настоящий коньяк).

Итак... фирма выпустит коньяк, и департамент развития (смотрите-ка, даже в таком деле существует департамент развития)... итак, упомянутый департамент посоветовал присвоить этой бурде имя Станислава Понте Преты.

Вот это да! Столько уловок, чтобы предложить нам, наконец, быть крестным отцом отечественного коньяка. Разумеется, мы не согласны.

— Но ведь мы платим за это,— настаивал промышленник.

— Платите? Нет. Платили бы. И только выполнили бы этим вашу обязанность,— сказали мы, уже представляя себе на полках баров эту отраву с соответствующими этикетками на бутылках.

В хорошенькое же положение он нас поставил бы. Такая личность может вызвать семейные ссоры. Пришел, например, муж домой полупьяный, а жена говорит: «Ты что же опаздываешь, негодяй? О господи, как от тебя несет «Станиславом Понте Претой».

И это предлагают духовному наставнику тысяч читателей во всем мире! Нас же перестанут уважать, если мы примем предложение. Представляю, как какой-нибудь отец говорит своей дочери: «Ты семью позоришь, вконец развратилась с этим «Станиславом Понте Претой».

Нет, это неприемлемо. А как ужасно, если вдруг какой-то проходимец подбегает к прилавку пивной и кричит трактирщику холодной ночью: «Дай-ка мне «Станислава» погреться!»

Перевод с португальского В. СВИРЧЕНКО

◆

Критика

М. МЕНДЕЛЬСОН

ЧЕМ АБСУРДЕН «АБСУРДИСТСКИЙ» РОМАН?

«Убеждение, что наша вселенная абсурдна, хаотична и лишена смысла,— вот, пожалуй, ведущая тема современного американского романа»,— так начинает опубликованную в США книгу «Современные американские создатели романа абсурда» (1971) литературовед Чарлз Харрис. В этих словах выражено убеждение автора, что проблема, избранная им для исследования, имеет огромное значение, является главной в американской литературе нашего времени.

Нечто сходное можно сказать и о появившейся год спустя обширной работе другого американского критика Реймонда Олдермена «Образ бесплодной земли». Правда, Олдермен предпочитает несколько иную терминологию, нежели Харрис. Он говорит, что американский роман «делает своей определяющей метафорой образ бесплодной земли». По существу, однако, речь снова идет о романе «абсурда».

Аналогичные соображения о литературе США последних лет выдвигают некоторые литературоведы Англии. Так, в книге «Состояние романа» (1970) Бернард Бергонзи говорит об американских романистах «абсурдистской» школы (называя ее также школой «комически-апокалипсической) как о весьма заметном явлении.

Да и американские критики, которые пишут о романе «черного юмора» в США, тоже настаивают на том, что этот роман получил на их родине весьма широкое распространение. Сошлюсь хотя бы на Бартона Фелдмена. В своей статье «Анатомия черного юмора», включенной в сборник «Американский роман после второй мировой войны» (1969), он пишет: «Если верить некоторым критикам, то «черный юмор», возможно, представляет собою единственно новое или важное течение в американской беллетристике со времени завершения второй мировой войны». Показательно, что Фелдмен не раз в качестве примера называет книги тех же прозаиков, о которых идет речь у Харриса, Олдермена, Бергонзи.

Все это не значит, конечно, что вовсе нет различий между терминами «абсурдистский» роман, литература «черного юмора» или «бесплодной земли» (среди буржуазных литературоведов США, Англии и других стран в ходу также выражения: «проза кошмаров», роман «распада» и другие). Но различия эти не столь существенны, речь идет о явлениях сходных, и мы вправе спросить: действительно ли литература «абсурдистская» или «комически-апокалипсическая» приобрела ныне на американском Олимпе такое значение, какое приписывают ей приведенные выше свидетельства (число их можно увеличить)?

Однако какова бы ни была точка зрения этих критиков, последние десять — двадцать лет в США (это пора больших массовых движений — антивоенных, негритянских, молодежных) ознаменовались в первую очередь развитием не «абсурдистского», а скорее реалистического романа. И это впечатление вполне обоснованно. Сошлемся хотя бы на такие произведения, как «Особняк» Фолкнера, «Зима тревоги нашей» Стейнбека, «Корабль дураков» Портер, «Буллет-Парк» Чивера, «Острова в океане» Хемингуэя, «Те» Оутс, «Кентавр» и «Ферма» Апдайка, «Бойня номер пять» и «Завтрак чемпионов» Воннегута, «Уловка-22» Хеллера,

«Обман» и другие части цикла романов «Семена» Лоренса. (Впрочем, некоторые американские критики называют даже иные из упомянутых романов «абсурдистскими».)

Необходимо, однако, признать, что книги, в которых есть многое от «романа абсурда», от «комически-апокалипсической» прозы, получили в США последнего времени довольно широкое распространение, во всяком случае гораздо большее, чем в период, отделявший первую мировую войну от второй, или даже в 40-е годы (да и в начале следующего десятилетия).

Уместно поставить вопрос: почему роман «абсурда» и впрямь пользуется ныне в США столь пристальным вниманием и беллетристов, и читателей, и критики?

Многие американские литераторы полагают: чтобы ответить на этот вопрос, вполне достаточно сослаться на то неоспоримое обстоятельство, что в жизни Соединенных Штатов Америки в настоящее время происходит очень много странного, тягостного, даже нелепого, противоречащего здравому смыслу, почти невероятного, поистине абсурдного.

В одной из статей начала 60-х годов американский писатель Филип Рот сказал об этом с такою силой, что его слова приводятся исследователями литературы именно для доказательства естественности и даже неизбежности возникновения в США «абсурдистского» романа и романа «черного юмора». Рот пишет (мы приводим его слова по антологии критических статей «Американский роман после второй мировой войны»): «...в середине XX века американский писатель по горло занят попытками понять, затем воспроизвести на бумаге и, наконец, заставить читателя поверить в подлинность многого из того, что им сказано о действительности США. Ведь действительность эта ошеломляет, она вызывает отвращение и ярость, а в конце концов даже приводит писателя в растерянность — уж слишком бедным оказывается по сравнению с нею воображение самого художника».

Десять лет спустя Харрис приводит новые свидетельства того, что для американцев наступил, по его выражению, «век бедствий». Он напоминает о таких обстоятельствах, как война во Вьетнаме, расовые волнения, убийство «убийцы президента» или действия полиции, избивавшей молодежь в Чикаго. В результате тот же Харрис называет 60-е годы «десятилетием абсурда», добавляя, что современный мир «уже воспринимает абсурдность в качестве... повседневного факта».

В предисловии к сборнику статей «Американские мечты, американские кошмары» другой литературовед — Д. Мэдден утверждает, что современные американцы «выросли в обстановке двух десятилетий кошмаров...». А Олдермен пишет: «Факты современного жизненного опыта снова и снова кажутся невероятными. То обстоятельство, что мы называем их абсурдными, по-видимому, не мешает им существовать». Он ссылается, в частности, на статью публициста Ларри Кинга, появившуюся в американском журнале «Нью рипаблик» в 1969 году. В статье сказано, что современную Америку «с ее убийствами, пылающими гетто, схватками в колледжах, множеством преступных деяний... почти невозможно было бы изобразить в рамках одной книги. Если бы кто-нибудь попытался написать роман, опираясь на все эти факты, то даже самый неопытный из издательских рецензентов обязательно бы забраковал такую книгу. «В этом произведении слишком много неправдоподобного,— отметил бы скромный рецензент.— Здесь происходит чересчур уж много неоправданных актов насилия... и совершенно невероятных происшествий».

Олдермен увидел в выступлении Кинга убедительное подтверждение того, что именно действительность США порождает «абсурдистскую» литературу. А Бергонзи пишет: «...американская действительность постоянно побивает собственные рекорды, поднимаясь до высот абсурдности или ужаса, которые недоступны даже самым экстравагантно изобретательным романистам». Тот же Бергонзи ставит знак равенства между реальным фактом американской жизни — убийством Роберта Кеннеди и тем, о чем рассказывается в каком-нибудь «превосходно построенном... абсурдистском романе». Фелдмен вторит им, говоря, что подлинный мир «безусловно хуже», нежели «черные юмористы» в состоянии его показать.

Спору нет, можно привлечь немало разнообразного материала, который как будто свидетельствует об обоснованности появления «абсурдистской» литературы в США. Но и авторы этих книг, и их исследователи заблуждаются, когда рассматривают все факты, приведенные выше, и многое другое из того, что происходит сейчас в Америке, как проявление законченного «абсурдизма» самой действительности. При этом игнорируется важнейшая, даже решающая проблема — отношение художника к обществу, социальной среде. Эти американские критики не в состоянии (в конечном счете, они даже не желают этого) разобраться в принципиальных отличиях между реалистическим по своей сути (каковы бы ни были особенности его формы) анализом пороков социальной жизни и показом всего сущего в духе, так сказать, принципиального мировоззрения «абсурдистского» толка.

Буржуазные исследователи иной раз рассуждают как о родоначальниках романа «абсурда» или «черного юмора» о Свифте, о Марке Твене, создававших вызывающе гротескные, внешне как будто бы ничего общего с реальностью не имеющие, яростно обличительные образы. Они могли бы причислить к «абсурдистам» и Салтыкова-Щедрина. Сатирические картины, возникающие под пером великих писателей, кажутся «абсурдистскими» критикам, склонным из-за бедности, ошибочности присущих им методологических позиций судить об искусстве поверхностно или предвзято. На самом деле эти писатели реалистически, хотя и за-

остренно, изображают бесчеловечность, пошлость, абсурдность социально несовершенного общества.

На наш взгляд, действительными причинами растущего влечения к «абсурду» немалого числа американских романистов (среди них порою встречаются очень даровитые люди) являются не столько противоестественность многого из того, что творится в американском обществе (хотя все это на самом деле имеет место), сколько отказ писателей от анализа реального мира во всей его истинности.

Литераторам, склонным бравировать, гордиться своей приверженностью к модернистским течениям, проповедникам «абсурдистского» мироощущения и авторам всевозможных романов «абсурда» (какой бы терминологией ни пользовались, говоря о таких произведениях, буржуазные критики) присуще настойчивое, порою истерическое стремление искать истоки всякого зла на свете отнюдь не в сфере социальных отношений. Они усматривают истинную причину всех мучительных, бесчеловечных, лишенных оправдания и смысла деяний в неизменной сути самого человека, существа, по их представлениям, всегда иррационального, жестокого, грязного и не способного ни при каких обстоятельствах стать иным.

Где уж тут говорить о величественном образе Человека с большой буквы, о котором мечтают, за которого ратуют поборники передовой мысли.

Нетрудно, конечно, понять, почему американские литературоведы, выступающие с работами по проблемам «абсурдистского» романа, вполне откровенно заявляют, что их обязанность сводится лишь к рассмотрению формы произведений, а отнюдь не к анализу идейных позиций, выраженных авторами. Тот же Харрис, например, пишет, что по его убеждению «задача критиков не должна заключаться в оценке оправданности ви́дения» тех или иных писателей — их функция сводится только к «выявлению того, удачным или нет оказалось изображение данного ви́дения в художественном отношении».

В своем пренебрежении к содержательной стороне творчества этот исследователь не одинок. Хорошо известно, сколь большую роль в развитии формалистических тенденций в буржуазном литературоведении США играет на протяжении вот уже более трети века течение, известное под названием «новая критика». Сам Харрис опирается, в частности, на высказывания модного американского литератора Сьюзен Зонтаг, утверждавшей, что «романисты, а следовательно и критики, должны полностью пренебрегать содержанием или «смыслом».

Объявляя самыми характерными для «абсурдистского» романа свойствами широкое использование гротеска, пародий, комических преувеличений, образов смещенных и окарикатуренных, американский литературовед сводит на нет различия между произведениями сатирическими и «абсурдистскими».

«Скромное предложение...» Свифта или твеновская «Военная молитва» — при всей, на первый взгляд, абсурдности изображенного, а также высказанных героями мыслей — это произведения реалистической сатиры. В их основе — тревога за рядового человека, которого власть имущие безжалостно эксплуатируют, мордуют, калечат, уничтожают. Как должен был Марк Твен ненавидеть империалистические войны, возмущаться готовностью рядовых американцев идти на поводу у захватчиков чужих земель и поработителей слабых народов (а это значит — как должен был он л ю б и т ь человека), чтобы создать «Военную молитву», «Таинственного незнакомца» и немало других сатирических произведений, пропитанных едким сарказмом.

Между тем последовательные американские «абсурдисты» (а отнюдь не те, конечно, писатели, которые, как Курт Воннегут например, пародируют «абсурдизм» в сатирических целях), пренебрегая подлинной сутью происходящего в их собственной стране, создают ощущение, что человечеству придется во веки веков прозябать в кругу бытия, начисто лишенного какого бы то ни было смысла. Олдермену, Харрису и их единомышленникам творчество американских романистов, произведениям которых присущи сходные ф о р м а л ь н ы е признаки, представляется по сути дела однотипным.

Харрис рассматривает главным образом прозу Хеллера, Воннегута, Пинчона и Барта. И сочинения всех этих прозаиков он называет романами «абсурда». Между тем как творчество первых двух (несмотря на встречающиеся порою в их произведениях элементы «черного юмора») в основе своей является реалистическим. С другой стороны, у Барта и Пинчона можно обнаружить кое-какие сатирические мотивы, но в их романах царит прежде всего «абсурдизм». Харрис фактически не замечает этого различия.

В книге Олдермена дан разбор произведений Кеси, Элкина, Бигла, Хоукса, а также уже упомянутых Барта, Пинчона, Хеллера, Воннегута. И этот литературовед пренебрегает, как правило, сугубо принципиальной разницей в сути книг, о которых пишет.

Хотя Бернард Бергонзи или, например, Бартон Фелдмен менее склонны апологетически преподносить романы «абсурда» или «черного юмора», нежели Харрис и Олдермен, и они не разделяют должным образом сатиру и «абсурдизм». Так, Б. Фелдмен склонен применять термин «черный юмор» для характеристики как заведомо модернистских сочинений Уильяма Берроуза, так и романа Хеллера «Уловка-22» — произведения подлинно сатирического, с гневной издевкой трактующего милитаризм США.

М. МЕНДЕЛЬСОН
ЧЕМ АБСУРДЕН «АБСУРДИСТСКИЙ» РОМАН

А упомянутый выше Д. Мэдден, хотя и ссылается не раз на «кошмары», которыми полна американская действительность нашего времени, однако же обычно далек от подлинно трезвого выявления социальных причин, порождающих эти кошмары. И вполне естественно, что критик объясняет переход писателей от увлечения «американской мечтой» к поглощенности американским кошмаром, их разочарованием в самой «природе человека».

«Абсурдистский» роман США далеко не всегда отделен непреодолимой стеной от произведений критического реализма. Это осложняет решение проблемы: чем же в конце концов абсурдны такого рода сочинения? Но уйти от ответа на поставленный вопрос никак нельзя.

Нет, не изображение порядков, противоречащих желаниям, интересам и нуждам человека, а также его представлениям об естественном и должном (в какой парадоксальной форме ни были бы эти порядки запечатлены, сколько энергии отрицания ни чувствовалось бы в их показе) делает произведение искусства «абсурдистским». Сошлемся на такой весьма убедительный пример: хотя иные из произведений рано умершего американского писателя XX века Натаниела Уэста позволяют рассматривать их автора как предтечу «черного юмора», его роман «Круглый миллион», этот, казалось бы, образец чисто балаганного юмора, с начала до конца начиненный невероятнейшими, даже идиотическими фарсовыми картинами, благодаря явно выраженной обличительной позиции автора может служить примером реалистической антифашистской сатиры.

То, что впрямь лежит в центре «абсурдистского» романа, было довольно точно выражено Харрисом: основой «абсурдистского вйдения» является мысль: «...мы попали в капкан бессмысленной вселенной».

О некоторых современных американских «абсурдистах», особенно же о Томасе Пинчоне и Джоне Барте, уже появилась в США обширная критическая литература. Менее известны сочинения Стенли Элкина, хотя он является автором нескольких романов. Думается, что разбор сочинений Элкина, созданных совсем недавно, на рубеже 60-х и 70-х годов, окажется небесполезным — даже в присущих этим книгам противоречиях есть нечто показательное.

Приступая к обсуждению романа Элкина «Скверный человек» (1967), Олдермен говорит, что, хотя автор еще не получил широкого признания, такое признание его ждет. Следующий роман Элкина «Радиопрограмма Дика Гибсона» (1971) вышел в свет уже после того, как книга Олдермена была закончена. На наш взгляд, ни то, ни другое произведение не позволяет причислить их создателя к числу наиболее значительных американских писателей. И все же снова подчеркнем: некоторые существенные тенденции в американском «абсурдистском» романе самых последних лет проявляют себя в творчестве Элкина в довольно выпуклой форме.

Основной персонаж «Скверного человека» — бизнесмен Фелдмен — за какие-то малопонятные читателю грехи осужден на годичный срок пребывания в тюрьме. Однако Фелдмену вскоре начинает казаться, что живым он на свободу не выйдет. Насколько можно судить по последним страницам романа (на протяжении всей книги автор редко ставит точки над i), опасения его вполне оправданны.

Книга заканчивается вторым, неофициальным, судом над Фелдменом — суд этот весьма своеобразен. Он называется «суд кенгуру», и англо-русский словарь раскрывает смысл этого американского термина так: «...незаконное судебное разбирательство или суд, попирающий принципы справедливости». Еще до начала второго «процесса» какому-то боксеру поручено тренироваться, чтоб одним ударом отправить «подсудимого» на тот свет. Хотя судьями являются другие заключенные, фактически они лишь выполняют волю начальника тюрьмы. Этот человек единолично определяет судьбу Фелдмена, как, впрочем, и других людей в доме заключения (иногда, кажется, всех на свете).

Чем же все-таки заслужил герой тяжкую свою участь? Ответить на этот вопрос нелегко, почти невозможно. Ведь образы главного персонажа, а также всемогущего начальника тюрьмы все время дзоятся, теряют определенность, а их поступки — логическую обусловленность и последовательность.

Первоначально у читателя может создаться впечатление, что перед ним натуралистический роман, в котором запечатлены мельчайшие детали американского быта. Фелдмен богат, он — владелец крупного универсального магазина. Тюремная жизнь заставляет героя снова и снова с огорчением вспоминать о комфорте, которым он был окружен у себя дома. Заключенные выполняют трудную физическую работу — что ж, начальник решил: пусть и владелец роскошного особняка не чувствует себя здесь привилегированным человеком... На несколько мгновений читатель даже может подумать, что перед ним обличительное произведение, написанное с демократических позиций. Но вскоре от этого впечатления ничего не остается.

Фелдмену присущи многие непривлекательные черты, свойственные американским бизнесменам. Он увольняет не задумываясь всех неугодных ему служащих. Он недостаточно великодушно (а иногда и просто низко) поступал с человеком, который искренне хотел с ним дружить, но — и этого герой простить ему не может — «не ворочал мозгами, когда дело касалось денег».

Тем не менее основное для автора не в пороках этого дельца, а в том, что Фелдмен совершает поступки, которые решительно ничем, пожалуй, нельзя объяснить — они просто нелепы.

К числу самых абсурдных действий Фелдмена принадлежит его поведение в отделах его универсального магазина, расположенных в подвале. Там не только продаются

необычные товары, но сам хозяин занимается весьма странными делами. Покупателям предлагают пользоваться специальными приспособлениями «для осуществления пыток мелкого характера» (можно, к примеру, подвергнуть курицу ударам электрического тока). Самое удивительное, вероятно, это то, что Фелдмен совершенно бескорыстно выполняет экстравагантные и даже опасные поручения покупателей. Так, он, не получая за это ни цента, устанавливает контакты между женщинами, нуждающимися в абортах, и врачами, которые готовы осуществить эту нелегальную операцию. Он помогает наркоманам достать наркотики. Когда к владельцу магазина обращается некий «джентльмен» с просьбой вооружить до зубов созданную им организацию, по сути дела фашистского характера, Фелдмен и ему не отказывает. Все, что творит герой в подвале, вызвано его жаждой возбуждения, впрочем, отношение Фелдмена к захватывающим переживаниям амбивалентно — он и «трепетно ожидал их, и испытывал раздражение, когда они приходили...»

Предельно нелепа тюрьма, в которую попадает Фелдмен. Правда, в рассказе о поступках и мыслях заключенных иногда возникают сатирические нотки. Так, сам герой говорит о родной стране: «Наличные, наличные, вся Америка сходит с ума по наличным». Но ничего от истинной сатиры не найти в образе начальника тюрьмы. Почти все в нем таинственно и абсурдно. Его лицо «казалось обычным», но непостижимо гладким, «как будто оно лишено было способности обрастать волосами». В тюрьме неплохо кормят, там заботятся о здоровье заключенных и придерживаются определенного порядка. В результате, читаем мы, «Фелдмен как бизнесмен не мог не оценить по достоинству технические методы начальника... но как человек испытывал ужас».

Чувство страха все глубже пронизывает мир, в котором теперь живет герой. И кому-то все это выгодно. Один из заключенных говорит: «...на страхе можно заработать большие деньги... чувство обреченности — это точно золотая жила». Глядя на жизнь глазами Фелдмена, автор констатирует, что никто полностью понять тюрьму не мог, «даже самые старые из приговоренных к пожизненному заключению... даже сам начальник».

Постепенно Элкин создает ощущение нарастающей неестественности изображаемого. Все в тюрьме абсурдно: высокие чины самых скромных из стражников или, например, совершенно серьезное восклицание одного из этих людей, чувствующих себя всемогущими: «Приведи свой галстук в порядок... или я тебя убью». Доведено до абсурда также изображение неограниченной власти начальника. Он — и только он — определяет по собственному желанию даже такие, казалось бы неподвластные воле отдельного человека, стороны жизни, как, например, когда начнется и когда закончится очередной квартал года. Он поет гимны «нравственности, нравственности, нравственности» и восклицает на собрании заключенных: «Скажи: я не знаю, кого обвинять, но вот вам имена тех, кого я подозреваю. Намекай! Впутывай! Предъявляй обвинения... Я дарю вашим душам карт-бланш».

И здесь, конечно, ощущаются сатирические интонации. Но вот после того как начальник тюрьмы заставляет ни в чем не повинного Фелдмена посидеть в одиночке, он приглашает его к себе домой на вечеринку. Герой оказывается в компании главным образом полицейских, а кредо этих джентльменов выражено в словах одного из них: «Когда существовал золотой век подчинения в этой стране (то есть в Америке.— М. М.)?.. Во время господства потогонной системы... Пот и безнадежность... вот наша единственная надежда».

Конечно, и этот пассаж отчасти сатиричен. Но он и ему подобные тонут в массе других, в которых господствует обнаженно «абсурдистское» начало. Во время вечеринки Фелдмен завязывает знакомство с некой дамой, и она сразу становится его любовницей. А дама — супруга самого начальника. Все гости успели уйти, и тюрьма уже заперта. Начальник вталкивает Фелдмена в какой-то темный подвал, где стоит электрический стул. Герой жаждет подвергнуться казни. Впрочем, ток выключен. Сидя на электрическом стуле, Фелдмен засыпает.

Мотивы безумия Элкин вводит в свою книгу снова и снова. В одном месте он сообщает, что его главный герой «чувствовал себя одиноким. Чего ему не хватало, решил он, так это комфорта привычного безразличия, когда ничто не играет роли и безумие — единственное, что существует».

Мы узнаем, что еще в ту пору, когда Фелдмен жил в кругу своей семьи, он заставлял жену и сына участвовать в «играх», от которых веяло чем-то шизофреническим. В конце концов оказывается, что герой не столько делец-негодяй, сколько обыкновенный человек, который появился на свет, чтобы постоянно испытывать всяческие горести. Окруженный достижениями современной техники, он никогда не получал от них радости. В тюрьме же герой не может избавиться от чувства, что какие-то люди «вырежут сердце из груди сына и заставят его это сердце съесть».

Все глубже читатель понимает: автор претендует на то, чтобы запечатлеть обстоятельства существования в мире каждого человека, всех людей — почти без исключения. Любопытно, что в романе другого молодого американского писателя Кена Кеси «А одна пролетела над гнездом кукушки» (1962) воплощением бытия каждого человека изображена психиатрическая лечебница. Правда, в этой книге есть нечто такое, что в «Скверном человеке» начисто отсутствует: один из героев начинает бороться против «Большой Сестры», которая, как и начальник дома заключения у Элкина, об-

дает возможностью делать зло обыкновенным людям. Но и у Кеси жизнь прежде всего показана как сумма непостижимых нелепостей.

В романе «Радиопрограмма Дика Гибсона» Стенли Элкин продолжает следовать привычным для него традициям «абсурдизма» (хотя, как мы увидим, под конец отчасти им изменяет). В «Радиопрограмме...» еще заметнее, чем в «Скверном человеке», ощущается влечение романиста к натурализму в разных формах (издатели даже сочли возможным разрекламировать новое произведение Элкина как роман «очень грязный»).

В книге рассказано о карьере провинциального радиодиктора, который сменил много мест работы и различных псевдонимов, пока не стал «Диком Гибсоном» и не завоевал известность своей «радиопрограммой». Этот персонаж остается работником радио даже в армии — во время второй мировой войны. Как всегда, он пассивен и приходит к мизантропическому выводу: «Мне следует привыкнуть к человеческой злобе, если я хочу остаться жить в этом мире».

Основную идею своего последнего произведения Элкин раскрывает в подробном описании одной из множества передач, организованных Гибсоном.

Многие годы после войны Дик ведет (притом почти всю ночь) специальные передачи, которые состоят из выступлений самых разнообразных и довольно эксцентричных, мягко говоря, местных «знаменитостей». Это и гомосексуалисты, и астрологи, и спиритуалисты, и фанатики, которые считают, что «любой вид хирургии греховен», и поборники фашизма. Сам Гибсон относится к содержанию выступлений участников его «радиопрограммы» с полным безразличием, с холодным равнодушием: «Радиопрограмма должна полностью использовать отведенные для нее часы. К этому,— думал он,— сводятся все мои принципы».

По сути дела, «Радиопрограмма Гибсона» — это свод того абсурдного, что вообще присуще жизни. Даже простой перечень участников передач, устраиваемых Диком, людей, как правило, не вызывающих доброго чувства и отличающихся странностями, позволяет представить, какой несуразный мир возникает перед слушателями (и читателями). Но в той передаче, которой в романе отведено больше всего места, которая, можно сказать, являет собой центр всего произведения, абсурдность изображаемого доводится до предела. И то, что говорят, а также делают на этот раз выступающие в «Радиопрограмме Дика Гибсона», не просто бессмысленно. Автор заставляет своих персонажей разоблачать себя самым неожиданным и бесстыдным образом. Хорошо знакомые слушателям жители города, где находится радиостанция, откровенно, даже с увлечением рассказывают о себе и других такое, что создает самое безрадостное представление о сущности человека. Выявляется страсть людей к грязному, противоестественному, болезненному, и, разумеется, любовь подменена сексом — чаще всего изощренно-отвратительным.

Как известно, саморазоблачение героев — прием, которым издавна пользовались сатирики для того, чтобы запечатлеть пороки изображаемого общества. Блестящий образец такого рода сатиры в литературе США — повесть Марка Твена «Человек, который совратил Гидлиберг». Но рисуя события, произошедшие во время радиопередачи, которой в книге «Радиопрограмма Дика Гибсона» посвящено много десятков страниц, воспроизводя детально, с натуралистической точностью, выступления персонажей, выворачивающих себя наизнанку, Элкин нигде не обнаруживает стремления обличать пороки социального мира. Он лишь дает волю свойственному ему желанию ошеломить читателя показом бессмысленности человеческого мышления и поведения.

Терпимое отношение Гибсона к тому, что на радиослушателей обрушиваются потоки грязи, разделяет и автор романа. Если в «Скверном человеке» мы порою довольно отчетливо ощущали дистанцию, отделяющую Фелдмена и начальника тюрьмы от романиста, то в «Радиопрограмме Дика Гибсона» различие между героем и Элкином почти исчезает.

Герой изобретает радиопередачу нового типа. Люди, перед которыми жизнь ставит трудные проблемы, люди несчастливые, мужчины и женщины, звонят Гибсону по телефону, и он ведет разговор с ними, причем так, что радиослушатели слышат все эти беседы.

В финале романа возникает нечто близкое к произведению уже упомянутого нами писателя Натаниела Уэста — «Мисс Одинокие души». Герой романа Уэста ведет в газете постоянную рубрику — он печатает письма своих «одиноких» читателей и публично им отвечает. Натаниел Уэст изобразил человека, который искренне жалеет своих корреспондентов и не может вынести тяжести обрушивающегося на его голову груза чужих страданий. У Элкина Гибсон по большей части воспринимает трагедии своих собеседников довольно спокойно. Но в конце романа даже Дик начинает чувствовать, что устал. Непрестанно соприкасаясь со страдающими людьми, герой спрашивает себя самого: «Что это случилось со всеми? Почему все мы так измучены?»

Самое сильное впечатление производит на Гибсона разговор с женщиной, о котором повествуется на последних трех-четырех страницах книги. В кармане у своего двенадцатилетнего сына женщина эта нашла рекламу, которую в Америке распространяют среди детей во множестве экземпляров. Некая фирма обещает всего за два доллара научить любого искусству извлекать из обыкновенных растений страшное отравляющее вещество, одной чашки которого достаточно, «чтобы подорвать здоровье всех жителей целого города с населением в сто тысяч человек». Малолетнему покупателю также дадут уроки производст-

ва «у себя на дому взрывчатки из химикалий, которые можно приобрести за мелкую монету». Его научат изготовлять нового типа бомбу, которую можно подбросить в самолет или поезд. Она будет лежать до поры до времени, не производя никакого шума, а потом взорвется в назначенный час...

Впервые, пожалуй, Дик потрясен. Он хотел бы уничтожить тех, кто распространяет среди детей подобную рекламу. Он не желает больше отвечать на телефонные звонки. Но вот еще один звонок. Говорит сам президент США. Он хочет посоветоваться с Диком Гибсоном насчет проблемы Вьетнама. Прежде слово «Вьетнам» в книге не упоминалось. Но тут роман подходит к концу.

Трудно сказать, искренним ли протестом против того, что творили американские милитаристы во Вьетнаме, объясняется такой финал книги, или же автор только отдал дань характерному для него желанию удивить читателя. Во всяком случае, до сих пор Элкин принадлежал к числу американских писателей модернистского в основном направления, которых официальная критика в США не игнорирует, а готова поддерживать. «Радиопрограмма Дика Гибсона» открывается такой декларацией автора: «Я хотел бы поблагодарить Рокфеллеровский фонд за щедрую финансовую поддержку, оказанную мне во время работы над этим произведением».

Все это так. И все же знаменателен некоторый сдвиг в сторону гуманизма, который проявился в новой книге писателя, известного в прошлом главным образом «абсурдистскими» романами.

В заключение отметим, что хотя буржуазные литературоведы, как уже говорилось, не очень-то склонны акцентировать различия между романами, в основе своей реалистическими, и заведомо «абсурдистской литературой», проникнутой духом нигилизма, в их работах порою мелькают справедливые суждения.

Так, Бергонзи, рассматривая творчество Барта, пишет, что роман интересует этого писателя лишь в качестве «сложной словесной структуры». Не только Барт, но и Пинчон, продолжает литературовед, исходит из убеждения, что отношение «мира языка» к подлинному миру «является косвенным и проблематичным». Какими бы большими литературными задатками ни обладал Барт, подчеркивает Бергонзи, нельзя сбросить со счетов то, что он «проявляет полное презрение к человечеству». Всей «комически-апокалипсической» школе писателей, говорится в книге Бергонзи, присуща «нарочитая прохладность, которая легко может превратиться в бесчеловечную холодность».

Если в романе Уэста «Мисс Одинокие души», продолжает Бергонзи, уродства людей воспринимаются как «еще одно свидетельство поругания страждущего человечества», то для Пинчона подобные уродства служат лишь материалом, который позволяет «вносить в произведение комическую нотку, облегчающую его восприятие». Харрис тоже признает, что «абсурдисты» начисто лишены какой-либо симпатии к человеческой личности. В этом отношении они, по его мнению, уступают даже экзистенциалистам, как ни мало можно обнаружить у последних подлинной веры в достоинства людей. Современному «абсурдистскому» романисту, по мысли критика, чуждо желание исправить мир — ведь мир, заявляет Харрис, «вероятно, неисправим и уж подавно не может быть понят».

А Олдермен, приводя суждения некоторых литературоведов США, указывающих, что в основе романа абсурда таится полное неверие в человека, приходит к выводу, что создатели книг такого характера рисуют мир, в котором «всякие виды энергии извращены и ведут к смерти, к уничтожению», а отнюдь не к «любви, возрождению или исполнению желаний». При этом, признает Олдермен, авторы «абсурдистских» романов, изображая жизнь, не в состоянии показать ее с более высоких позиций, нежели те, на которых находятся (точнее, прозябают) их герои. «Абсурдист», создатель прозы в духе «черного юмора», неизменно «является частью изображаемого».

Нечто сходное звучит в высказываниях Б. Фелдмена о «черном юморе». Его мысли о произведениях этого типа могут быть отнесены и к «абсурдистскому» роману. По собственным словам исследователя, в литературе «черного юмора» господствует «кошмарная нейтральность», вместо ненависти к изображаемому злу царит «гротескное каменное лицо». В результате резкость «черного юмора» — это всего лишь резкость «стилизованная, театрализованная... статичная». Не желая ничем рисковать, писатели, которых Б. Фелдмен имеет в виду, стремятся одновременно и «бичевать нас, и не лишать чувства комфорта».

Все эти замечания, принадлежащие отнюдь не последовательным противникам «абсурдизма» (иногда даже явным его поклонникам), дают нам право с еще большей решительностью сделать вывод, что в «абсурдистском» романе (как и в литературе «черного юмора») подлинной оппозиции миру породивших его явлений, как правило, не найти.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

«В нашей стране писатель не может не быть причастным ко всему, что имеет общенародное значение»,— заявил в своем выступлении на Национальной партийной конференции председатель Союза болгарских писателей академик Пантелей Зарев. Эти слова выражают стремление болгарских писателей быть в гуще жизни, показывать в своих произведениях самоотверженный труд народа, строящего развитое социалистическое общество, быть полезным обществу, внести реальный вклад в его продвижение к коммунизму.

«Партия,— сказал П. Зарев,— располагает исключительно богатым теоретически арсеналом. Его оружие помогает решать повседневные вопросы жизни... Перед болгарским писателем встает новая действительность, незнакомая нашим классикам в прошлом, и постигать ее помогают наша теория и решения партии. Он не выполнит свой долг перед читателями, если не будет участвовать в битвах современности. И это осознает не только сам писатель, но и вся наша общественность».

В последние годы руководство Союза болгарских писателей всячески поощряло это стремление овладевать современной тематикой. Были заключены договоры между Союзом болгарских писателей и хозяйственным и партийным руководством округов Болгарии, в результате которых более 150 активных членов Союза решили написать произведения на материале жизни конкретных промышленных предприятий, строек, кооперативных хозяйств. Однако, пояснил П. Зарев, ни руководство Союза болгарских писателей, ни представители общественности не подходят вульгаризаторски к вопросу об отражении современности в литературе и ожидают от авторов не подготовки произведений местного значения, а создания подлинно художественных произведений, изображения человека нового мира, нашего современника.

«Все очевиднее становится, что процесс, совершающийся в нашей стране, требует своего духовного воплощения через художественное воссоздание образов тех, кто творит его,— сказал П. Зарев.— И это задача не только нас, писателей, это задача эпохи, долг всех, кто понимает, насколько важно и необходимо, чтобы экономический прогресс, усилия людей, их моральный облик, их сознательность, чувство ответственности и другие нравственные качества обрели немеркнущий художественный образ».

Эстетический принцип, выраженный в свое время в речи товарища Тодора Живкова — «Ближе к жизни, больше среди народа»,— властвует в нашей литературе уже много лет, отметил далее П. Зарев. Следуя ему,

«видные наши писатели создали значительные произведения о сегодняшнем времени, увидев человека-деятеля, коммуниста-патриота с его личной и общественной

судьбой на различных фронтах борьбы Андрей Гуляшки, Камен Калчев, Павел Вежинов ввели в нашу литературу образ инженера, выдвинули на передний план новые моральные проблемы... Писатели среднего поколения: Генчо Стоев, Коста Странджев и другие — в прозе, Любомир Левчев, Орлин Орлинов, Дамян Дамянов и другие — в поэзии создали образ рабочего...»

П. Зарев отметил, что сейчас заявила о себе в литературе новая группа прозаиков, обладающая большим жизненным опытом и богатством стилистической выразительности. Болгарская литература плодотворно развивается, и все же именно сегодня ее проблемы встают особенно остро. Прежде она отражала преимущественно вчерашний день. Теперь ее долг, подчеркнул П. Зарев,— отобразить современность и нравственное формирование человека сегодняшней Болгарии.

«Великое время, в которое мы живем,— сказал председатель СБП,— требует и великой литературы о нем, произведений, оказывающих глубокое воздействие на настоящее и адресованных к будущим поколениям, поколениям, которым уважение к нашей эпохе будут внушать образы людей, созданные художественной литературой».

Свое выступление, опубликованное в газете «Литературен фронт», П. Зарев озаглавил «Нравственными критериями рабочего класса», выразив этим основной принцип оценки литературных произведений в социалистической Болгарии.

«История заставляет нас идти через сложности и противоречия общественного развития,— сказал П. Зарев,— одновременно строить материальную базу развитого социалистического общества, вести борьбу против антикоммунизма и и быть беспощадными к своим недостаткам Все это оказывает влияние на человека, определяет его духовную жизнь, и основные черты его характера воплощаются в образе беззаветно преданного партии коммуниста. Писатели обязаны открыть те сложные и драматические явления, в которых утверждаются новые положительные черты нашего национального характера, и подходить критически ко всему, что мешает нашему росту».

В докладе особо подчеркивается, что овладение современной темой во всей ее сложности и глубине невозможно без критического начала, без борьбы за каждого человека. Необходимо усвоить те нравственные критерии, которые выработал рабочий класс. И с этими критериями надо подходить к оценке всех, кто чуждается труда, в ком еще живы инстинкты собственника.

Долг литератора, указал П. Зарев, прокладывать пути духовного роста человека. Он уделил особое внимание вопросу о взаимодействии литературы с жизнью, ее способности вскрывать конфликты нашего времени, подлинные драмы в жизни современника, раскрывать его дерзания и его величие. Эта способность открывать духовные ценности, по словам Зарева, становится одной из существенных черт современной литературы.

«Открытие этих ценностей,— сказал он,— возникает из столкновения с тем, что является злобой дня, с кардинальными вопросами жизни, за которыми, в сущности, кроется смысл всего нашего существования.

Из этой современности, сложной, изменчивой, полной напряженности, живой жизни, родятся великие произведения...»

Коснувшись вопроса о взаимодействии литературы с другими видами искусства и о значении взаимного творческого обмена между социалистическими литературами, Пантелей Зарев подчеркнул, что в докладе Тодора Живкова на Национальной партийной конференции говорится об интересных темах, которые могут лечь в основу литературных произведений.

«И я снова хотел бы вернуться,— сказал он в заключение своего выступления,— к тому, о чем говорил в начале: о пристальном внимании всей нашей общественности к развитию художественной литературы Болгарии, ее большой роли в общественной жизни, о социальном заказе, в котором партия масштабно ставит вопрос о литературе, отражающей современность. Можно с уверенностью ожидать, что внимание нашего общества к искусству, требовательность к его творцам непременно принесут свои плоды».

НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЮ

Уже шесть лет Постоянное бюро афро-азиатских писателей издает ежеквартальный журнал «Лотос». В своих публикациях он затрагивает актуальные проблемы развития литератур народов «третьего мира», пишет о трудностях, с которыми сталкиваются афро-азиатские писатели. В последнее время журнал часто обращается к теме «писатель и

читатель», особенно важной для Африки, где литературные произведения, написанные, как правило, на языке бывшей метрополии, недоступны да и малоинтересны для неграмотного большинства населения.

Этой теме посвящена статья сотрудника литературного факультета Дакарского университета Мохамаду Кане «Африканский писатель и его читатели». Автор ее считает неоправданным оптимизм, возникающий в результате широкого мирового признания произведений африканских писателей, он даже высказывает мнение, что африканская литература пребывает в состоянии кризиса, который принимает болезненный и затяжной характер. Беда африканских литератур в том, что они не смогли с самого начала стать национальными: у них нет той классической традиции, на которую обычно опирается литература с долгим опытом развития. Потому-то африканцы выбиваются из сил, пытаясь отыскать нечто, заменяющее классическое наследие, и соединить это «нечто» с культурными традициями Запада.

> «Можно себе представить,— говорит Мохамаду Кане,— акробатические прыжки, которые проделывают африканские писатели, пытаясь примирить элементы, явно противостоящие или, по крайней мере, чуждые друг другу».

Необходимо отметить, что, говоря об «африканской литературе», «африканских писателях» вообще, М. Кане не имеет в виду их «нерасчлененность»; напротив, при любом удобном случае он подчеркивает специфические особенности развития литературы в Сенегале, особый характер литературного процесса в Нигерии и т. д. Тот факт, что в статье речь идет о литературе континента в целом, означает лишь, что проблемы развития литератур настолько близки, что требуют обобщенной постановки вопроса, тем более что образованные читатели в странах Африки склонны называть с в о и м писателя из любой африканской страны, а не только соотечественника.

Кризис, о котором говорится в статье, настолько остро ощущается африканскими литераторами, что некоторые молодые африканские критики даже склонны говорить о банкротстве. Не соглашаясь с категоричностью этой мысли, М. Кане все же полагает, что многие писатели, вступившие в литературу в период антиколониальной борьбы, не смогли переориентироваться в условиях независимости. Новые обстоятельства потребовали от писателей более сложного и тонкого анализа социальной обстановки, перенесения акцентов в своем творчестве на новые темы. Не все справились с этим.

Как в период колониальной зависимости некоторые африканские писатели обращались в основном к западной аудитории, так, по утверждению М. Кане, они делают это по инерции и сейчас, когда едва ли не главной задачей является создание читательской аудитории у себя в стране.

> «Африканский писатель,— говорит М. Кане,— не обладая подлинными средствами общения со своим народом, язык которого он не использовал и от которого он был оторван в течение десятилетий, вынужден был направить большую часть своих усилий к Западу... Этот выбор не был болезненным. Наш писатель свободней чувствует себя в Европе, чем среди нас».

В то же время Мохамаду Кане ставит под сомнение способность европейских языков передавать дух африканской действительности. Хотя, по-видимому, думая о будущем африканских литератур, он представляет их в основном англо- и франкоязычными. На европейских языках пишет в настоящее время большинство писателей Африки. И многие считают это положение вполне нормальным. Южноафриканский писатель Эзекайл Мпахлеле в интервью журналу «Калчерал ивенст ин Африка» сказал:

> «Мы используем английский язык. Я думаю, это необходимо, и не провожу бессонных ночей, оплакивая такое положение вещей».

Другие писатели мечтают о двуязычном обществе. Например, ганская писательница Эфуа Теодора Сазерленд в интервью тому же журналу утверждает:

> «Язык — вот проблема; я думаю, наступит время, когда английский станет общеганским языком... Некоторые из моих произведений написаны на двух языках: английском и акан — это книги для детей. Мне очень хочется, чтобы в школах с самого начала детей обучали двум языкам».

И все же есть темы, за которые африканские писатели берутся с опаской, потому что не находят в европейских языках необходимых выразительных средств.

> «Например, работорговля,— замечает Э. Т. Сазерленд,— это то, что произошло с нами, и память об этом жива среди нас, и если вы посмотрите, как устная литература отразила этот исторический опыт, вы увидите, что она усвоила его художественно. Я не представляю себе, как мы могли бы это сделать по-английски...»

Э. Мпахлеле объясняет некоторые неудачи африканской литературы не обращением к европейским языкам, а заимствованием готовых литературных жанров, полностью сформировавшихся вне Африки:

«В Африке мы имеем дело с многочисленными формами, возникшими в самой Африке. У нас есть вековая фольклорная традиция, но роман — новое средство для нас. Когда мы обратились к роману как способу литературного выражения, мы воспользовались уже существующей традицией — это была традиция романа в западной литературе, и мы пытались писать об Африке, выразить нечто африканское, используя иностранные средства».

Дело, конечно, не в том, что роман как литературный жанр неприемлем для Африки, и не в том, что он непременно «буржуазен», как говорит далее в своем интервью Э. Мпахлеле, а в том, что нельзя механически переносить из одной литературы в другую готовые формы, поскольку литературные формы всегда содержательны и тем или иным способом обусловливают характер и смысл художественного произведения. Таким образом, Запад косвенно достаточно сильно влияет на африканскую литературу. Но помимо этого влияния можно отметить и прямое давление, которое оказывают на писателей западные издатели, критики и читатели. Массовый европейский читатель ждет от африканских книг экзотики, критики применяют в их оценке привычные для Запада критерии, а издатели руководствуются интересами книжного рынка. М. Кане приводит случай, когда европейский издатель вернул рукопись, в которой не нашел экзотики, со словами: «Отличный роман, но ни в коем случае не африканский».

Проблема эта не была бы столь острой, если бы в таком же подчинении у европейской публики не находились и африканские читатели, за которыми не признается никакого права на автономию. Европейские премии, раздаваемые африканским писателям, ставят африканскую публику перед свершившимся фактом: вердикт вынесен, остается лишь принять его. Но люди, присуждающие премии и разбирающиеся в литературе, как правило, плохо знают Африку. Симпатия части европейской критики несомненна, но в целом она навязывает свои взгляды. Так, почти вся африканская поэзия трактуется в русле теории негритюда, несмотря на множащиеся протесты англоязычных литераторов Африки. Буржуазные европейские критики спешат подогнать под эту теорию любые культурные проявления черных народов.

«Было бы несправедливо,— замечает М. Кане,— объединять всех европейцев под одним знаменем. Тем не менее факт остается фактом, что европейская критика в целом оказывала молодой африканской литературе не те услуги, которые от нее ожидались».

Автор считает, что для того, чтобы успешно противостоять внешнему давлению и обрести голос в оценке собственной литературы, необходимо формирование африканской критики и создание фонда своих литературных премий, которые могли бы стимулировать как писательский, так и читательский интерес.

Наиболее приемлемым, по мнению М. Кане, должен быть подход, при котором признается, что будущее африканской литературы создает сама Африка и что отношения подчиненности африканской литературы европейской не служат укреплению связей между писателем и его африканской аудиторией. Писатель обязан участвовать в процессе формирования воспринимчивого читателя, к которому он будет обращаться. В его распоряжении, как указывает М. Кане, два возможных решения: поднять читателя до своего уровня или пойти ему навстречу. Первое решение при нынешнем положении вещей пока не подлежит обсуждению, второе — и опыт прошлого подтверждает это — настоятельно необходимо в контексте реального культурного развития. Поэтому автор статьи приходит к выводу, что единственным радикальным средством решения проблемы «писатель — читатель», как и проблемы гармоничного развития африканской литературы, является решительное погружение в традиционную культуру.

«Как бы ни была нова идея, предназначающаяся для публики, для того, чтобы она могла быть усвоена, необходимо передать ее художественными средствами, привычными для этой публики».

Пока это не достигнуто, африканцы не в состоянии оценить работу писателя, и ему приходится «говорить от лица людей, которые его не избирали и среди которых он не пользуется признанием». Несмотря на это он все же осуществляет связь между Африкой и остальным миром,

«провозглашает, что борется за торжество наших ценностей, и отстаивает подлинный смысл наших обычаев и культуры. Он полон решимости показать миру, что Африка не лишена прошлого и располагает культурой, ничем не обязанной Европе и, во всяком случае, не уступающей другим культурам».

Однако писатель, если он ограничивается лишь декларациями о величии африканской культуры, но не интерпретирует ее, в скором времени может оказаться не у дел. Неоспоримость утверждений о равноправии всех культур и широкое признание ценностей африканской культуры уже сегодня делают пафос деклараций исчерпанным. Писатель, воспевающий богатство и глубину своей культуры, но при этом тщательно избегающий слишком пристального изучения традиционных институтов и не умеющий про-

демонстрировать миру подлинные ее сокровища, производит, по мнению сенегальского критика, «впечатление проповедника, который сам ни во что не верит и является просто умным мистификатором».

Первоочередной задачей африканского писателя М. Кане считает обращение к фольклору (или, как предпочитают говорить африканцы,— к традиционной литературе), поскольку, являясь выражением коллективной мудрости и эстетических ценностей, фольклор все еще представляет собой оптимальное средство передачи жизненного опыта африканца. Правда, нельзя не заметить, что использование фольклора бывает для многих писателей затруднительно и оборачивается либо слепым и беспомощным подражанием, либо поверхностным фольклоризмом, ограничивающимся лишь стилизаторскими и орнаменталистскими задачами на уровне оснащения текста различными «словечками», поговорками и калькированными идиомами. Более глубокое проникновение в фольклор, то есть попытка овладения его содержательной стороной, удается крайне редко не потому, что фольклор в отличие от литературы носит устный характер, а потому, что он откровенно функционален. Если говорить о социальной функции фольклора, то он — в противоположность буржуазной западной литературе — в первую очередь заботится о том, чтобы личность была гармонично интегрирована, и, как полагает Кане, не допускает никаких форм индивидуальной экзальтации, эгоизма и эгоцентризма.

Это и должен учитывать африканский писатель, если он хочет говорить со своим народом и быть ему понятным. Наивно думать, что роман об Африке — это уже африканский роман. Опыт показывает, что африканская аудитория предпочитает произведения, опирающиеся на свою традицию. Об этом можно судить хотя бы по энтузиазму, с которым были встречены книги Бираго Диопа, Бернара Дадье, Чинуа Ачебе, успех которых объясняется как глубинными связями с традиционными ценностями, так и стремлением максимально точно выразить чувства «африканской души». Все это сочетается со скрупулезным вниманием и уважением к европейским языкам.

Таким образом, как уже отмечалось, африканская литература может успешно развиваться при условии использования африканских традиций, хотя

> «это ни в коем случае не значит,— считает М. Кане,— что открываются двери для шовинизма или примитивизма. Никакая ориентация не сможет отменить последствий встречи Африки с Европой. Удивительны лишь попытки создать африканскую литературу, пребывая в неведении относительно всего африканского, желание доказать культурную зрелость Африки, игнорируя ее самые оригинальные творения».

Однако это, казалось бы, бесспорное утверждение М. Кане о разумной сбалансированности традиционного начала с современными достижениями западных литератур не находит полной поддержки у части литераторов, предпочитающих переход «на западные рельсы». Так, писатель из Уганды Табан Ло Лийонг активно выступал в печати с утверждением, что первый шаг на пути к будущему должен быть сделан под лозунгом «прошлое на слом», что африканцам надо обратиться к Западу и «решительно, с полным сознанием идти вперед без ностальгической любви и амбивалентности по отношению к традиционно африканскому».

Табан Ло Лийонг настаивает, что будущее африканцев не зависит от их прошлого, что старая Африка для африканцев «почти такая же иностранная, как и Европа». По его мнению, всегда следует ориентироваться на современность и новейшие средства. Чтобы писать романы на мировом уровне, африканские писатели должны освоить достижения мировой культуры: «Играть надо по правилам или не играть вовсе».

> «Наша мудрость,— говорит Табан Ло Лийонг,— измеряется не тем, как долго мы будем цепляться за традиции. Традиции — это вчерашний мир. Те, кто связан традициями, живут в прошлом: они враги прогресса».

По Лийонгу, африканцам во всех областях культуры следует ориентироваться на Запад, отказываясь даже от национальных языков в пользу западных.

> «Мы должны пойти по западному пути, с тем чтобы стать на вершину этой наиболее технически развитой цивилизации и перехватить лидерство. Нас поставили на исторические рельсы Запада. Так в путь, но проделаем этот путь скорее!»

Таким причудливым образом недостаток внимания и любви к собственному культурному наследию оборачивается у писателя из Уганды манией величия, едва ли не шовинизмом, когда целью становится чуть ли не стремление африканцев к мировому господству.

М. Кане же, со своей стороны, считает, что некоторые африканские писатели слишком рано взяли курс на универсальность и всеобщность. Ценности африканской культуры войдут в мировую сокровищницу не раньше, чем африканская литература сумеет адекватным образом отразить стремления и эстетические принципы африканцев.

По сути своей проблема, о которой говорится в статье М. Кане, хорошо знакома русской культуре. Когда Пушкин задумывался «о ничтожестве литературы русской» и, сравнивая ее с французской, искал, что можно противопоставить классической традиции французской литературы, вывод был таким: «Но есть у нас свой язык: смелее —

песни, обычаи, история, сказки». Великие литературы, говорил Пушкин, создавались там, где народная «поэзия существовала прежде появления бессмертных гениев, одаривших человечество своими великими созданиями. Сии гении шли по дороге уже проложенной».

Накопленный опыт развития африканских литератур позволяет с надеждой взглянуть в будущее. Нетерпение африканских литераторов объяснимо и понятно, но у литературного процесса свои законы, и обойти их нельзя.

Африканские писатели стремятся выразить с наибольшей достоверностью и полнотой устремления своих народов. Поиски в этом направлении ведутся и уже отмечены немалыми успехами.

Свою позитивную роль в развитии молодых литератур Африки играет и журнал «Актес».

В. БЕЙЛИС

ЛИБЕРАЛИЗМ И «НИГИЛИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

За последние десять—пятнадцать лет в русле движения «новых левых» и находящихся под его влиянием кругах западной интеллигенции распространилось мнение, что современное капиталистическое общество представляет собой целиком и полностью «управляемый мир» — словосочетание, пущенное в оборот Теодором Адорно. Особенно же «управляемой» считалась при этом культура, сфера общественного сознания, духовного измерения человеческого существования вообще. Такие сочетания слов, как «индустрия культуры» (им мы опять-таки обязаны Т. Адорно), «индустрия сознания» (название целой книги Г.-М. Энценсбергера) и т. п., были призваны утвердить мысль о том, что эпоха, предсказанная известными антиутопиями 20—30-х годов, уже наступила— капитализм добился всеобъемлющего контроля над умами и поведением людей, которые теперь мало чем отличаются от марионеток. Этот вывод также породил целый ряд новых по тем временам словосочетаний: «жизнерадостный робот» (Ч. Р. Миллз), «одномерный человек» (Герберт Маркузе) и др.

Однако целый ряд событий того же периода (включая, кстати, и само движение «новых левых», проходившее под лозунгами, в которые были превращены все названные сочетания слов) все больше убеждал как раз в противоположном. Становилось совершенно очевидным: трудящийся человек на Западе не такая уж марионетка, а капиталистический мир не так уж беспредельно «управляем», как это казалось теоретикам, создававшим свои «критические теории общества» под гипнотизирующим впечатлением антиутопий. Росло убеждение в том, что даже культура, которую почти привыкли считать главным инструментом капиталистического управления сознанием людей, с большим трудом поддается целенаправленному контролю. И даже более того: некоторые из авторов, правда уже не левого, а скорее умеренно-либерального (с известной склонностью к консерватизму) толка, приходят к заключению относительно не только неподконтрольности, но даже «враждебности» культуры капиталистического Запада породившему ее обществу.

В этой связи представляется крайне симптоматичным следующий тезис американского социолога Даниела Белла, многократно повторяющийся в его книге «Приближение постиндустриального общества. Попытка социального прогнозирования» (1973):

> «...То, что происходит в западном обществе за последние сто лет, является, как я считаю, усилением разделения между социальной структурой (экономикой, технологией и профессиональной системой) и культурой (символическим выражением значений), каждая из которых управляется иным осевым принципом. Социальная структура уходит своими корнями в функциональную рациональность и эффективность, а культура — в антиномичное оправдание возвеличения личности... Культура сменяет технологию в качестве источника изменений в обществе, и напряженные отношения между враждебной культурой и размытой протестантской этикой породили удивительные противоречия в системе ценностей американского общества».

Белл полагает, что капиталистическое производство, вернее каждое отдельное его звено (предприятие или система предприятий), подчиняется требованию эффективности, измеряемому в конечном счете величиной прибыли. В свое время этому требованию соответствовала и культура капитализма, развившаяся в связи с буржуазной «хозяйственной этикой» — этикой протестантизма, как считают многие зарубежные социологи, включая самого Белла. Но вот уже сто лет, как эту культуру (равно как и ее этическую предпосылку) вытесняет другая, базирующаяся на ином принципе — т р е б о в а н и и н и ч е м н е о г р а н и ч е н н о г о «самоосуществления личности», «необъятной личной

свободы». Речь идет о требовании, взятом в том его виде, как его выразили — Белл специально подчеркивает это — предтечи авангардизма в XIX и «модернисты» в XX столетии. Оно предполагает «освобождение» от всех и всяких социальных зависимостей, от любых обязательств перед другими людьми, от каких бы то ни было норм и требований нравственности. В этом смысле Белл называет «новую» культуру «антиинституциональной», то есть в принципе отрицающей любой общественный институт, любое социальное установление. Она-то и противостоит, согласно Беллу, современному государственно-монополистическому капитализму, присутствуя в его организме как инородное тело («антимир» внутри капиталистического мира).

Концепцию Белла вряд ли можно назвать оригинальной. Многое в белловском стремлении расщепить единое общество на ряд независимых сфер, каждая из которых подчиняется своему собственному принципу, заставляет вспомнить так называемую теорию факторов, справедливо раскритикованную еще Г. В. Плехановым. Тем не менее есть в книге Белла нечто, представляющее вполне определенный интерес. Мы имеем в виду отчетливо выраженные свидетельства автора насчет углубления общего кризиса буржуазной культуры — свидетельства, которые при всех их преувеличениях (касающихся «антибуржуазности» всей культуры Запада) мы не можем не принять к сведению.

Одна из важных особенностей этого кризиса, на которую вновь побуждает нас обратить внимание книга Белла, заключается в том, что кризис буржуазной культуры протекает не только в форме возникновения и развития в ее лоне антикапиталистических и социалистических элементов (о чем давно уже говорят и пишут исследователи-марксисты как у нас, так и за рубежом). Существенным аспектом этого кризиса является саморазрушение буржуазной культуры, происходящее по мере нарастания в ней нигилистических тенденций: влечения к смерти, тяготения к небытию. Этот, второй, аспект кризиса произвел на Белла особенно тягостное впечатление, с одной стороны, приведя его к явно необоснованному выводу о том, что «в действительности буржуазная культура давно исчезла», а с другой — определив его довольно пессимистический взгляд на возможности «упорядочения» взаимоотношений между общественно-экономической структурой современного капитализма и его «новой» культурой.

Под тяжестью описанного впечатления Белл приходит порой к совсем уж парадоксальным, во всяком случае для либерала, не лишенного тяготения к консерватизму, каким считается автор книги, и достаточно сомнительным формулировкам. Так, по его утверждению, идеология, враждебная современному капитализму,—

> «это не советский социализм рабочего класса — во всяком случае, рабочий класс стремится ко все большему увеличению товаров и расширению производства,— а культурный шик «модернизма», сохраняющего свой подрывной заряд независимо от того, насколько он поглощен системой».

Разумеется, марксисты ни в коей мере не могут согласиться с подобными умозаключениями впавшего в отчаяние либерала. Однако самый факт шараханий и метаний буржуазных теоретиков подобного типа в условиях отчетливо прорисовывающихся самоубийственных устремлений культуры государственно-монополистического капитализма не только показателен, но и глубоко символичен. При виде реальной опасности, которая грозит культуре— самому ее принципу, духовному измерению человеческого существования вообще — со стороны «литературных интеллектуалов», становящихся, согласно Беллу, «все более апокалипсическими, гедонистическими и нигилистическими», убежденный либерал пытается найти точки соприкосновения с «советским социализмом рабочего класса», как бы забывая о своих коренных разногласиях с ним.

Впрочем, будем справедливыми к Беллу: он явно стремится преодолеть ощущение безнадежности, овладевающее им перед лицом нигилистических тенденций культуры современного Запада. И то, что по логике дела должно было бы привести к выводу о безвыходном «тупике», он пытается переформулировать в проблему, открывающую различные альтернативы, а следовательно, и возможность надеяться. Он считает необходимым найти компромисс между государственно-монополистическим капитализмом и отрицающей его культурой. На эту мысль наталкивает его противоречивое чувство: убеждение в бесперспективности прямой борьбы с этой культурой, сопровождаемое одновременным желанием сохранить отрицаемый ею порядок жизни. Убеждение в бесперспективности борьбы с нигилистической культурой возникает у Белла на основе вывода о том, что она поддерживается очень широким слоем гуманитарной интеллигенции, который составляет ныне «персонал», обслуживающий массовые коммуникации (печать, радио, кинематограф, телевидение) и «индустрию культуры» в целом. Явно сгущая краски, он даже говорит в этой связи о возникновении «нового класса», «господствующего (?!) над средствами коммуникации и культурой». Этот «новый класс» (возникший в теоретическом построении Белла по принципу: «у страха глаза велики») и выступает у автора книги о «приближении постиндустриального общества» как социальный базис нигилистической культуры и соответствующих «антибуржуазных ценностей». И хочешь не хочешь, а придется как-то уживаться с этим «классом», равно как и с «нигилистической культурой».

Любопытно, однако, что, не успев как следует обсудить вопрос о «компромиссе»,

Белл тут же наталкивается на проблему его г р а н и ц. Ибо оказывается, что нигилистическая культура, включающая не только «враждебную культуру» (то есть авангардистскую «революцию» в искусстве), но и контркультуру (то есть модернистскую «революцию в стиле жизни»), выдвигает настолько, мягко выражаясь, экстравагантные требования, что с ними не может согласиться даже либерализм, не говоря уже об откровенно консервативных идейно-политических течениях капиталистического общества.

> «Она,— пишет Белл о контркультуре,— стремится внести кредо личной свободы, предельного опыта и сексуального экспериментирования в те сферы, куда либеральная культура, которая приняла бы подобные идеи в области искусства и воображения, идти не согласна».

Иначе говоря, пока нигилизм ограничивал сферу своего влияния авангардистским искусством, пока «бунты» и «отрицания» происходили на листе бумаги, полотне картины или на сцене какого-нибудь не в меру эксцентричного театрика, «либеральная культура» склонна была их терпеть — в частности, и как символ своего собственного либерализма. Но когда модернистская «революция» превратилась в «революцию в стиле жизни» — и не для узкого, элитарного круга, а для широких (и все расширяющихся) групп гуманитарной интеллигенции, обслуживающих «производство культуры», сознающих увеличение своего «веса» в обществе, однако недовольных своим социальным положением; когда культ «ничем не ограниченной» личной свободы обернулся безответственным оправданием любого акта «самоутверждения личности», даже убийства, жажда «предельного» опыта обернулась узаконением «взаимопроницаемости сумасшествия и нормальности», а влечение к сексуальному экспериментированию — движением в защиту «сексуальных меньшинств» (сторонников гомосексуализма, лесбиянства, группового секса и пр.),— тогда наступил конец даже буржуазно-л и б е р а л ь н о й терпимости.

«Предельный» опыт, в котором подопытным кроликом оказывается в конечном счете другой человек; сексуальный эксперимент, в ходе которого опять же не обойтись без «другого» в качестве объекта; групповой секс, который, как свидетельствуют некоторые особенно «левые» зарубежные фильмы, подчас совсем невозможно отличить от группового изнасилования,— эти области, «революционно» утверждаемые контркультурой, остаются камнем преткновения для либерализма. Однако самое интересное здесь то, что Белл отказывается объяснить, почему же в этом пункте его воля к компромиссу, так сказать, дает осечку.

> «...Либеральная культура,— смущенно признается он,— затрудняется объяснить свою сдержанность (перед теми пучинами, куда манят ее сирены контркультуры.— Ю. Д.). Она одобряет общую снисходительность, но не может с какой-либо уверенностью определить ее границы. И оставляет моральный порядок в состоянии путаницы и смятения».

Либерал признается в своей неспособности сформулировать четкие моральные критерии перед лицом наступающего нигилизма. И его можно понять (хотя это не значит — согласиться с ним): ведь он нанес им непоправимый удар в тот момент, когда все, что теперь ужасает его как «революция в стиле жизни», он принял как нечто в п о л н е допустимое «в области искусства и воображения», в сфере авангардистской «враждебной культуры». От прежнего морального ригоризма сторонников «протестантской этики» у нынешних либеральных ее наследников ничего не осталось. Место ригоризма, уверенного в абсолютности нравственного суда, заступила ничем не объяснимая «сдержанность» либерала, по какой-то странной прихоти не решающего позволить себе то, что он уже разрешил другим. Впрочем, остается еще последний рубеж, препятствующий достижению компромисса между «либеральной культурой» и контркультурой: либерал как-то не соглашается окончательно принять лозунг вседозволенности в качестве не только эстетического (на это он уже согласен), но и практически-жизненного требования.

Но, как говорится, поживем — увидим. Быть может, идеологу контркультуры удастся-таки убедить нашего либерала. Тем более что последнему в общем-то и крыть нечем. И тогда будет достигнут, наконец, искомый «компромисс» между утратившей нравственные абсолюты «либеральной культурой» и сторонниками авангардистской «революции в стиле жизни». И произойдет это к великому удовольствию «евнуха промышленности», который перед лицом катастрофического падения спроса на Библию уже подумывает: «А не подзаработать ли мне на групповом сексе?»

Кстати заметим: «евнух промышленности» — тоже либерал. Но он либерал п р а к т и к, а не теоретик и потому не очень-то заботится о сведении концов с концами. В качестве, скажем, владельца типографии он не склонен позволять своему рабочему и сотой доли того, что он рекомендует ему же, например, как издатель полупорнографического журнала, когда он рассматривает этого рабочего уже не как производителя, а как потребителя, как «веселящуюся единицу». В этом смысле «евнух промышленности» принципиально двулик — и здесь корень (и одновременно принципиальная граница) его пресловутого либерализма. Эта двуликость выступает для него как нечто естественное, не нуждающееся поэтому ни в каких теоретических оправданиях («такова жизнь!»). И когда какой-нибудь из читателей журнала упомянутого типа (а порнографи-

ческие журналы на Западе нынче страшно «левые») пожелает на деле осуществить пропагандируемое в нем совокупление сексуальной «революции» с политической и, захватив с собой две-три пластиковые бомбы, идет громить универмаг того же «евнуха промышленности», последний, не медля ни секунды, обращается за помощью в полицию. А на другой же день в парламенте делается запрос по поводу того, когда же, наконец, правительство всерьез займется укреплением морального и правового порядка. При всем при этом «евнух промышленности» не испытает никакого раздвоения личности, что и отличает его от либерала-теоретика, который, как мы помним, очень сокрушался насчет необходимости сказать свое «нет!» по поводу «сексуально-политической революции» и невозможности вразумительно объяснить, почему же все-таки он говорит свое «нет!», а не «да!».

Но если уже «евнух промышленности» не прочь извлечь выгоду из «сексуально-политической революции», то тем большую склонность к этому обнаруживают те, чьей специальностью является политическое манипулирование. Последних интересуют, естественно, не столько сексуальные, сколько политические моменты этой авангардистской «революции в стиле жизни». А именно ее левоэкстремистские, террористические вариации, возникающие там, где жажда экстравагантных переживаний, «предельного» опыта и пр. выливается в умыкание заложников, перестрелки с полицией и тому подобные детективообразные хэппенинги. (Вспомним события, связанные с деятельностью так называемой «Симбионистской армии освобождения» и именем Патриции Херст.) Причем в отношении нынешних западных политиков к левоэкстремистским организациям воспроизводится многое из того, что еще в середине прошлого века подметили К. Маркс и Ф. Энгельс — на примере взаимоотношений между полицией и богемно-люмпенским[1] терроризмом: «Полиция терпит заговорщические общества и вовсе не только как неизбежное зло. Она терпит их как легко поддающиеся надзору центры, в которых сосредоточены самые отчаянные революционные элементы общества, как мастерские по производству мятежей, сгавших во Франции столь же необходимым средством управления, как и сама полиция, и, наконец, как место вербовки своих собственных политических шпиков»[2].

И тем не менее было бы неверным рассматривать исследуемую Беллом «нигилистическую культуру» как полностью управляемую и манипулируемую (и даже инспирируемую власть предержащими), то есть не как «нужду», с которой капиталистическая цивилизация пытается как-то справиться, а как послушный инструмент, используемый исключительно в интересах государственно-монополистического капитализма. В целом такая точка зрения совпала бы с утопическим мечтанием буржуазных технократов от политики. Неизбежное зло остается таковым даже в том случае, когда его используют, говоря словами Маркса, «и вовсе не только как неизбежное зло». При всем этом оно остается все же слишком дорогим удовольствием, без которого предпочли бы обойтись — во всяком случае в области политики и идеологии. Так что вопрос о «компромиссе» современного капитализма с отрицающей его «нигилистической культурой» во многих пунктах остается еще открытым. Вот почему необходимо со всей серьезностью отнестись к признанию Белла:

> «Кризис в области культуры нельзя, как политическую проблему, разрешить путем включения или исключения определенной социальной группы; он лежит глубоко в характере ценностей, которые либо поддерживают, либо не поддерживают систему. Поэтому культурный парадокс — это непрерывный кризис капиталистического общества».

Сказанное не означает, однако, нашего согласия с исходной посылкой белловского рассуждения (в интересующей нас его части) — относительно абсолютной чуждости нигилистических устремлений культуры современного капитализма его социально-экономическому и политическому измерениям («осям», как выражается Белл). Когда человек заболевает неизлечимым душевным недугом (позволим себе подобную аналогию, тем более что она имеет широкое хождение нынче и на Западе), то сколь бы ни представлялся его помраченный разум враждебным целям самосохранения заболевшего, он остается его собственным разумом, продуктом заболевания данного индивида, уходящим своими корнями в его болезнь. В древности говорили, что когда бог хочет наказать человека, то прежде всего он отнимает у него разум; то же можно применить и к исчерпавшим себя формам культуры: их разум помрачается, ими овладевает тяготение к смерти, влечение к небытию — очевидное свидетельство того, что общества, породившие эти культурные формы, сами утрачивают волю к жизни, сколь жизнеспособными ни представлялись они в иных сферах. И Белл, который при таких обстоятельствах пытается оторвать «нигилистическую культуру» от остальных измерений капиталистического общества, просто-напросто льстит себя надеждой, что общество, культура которого устремлена к небытию, само, напротив, полно жизненных сил. Ценой такого отрыва он хочет избавиться от возникающего здесь

---

[1] О смыкании терроризма с богемой, богемным «стилем жизни», а затем и образом мысли см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, М., 1956, стр. 286—277.

[2] Там же, стр. 288.

неразрешимого противоречия, разведя его взаимосвязанные моменты по различным «осям».

Интересно, что Белл в своем стремлении отделить нигилистическую культуру (как насквозь «антибуржуазную») от социально-экономического и политического измерений капиталистического общества перекликается с «новыми левыми», некоторые из которых критикуют его как «отступника». Различие между ними в том, что Белл предлагает современному капитализму как-то ужиться с враждебной ему культурой, а новые левые рассматривают ее как основную базу «идеологической партизанской войны» против капитализма, «опорный пункт» антикапиталистической и антиимпериалистической революции — на манер «красных районов» в Китае 30-х годов.

Одним из коренных грехов движения «новых левых», заведших его ныне в глухой тупик левацкого экстремизма, была именно принципиально неверная оценка нигилистических тенденций культуры капиталистического Запада как «освободительных», «антибуржуазных», «истинно гуманистических», непосредственно сливающихся с социалистической и коммунистической культурой. За позитивное мировоззрение, преодолевающее пределы капитализма, было принято то, что можно рассматривать лишь как его потребительский негатив — вывернутую наизнанку «протестантскую этику», «антипротестантизм». «Евнуху промышленности», этому двуликому янусу, был противопоставлен (в качестве его «революционнейшего» отрицания) один из его же собственных ликов — возведенное в абсолют, в мистический культ потребительство, принимающее в настоящее время форму погони за все более экстравагантными удовольствиями, все более сильными ощущениями.

Совершенно очевидно, что такая погоня также предполагает известное «освобождение» буржуазного индивида (в целях его наиболее полной — агрессивно-потребительской! — «самореализации» за счет «другого»), но оно должно быть «освобождением» в первую очередь от элементарных норм и требований нравственности (в рамках контркультуры их называют не иначе как «буржуазными табу») от каких бы то ни было обязательств перед другими людьми. В лоне авангардистски-нигилистических устремлений культуры капиталистического Запада, к которым с такой настороженностью (правда, бессильной) относится Белл и на которые так уповают «новые левые» экстремисты, существует предрассудок — совершенно неосновательное убеждение в том, что, освобождая человека от всего и вся, мы самим этим актом освобождаем его для чего-то более высокого. В связи с этим даже чисто негативная, одержимая одним лишь пафосом всеобщего разрушения деятельность получает знак «истинно революционного» достоинства. На самом же деле это — движение к той свободе, которую Маркс называл абстрактной, бессодержательной, а потому совпадающей с произволом; о такой свободе, как прекрасно сказал однажды Луначарский, мечтать могут только рабы.

Существует «свобода от» — абстрактная, растекающаяся в «дурной» безграничности и «свобода для» — конкретная и в своей конкретности полагающая себе четко определенные границы — в виде конструктивных, творческих целей. Причем (как это подтвердили, в частности, парадоксы нигилистической контркультуры и «нового левого» экстремизма) между этими двумя свободами нет внутренне необходимой связи. Подлинное освобождение — это не освобождение вообще, но всегда освобождение для чего-то, для какого-то конкретного положительного содержания, которое силится реализовать себя и ищет для себя соответствующую форму (а не анархическую бесформенность!). Там же, где такого позитивного содержания нет, где под «освобождением» понимают только ликвидацию всех и всяких ограничений, растворение их в пустоте небытия, можно со всей определенностью констатировать: процесс освобождения находится на ложном пути и рано или поздно он неминуемо обернется бегством от свободы.

Ю. ДАВЫДОВ

◆

Публицистика

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ

ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

Документальная повесть

Перевод с болгарского Л. Лихачевой

СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Совсем недавно вернулся я на родину из неповторимой поездки по пушкинским местам и вот снова встречаюсь с вами. Многое, связанное с моей книгой, очень личное и сокровенное, волнует меня и настоятельно требует своего выражения. Но, может быть, лучше оставить все это при себе.

Я скажу о другом, как мне кажется, более важном.

Автобусы, в которых ехали мы, писатели из самых разных концов планеты, пересекли русскую землю от Москвы до Ленинграда. Где бы мы ни останавливались — нас охватывала мирная тишина и свет глаз, излучавших доброту и достоинство. Все говорило о мире и созидании.

И только однажды русская земля поделилась со мной своей болью. Это было под Псковом, в глухом задумчивом лесу. Там я увидел окопы, оставшиеся от войны, не заросшие, не засыпанные,— незаживающий рубец, рассекший лес от края до края.

В самых укромных уголках русской природы таится память о войне.

Разве не то же самое происходит и в душе человека?

Разве не дремлют в ней, в самых ее потаенных уголках, горькие и страшные воспоминания, которые не в силах стереть даже время?

Я думаю о фашизме, нанесшем советской стране столько жестоких ран. И о своем народе, которому история предопределила встретить один из его первых ударов. Пять десятилетий прошло с тех пор, но 1925 год до сих пор пылает в новейшей истории Болгарии особым трагическим светом. Это был год яростной схватки сил наступающего фашизма и непримиримого, не признающего поражения народного духа. Никогда до тех пор на болгарской земле не уничтожалось в такой короткий срок столько лучших представителей нашей культурной и общественной жизни. Но мужество этих людей, их гражданская доблесть были поистине потрясающими.

Когда я начал работу над этой книгой, меня и вправду не покидало чувство, что я прикасаюсь к еще не зажившей ране на сердце народа. Воссоздавая трагедию 1925 года, я совсем не ставил себе задачу дать исторически исчерпывающую картину. Мои побуждения были скорее внутренними: хотелось всмотреться в события, которые слишком долго оставались в сознании народа накрепко замурованной тайной. Я хотел разгадать — как человек, коммунист и, если хотите, как поэт,— в чем источник потрясающей силы тех, кто не мог и не хотел смириться, будучи убежденным в справедливости своей борьбы. Я хотел насытить свою книгу раскаленной атмосферой поединка между «палачами» и «поэтами», как условно, хотя и очень, по-моему, точно, можно определить расстановку общественных сил той эпохи.

Изучение архивных документов, протоколов судебного процесса, беседы с оставшимися в живых свидетелями постепенно обрисовали мне картину этого яростного

поединка. Стали видны нити поистине зловещего заговора фашистской власти против народа и прежде всего против интеллигенции. Впечатление было настолько сильным, что приходилось непрерывно внушать себе, что рассказывать нужно хладнокровно, не допуская произвольных отклонений, столь заманчивых для писателя и столь ненужных в публицистике подобного рода.

И естественно, я хотел быть актуальным в самом прямом смысле этого слова. Современный человек обладает крайне обостренной чувствительностью — ведь время то и дело преподносит нам весьма горькие уроки. Наше сознание обременено такими проблемами, как сохранение все еще недостаточно прочного мира, как вспыхивающие то там, то здесь неугасшие угли фашизма или жестокие расправы диктаторских режимов с мыслящей и просвещенной частью народа. Достаточно вспомнить трагедию Чили — почти точную копию событий, разыгравшихся в Болгарии в 1925 году,— чтобы убедиться, насколько медленно и неохотно перевертывает история свои страницы.

Быть может, меня спросят, зачем я прибегнул к документально-публицистической форме изложения? Не ограничивает ли она полет художественного воображения? Не отрицаю — избранная мной форма, должно быть, имеет свои недостатки. Но взамен она дает автору завидную возможность непосредственного общения с читателем, позволяет им понимать друг друга с полуслова и — как я убедился в процессе работы — помогает отбирать фактический материал таким образом, чтобы не пропадало даже пропущенное.

И еще. То, что мы называем художественной достоверностью, сейчас, похоже, больше не удовлетворяет современного читателя. Он хочет почувствовать саму жизнь, вникнуть в факт, узнать человека, его настоящее имя, его биографию, услышать его собственные слова. Это уже более чем достоверность. Это — **истинность.** В этом и заключается, на мой взгляд, преимущество документальной литературы перед так называемой «чистой» прозой — может быть, единственное, но очень важное преимущество. Разумеется, никто не собирается всерьез противопоставлять один жанр другому. Все в конечном итоге зависит от силы, щедрости и свободы таланта, раскрывающегося там, где он находит для себя наибольшие возможности.

Интерес читателей к «истинному» развивается параллельно еще с одним процессом в болгарской литературе, который я условно мог бы назвать расширением границ нашего оптимизма. Потому что — тут я перефразирую мысль Эдуардаса Межелайтиса — оптимизм отнюдь не совпадает с такими понятиями, как счастье, успех, достигнутая мечта. Наш социалистический оптимизм имеет более масштабное измерение. Он не только в достигнутой мечте, но и в борьбе, в мучительных усилиях, даже в трагедии, несущей в себе стремление к будущему. Смею утверждать, что в болгарской литературе сейчас чувствуется дыхание новаторского, смелого опыта, неожиданного проникновения в самую глубь вещей. Все это я и определяю для себя как непрерывное расширение границ нашего оптимизма. Взглянуть прямо в лицо мучительному и трагическому, оставаться хладнокровным даже перед лицом смерти — это уже сила, убежденность, мудрость, то есть все то, что в конечном счете и составляет ядро оптимизма.

Не знаю, насколько точно я определяю этот процесс, но во всяком случае он непосредственно связан с успехами нашего социалистического общества.

А теперь — страницы из моей книги.

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ

София, 22 июня 1974 г.

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

Сегодня понедельник, 23 августа 1954 года. В 9 часов 30 минут утра Военная коллегия Верховного суда Народной Республики Болгарии приступила к рассмотрению уголовного дела № 634.

Обвиняются: генерал в отставке Иван Вылков, полковник в отставке Димитр Порков, полковник в отставке Иван Кефсизов, полковник в отставке Тома Прендов, капитан в отставке Стилиян Тошев, подполковник в отставке Цвятко Николов, полковник в отставке Илия Ковачев, полковник в отставке Пенчо Сарафов, полковник в отставке Кирилл Стефанов, майор в отставке Петр Сапунов и бывший торговец запчастями для автомашин Александр Петрович.

Вещественные доказательства: черепа убитых, остатки мешков, веревочных и кабельных петель, кожаных ремней, обуви, часов, протезы, мундштуки, пуговицы, кольца, шпильки для волос, искусственный глаз и пр.

Я стою перед витриной с уцелевшими вещами убитых и думаю о той не связанной с физическими законами природы преемственности поколений, о незримой цепи жизни, которая делает нас братьями великим теням минувшего и тем, что придут после

нас, людям будущего, в которых останутся жить искры наших тленных сердец.

Смеркается, в музее кроме меня — никого. Витрина передо мной — словно распахнутая сокровищница всего того, что некогда было дыханием, биением сердца, жизнью. Полумрак почти скрыл очертания обуглившихся в долгом земляном плену клочьев ремней и веревок, не видно и часов — черных, изъеденных ржавчиной,— лишь золотистые, стиснутые, словно скорбные руки, стрелки все еще поблескивают. Быть может, свой последний круг они пробежали, уже засыпанные тяжкой лавиной земли, когда сердце их владельца остановилось навсегда. И сберегли медленное остывание руки, последний трепет тела, холодный мрак могилы...

Только кучка стеклянных и перламутровых пуговиц, оставшихся от рубашек убитых, не спешит сдаться сумеркам. Мне даже кажется, что в бледном предвечернем мареве они излучают какое-то свое, особое, безмолвное сияние. Я думаю о тех, кто к ним прикасался, о пришивавших их матерях и женах, о теплых детских тельцах, которые когда-то к ним прижимались.

В этом моем чувстве нет никакой мистики. Я только открывал для себя людей, так же просто и естественно связанных со всеми этими вещами, как просты и естественны вещи, окружающие нас. Я видел, что люди, к которым мы привыкли относиться как к символам недосягаемой высоты, в сущности, очень близки нам; такие же земные, так же оплетенные радостями и заботами, как мы, они торопились пройти по дорогам своих дней, не подозревая, что время осенит их имена ореолом бессмертия.

Кучка белых пуговиц светилась, словно созвездие, рядом с ней голубым сиянием вспыхивал стеклянный глаз Гео Милева — все говорило о жизни, об этом простом и великом таинстве, которое переходит из крови в кровь и из памяти в память...

И я уже знал, что должен написать о них.

Я знал, что ветры будней могут без остатка развеять самую чистую и благородную дань, которую можно отдать погибшим,— наше молчаливое преклонение. Голоса эпохи надо ловить до того, как они заглохнут в небытии. И в этом — не бегство от сегодняшнего дня, а забота о его смысле и его богатстве. Не будем же торопиться делать достоянием истории рану, еще не зажившую в душе народа.

Это был ответ на вопрос, который я непрерывно задавал себе, перелистывая протоколы процесса 1954 года: как рассказать о тех исполненных трагизма апрельских ночах? А если прикосновение к этим страшным страницам нанесет незаслуженное оскорбление моему народу? Три тысячи страниц уголовного дела — бесконечная цепь убийств, убийств, убийств — словно видения, воскресшие из глубин самых варварских времен истории человечества. Не только рука, сама мысль цепенела от этого.

Но постепенно картины ужасов становились все бледнее. Мрачные фигуры палачей терялись в безмолвном сиянии человеческой доблести и духовной силы. Во весь рост вставали предо мной сраженные, растоптанные, удушенные, пронзенные свинцом и низостью мужчины и женщины,— бесконечная колонна героев, напоминающая о том, что остается навеки, даже когда человек уходит из этого мира...

И в полутемном зале музея пришли ко мне слова, которые я уже мысленно предпосылал своей будущей книге:

Мрачные страницы в истории народа в первую очередь свидетельствуют о яркости света, который стремились погасить темные силы.

Разгул кровавого безумия говорит прежде всего о высоте мысли, которую эти темные силы жаждали уничтожить.

Возвращение к фантастической жестокости давних времен только доказывает, насколько могучим был порыв к будущему, который хотели сломить эти темные силы.

ПРЕЛЮДИЯ

Пламя восстания задушено, но угли его угрожающе вспыхивают. Народ разгромлен — но и ум его, и сердце продолжают сопротивляться, не желая смиряться с поражением.

Открытая борьба невозможна. Разум революции требует сохранения сил народа для решающего сражения. Но мысль о борьбе жива. Загнанная вглубь, революция продолжается — суровая и трагическая, абсолютно реальная.

Фашизм в наступлении. На европейском небосклоне поднимаются фигуры Муссолини и его болгарских идейных родичей во главе с Цанковым. Гитлер пока всего лишь мало кому известный политический авантюрист, отбывающий наказание за неудачную попытку совершить в Мюнхене фашистский переворот. Это позднее взовьются огненные языки над рейхстагом, задымят трубы крематориев, разразится невиданная в истории военная гроза.

В один из зимних дней 1925 года премьер-министр Цанков принял у себя дома генерала Вылкова. Военный министр познакомил премьера с планом Военного союза, рассчитанным на дальнейшую борьбу с «врагами государства и законной власти», а также представил ему проект секретного приказа командирам гарнизонов и военных частей всей страны.

От их встречи, разумеется, не осталось никаких протоколов, только приблизительно — по скудным признаниям подсудимого Вылкова — можем мы восстановить этот разговор:

— Наши действия слишком разрозненны, господин Цанков! Мы боремся против отдельных лиц, а эту борьбу необходимо вести на широком фронте.

Цанков полностью разделяет мнение военного министра. Но у него есть и некоторые свои соображения. Впрочем, сначала он

выслушает план Вылкова и его коллег Военного союза.

— Командиры гарнизонов должны связаться с администрацией городов и подготовить вместе с ними списки подозрительных элементов и в определенный момент по данному нами приказу приступить к их ликвидации...

Профессор Цанков держит в руках проект генерала. Как и подобает профессору, изучает и оценивает он достоинства рукописи Медленно, многозначительно произносит:

— Твоим военным, генерал, приказывать нужно четко и прямо! Напишешь так: составить списки наиболее смелых и способных людей, то есть тех, кто больше всего влияет на настроение народа. Прямо и без оговорок укажешь, что к этой категории относится прежде всего интеллигенция.

Собеседники не похожи друг на друга: один — словоохотливый, несдержанный циник, другой — человек дела и твердой руки, осторожный, молчаливый. Судьба случайно свела этих двух кандидатов в «вожди нации», но преступления, которые они совершают вместе, рождают между ними своего рода солидарность. Разумеется, это не мешает генералу поддерживать особо близкие, доверительные отношения с царем. На всякий случай. Ведь совсем нетрудно предугадать, что грубый и не слишком дальновидный профессор рано или поздно неминуемо свернет себе шею.

— Да, господин Цанков, в приказе будет прямо названа интеллигенция.

Вылков застегивает шинель и торопливо прощается. На этот вечер у него назначена еще одна встреча. Борис III тоже должен благословить подготовленные Военным союзом планы окончательного уничтожения врагов короны и государства. К тому же его величеству наверняка небезынтересно узнать о сегодняшнем разговоре с Цанковым.

Может быть, именно здесь нужно напомнить, что в свое время царь был первым, кто по достоинству оценил честолюбивого начальника Картографического института, тогда еще полковника, Вылкова. Борису понравились его твердость и целеустремленность. И он не случайно часто обращался к Вылкову за поддержкой, тем самым еще больше разжигая его тайные амбиции и способствуя продвижению по служебной лестнице. А Вылков — не из тех, кто легко отказывается от подобных вещей.

Разумеется, близость между ними отнюдь не выходит за строго определенные рамки, которыми двуличный монарх так ловко умеет ограничивать свои отношения с людьми, состоящими у него на службе.

— Вылков, расскажите об убийствах антифашистов, совершенных по вашему приказанию офицерами третьей секции.

— О том, что в некоторых казармах в апреле 1925 года были совершены убийства, я узнал из разговоров и к тому же гораздо позднее. Никто из начальствующих офицеров не докладывал мне об этом. *(Шум в зале.)*

— Не вспомнит ли подсудимый Вылков об одном из приказов военного министра, то есть вашем, изданном еще до апрельских событий? Вот некоторые отрывки из него:

«Все гарнизоны и войсковые подразделения должны связаться с местными органами власти, чтобы согласовать средства борьбы против коммунистов и земледельческих «дружб» [1]. Прежде всего необходимо ликвидировать самых смелых и способных приверженцев этой идеи—представителей интеллигенции. Необходимо в кратчайший срок составить списки таких людей, чтобы в определенный момент ликвидировать всех руководителей — виновных и невиновных...»

— Вы написали эти слова, Вылков?

— Из самой формы изложения ясно, что это не мой стиль. *(Возбуждение в зале.)*

— Я могу напомнить вам и другое место:

«Каждый пойманный должен быть осужден и казнен в течение 24 часов. Бунтовщиков казнить на глазах у их сообщников. Тех, кто откажется подчиняться офицерам, немедленно расстреливать.

Смертная казнь каждому, кто разгласит что бы то ни было из данной инструкции».

И в конце:

«Вместо меня и других руководителей придут вторые, третьи и так далее руководители, готовые с той же энергией бороться за изложенный выше идеал...»

Это тоже не ваш стиль? Я вас спрашиваю, Вылков!

(Подсудимый отказывается отвечать.)

Это лишь несколько характерных реплик из протоколов судебного процесса. Они дают известное представление о семидесятивосьмилетнем палаче в генеральском мундире, который неумело пытается уйти от прямых ударов обвинения: «Никто... не докладывал мне об этом...», «узнал из разговоров и к тому же гораздо позднее», «это не мой стиль». И все же: одно дело — подсудимый Вылков 1954 года и совсем другое — военный министр генерал Вылков тридцатью годами раньше. В газетах тех лет я не раз видел его снимки: суровое, непроницаемое лицо, поджатые губы, пронизывающий взгляд. Настоящий образец «избранной личности», этакий маленький фюрер, возникший на болгарском небосклоне.

Он верил в свою «историческую» миссию — навсегда вырвать из болгарской земли цепкие корни большевизма, которые так

[1] «Дружба» — низовая организация партии Болгарский земледельческий народный союз, выступавший во время Сентябрьского антифашистского восстания вместе с коммунистами. Отсюда «дружбаши» — презрительная кличка членов БЗНС.

щедро питала победившая в России революция. Строгий порядок, казарменная дисциплина, безгласная покорность — дальше этого не шли его представления об образцовом государстве.

Его средства борьбы до чрезвычайности примитивны: 9 июня 1923 года — жестокая расправа со Стамболийским и его приверженцами [1]; во время Сентябрьского восстания — массовые избиения непокорных рабочих и крестьян, после восстания — убийства на улицах, «пропавшие без вести», самосуд.

И несмотря ни на что, все усилия генерала в течение двух лет после переворота 9 июня не давали никаких результатов. Полный фанатической непримиримости, он либо должен был признать свое поражение, либо сделать еще один шаг — решающий, крайний.

И он делает этот шаг.

Тайный приказ, обрекающий на смерть «самых смелых и способных», то есть тех, кто имеет несколько другие представления об общественном и государственном порядке, вступает в силу.

Генерал Вылков, как и правительство, чью волю он исполнял, как и монарх, который коварно его науськивал, пошел против ума и совести народа, против его будущего.

Против самой истории.

Я искал эти чудовищные списки и в архивах Дирекции полиции, и среди уцелевших документов бывшего министерства внутренних дел — нигде никакого следа. Наверно, их составляли по законам самой строгой конспирации и доступ к ним имели очень немногие — руководители Военного союза, Цанков. Даже сам глава полиции, осуществлявший немало арестов, не располагал полными списками, он лишь выполнял приказания, идущие «сверху», фактически от самого Вылкова. В архиве бывшего отдела общественной безопасности я видел папки с так называемыми «заданиями», возложенными на полицейских агентов,— слежка, аресты. Сначала таких «заданий» сравнительно немного — наверное, в ожидании того самого «определенного момента», упомянутого в приказе военного министра. Но зато сообщения о слежке заполняют папку за папкой с невероятной быстротой. Отмечается час каждого поступившего от агента донесения. Точно и подробно описывается внешность лиц, взятых под наблюдение.

Все это будущие жертвы: учителя и редакторы газет, врачи и адвокаты, профсоюзные деятели и партийные активисты, студенты и офицеры, депутаты и счетоводы. Особое место занимают писатели и журналисты. Их досье — самые обширные и самые недвусмысленные. Потому что оружие, которым они пользуются,— слово — столь же остро и разяще, сколь уязвимо и беззащитно. В каждой написанной ими строчке, содержащей хотя бы намек на недовольство, копались грубые окровавленные руки. Я видел поэму Гео Милева, опутанную красными петлями полицейского карандаша. Осажденные, задыхающиеся стихи прорывались сквозь них с какой-то трагической решимостью, сжигая бумагу и сливаясь с дыханием жизни. Это уже были не слова, не дух, не поэзия — а сама жизнь, растоптанная, сраженная, задушенная.

А генерал спешил. Спешил и профессор, опьяненный кровавым вином власти. Из Варны и Кюстендила, из Плевена и Пловдива, из Русе и Бургаса — отовсюду по тайным каналам к военному министру стекались имена будущих жертв. Однажды утром Стара Загора проснулась в блокаде. Весь город был окружен густым кордоном войск и полицейских частей. Были арестованы десятки «врагов государства». В Хаскове был убит коммунист Димитр Захариев, советник городского муниципалитета. Сообщение об этом убийстве послал в газету «АБВ» ее хасковский корреспондент Димитр Христозов (неожиданная встреча с именем моего отца, его протестующий голос, как ни скромно он звучал в общем хоре непокорных, наполнил меня особым волнением). «Убийца, как и следовало предполагать, не обнаружен»,— тут же комментирует эту корреспонденцию Иосиф Хербст.

Сумерки сгустились над болгарской землей, что-то страшное, приползшее из мрачных времен варварства надвинулось на нее. В раскаленном воздухе трагическими искрами вспыхивают голоса «самых смелых и способных». Народ вспомнил о примере старых хайдуков. По призыву партии в Добрудже собирается отряд Дочо Михайлова, человека, достойного стать героем эпоса любого народа. Бойцы отряда Кискинова и Ципоркова пробудили заглохшие тропы Среднегорья. Ушли в странджанские леса бойцы Тодора Грудова. Родопские холмы укрыли товарищей Митьо Ганева. Поэт Георгий Шейтанов — мрачное лицо и ослепительно светлая душа — забросил книги, ушел в леса Тунджи и Марицы вместе со своей невестой Мариолой.

Софийская Дирекция полиции уже расположилась в захваченном Народном доме коммунистической партии, построенном на деньги рабочих. Массивное здание у Львиного моста, которое с такой любовью воздвигала вся пролетарская Болгария, стало для своих строителей страшной могилы. Пятиконечная звезда, выложенная в мозаичном полу вестибюля, залита кровью. Ее обдирают подбитые железом полицейские сапоги, но разбитая, окровавленная каменная звезда не сдается. Уходящие на смерть взглядами вбирают ее в себя и поднимают высоко, навстречу жертвенным ветрам эпохи. Чтобы передать нам — чистой и незапятнанной.

17 февраля стало для софийской полиции днем торжества. Наконец-то схвачен чело-

[1] 9 июня 1923 года возглавляемая Д. Цанковым фашистская партия «Народный сговор» в союзе с военными совершила государственный переворот, свергнув правительство БЗНС, возглавлявшееся его лидером Александром Стамболийским.

век, о котором достоверно известно, что он занимался конспиративной деятельностью,— Елена Гичева. Первые данные о ней попали в полицию после убийства Христо Гюлеметова. Пронзенный вражеской пулей руководитель пловдивской военно-революционной организации коммунистической партии, умирая, собрал последние силы и проглотил страницы блокнота, на которых были записаны имена товарищей. Но вызванный полицией хирург вскрыл желудок убитого и извлек оттуда непрожеванные обрывки бумаги. Некоторые имена удалось прочесть. Одно из них — имя Елены Гичевой. С того дня полиция стала следить за каждым ее шагом.

Ее схватили поздно вечером, после того как удалось бежать и прорваться сквозь полицейский кордон укрывавшемуся в ее доме Атанасу Премянову. Премянов спасся, но Елену Гичеву, сотрудницу Военного центра ЦК, предоставившую свой дом для встреч и тайных заседаний партийного руководства, на этот раз схватили и отправили в Дирекцию полиции.

Трудно представить, что пережила в следующие два дня хрупкая тридцатичетырехлетняя женщина, выросшая в уюте богатого дома под элегичные романсы, звуки рояля и возвышенные разговоры. Газеты публикуют самые сенсационные предположения о ее деятельности, приписывают ей чудовищные тайные планы. На самом же деле дочь швейцарки Марии Инхельдер и болгарина Алекси Начева, изучавшая философию в Цюрихе и Мюнхене, сотрудница газеты «Равенство» Елена Гичева выполняла рядовую, лишенную всякого внешнего блеска партийную работу. Выполняла деловито, сосредоточенно, разумно, самоотверженно.

В протоколах ее допросов в Дирекции полиции нет ни одного необдуманно сказанного слова. Эти два дня стали для нее словно бы продолжением ее бесшумной партийной деятельности: строго секретной, с соблюдением всех правил конспирации. Два дня истязаний, ничего не давших полиции, и Елена Гичева умерла — несломленной.

Напрасно полиция торжествовала при ее поимке.

Правда о твердости, которую Гичева проявила на допросах, проникла даже в прессу. Падкая на сенсации газета «Утро», пообещавшая читателям невероятные конспиративные истории, рассказанные «видной большевичкой», на следующий день после ее смерти уныло сообщила:

«Гичева была подвергнута допросу несколько раз, но на все вопросы отвечала упорным молчанием. Единственно, чего удалось от нее добиться, это заявления:

— Да, я — коммунистка! Какие бы вопросы вы мне ни задавали, ответа вы все равно не получите!»

Ее смерть — неопровержимое доказательство того, что эти слова были действительно сказаны!

И вот, пока генерал-фанатик пополнял свои списки, отдельные, вырванные из рядов партии борцы вели неравный бой в четырех стенах допросных камер и сгорали одинокими жертвенными факелами Генералу нужны были их признания, чтобы ни один из «самых смелых и способных» не вырвался из готового замкнуться обруча. Один за другим попадают в Дирекцию полиции Димитр Хаджимитрев и Коста Шулев... Полиция, как и в случае с Еленой Гичевой, выдвигает версию о «самоубийстве», но на процессе 1954 года было установлено, что оба они были сброшены в лестничный пролет с площадки четвертого этажа Дирекции полиции.

После долгой погони по софийским улицам полиции удалось схватить двадцатичетырехлетнего студента-юриста Тодора Димитрова. И какая находка! При обыске у него обнаруживают иностранную валюту! Вот оно, доказательство «щедрых подачек международного большевизма»! Полицейские просто не верят глазам от радости. Но у арестованного есть документы, недвусмысленно подтверждающие, что эти деньги собраны международным пролетариатом в помощь жертвам фашистского террора. Тодор Димитров — один из сотрудников ЦК, участвовавших в распределении и раздаче этих сумм, скромных по размеру, но бесценных как выражение пролетарской солидарности. Протоколы допросов Тодора Димитрова свидетельствуют о его высокой нравственности, напоминающей о Василе Левском. Но безукоризненная честность арестованного студента не производит на полицейских никакого впечатления. Деньги, предназначенные вдовам и сиротам павших во время восстания — не помощь, денег было слишком мало для такого количества осиротевших семей, а скорее трогательный знак внимания,— эти самые «большевистские» деньги исчезают в бездонных карманах палачей и их начальников.

Его истязают долго и особенно жестоко. Ведь это же родной брат самого страшного врага власти — Георгия Димитрова. Но палачи и на этот раз обманываются. Пройдут дни, пройдет неделя-другая, от сильного, красивого юноши останется еле держащаяся на ногах кровавая тень, одна лишь упрямая искра воли, затаившаяся в последнем биении пульса, в самых глубинах мысли.

Однажды утром его, мертвого, вынесут в коридор. Все так же безмолвного. Нет! На подошве башмака товарищи увидят его последние слова, нацарапанные куском штукатурки: «Я никого не выдал». В них — спасение для тех, кто задержан здесь без достаточных оснований. И пример тем, кому предстоит провести долгие часы в руках остервеневших палачей.

На процессе 1954 года бывший стражник Дирекции полиции показал:

«Брата Георгия Димитрова жестоко и бесчеловечно истязали в кабинете инспектора Пане Бичева. Он был весь синий. Последнюю ночь он просидел отдельно. Было приказано связать его по рукам и ногам, чтобы он не покончил с собой. Но ночью Тодор Димитров сумел развязать руки и повесился

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

на радиаторе. Когда мы внесли его в коридор, я заметил, что другие арестованные не сводят глаз с его ботинок. Там было написано что-то в смысле, что он никого не выдал...»

Правда ли, что Тодор Димитров сам положил конец собственной жизни? Или это тоже была обычная полицейская инсценировка?

6 марта состоялось 57-е заседание Народного собрания, которое должно было изменить и дополнить Закон о защите государства. Эти дополнения нужны правительству, чтобы придать преступлениям хотя бы видимость законности. Специальная статья — седьмая — предусматривает суровое наказание каждому, кто «устно, письменно, в печати или в художественных произведениях побуждает народ к вражде, ненависти или преступлениям против отдельных классов, слоев населения или установленной власти и тем самым может создать опасность для законного порядка в стране...»

Плану физического уничтожения самой просвещенной части народа требуется юридическое обоснование.

В тот же день, незадолго до начала голосования, во время перерыва единственный оставшийся в живых коммунист — депутат Народного собрания Хараламби Стоянов вышел на улицу подышать свежим воздухом. У киоска, что напротив Военного клуба, он остановился, чтобы купить газеты... И вдруг рядом с ним оказался неизвестный. Ствол заряженного парабеллума нацелился в висок, раздался выстрел, и Стоянов рухнул на каменные плиты тротуара. Смолк голос, который так часто тревожил нечистую совесть убийц. Человек, который и после гибели Былчо Иванова и Тодора Страшимирова продолжал отважно подниматься на трибуну, требуя наказания для преступников.

А в Народном собрании продолжалось заседание. Министр внутренних дел генерал Русев говорил о «порядке и умиротворении» — единственной цели, которую преследуют предлагаемые поправки к закону.

— От нас требуют, чтобы мы проголосовали за этот законопроект.— На трибуну выходит Христо Баев, член Земледельческого союза, сторонник Единого фронта. Голос его звучит глухо — нелегко брать на свои плечи тяжесть неравной борьбы. — Сейчас, когда мы слушаем законопроект во втором чтении, перед Военным клубом бьется в конвульсиях еще не остывшее тело Хараламби Стоянова... Вот каким способом достигается умиротворение — цель, провозглашенная законопроектом!.. И хотя Закон о защите государства действует и сейчас, он никак не гарантирует безопасность болгарских общественных и государственных деятелей...

Негромкие, с трудом роняемые слова трагическим укором звучат в темнеющем зале. Сокровенные слова, последняя дань уважения, слова разлуки.

— Хараламби был нашим товарищем, всего несколько минут назад он сидел здесь, на своей скамье, и вот приходит весть, что он мертв...

Но эти слова — всего лишь одинокие, последние вспышки непримирившейся совести, прозвучавшие в зале Народного собрания.

Новый Закон о защите государства вступает в силу.

С этого дня все, что попадает в досье находящихся под наблюдением, суд военной тяжестью ложится на кровавые весы палачей.

Перестала выходить газета Хербста «АБВ». За «оскорбление власти». Но бесстрашный публицист не отступает. Он начинает выпускать газету «Днес».

В сумрачной тени приближающейся апрельской драмы все реже звучат одинокие голоса непокорных рыцарей пера. Все меньше становится газет, в которых можно честно и открыто писать. Но эти газеты, вестники народной правды, борются и протестуют до последнего своего часа.

«Нет, господа правители, вам придется понять, что ни террор, ни цепи не принесут умиротворения нашей несчастной стране. Не новые цепи — зубами мы будем их грызть, но разорвем,— дайте нам действительную свободу и порядок!»

Эти строки, принадлежащие Николаю Грамовскому, опубликованы в газете «Работническо единство».

А со страниц газеты «Работничка» подымает свой звенящий от тревоги, но непреклонный голос Анна Май (так Анна Майнунова подписывала свои статьи):

«Женщины трепещут за безопасность своих мужей. Тяжкая политическая атмосфера окутала нашу страну. Она несет нам новые могилы, новых вдов и сирот. И тысячи страдающих женщин с полным правом спрашивают правительство: будет ли, наконец, покой на нашей измученной земле!»

А военный министр уже заполнил свою чудовищную картотеку именами тех, кого он собрался уничтожить одним своим генеральским словом. Остается определить тот самый «момент», о котором упоминалось в секретном приказе. В голове у генерала кружатся всевозможные планы, и похоже, верх уже берет идея об инсценированном нападении на какую-нибудь казарму, которое можно будет приписать коммунистам. (Через восемь лет такая же идея возникнет в голове некоего немецкого фюрера, и в рейхстаге вспыхнет пожар — «дело рук коммунистов» Видно, выше этого не в силах подняться мысль ни одного из новоявленных фашистских предводителей.) Болгарский кандидат в «фюреры» даже определил объект, на который должны напасть «коммунисты»,— казармы Первого пехотного полка в Софии. Идея одобрена Цанковым, а царь вряд ли станет возражать генералу, «раз уж нет никакого другого выхода».

Но именно тут произошли события, которые, хоть и не без некоторых неприятностей для правительства и самого генерала, предоставили ему желанную свободу действий.

Влажным апрельским утром из Ботевгра-

да в Софию вышли два автомобиля. В одном из них царь и офицеры свиты. Машины поднялись на Арабаконакский перевал, и вдруг из леса раздались выстрелы. Царский автомобиль покачнулся, застрял в кювете. Один из охраны остался лежать убитым на сиденье, остальные залегли за машиной и, отстреливаясь, короткими перебежками попытались скрыться. Сам царь уже бежал по дороге к Ботевграду под защитой беспорядочно стрелявших офицеров. Метров за двести от места покушения офицеры остановили междугородный автобус, высадили пассажиров и велели шоферу на предельной скорости везти царя обратно в Ботевград.

Во второй половине дня прессе было передано следующее официальное сообщение:

«Сегодня, 14 апреля, в 10 часов 30 минут утра банда, состоявшая из пяти-шести человек, сторонников единого коммунистско-дружбашского фронта, напала в Арабаконакской теснине на автомобиль, в котором следовал Его Величество Царь, и убила двух его спутников. Разбойники, против которых был открыт огонь, скрылись».

Правительственные газеты соревновались в сообщении все новых и новых подробностей о покушении. Само собой, не было недостатка в описаниях «хладнокровия и смелости Его Величества Царя», в рассуждениях о провидении, которое в эти страшные минуты «защитило Его Величество, к великому счастью всего болгарского народа».

Впрочем, покушение осудили все. Партия немедленно выразила свое отрицательное отношение к подобного рода действиям, несовместимым с принципами ее борьбы. Газета Хербста «Днес» тоже высказалась вполне категорично: покушение — дело рук безответственных элементов, не понимающих, какой огромный вред приносят их действия.

Но не успела еще стихнуть волна этой сенсации, как на следующий день, 15 апреля, «террористы» убили отставного генерала Георгиева, председателя софийского отделения «Народного сговора». Убийство носит явно политический характер. Власти опять пытаются обвинить в нем единый фронт коммунистов и земледельцев. Правительство, полиция, военные — все поднято на ноги. Принимается решение о «чрезвычайных контрмерах». Похороны фашистского генерала должны превратиться в настоящую демонстрацию решимости правительства «обуздать террористов — коммунистов и единофронтовцев».

На следующий день цвет правительства и высшего офицерства собрался в церкви Святой недели. В последний момент царь сообщил, что опоздает — пусть заупокойную службу начинают без него. А в это время зажженная спичка уже приближается к фитилю, вспыхивает потрескивающий огонек...

Страшный взрыв сотрясает стены церкви. С оглушительным грохотом рушится свод. Крутится в воздухе смерч из обломков черепицы кирпича, балок, высокий черный столб дыма взметнулся над городом.

Царский автомобиль уже въезжал в это время на улицу, ведущую к церкви. Зрелище, которое Борис увидел сквозь толстое ветровое стекло, заставляет его оцепенеть. Непослушные губы напрасно пытаются что-то сказать, но шофер и без слов понимает: «Назад! Подальше отсюда! На полной скорости!»

Борис III, один из тех, на кого должна была обрушиться страшная взрывная волна, бежит, бежит по улицам этого проклятого, обезумевшего города — чужого города, чужой земли...

Это было 16 апреля 1925 года.

ЗЕМЛЯ БЕЗ ВОЗДУХА

— Взрыв произошел около 11 часов утра. Я тоже был в церкви и получил ранение.

Площадь сразу же была оцеплена войсками. Полиция отправилась в дом церковного служки, который выдал своих сообщников-коммунистов.

После полудня состоялось заседание Совета министров. Было принято решение арестовать всех более или менее видных коммунистов и объявить военное положение. Выполнение этого решения было возложено на военное министерство, министерство внутренних дел и министерство юстиции.

— Вам было известно отношение партии к взрыву?

— Да, я знал, что коммунистическая партия как в целом, так и в лице ее Центрального Комитета не связана с взрывом, что это дело отдельных экзальтированных личностей. Как ни враждебно я был настроен к коммунистической партии, я и тогда считал невозможным, чтобы она предприняла или одобрила такой акт, бесполезный и для нее, и для всей страны.

— Почему же вы еще тогда не высказали этого своего убеждения? Зачем приказали уничтожить такое громадное количество невинных людей?

(Из допроса подсудимого Вылкова.)

Прячутся только виноватые — мы же ни в чем не виновны. Зачем нам прятаться? Ведь это будет значить, что у нас нечиста совесть, что мы каким-то образом причастны к взрыву. Нет, мы спокойно вернемся к себе домой... Возможно даже, что нас арестуют, подержат день-другой, может и больше, потом выпустят. Лучше всего не показывать страха, сохранять спокойствие... Да, это важнее всего — продемонстрировать свое полное спокойствие.

И когда офицерский или полицейский сапог толчком распахивает дверь и представитель власти, не обращая внимания на охва-

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

ченных ужасом женщин и детей, прикрывает хриплым голосом: «Не двигаться! Ты арестован!» муж, отец, брат действительно спокойно поднимаются навстречу направленному на них оружию. Вначале задержанным связывали руки и гнали к оставленным где-нибудь в начале улицы фургонам. Но потом процедуру упростили — зачем, в самом деле, связывать руки людям, которые не оказывают никакого сопротивления?

В дом учителей Райны и Ламби Кандевых полиция явилась поздно ночью. Арестовали обоих, но квартиру покидать не спешили. Внимательно осмотрели комнаты, озадаченно остановились перед большим книжным шкафом; недоуменно полистали несколько книг — вот до чего доводит чтение! А супруги в это время стояли в коридоре, подняв руки, охраняемые третьим полицейским.

Их привезли в Дирекцию полиции. В канцелярии все идет по правилам: описывают вещи задержанных, выдают картонные номерки, по которым вещи будут выданы при освобождении. Райна Кандева вопросительно смотрит на мужа — может быть, нас и вправду скоро выпустят? Но лицо Ламби остается мрачным.

В начале коридора их разлучают — Райна будет сидеть в первой камере. Несколько мгновений под взглядами двух полицейских.

— Возьми мой номерок, сама знаешь — живым мне отсюда не выйти!

Ламби Кандев протягивает жене картонку. Руки их встречаются... Одна-две секунды, но воспоминание об этой прощальной ласке будет согревать женщину все долгие, ожидающие ее вдовьи годы...

В вечерних сумерках из поезда, остановившегося на софийском вокзале, вышел Жеко Димитров. Узнав о взрыве, он поспешил вернуться в Софию, домой к семье. Вокзал оцеплен полицейскими, внимательно осматривающими каждого пассажира. Его никто не остановил. Выйдя на площадь, он понял: весь город блокирован Спутник Жеко Димитрова посоветовал ему не возвращаться домой, а скрыться где-нибудь на два-три дня, пока не остынет первый гнев властей. Жеко Димитров непреклонен:

— Нельзя нам прятаться! Нет у меня причин прятаться!

Поздно ночью, когда все в доме уже спали, в дверь заколотили агенты Общественной безопасности. Жеко Димитров целует обоих спящих детей, обнимает жену и открывает дверь:

— Да, я Жеко Димитров.

Агенты гонят его к стоящей неподалеку машине. Везут в Дирекцию полиции. В канцелярии его вносят в книгу «входящих». Жеко Димитров замечает только что вписанное имя — Ламби Кандев. Потом его ведут по полуосвещенному коридору пятого этажа, вводят в последнюю камеру справа. А внутри.. около тридцати человек, сидящих на полу, полулежащих. Тридцать человек в одной только камере!

Жеко Димитров пристраивается у самой двери, рядом с Ламби Кандевым. В затаенной тишине слышно журчанье воды — это шумит под окном переполненная весенними дождями речка. Руки друзей безмолвно встречаются. И вместо привета Жеко Димитров тоскливо шепчет:

— Будет резня...

Наивные иллюзии остались там, перед входом в этот дом смерти.

Пятидесятилетний, изысканно одетый человек с одухотворенным лицом и снисходительно-грустным ироническим взглядом переступает порог Дирекции полиции. В первый момент начальник канцелярии теряется и вскакивает со стула, чтобы встретить важного гостя. Но наручники и два стоящих рядом с ним полицейских успокаивают начальника — всего лишь обычный арестант!

Обычный?

Арестованный по слогам произносит свое странное имя:

— Иосиф Хербст.

На площадке перед лестницей, ведущей на пятый этаж, этот беспартийный публицист ступит на выложенную в полу пятиконечную звезду. И поднимется вверх.

К Христо Ясенову постучались в четыре часа утра. Когда поэт, открыв дверь, появился перед нацеленными на него дулами и штыками, полицейские неожиданно увидели перед собой невысокого, худощавого человека, такого непохожего на все их представления о бунтовщиках и конспираторах. На письменном столе лежит стопка белых картонных листов. С них и начинается обыск. Оказывается, учитель рисования Ясенов взял домой работы своих учеников, чтобы отобрать лучшие для школьной выставки. Полицейские раскрывают книжный шкаф — в нем русские книги. Полистав, бросают на пол — стихи Брюсова, Бальмонта...

А поэт смотрит на них грустным, все понимающим взглядом.

Когда наручники защелкиваются на его кистях, у Ясенова вырывается подавленный стон. Нет, не при мысли о том, что его ожидает. Просто резкий рывок острой болью отдался в простреленной восемь лет назад руке, когда он, офицер 42-го полка, геройски сражался за «царя и отечество»...

В тот же вечер — 16 апреля начал действовать карательный отряд капитана Кочо Стоянова. Чтобы избежать недоразумений с полицией, капитану была срочно пожалована должность полицейского коменданта Софии. Помощниками капитана Кочо Стоянова стали офицеры Третьей секции Военного министерства, группа профессиональных палачей, которым поручалась «черная», «вспомогательная» работа, а также некоторые «добровольцы» — любители острых ощущений.

Впоследствии на процессе 1954 года подсудимые подтвердят роль Кочо Стоянова как организатора всей деятельности карательного отряда. По его приказанию было создано также несколько подотрядов — в Военном училище, в Первом пехотном, Артиллерийском, Гвардейском полках.. Во главе каждого подотряда стоял офицер из

Третьей секции, кроме того, в него входил «мастер-вешатель», шофер и «чернорабочие», носившие странное прозвище «облака».

На вопрос, по чьему прямому приказу действовал капитан Кочо Стоянов, подсудимые ответят: «По приказу Центрального правления Военного союза в лице Вылкова, Русева, Лазарова и Дамяна Велчева».

Один лишь подсудимый Вылков скажет, что обо всем, происходившем в те дни в казармах, он узнал гораздо позже и к тому же «из разговоров».

Мчатся по безлюдным полуночным улицам крытые брезентом битком набитые фургоны. Сидящие в них люди напрасно гадают, куда их везут,— неожиданные повороты, тряска по ненаезженным дорогам...

Их высаживают на заросшем травой и сорняками дворе. Рядом — какие-то высокие здания, похожие на казармы. Машина, очевидно, въехала в какие-то задние ворота — вокруг одни лишь приземистые бараки и кучи мусора. Без команды, ударами ружейных прикладов гонят их вслед за покачивающимся полуприкрытым фонарем. Несколько каменных ступенек вниз, и их вводят в сырое, пахнущее гнилью помещение. Вероятно, склад. Пол из глины, смешанной с песком.

Они осматриваются в желтом свете повешенного на дверь фонаря — почти тридцать человек с недоуменными, вопросительными взглядами. Что это все означает?

Двое военных выводят первого, оказавшегося ближе к дверям. Постепенно затихают шаги, слышно, как где-то хлопает дверь — наверно, в соседнем помещении. И больше ни звука. Через некоторое время приходят за следующим...

— Расскажите суду, как вы осуществляли эти убийства.

— Двое военных приводят одного из арестованных антифашистов. Сажают на стул. Напротив садится еще кто-нибудь из военных, чтобы вести «допрос». Он спрашивает арестованного об имени или еще о чем-нибудь неважном, например: «Откуда у вас это кольцо?» и в это время делает знак рукой, а двое других, которые уже стоят наготове с петлей из каната, набрасывают ему эту петлю на шею и тянут в разные стороны, пока у того не остановится сердце. Те, кто привел арестованного, стоят рядом, готовые сразу же наброситься на него, если тот начнет сопротивляться. А те, кому назначено накидывать петлю, всегда стоят сзади, чтобы их не заметили.

Когда кто-нибудь из антифашистов оказывался физически очень сильным и пытался подняться, за веревку хваталось еще несколько человек. Тела задушенных сразу же засовывали в мешки, которые завязывали той же веревкой, какую использовали для удушения. Для большей верности шеи убитых затягивали их собственным ремнем. Перед тем, как засунуть трупы в мешки, Черный капитан (Николов) и Любен Моллов забирали у них деньги и драгоценности.

(Из допроса подсудимого Илии Ковачева.)

— Арестованных поставили во дворе Артиллерийского полка у стены. Затем по одному стали вводить в помещение — вроде комнаты... Там было темно, горела только одна керосиновая лампа. Там и начались экзекуции. Все мы, здесь присутствующие, принимали в них непосредственное участие.

— Включая вас?

— Включая меня. Но не помню, было много вечеров, не помню, в какой вечер с кем я тянул веревку...

— Опишите картину поподробней.

— Вы же говорили, чтобы кратко...

— Но не об этом.

— Подробностей не помню, но попытаюсь описать. Введенное лицо сажали на стул и заводили с ним какой-нибудь незначительный разговор. В этот момент по крайней мере два человека набрасывали ему петлю на шею и тянули в разные стороны.

— Сколько времени это продолжалось?

— Около пяти минут на человека. Затем убитых выносили в соседнюю комнату. Я заметил, что люди, которые их выносили, там задерживались. Думаю, что они обыскивали убитых...

— Где еще, кроме Артиллерийского полка, совершались убийства?

— В Военном училище, в Первом пехотном полку, в Гвардейском полку... Тех, кого привозили в Пехотный полк, убивали из пистолета. Стреляли в затылок, поодиночке.

(Из допроса подсудимого Ивана Кефсизова.)

Потом убитых хоронили. Если верить схемам, нарисованным подсудимым Кефсизовым, всех убитых в манеже Военного училища сваливали в яму, вырытую в конце бывшего стрельбища в южной части двора. Тела убитых в Артиллерийском полку вывозили на военных грузовиках к Дырвенишской реке, метров на сто в сторону от Самоковского шоссе. Ориентиром служил старый постоялый двор на четвертом километре. От него машины сворачивали на проселок и останавливались у самой реки. В качестве могил использовались образованные течением ямы. Днем сюда присылали людей, которые расширяли и углубляли их.

Грузовики отвозили убитых и на восьмой километр того же шоссе. Их тоже зарывали метрах в ста от дороги в большом овраге.

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

И еще несколько могил — в военном укреплении (форту) близ села Илиянцы: старый заброшенный колодец, специально выкопанная яма, несколько неглубоких рвов за дощатым сараем-складом.

Итак, секретный приказ генерала Вылкова вступил в силу. За два дня Дирекция полиции была переполнена арестованными. Полицейские участки задыхаются от непрестанного потока задержанных. Карательные отряды капитана Кочо Стоянова «трудятся» на пределе, возможном для такого рода деятельности. Но и они не в состоянии «обработать» такое количество людей. Часть арестованных из Дирекции полиции переводится в Центральную тюрьму, другая — в гимназию имени Фотинова. Освободившиеся места тут же заполняются новыми партиями задержанных. Издается приказ — арестованных в провинции не везти в Софию, а пересылать в окружные центры, где для этой цели должны быть подобраны «подходящие помещения». «Подходящими» на этот раз оказываются школы. В них разыгрываются те же трагедии: допросы, избиения, убийства...

«Дорогие офицеры, унтер-офицеры и солдаты! Чаша терпения переполнилась, и болгарский народ, объявив в царстве военное положение, вверил свою судьбу армии и ее институтам. Он требует, чтобы мы обеспечили Родине спокойствие и порядок, любой ценой защитили жизнь каждого болгарина...»

Это приказ военного министра от 19 апреля 1925 года.

Три дня спустя генерал Вылков появляется в Народном собрании, встреченный, как отмечено в протоколах 84-го заседания, «криками «ура» и бурными аплодисментами». Обсуждается указ о введении в стране военного положения. Генерал все еще в бинтах — излишне напоминать, какие чувства внушают они аудитории. Голос раненого «спасителя государства» тверд и решителен:

«В эти дни тяжких испытаний болгарская армия со всей присущей ей самоотверженностью жаждет помочь народу, готова охранять его и завоевать для него счастливое будущее... От имени армии и от себя лично заявляю, что мы будем счастливы, если ваше голосование даст нам возможность выполнить наш долг перед нашим дорогим народом!» *(Бурные рукоплескания на скамьях «Народного сговора».)*

В парламенте нет больше ни одного депутата-коммуниста. Павшие еще в начале марта от рук «неизвестных убийц», они 18 марта были лишены депутатских прав — бесполезный, запоздалый акт, лишний раз доказывающий, насколько пуля действует быстрей и надежней.

После принятия указа о введении военного положения, утвержденного, между прочим, с известным опозданием, когда карательные отряды уже начали свою «надежную работу», генерал еще раз удостоился истеричных рукоплесканий со стороны депутатов-сговористов.

«Армия,— заявил он,— выполнит свой долг, как всегда выполняла его раньше. Она начеку и думает лишь о благе всего болгарского народа. Она выполнила свой долг 9 июня...»

Генерал воспользовался случаем, чтобы напомнить о своих заслугах двухлетней давности. Такие вещи, по его мнению, господам депутатам забывать нельзя.

Проходят дни, недели — моторы черных фургонов продолжают оглашать пустынные улицы Софии. Группы полицейских — и в штатском, и в форме,— держась как можно теснее, входят во дворы, колотят в двери, выводят намеченные жертвы... Неумолимо действует чудовищный механизм, направленный против человека, против его права мыслить, и со слепой методичностью топчет, душит...

Иногда за крепко запертыми дверями кроются неожиданности. В ответ на грубый полицейский стук раздаются выстрелы. Такой выстрел встретил полицейских, явившихся арестовать бывшего капитана инженерных войск, журналиста и композитора Ивана Минкова. После выстрела наступила странная тишина — лишь спустя несколько часов полицейские, преодолев страх, решились взломать дверь. И нашли мертвого Минкова, который предпочел сам положить конец своей жизни, чтобы не дать это сделать своим врагам.

Минков — из тех коммунистов, кого полиция искала особенно рьяно. Вместе с Костой Янковым и Марко Фридманом он был одним из руководителей Военной организации коммунистической партии. Именно им власти предъявили самые тяжкие обвинения в связи со взрывом в соборе.

В тот же день 20 апреля полиция нападает на след Косты Янкова, запершегося в доме Христо Коджейкова, который в это время уже сидел в тюрьме за коммунистическую деятельность. Сдаться Янков отказался. Дом оцепляют сотни полицейских и военных, но никто не стреляет — генерал Вылков приказал взять живым этого опасного «врага государства». Коста Янков стоит у окна, готовый принять на себя огонь сотен ружей. Но сдаваться не желает.

Между военными и полицейскими снует капитан Кочо Стоянов, новый полицейский комендант Софии. По его приказанию из тюрьмы привозят Христо Коджейкова и возлагают на него важную миссию: убедить Янкова сдаться. За эту услугу Коджейкову обещана свобода. Несколько минут напряженного молчания — и из дома загремели выстрелы. Обнявшись, друзья на миг появляются в окне — они готовы погибнуть вместе.

И они погибают, сражаясь до последней пули, в пламени подожженного полицейскими дома.

В Центральном музее революционного движения находится увеличенная копия снимка, сделанного через несколько минут после того, как пламя утихло и полицейские

вынесли во двор два обгорелых трупа. Знают ли нынешние посетители музея, какой апофеоз товарищества и долга запечатлел тогда бесстрастный объектив?

Марко Фридман сначала содержался в Дирекции полиции, потом его перевели в Центральную тюрьму и предали суду за участие во взрыве собора. Вот как его описывает арестованный тогда же Любен Дюгмеджиев:

«Однажды утром мы увидели Марко Фридмана. Его вели на допрос. Руки у него были связаны за спиной, в рот ему кто-то вставил сигарету, которой он жадно затягивался. Он знал, что его приговорят к смерти, но был необычайно спокоен и добр...»

Как пишут все газеты тех дней, Марко Фридман встретил смертный приговор спокойно, с достоинством. Черноволосый, тридцатитрехлетний человек вышел из зала суда твердым шагом с гордо поднятой головой...

Остались считанные часы жизни. Его увезли в Центральную тюрьму в камеру смертников, там Фридман потребовал у тюремщиков бумагу и ручку. Требование было выполнено. И он пишет свое последнее письмо — царю:

«Знаю — мне осталось жить всего несколько часов. Но не с просьбой о помиловании обращаюсь я к вам, Ваше Величество...

Я приговорен к смерти через повешение. Но не за вульгарное преступление. Моя невиновность в подготовке взрыва была доказана судом. Я приговорен, потому что был активным членом коммунистической партии, потому что с четырнадцати лет служил своему народу верно, честно и бескорыстно. Служил так, как считал лучшим, как верный воин, сражающийся за свои идеи. Как солдат, я был всегда на своем посту. И как солдат хочу умереть — с открытой грудью, спокойно дожидаясь смертоносной пули.

Ваше Величество!

Позвольте тому, кто должен умереть через несколько часов, попросить для себя лишь одного: публичного расстрела вместо повешения...»

Напрасно!

На голом пустыре близ Софии, недалеко от места, где сейчас находится товарная станция Сердика, на глазах у потрясенного множества людей Марко Фридман был повешен.

Для героев нет недостойной смерти. Смерть у них всегда одна — героическая!

Когда-то я представлял себе людей, запертых в камерах Дирекции полиции, в тюрьмах, в школьных классах, суровыми, задумчивыми, исполненными твердой решимости, как и подобает людям, перешагнувшим черту обычных житейских дел. И с каким удивлением прочел я страницы из книги Тодора Павлова «Лучи в преисподней», раскрывшие мне нечто совсем другое. В «Письмах из тюрьмы» Павлов пишет:

«...Даже после апреля 1925 года, в самые кошмарные дни и ночи, проведенные в Управлении общественной безопасности, среди нас не умолкали смех и песня, *наш* смех и *наша* песня. Они звучали сначала редко, а потом все чаще и чаще, к великому изумлению всех *этих*. Помню гимназию имени Фотинова, где я, арестованный, под чужим именем, провел около десяти дней в гимнастическом зале, битком набитом заключенными. В дни, когда «исчезновения без вести» не только не прекратились, но даже не сократились, в этом зале устраивались... утренники! А в самом Управлении... Но как тебе это описать? Что там было по ночам, ты уже представляешь себе довольно ясно. Вообрази себе сейчас следующую картину. Кого-нибудь из нас приводят или, вернее, швыряют в камеру среди ночи, разбитого, синего, распухшего, оборванного, растрепанного, мокрого. Если бы такое случалось редко и не с каждым, и то легко угадать, какое все это производит впечатление. Но так было каждую ночь со всеми по очереди, а иногда и с целыми группами, и нервы у всех были напряжены до такой степени, что, казалось, не остается ничего другого, как сойти с ума... или, несмотря ни на что, начать смеяться. Мы в нашей камере выбрали второе, и как только часовой и агенты убирались от нашей двери, мы принимались, во-первых, за чисто физическое лечение пострадавших массажем и компрессами, а во-вторых, осуществляли духовную товарищескую взаимопомощь главным образом с помощью смеха и шуток...»

Похоже, что настоящие люди — это те, кто умеет в час страшного испытания сохранить все, чем они жили раньше, самое человеческое...

(Окончание следует)

◆

Публицистика

ТИБОР ДЕРИ

ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕЙ

Фрагменты из книги

Перевод с венгерского Н. ПОДЗЕМСКОЙ

Октябрь 1965 года

Тысячеокая наука

Скромные свои естественно-научные знания черпаю я из популярных книг и журналов. Намного ли эти источники недостоверней специальных трудов, авторы которых по мере развития науки то и дело нападают друг на друга, изничтожая практические и теоретические положения и выводы противника? Не думаю, но заранее смиренно отступаю перед нападками ученых-специалистов. Личный опыт, кое-как пополняющий мои тощие познания, несомненно, случаен; все же, как мне представляется, я могу со спокойной совестью размышлять о мировоззрении, сложившемся у меня благодаря собранным отовсюду частным фактам. Волнующая картина!

Мое давно зародившееся беспокойство касается науки. Разве в искреннем своем стремлении помочь человеку не перегибает она палку? Видит ли в совокупности то, что создает, и убеждена ли в пользе этого? Координирует ли исчисляемые многими сотнями, а может быть тысячами, отрасли и с помощью какого общего знаменателя? Не выходит ли наука в пылу энтузиазма за пределы достойных человека задач, не искажает ли в излишнем усердии то хорошее, что создано ею? Останется ли она хозяйкой своих исследований или станет их служанкой? И наконец, сформулирована ли вообще ею цель, к которой она стремится?

Ясно, что я говорю не о самом знании, а об его применении. Но применяем мы то, что знаем.

Техника начала с того, что помогала человеку в его суровой борьбе за существование. Теперь же, в эпоху научного прогресса, мы дошли до того, что техника стремится заменить эту борьбу. Учли ли мы непредвиденный физиологический и психологический эффект такой замены?

Процесс развития нам известен: все быстрей, все дальше, все сильней! Вместо каменного топора пользуемся мы паровым молотом, вместо лошади — самолетом, вместо дубины — управляемым снарядом. С помощью электронных микроскопов и огромных циклотронов можем уже заглянуть в мир частиц, разлагаем строительные кирпичи материи — элементы; усилив наше слабое зрение телескопами, следим на расстоянии в несколько миллиардов световых лет за движением галактик. И уже два десятка лет в нашем распоряжении электронные машины, которые ускоряют процесс человеческого мышления и облегчают его логическую работу.

Все это еще можно считать более или менее полезным, все это еще не снимает предположения, что наука служит человеку. Перелом, устрашающий поворот происходит тогда, когда наука начинает экспериментировать над самим человеком и из субъекта он превращается в объект.

В физиологии мозга мы уже подошли к изучению деятельности мозговых клеток и законов их взаимодействия, то есть к изучению физики мыслей, предрассудков, страстей. В результате удачных опытов мы научились электрическими импульсами изменять поведение подопытных животных в зависимости от того, в какую часть мозга направляется ток; мы возбуждаем у них воинственное, агрессивное настроение или превращаем их в миролюбивых, ручных; заставляем добреть или свирепеть, испытывать голод или отказываться от пищи; можем даже

сделать животное нечувствительным ко всякой боли. И на душевное состояние человека способна воздействовать фармацевтическая промышленность, успокаивать при возбуждении, повышать работоспособность, снимать страхи и так далее. Мы еще, правда, не знаем процесса действия лекарств в организме, видим лишь результат, который можем регулировать, и, очевидно, не скоро изучим химические изменения, вызываемые лекарством в клетках мозга. И уже намечается путь к той исторической эпохе, когда хирург сможет изменять характер человека.

Вопрос ближайшего времени также и выбор по нашему желанию, родится у матери мальчик или девочка. И если осуществятся планы евгеников, лауреата Нобелевской премии Германа Мюллера, то женщины в будущем станут заказывать на дом с центральных баз, располагающих богатым ассортиментом, сперму необыкновенно умных, красивых или необыкновенно сильных и здоровых мужчин, чтобы одарить счастливую семью младенцами по своему вкусу.

Но все эти планы и перспективы кажутся чуть ли не старомодными по сравнению с новейшим открытием молекулярной генетики. Недавно завершилось одно из самых важных исследований в истории науки: разгадан код наследственности, тот химический язык, на котором гены живой клетки отдают приказы, то есть вырабатывают производственные инструкции для построения нервов, костей, кожи, мозга — всего того, что физически и психически определяет человека как личность, отличает его от других.

Различные этапы исключительно сложного процесса пока еще, разумеется, не известны, но первый и, очевидно, самый важный шаг уже сделан. Мы усвоили отдельные слова языка творения, а, выучив их, завтра уже сумеем — принимая в расчет смелую предприимчивость человека — экспериментировать над тем, как изменить, исправить производственные инструкции генов. Естественное программирование заменится сознательным планированием. Мы будем сами себя создавать. Но по какому образцу?

Пока человек усиливал свое могущество, чтобы изменять окружающий мир, он оставался сам себе хозяином. Под видом технического прогресса он сам на себя поднимает руку. Как может быть человек мерой всех вещей, если он произвольно меняет свои пропорции? И еще раз спрашиваю: по какому образцу будем мы себя пересоздавать? Сможем ли мы найти новые человеческие нормы, создать такую модель, которую не во вред цельности и здоровью удастся изготовить будущему обществу? И кого мы попросим ее выкроить? Специалистов, политических деятелей, избирателей?

Естествознание изучает явления, а не выносит им оценки. Изучает все, что возможно, считая, что таким образом выполняет свою задачу. Мы не можем от него требовать, чтобы оно классифицировало то, с чем имеет дело, с точки зрения морали. Но применение результатов изысканий, их практическое воплощение в технике может быть оценено с моральной точки зрения. Не все равно, в какие машины воплощаем мы свои знания, не все равно, используем мы энергию атома в мирных или военных целях.

И не все равно, для чего биологи в генетике применяют знания, которыми овладели. Из уважения к техническому прогрессу общество склонно теперь переоценивать поистине блестящие частные результаты, не думая о том, что они продуктивны, лишь когда служат четко сформулированной, морально оправданной цели. По-человечески можно понять жадность науки, развращаемой ежедневно новыми открытиями, а также растущее с каждым днем наше удивление ею, но было бы фатальной опасностью, если бы общество выпустило из своих рук бразды правления. Все больше признаков, предупреждающих об этой опасности. Техника удовлетворяет все больше излишних потребностей и подавляет все больше естественных. Увлекаясь всеми специальностями и отраслями, она, ослепленная, мчится вперед, стремясь к совершенствованию. По примеру «искусства для искусства» уже создается «техника ради техники». По-моему, необходим более строгий контроль, и здесь я в первую очередь имею в виду даже не возможный общественный контроль, а дисциплину, личную дисциплину каждого из нас в отдельности. Критичней относиться к достижениям науки, не упиваться радостью открытия, успехом, сенсацией и хладнокровней рассматривать результат — насколько служит он благу человека. Трудно отделаться от страха, что мы слишком беспечны,— конечно, не в открытиях, а в их использовании; мы совершаем насилие над природой, не зная, где и как нанесет она нам контрудар. Подобно доброжелательному, но легкомысленному врачу, который для лечения больного применяет яд, не имея еще противоядия.

Теория Дарвина основана на гипотезе, что без вмешательства человека в природе в результате биологического отбора существовало бы относительное равновесие. Человек помешал свободной игре сил и, того гляди, нарушит уже и собственное равновесие. Нас не удовлетворя-

та скучная жизнь в животном состоянии; следствие нашей нетерпеливости — история человеческого рода. Теперь приходится мириться и с атомной бомбой, и с неучтенной еще опасностью угрожающего прироста населения, и с чудищами транспорта, более опасными, чем допотопные звери, и с тысячью неразрешенных вопросов промышленной революции. Вот какую пенную реакцию вызвало наше решение стать homo sapiens. Способны ли мы задержать ее? Мы толкаем мир, но хорошо ли знаем куда? Я думаю, нужно больше осторожности и предусмотрительности, чтобы не сбить с дороги не только всему обществу, но и каждому в отдельности.

Дело писателя — спрашивать и будоражить, а не решать специальные проблемы. Говорю о них, потому что в увлечении наукой и техникой мы стали очень легко уязвимы.

Февраль 1967 года

Неужели весна?

Умирают окружающие меня друзья, знакомые; кого болезнь, а кого старость изымают из обращения. Наверно, поэтому я пристальней наблюдаю за весной, то есть за размножением. Как вот сейчас за этой, внезапно наступившей в феврале.

Какое яркое солнце и как сияет на нем омытый влагой ландшафт! Гора Гуггер напротив моего окна еще без листьев, но и там идет размножение, и в доме, и в летнем бунгало. И сама гора тоже словно потягивается перед пробуждением, кажется выше, шире, чем была еще недавно. В нашем саду пышно распускается сирень. Ветер уже убирает осенний мусор, срывает мертвые листья и шурша гонит передо мной целую кучу листвы, точно каких-то неведомых зверюшек, так что я чуть не отскакиваю в сторону. Воздух отполирован ветром до блеска. Утром все кругом было еще пропитано сыростью, поблескивали лужи, ветки сверкали жемчугом, на тротуарах и мостовой хлюпало под ногами, а теперь отчетливо видны сетчатые отпечатки моих резиновых подошв на просыхающей земле; возвращаясь из города, моя жена у сплетницы-дорожки узнает, что я ушел из дому.

А первый весенний птичий щебет! Хотя я словно бы еще вчера, позавчера слышал писк, только не обращал на него внимания. Ну, к чему я прислушиваюсь? Это первый пророк, синичка! Мы же пророкам не верим, насколько надежней бюро погоды! Но на улице К. песни их так и льются из ветвей; народ, как видно, идет за своими пророками. Трудно их увидеть, тщетно верчу я головой, никак не поймаю глазами их шныряние. Но они, наверное, уже ищут в древесной коре «злое жуковье», как пишет Отто Герман, самый очаровательный в мире ученый; а так как еще только февраль, они жалуются наперебой:

— Нет, нет и тут тоже нет!

А если все же найдут спящую гусеницу или личинку, разочарованно твердят:

— Ерунда, ерунда!

Или, вернее, за них так говорит народ, к своему образу мыслей подгоняя вселенную. А заодно и историю: ведь когда служители первосвященников искали Христа, чтобы предать его смерти, перепел донес на него:

— Тут прошел, тут прошел!

Но верная синичка поспешила Христу на помощь:

— Нет-нет-нет!

Осязаемо, четко, ярко выявляется здесь связь действительности и искусства. И в отличие от искусства, верней наряду с ним, есть наука, орнитомузыкология, которая с помощью электронных измерительных приборов фиксирует недоступные человеческому слуху голоса птиц и ритмический строй их пения. Но и это отражает истинный мир. Или только его абстракцию?

Посвистывание ветра постепенно стихает, в паузах все чаще слышно веселое щебетание. И тут приходит на ум, неосознанное воспоминание становится осознанным, будто — вчера или позавчера? — я слышал крик дикого голубя, который пропустил мимо ушей, потому что токование начнется только месяца через два, а в соответствии с логикой — чего не может быть, того нет. Или, иначе, есть то, что должно быть. Тут приобрели мы и опыт исторический.

Но на ум приходит также, что наши голуби, которых зимой утром и вечером мы кормим на террасе кукурузой, семечками, просом, уже несколько дней навещают нас ленивей, значительно поредевшей стаей, и синицы не прилетают больше к подвешенному салу. И пока я это по-своему, неторопливо обдумываю, с высокой сосны рядом доносится тонкий серебристый голосок, словно скрипка подает голос в ветках. Не зяблик ли?

Неужто весна? И поговорка есть: весна свое скажет. А вдруг уже сказала? Есть и добрые чудеса, не только из слез и крови они рождаются.

На улице Капи встречаю старого почтальона в штатском. За одиннадцать лет, что мы здесь живем и он носит нам письма, впервые вижу его без фуражки с гербом. Последнее время он не появлялся, и я уже подумал, что и он отправился на тот свет. Но ничего подобного, он лишь вышел на пенсию. Не очень-то

ему хотелось, несколько лет все откладывал. В снег, мороз, летний зной семьвосемь часов ежедневно лазил по этим вот будайским холмам, где на зимних дорогах даже мотор в шестьдесят лошадиных сил начинает бунтовать; письмоносец же всегда был весел или напускал на себя веселость, залихватски приударял за всеми старушками, и — сказать ли? — не без успеха: выманит стаканчик вина, рюмку палинки у них из буфета. Да и вообще он себе на уме.

— Что вы на пенсии будете делать?

— Врач сказал, дома не засиживаться, ходить каждый день километров двадцать — двадцать пять, мне полезно для ног, иначе помру.

— Господи, двадцать — двадцать пять километров?

— Лотерейные билеты оставил вот за собой, буду распространять. Штук десять могу и вам предложить, господин писатель.

Слава богу, для него пенсия еще не смертный приговор. Ведь некоторые, как проводят на службе, тотчас пускаются в дорогу, ведущую на кладбище.

— У меня денег нет, а жене два билета принесите.

Я тоже себе на уме, и неудивительно: я же на шесть лет старше.

А тетушка Бодола и на самом деле умерла вчера. Она была маленькой такой, как изюминка, и такой милой; стоило Смерти вооружиться косой, тетушка Бодола только взглянула на нее и тут же легла в мать сыру землю. У Варошмайорской церкви продавала она цветы за зеленым крашеным столиком, который с годами оскудевал, и под конец оставалось на выбор лишь несколько горшочков чахлых примул, веток омелы, вербы да бессмертника два-три букетика. Несколько лет назад, когда мы познакомились, она еще ходила на Большой крытый рынок, вставала ни свет ни заря, часа в три, закупала, а потом, прежде чем открыть торговлю, молилась в церкви. Она была столь же невелика ростом, сколь юрка и проворна: на улице увидишь ее — вечно спешит, всегда бегом, бегом или стоит за своим зеленым столиком, прижимая к черному платку один-два букетика омелы. Но в этом году она уже больше времени проводила в церкви, чем за своим зеленым прилавком; все реже торговала и все чаще молилась. На рынок уже не ходила, ее донимала боль в ногах и во всех членах — во всем ее маленьком теле. Она еще больше съежилась и по улице бегала еще быстрей, будто вечно спасаясь бегством, — от чего? Голосок у нее был тоненький, но звучал воинственно, даже когда она жаловалась, охала. Однако по натуре была она кроткой, и постоянному покупателю с трудом удавалось избежать поцелуя в руку.

Жила она в подвале — комната да кухня. Как только ухитрялась она оплачивать даже такое скромное жилье, сама кормиться и еще помогать единственному своему взрослому семейному сыну?

Один мой знакомый слышал однажды громкую перебранку возле зеленого столика. С малюткой птичкой в черном платке бранилась дородная женщина, с крайним негодованием на лице обвиняла она птичку, что та выкрала из церкви восемь разноцветных тюльпанов, которые она только что, часа два назад, положила перед образом Иисуса. Цветы — вот они, на зеленом столике, она узнала их, и пусть та не смеет отрицать!

Тетушка Бодола и не отрицала.

— Ах, сударыня, — жалобно, но с чувством собственного достоинства сказала она. — Сами рассудите, ведь эти красивые цветочки опять вернутся на свое место, их купят у меня и снова в церковь снесут, ну не все ли равно? Целую ручку. Не стоит так кипятиться из-за того, что и я живу милостями нашего господа бога!

Можно сказать, что из благочестия тетушка Бодола преподнесла грех кражи как дар возлюбленному своему Иисусу.

Семья Г приехала из Хайдусобосло. Муж — вагоновожатый с сорокалетним стажем, жена после долгой работы на заводе в прошлом году вышла на пенсию, и вот впервые в жизни они приехали «на курорт». Две недели прожили в доме отдыха, в большой комнате на двоих, обставленной новой мебелью, с балконом, ванной комнатой, прихожей. Из своего кармана только за черный кофе платили, за вино и вечерний чай.

Еще о трогательном семейном альянсе.

Когда утром Луца, будя меня, спрыгивает со своего места — с подушки, лежащей под телефонным столиком — и, повизгивая, лая фальцетом и ворча, скребется в дверь, я в полудреме догадываюсь, что сегодня среда. По средам к нам приходит Маришка, наша домашняя работница; она раз в неделю занимается у нас стиркой, генеральной уборкой, и, хотя на кухню проскальзывает с черного хода, на цыпочках, непогрешимое сердце и ухо Луцы нельзя обмануть. Будь Маришка даже бестелесна, и то ее бесшумное появление пробудило бы Луцу от самого глубокого сна, а следом, конечно, и весь дом. Наказание божье — просыпаться рано, но даже я со своей брюзгливой раздражительностью среды переношу легко.

Ведь вместе с Маришкой сама грубоватая, но все же чарующая жизнерадостность входит к нам в дом. Коренастая ее фигура, круглое курносое лицо с щербатым ртом, шарканье крепких ног, сов-

сем не похожих на ножки Титании, быстрые сноровистые движения за работой далеки от волшебной легкости, и, однако же, стоит ей войти в комнату, как там становится просторней, люди улыбаются, даже угрюмая тяжеловесность вещей скрадывается. А ведь Маришка не поет и не шутит; только скажет приятным своим голосом ровно столько, сколько необходимо, хотя, говори она это и без умолку, не надоело бы людям.

Ей сорок пять, почти тридцать лет живет она с мужем, которого почти все это время каждый божий день провожает на работу, до почты на бульваре Кристины, а потом сама идет работать.

Тридцать лет ежедневно после работы заходит она за мужем в ресторанчик возле почты, где тот за стаканом вина нетерпеливо ждет ее, чтобы проводила домой.

Двенадцать детей родила она, из них трое умерли. У нее, если не ошибаюсь, восемь внуков. Младшей дочке двенадцать, младшему внуку — восемь.

Сколько же их живет в квартире из двух комнат и кухни? Сами супруги и шестеро детей, в том числе одна дочка с мужем и ребенком; значит, вместе с зятем и внуком десять человек. Но одна из дочерей, переехавшая в провинцию, часто ссорится с мужем и тогда вместе с шестью детьми приезжает в Будапешт к родителям. И любимая ею свекровь тоже частенько гостит у Маришки по нескольку недель и месяцев. Итак, сколько же их всего в квартире? Но счет еще не полон, потому что у дочерей есть поклонники, обычно там же проводящие вечера. У Маришки почти одни дочери, всего два сына. Можно представить, какое там подымается щебетание. И вдобавок в квартире всегда толчется несколько солдат, потому что сыновья, зятья и женихи постепенно достигают призывного возраста.

Самую младшую девочку, двенадцатилетнюю, хотела удочерить одна супружеская пара.

— И не подумаю им отдавать,— сказала Маришка.— Пусть себе сами рожают, если ребенка хотят.

Она и муж — потомственные будайцы. Он даже не пускает Маришку одну через мост, не разрешает ей наниматься на уборку в Пешт. И время от времени неожиданно заходит в ту или иную квартиру, где работает жена,— какая же истинная любовь без крупицы ревности?

Моей жене Маришка не раз приносила цветы. И сегодня тоже принесла. Если они еще не распустились у нее в саду, как сейчас, в феврале, она покупает для нас букетик. Но не только от цветов веселеет наша квартира утром каждую среду.

Возле дома, на улице Чеви, встречаю работников столичного садоводства: они идут подстригать деревья вдоль тротуара, чтобы не задевали ветвями проводов. Всюду в садах уже сгребают, жгут сухие листья. Неужто все-таки весна?

Август 1967 года

Кинетизм

Мало книг читаю я нынче, преимущественно пишу. Это доставляет мне больше радости. Писание отнимает у чтения время, которого мало. Итак, я почти покончил с юношескими соблазнами — да и пора уж; в творческие лаборатории, эти пустыни или рай прочих писателей, лишь подглядываю украдкой в замочную скважину и обычно удаляюсь, разочарованный. Остаюсь только с Яношем Аранем, Стендалем, Шекспиром, Чеховым, да и из них тоже, конечно, выбираю. Листаю медицинскую энциклопедию и другие солидные с виду издания. Я стал требовательней, правда, и по отношению к себе. Хотя еще вопрос, стоило ли заменять чтение писанием?

Но чтобы не возводить на себя напраслину: пусть моя любознательность и описывает все более сужающиеся круги, я уже из профессионального долга слежу за новыми литературными всходами. Порой с большим или меньшим злорадством. Но также с обязательным для писателя внутренним сомнением; скорей вопросы, чем ответы, рождают попавшие мне в руки произведения. В результате получаются довольно скучные монологи; кому они нужны, кроме меня?

А посему стоит полистать даже каталоги нескольких выставок, хотя сами выставки мне и нельзя посмотреть, как, например, эти нью-йоркские. (Отдаю должное венгерской почте: адресованные в кафе «Хунгария» каталоги пришли ко мне сюда, в Фюред, хотя вот уже пятьдесят лет, как я не бываю в кафе.)

Каталоги рассказывают о работах двух художественных групп, кинетиков и люминистов, о которых вполне можно рассказать заодно. Об их родстве говорит не только устроенная сообща выставка, но и упоминаемые общие предки и вдохновители. Кинетизм можно было бы назвать искусством движения, если бы не завладела этим выражением художественная гимнастика двадцатых — тридцатых годов; люминизм — это игра или, если угодно, искусство света, то есть движущаяся композиция различных по окраске и форме оттенков света, сменяющих друг друга. Выставка люминистов была открыта всего лишь один день в холле нью-йоркской гостиницы, кинетиков — две недели в нью-бранчвикском институте; так как эстетика их, в том числе по собст-

венному их признанию, от одного теоретического корня общее рассмотрение той и другой представляется вполне допустимым.

Одна из похвальных черт человека — и мы этим часто злоупотребляем — склонность составлять родословное древо, собственное и своих произведений. Даже революционные идеи и те ищут себе предков. Преемственность — одна из навязчивых идей человечества; если нет предков, их следует изобрести. Люминизм, как можно узнать из каталога, народился 21 декабря 1734 года, когда иезуит Бертан Кастел, философ и математик, продемонстрировал своим друзьям «цветовой рояль»: инструмент в пять октав благодаря горящим свечам проецировал световые композиции. Кинетики скромнее: они упоминают 1913—1915 годы как время, когда они уже могли подвести итог своим экспериментам, ввести их в рамки эстетики и таким образом заложить исторические основы своего течения. По их утверждению, искусство это еще «молодо», ему всего полвека. Мы надеемся, отыщутся одержимые страстью розысков ученые, которые отодвинут его происхождение дальше во времени (Дюшан), отыщут более солидные традиции.

Поскольку самих произведений я не видел, а если бы даже и видел, то не имел бы возможности их здесь показать и смог бы выразить в форме художественной критики лишь свои не заслуживающие доверия субъективные эмоции, давайте, прежде чем перейти к самим объектам и рассмотрению их эстетических основ, прочтем сначала названия произведений и описания их в каталогах. Повторяю, я рассказываю о прочитанном мной, а не о выставке. Отводя заранее обвинения в верхоглядстве, скажу для успокоения совести, что мое чтение подкрепляется воспоминаниями о так называемых абстрактных выставках, которые я видел в другие времена в других местах; значит, при чтении я в состоянии представить то, чего не вижу теперь.

Из двадцати трех выставленных произведений люминистов выуживаю наугад несколько названий, повторяя, что за ними надо представить себе композицию меняющихся оттенков света и форм. Итак:

«Огненный диск»,
«Шкатулка света»,
«Дерево-звезда»,
«Дождь света»,
«Зримые секвенции»,
«Красный сигнал»,
«Прямоугольные треугольники».

Особо упомяну еще две работы: «Антарктическое солнце» и «Небольшое солнечное затмение», показанные на выставке кинетиков; их каталог дает чуть больше представления о сути произведений; так, о первом сказано, что оно сделано из алюминия и стекла, что это конструкция, снабженная мотором; о втором — что оно изготовлено из плексигласа и пластика и тоже приводится в движение мотором.

Из каталога кинетиков выберем по названиям еще несколько работ, отметив, что они все без исключения относятся к жанру произведений с «медленным движением». Мы не хотим предвосхищать дальнейшее изложение, где речь пойдет об эстетике; лишь для пояснения, чтобы лучше представить художественный объект, процитируем только из каталога: «Произведение с м е д л е н н ы м д в и ж е н и е м знаменует все более возрастающий в наши дни интерес к кинетизму (мира). Особенность произведения в том, что оно делает движение материальным, весомым и наглядным. Наблюдая кинетическое произведение с медленным движением, мы улавливаем непрерывно меняющееся соотношение компонентов, материальную композицию движущихся элементов и протяженность самого процесса во времени».

Этот тезис могут пояснить или подтвердить среди прочих следующие произведения:

работа под названием «Вибрация», сделанная из дерева и металла, диаметром 13 дюймов;

«Растяжимое целое», тоже из дерева и металла, диаметром 15 дюймов;

«Четырехгранная колонна», из дерева, стекла, пластика, приводится в движение мотором;

«Дымящийся ящик», из плексигласа и дерева;

«Синий и черный склон», из металла и дерева, приводится в движение мотором;

«Мотор-коктейль», из металла, приводится в движение мотором.

Жаль, что нельзя взглянуть на произведения.

Имена художников я сознательно не привел, потому что у нас они неизвестны и я напрасно обременял бы память жаждущего просветиться читателя. Но стоит упомянуть, что в каталоге нашел я не только молодых, но и одного старого художника, семидесятисемилетнего фотографа Мэна Рея — известного, даже всемирно известного представителя старых авангардистских движений; примерно в одно с ним время, чуть не полвека назад, принимал и я участие в европейском восстании искусства и литературы. Можно узнать еще из каталога, если б, конечно, я не знал и не подозревал об этом раньше, что наши друзья не без основания включили в свой традиционный реестр также всемирно известного русского Татлина, итальянца Джакометти, немцев Арпа и Шлеммера, венгра Мохой-Надя и, как самого старшего их родоначальника,

---

ТИБОР ДЕРИ
ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕЙ

француза Дюшана. Теперь кинетические бригады работают почти во всех больших городах мира, от Милана до Токио, а также в Москве под названием «Движение».

До каких пределов можно расширять границы живописи и скульптуры? Пока нет ущерба для них!

Нас отнюдь не шокирует, что эти художники работают не в традиционных материалах — мраморе, бронзе, известняке и прочем; давайте без предубеждения познакомимся с их эстетическими взглядами. Не зная произведения, можно, конечно, рассмотреть сами тезисы, согласиться или поспорить с ними.

В каталоге приводятся два мнения, хотя имена их авторов не упоминаются среди выставленных художников. Из уважения к молодости отдадим предпочтение Габо, видно, самому молодому из них — страстность, решительность его суждений, не терпящая возражений милая непосредственность напоминают мне собственную мою наивную юность:

«Искусство света и движения в скором времени станет самым важным художественным фактором нашего века. Новым эстетическим орудием, которое уже меняет наши представления о соотношении пространства и времени. Из категории пространства наш опыт движением переносится в сферу пространство — время. Однократное ощущение заменяется многократным. Движение создает новую зрительную позицию Движущееся произведение раз и навсегда уничтожает систему неподвижных форм. Движение истребляет предрассудки о начале и конце. Его искусство восстает против субъективных, статичных и одномоментных картин и творит новые ценности, неустойчивость, способность изменять движение в любое время и в любом направлении».

По-видимому, довольно.

Боб Дилан — натура созерцательная, более спокойного темперамента. Он пытается основательней разобраться в вопросе, хотя в конце концов говорит то же самое в хорошо знакомой форме манифестов старых авангардистских движений:

«Мы — участники одного процесса: отходя от существующего теперь физического мировоззрения, мы приближаемся к кинетическому. От того, что есть, к процессу — чем будет... Кинетические предметы не заключают времени в себе, они его создают. Кинетические предметы не движутся в пространстве, они творят пространство. Самое простое кинетическое произведение — уже событие. Его созерцание выводит зрителя из прежнего замкнутого, дефинитивного, статического состояния Вливает в зрителя новые силы, отводя ему роль, заставляя участвовать в событии. Мы покончили с нашим равнодушием, вступили в новый, более ответственный этап художественного интереса и внимания».

Будем исходить из того, что экспонированные произведения подтверждают теорию, претворяют в реальность то, что она обещает. Я, пожалуй, сочувственно отношусь к ним. По своей конституции, всеми чувствами и нервами я сам за движение, следовательно, за изменение, умом тоже предпочитаю процесс определенному состоянию. К тому же и в своих суждениях, становясь все менее неколебимо-неподвижным, я не хочу, совершая над собой насилие, принимать архимедову позицию, исходя из которой я мог бы, найдя точку опоры, перевернуть мир. Как жизненный принцип я предпочитаю принцип неопределенности. Насколько мне известно, сама жизнь кинетична.

В основном я сочувствую стремлению выразить движением находящийся в движении мир, если только это технически возможно. При этом я задумываюсь лишь над тем, движутся ли на самом деле выставленные художественные произведения. Точней, движутся ли так свободно, как того требует теория для самоподтверждения. Ведь сколько бы изменений ни создавала сама машина, число ее движений в силу необходимости ограничено, и от последнего движения она всегда вынуждена переходить к первому или, в лучшем случае, к видоизмененному предшествующему. Она не способна приблизиться, например, к свободе движения корней, веток, листьев куста сирени. К бесконечному числовому ряду вариаций, действующих заодно с землей, небом, солнечным светом и ветром. То есть к кинетической красоте. Если машина и может выражать движением само движение, она выражает этим не мир, а лишь один ничтожный фрагмент его фрагмента. Поэтому я сказал бы — прошу прощения,— что кинетик, в сущности, следует принципу самого дремучего натурализма.

Другое мое сомнение касается родной сестры машины или заходит еще дальше. Я не знаю, правда, что такое искусство, но каким бы оно ни было, подозреваю: с самого начала в любое время и в любой форме оно что-то говорит и моему разуму, не только моим чувствам (возможно, в известной мере и музыка, хотя в музыке я не разбираюсь). Это относится также к Альгамирским пещерным рисункам [1], которые воплощают не только чувственный опыт, но явно отражают также интеллектуальный мир своего создателя, его суеверия, страхи, надежды, знания, извлеченные из опыта, что думает он о роли животных в мире, об их взаимоотношениях. Короче говоря, в своих рисунках он обращается ко всему человеку, к его эмоциям, к его интеллекту.

Я не переоцениваю роли разума в нашей жизни. К сожалению, она третьестепенна. посмотрите на нынешнее со-

[1] Открытые в 1875 году на севере Испании рисунки, относящиеся к каменному веку. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

стояние мира! Но разум играет роль, и, как бы плохо ни выполнял свою задачу, искусство не вправе пренебречь им, если оно, обращаясь к людям, прилагает все силы к тому, чтобы полнее ими завладеть. Искусство, которое желает действовать лишь на чувства и довольствуется тем, что по извилистым ходам чувств пробивается к душе, заранее отказывается от завоевания всего человека. Даже самый мирный натюрморт, когда он отказывается от изображения цветов, рыб, лежащей на столе скрипки, от всякой сюжетности и стремится, по-видимому, пощекотать только зрительные нервы, даже в самой абстрагированной форме массой возникающих ассоциаций воспроизводит перед нами мир и борьбу человека в мире, возбуждает или гасит эмоции. А что такое абстрактное искусство? Какая-нибудь приятная игра цвета и форм без содержания? Без намеков? Без воспоминаний? Насколько глубоко может оно проникнуть под эпидерму? И какие более существенные страсти может там пробуждать или направлять?

Не вполне себе доверяя, ставлю я перед собой эти вопросы; может быть, моя художественная восприимчивость уже притупилась? Я, конечно, не сомневаюсь в том, что беспредметная игра красок и форм тоже способна вызвать волнение, наверно, она развлекает, мобилизуя резервы впечатлений, приносит отдохновение или побуждает к действию, но насколько эффективно? Не действует ли она так же — спрашиваю я с полным уже недоверием, — как биологически действует вкусный обед или бокал вина? Но куда анемичней, потому что бокал вина связывает меня с миром сотней воспоминаний и намеков, а при кинетической игре я целиком предоставлен самому себе, бесконтрольному, даже с помощью произведений не поддающемуся контролю вихрю впечатлений. Неужели это цель?

Я полагаю, настоящая цель. Мир абстрактного искусства, судя по тезисам его эстетики, представляется бедным. Если взять пример из литературы, мир Шекспира я неохотно променял бы на сегменты Роб-Грийе. Я думаю, не следует исключать разум; нам пришлось бы отказаться от слишком многого. Хотя ненадежна наша помощь и в устройстве мира, и в вынесении суждений, нам еще трудней справиться с этим без кладовой, накопившей на протяжении тысячелетий столько воспоминаний. Даже то искусство, которое прежде всего хочет опереться на наши эмоции, не может исключить из своих средств разум, потому что наши эмоции приводятся в движение главным образом трансмиссиями разума; разум путем самовоспламенения даже сам разжигает их.

Значит, отвергая успехи, удовольствоваться взглядом на наших молодых коллег как на героев-экспериментаторов, которые, жертвуя собой, расчищают путь в будущее? Заполняя своими телами вакуум настоящего, растят новый урожай?

Что касается меня, я склоняюсь к этому мнению. Тем более что в своих суждениях, как я упоминал, я становлюсь все менее безапелляционным, не очень доверяю себе. Я зыбкий и неопределенный, как мир, в котором живу. И хотя из-за этого я неохотно принимаю то, что готовится, но мне искренне наскучило и то, что существует. Должно быть, традиция моего прошлого?

Февраль 1968 года

Люди, дети

Краткое посещение детского городка в Фоте[1] и краткая беседа там дали повод для этих заметок. В них говорится не о самом детском городке; некоторыми там услышанными и раньше, в другом месте возникшими мыслями — к сожалению, довольно сбивчивыми — хотел бы я поделиться с читателями «Нёк лапья»[2], среди которых, надеюсь, встречаются и женщины... Ведь обзор в первую очередь для них и обращен к ним, к тем, на кого до сих пор возлагает двойное бремя общество и природа.

Мне надо заранее извиниться, что я сторонник женщин, и женщин со всеми их отрицательными чертами ценю выше, чем мужчин, включая себя, со всеми их положительными чертами. Надеюсь, что со временем, когда женщины достигнут наконец равноправия в обществе и сознание этого войдет в их плоть и кровь, они отвыкнут от своей невыносимой болтливости, которая нам, мужчинам, мешает спокойно мечтать о них. О них, которые, как я убежден, наряду со всемерным развитием технического прогресса и вопреки ему все еще нянчат человечество на руках. И впредь пусть так делают, если вообще собираются сберечь ребенка — человечество.

Ребенок — большая тема, я решаюсь только коснуться ее. Мало у меня педагогических задатков, а необходимых объективных знаний еще меньше. Но опыт, накопленный за жизнь, уроки, извлеченные из книг и вдобавок последняя беседа в Фоте — все это лишь укрепляет мое давно сложившееся убеждение: как бы отлично мы ни организовали общество,

[1] Небольшой городок вблизи Будапешта.
[2] Еженедельный журнал для женщин.

ТИБОР ДЕРИ
ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕЙ

какую бы щедрую помощь ни оказывало ему государство строительством детских городков, приютов, детских садов и яслей, какой бы прекрасно образованный педагог ни воспитывал наших детей, в конечном счете, *семья, мать незаменимы*. И цель этих коротких заметок не что иное, как заставить читателей журнала — хотя, как я слышал, большую часть их составляют мужчины — серьезно поразмыслить над тем, что в душе, инстинктивно им и так известно: они лично ответственны за всю последующую жизнь наших потомков. Точней, ошибки, совершенные ими в начале пути ребенка, нельзя больше исправить.

Грудной ребенок — так говорят и в Фоте,— который брошен родителями и проводит в государственных яслях первые три года жизни, попадает в детский сад физически и умственно отсталым. Даже в плохих домашних условиях у ребенка лучше развиваются органы чувств, разум, речь, у него накапливается во много раз больше переживаний, он быстрей знакомится миром, чем в детских яслях, где в лучшем случае на десять детей приходится одна воспитательница, заменяющая мать, пусть даже исключительно добросовестная. Как она может помочь прагматической работе ребенка, ответить на град его «почему», когда другие девять детей ждут, чтобы она сменила им мокрые штанишки? Не получая ответа на вопросы, ребенок вскоре немеет, на свой примитивный лад объясняет мир, создает для себя извращенную, нереальную картину действительности. Младенческие переживания закладывают фундамент для всего дальнейшего развития личности; то, что мы здесь упускаем, поздней уже едва ли можно вообще восполнить.

Всякая мать *инстинктивно* чувствует, если даже не знает, с какой психической травмой связано рождение ее ребенка, первый его шаг из хорошо защищенной, темной, теплой материнской утробы в суровый, светлый, незнакомый мир; поэтому поцелуями, объятиями, ласками, нежностями, то есть более тесным физическим контактом старается она поддержать в ребенке веру, что, выйдя из ее чрева, он все еще находится под ее физической защитой. Возникшую таким образом между ними эмоциональную связь даже ослаблять опасно, тем более совсем разрывать, что происходит, когда мать бросает ребенка и он попадает в приют! Как доказательство, если, конечно, в нем есть необходимость, можно привести бесчисленные научные опыты. В американских яслях дети находились под постоянным наблюдением, их непрерывно снимали на кинопленку, и хотя они — об этом излишне говорить — воспитывались в самых хороших, здоровых условиях с применением всех механических и технических достижений, однако по своему развитию не только отстали от детей, росших в семье, но и захирели, стали страдать нервным расстройством, отказывались от пищи, некоторые даже погибли. Причина, если обобщить, — *отсутствие материнского поцелуя*.

О результатах чрезвычайно поучительной серии экспериментов пишет американский психолог Гарри Гарлоу. Он разлучил с матерью новорожденных детенышей маленьких обезьян и поместил в их клетку «заменителей матери». Это были проволочные каркасы с молочными бутылками вместо груди. Некоторые остались голыми, остальные он обтянул мохнатой, ворсистой тканью. Пока у последних не кончилось молоко, малыши не обращали внимания на голых проволочных «матерей», когда же молоко осталось только у них, то, пососав, обезьянки возвращались к волосатым каркасам. Не молоко, а шкура, обещающая защиту, дающая тепло, превращала проволочный каркас в «мать».

При возникновении опасности маленькие сиротки бежали к ним спасаться. Если же в клетке стояли только голые проволочные каркасы, хотя и с бутылками, полными молока, малыши в момент опасности не бежали к ним, а, бросившись на землю, закрывали лапами головы и в отчаянии громко кричали. Выращенных таким образом животных, у которых появились первые признаки шизофрении, Гарлоу позднее случил между собой. Но так как в грудном возрасте они не научились любить, то и в период половой зрелости оказались импотентами. Искусственно оплодотворенная самка не знала, что делать со своим новорожденным, стеклянными глазами равнодушно смотрела перед собой и лапами нетерпеливо сбрасывала малыша со своего живота или со спины, точно отгоняла надоедливую муху.

Ученый называет такое состояние *эмоциональной голодной* смертью. Но если даже до этой крайности и не доходит, бывает то, что на медицинском языке называют у человека «неспособностью к контакту»: эмоциональный мир ребенка суживается, беднеет, и он не находит мостика в окружающее. Так возникают тяжелые нервные расстройства, неврозы, которые будут проявляться в третьем, четвертом и последующих поколениях.

Разлучать новорожденного с матерью опасно и для физического здоровья. В западногерманском родильном доме, где грудных детей из страха перед инфекционными болезнями держат под стеклянным колпаком, из тысячи новорожденных тридцать два умирают; в тюрьмах, где родившие женщины могут до поры до времени не расставаться со своими детьми, из тысячи умирают лишь девятнадцать. Эти опыты побудили врачей не разлучать мать и ребенка. В Америке из матерей, на которых ставили этот новый— новый ли? — эксперимент.

за это высказались девяносто пять процентов. У младенцев, если бы они могли высказаться, процентное отношение было бы еще выше.

Но материнская любовь, конечно, влияет на ребенка и после грудного и трехлетнего возраста. Для ребенка, если даже не заметно по его внешнему поведению, оставаться с матерью — жизненная потребность. Если по какой-либо причине он преждевременно оказывается вне семьи и особенно если его разлучают с матерью, он получает неисцелимые душевные раны, которые всячески отравляют ему жизнь. Обоснованно или необоснованно, но он восстает против своего окружения или всего общества, мстит за то, что у него было отнято. Ясней всего это видно на рисунках, которые рисуют для социологов дети разведенных родителей. Здесь легче всего прослеживается линия мести: она ведет к отчиму или к мачехе, которые, прямо или косвенно, совершив ошибку или нет, лишили ребенка родной матери,— я изображаю болезнь лишь в общих чертах, есть, безусловно, и отрадные исключения.

В Фоте это тоже самые трудноизлечимые «случаи». Тот, кто отнял у малыша мать или отца, враг с самого начала, и, если позже ребенок с виду и примиряется с ним, это обычно результат лишь более или менее сознательной душевной аккомодации, вынужденного компромисса, а рана чаще всего продолжает гноиться. Ребенок становится «не способным к контакту», то есть не способным быть жизнерадостным, искренним в общении. В детстве он упрям, агрессивен, раздражителен, не верит доброму слову, наказание же лишь еще больше портит его характер. Он дерется, все ломает, бьет уличные фонари, портит телефонные аппараты; в Англии банда, состоявшая из мальчиков школьного возраста, систематически пускала под откос поезда,— все это далеко переходит границы того, что в детской душе порождает естественная жажда приключений. Источник таких поступков неисчерпаем, потому что неисчерпаема жажда мести.

Бывает и обратная реакция: идеализация родителей вопреки всякой логике, главным образом матери. Чем добрей, красивей, благородней представляет себе ребенок утраченную мать, тем болезненней потеря, за которую ему приходится расплачиваться. Матери в истинном ее облике он никогда не видел и по своей душевной потребности исправляет факты. О потрясающих случаях слышал я в Фоте. Эмигрировавшая за границу супружеская пара оставила своих детей бабушке, которая содержала их на пенсию в четыреста форинтов. Родители не посылали даже посылок. «Дети нас не интересуют»,— писала домой «примерная» мать, девочки все же мечтали о ней. Другой случай: пьяница-отец ни разу не навестил живущего в Фоте ребенка: «Пускай не живет по-барски на мои денежки»,— написал он в почтовой открытке. Но мальчик со слезами целует фотографию отца-изменника, не может уснуть, не поцеловав ее. Если его спрашивают, бил ли его отец дома, категорически это отрицает; на вопрос, бывал ли тот пьян, отвечает: «Нет, да что вы!» Другой мальчик грозил, что, повстречавшись когда-нибудь с матерью, утопит ее. Отец его погиб на войне, мать еще раз вышла замуж, но новый муж не желал терпеть дома ребенка. «Убери его»,— говорил он жене. Мальчик не мог даже на время приезжать домой; он, правда, и не хотел. Но когда после пребывания в Фоте он стал квалифицированным рабочим на заводе и через шесть лет случайно встретил свою вновь овдовевшую мать, которую хотел прежде «утопить», то предложил ей бросить работу и с тех пор содержит ее. Еще один случай: восемь детей опустившейся женщины воспитывались в детском доме; когда старший встал на ноги, первым делом разыскал мать в родной деревне.

Не будем делать здесь обобщений, грешащих против истины, ведь и среди юных немало встречается таких, кого совестно назвать человеком.

Но, сопоставив все, я полагаю, можно сказать, что для сохранения человеческого рода природа до сих пор не изобрела ничего лучшего, чем материнская утроба, оплодотворяемая мужчиной, а для содержания и воспитания потомков общество не нашло более целесообразной формы, чем семья. Где этот, очень древний механизм дает осечку, обществу приходится в ряде случаев, в зависимости от тех или иных семейных обстоятельств, предлагать свои услуги.

Поэтому, к сожалению, необходимы разные воспитательные учреждения, и на худой конец можно и нужно думать, как улучшить их деятельность или чем заменить. В прошлом году в Венгрии в детских домах воспитывалось тридцать пять тысяч человек, почти вдвое больше, чем десять лет назад. Поразительное число!

Возможность улучшить, заменить чем-то другим воспитательные учреждения пусть взвешивают люди более сведущие, чем я, кто мало что может к этому прибавить. Я мог бы самое большее лишь продолжить логическую нить и с почтением предложить общему вниманию такое решение: если даже плохая семейная обстановка создает для ребенка лучшую питательную среду, чем самые хорошие воспитательные учреждения, не следует ли обществу, то есть государству, пристраивать сирот в

первую очередь в семьи? Пусть оно изыскивает такие возможности, отдает предпочтение этому решению и пропагандирует его, создает определенное общественное мнение, невзирая на то, «современно» или «несовременно» такое решение. Мы знаем по «Сиротке» Жигмонда Морица, что это не всесильное универсальное средство, но дело специалистов — оценить возможности, преимущества и невыгоды того или иного решения. В материальном отношении для государства это было бы даже, наверно, выгодней (хотя, конечно, не в этом цель): ведь ребенок, которого воспитывает государство, обходится ему в тысячу пятьсот форинтов в месяц, и лишь часть этой суммы возмещают родители, даже хорошо зарабатывающие, — если они вообще есть, — а за ребенка, отданного на воспитание в семью, государство платит приемным родителям лишь пятьсот-шестьсот форинтов. Приемные родители — мать — предоставляют ребенку теплое, как материнская утроба, гнездышко, сидя в котором он познает мир, подвергаясь меньшей опасности и создавая о нем более реальную картину, чем в механизме воспитательного учреждения, как бы отлично он ни действовал.

Но все приемные родители, все воспитательные учреждения, в конечном счете, — лишь неизбежное зло. Они пытаются исправить то, что напортила личность в обществе. Эти заметки без сентиментальности взывают прежде всего к человеческой честности, которая в наше бурное время, быть может, еще не совсем перевелась. Не питая надежд и не отказываясь от них, просто и доступно обращается автор их к трезвому разуму. Хорошенько подумайте, прежде чем зачать и родить ребенка: а сможете ли вы воспитать его? Не слишком ли вы еще молоды, не слишком ли уже стары? Пусть женщина отдаст себе отчет — не важней ли для нее радости сексуальной жизни, чем ребенок. Вмешиваться в ее дела (о преступниках мы не говорим) ни у кого нет права, и у государства тоже, но начиная с момента, когда человек способствует появлению на свет новой жизни, он, как ни крути, несет за нее личную ответственность. Я такую ответственность чувствую даже за розу, которую сажаю в моем саду.

Декабрь 1969 года

О писателе, удалившемся на покой

Икс обнаружил, что в меру сил он с наивозможной точностью и изяществом уже высказал свои мысли о мире, передал связанные с этим чувства и подумал, что теперь его ждет лишь более или менее быстрый закат. И вот он решил удалиться на покой.

С этого момента сначала едва заметно, но вскоре достаточно явственно стал он укорачиваться. Когда принималось это решение, рост его был один метр семьдесят четыре сантиметра, то есть по сравнению с соотечественниками голову на стройном своем теле он носил выше, чем простой смертный; а поэтому порой возмущался, когда иностранные критики, например в Северной Германии или в Скандинавии, снисходительно называли его маленьким, тщедушным старичком и в соответствующем тоне писали о нем. Итак, как мы сказали, был он ростом метр семьдесят четыре, и у себя на родине приобрел такую популярность, что во время сильных приливов вдохновения перерастал сам себя и достигал, наверно, метра семидесяти пяти или даже метра семидесяти шести.

После же удаления на покой, как было упомянуто, начал укорачиваться. С виду удаление на покой не внесло в его жизнь никаких перемен; иногда Икс казался даже оживленней, чем раньше, особенно когда редакторы и издатели с подозрением заглядывали к нему в дверь, в щелку, из которой их обдавало холодным сквозняком покоя. Однако организм Икса вопреки обманчивой внешности делал необходимые выводы, то есть принимал контрмеры. Через несколько недель, хотя пока без наружных проявлений, он стал давать усадку.

Ведь зачем при решении задач повседневной жизни героические усилия нервного центра, кои характеризуют, как известно, работу писателя, даже являются необходимой ее предпосылкой? К чему проницательный взгляд, с помощью которого Икс за ослепительной улыбкой видел прежде вставные зубы, под покровом ботинок — мозоли своего ближнего, по извилинам души угадывал Эдипов комплекс, по потным ладоням страх, по лысине — скудость мыслей? А за собственной своей замаскированной плешью прозревал гениальность? К чему пылкая игра воображения, радуга, ропот моря, розы, соловьи, собственный тонкий вкус — стакан коктейля, в котором он столь искусно смешивал реальность и мечту, что они становились неузнаваемыми и вопреки всем стараниям упорных критиков бурду эту не удавалось разложить на составные части?

Кроме того, зачем нужны все эти психологические, социологические, биологические, футурологические и прочие познания, политические убеждения и связанный с ними гражданский такт, если ты удалился на покой и проводишь дни, занимаясь сложением и умножением? Или изысканиями, можно ли где-нибудь в Венгрии купить черную, белую и красную метлахскую плитку. Чему, конечно,

с необходимостью предшествовало изучение вопроса, что такое вообще метлахская плитка, которую надо приобрести, не говоря уже о том, что привыкшего к филологической дотошности Икса долго занимала проблема, как пишется это слово: с одним или двумя «т». Зачем изучать структурализм тому, кого, истощая его неиссякаемый оптимизм, донимает вопрос, почему во всей Венгрии не найдешь цемента? Риторический вопрос, не будем на него отвечать.

Непонятна связь? Как, впрочем, многое на свете. Но на сей раз поспешим дать разъяснение. Оно все озарит вспышкой молнии.

Чтобы ознаменовать удаление на покой и отметить это торжество, Икс решил отремонтировать дом, где ему предстояло спокойно провести остаток дней.

Можно спросить, конечно,— и несколько секунд Икс с сомнением обдумывал это,— зачем спокойствие человеку, то есть писателю, удалившемуся на покой? Почему бы ему не остаться в старой, немного шумной квартире, наслаждаясь тем, что теперь, не нарушая душевного равновесия и не испытывая иных бед, может он внимать милому живому шуму мира? Хотя бы даже невеселому. Стараться, чтобы мир угомонился? Зачем? Не все ли равно? После краткого колебания — сигнал тревоги! — поддавшись красивому обману, Икс решил сделать ремонт и переселиться по его окончании в обновленное царство покоя.

Это и был, по-видимому, психологический момент, положивший начало укорачиванию.

Икс пересчитал накопленные песеты и мараведи и убедился, что хотя в обрез, но на основные капиталовложения хватит. Термин «капиталовложения» привел его в восторг; он почувствовал себя предприятием, более того, общественным учреждением, чье единственное назначение — обеспечить во имя общегосударственных интересов его благополучное удаление на покой. Сосредоточившись на этой задаче и в одну комплексную бригаду собрав свои душевные силы и умственные способности, он принялся за дело с живостью рыбы, бьющейся в садке.

Сам разработал проект ремонта дома и устранения некоторых допущенных при строительстве погрешностей; все это, конечно, под вдохновляющим руководством своей не терпящей возражений супруги.

Его самочувствие в это время можно назвать вполне удовлетворительным; лишь изредка всплывал в его сознании, а может лишь подсознании, образ мифического Сизифа, богами обреченного до конца света, который не скоро еще наступит, вкатывать на вершину горы в подземном царстве камень, снова падающий в бездну.

Хотя у Икса, как мы сказали, было хорошее самочувствие, но тогда-то и начался период сложения и умножения, которым он с утра до самого вечера заполнял дни, бреши, нет, пожалуй, пропасти, разверзнувшиеся на месте сочтенной излишней писательской работы.

Еще в годы писательской деятельности Икс — ведь он окончил и Коммерческую академию — хорошо разбирался в четырех действиях арифметики; со скоростью счетной машины подсчитывал он сумму своих долгов в более молодые годы и доходов, перешагнув за шестой десяток, вычитая то, что следовало, умножая остаток на постоянный коэффициент своих надежд, а потом деля на показатель своего пессимизма; результат в целом не обманывал его ожиданий.

Но теперь судьба наградила его более трудной задачей; вспомним для примера три сотни пунктов сметы на пятидесяти страницах строителя-подрядчика Л. или § 3 в графе под названием «Местный бетон и железобетонные конструкции», где за «обраб. и шлиф., а также опалубку опорной стены 140×40×3 по 170 фор. за 6,6 м²» с писателя следовало 1122 форинта. В форинтах Икс знал толк; проверка умножения была для него детской забавой. Но что тут-то умножено на форинты? — несколько повышенным тоном спрашивал он себя.

Сидя однажды ночью за умножением и сложением, Икс в растерянности обратился к своему ангелу-хранителю. Он устремил взор на потолок, на котором тотчас забрезжил розовый отсвет. Непосредственной причиной его отчаяния были три новые сметы каменщика, сметы газовщика, водопроводчика, слесаря, столяра... Но не будем продолжать. Все сметы, кряхтя под их тяжестью, доставил утром почтальон.

— Что такое «обраб. и шлиф.»? — тоже покряхтывая, спросил Икс у своего ангела-хранителя.

— Говорил же я тебе,— неодобрительно хлопая крыльями в углу потолка, голосом, подобным дуновению ветерка, отозвался ангел-хранитель.— Говорил же я тебе...

— Конечно,— согласился Икс.— Но теперь что мне делать?

— Хорошего не жди,— предупредил зловеще ангел-хранитель.

Икс пожал широкими, по его представлению, плечами.

— Но если так...

— Смету весом в восемнадцать килограммов,— пронзительно заверещал ангел-хранитель, свирепея от такого упрямства,— бросишь завтра ровно в полночь при новолунии, раз уж мы под знаком Рака, в Дунай перед домом номер одиннадцать на набережной Уйлаки. Не страшно, конечно, если ты ее и перед домом номер девять или тринадцать бросишь, и неважно, получасом раньше или позже. Где угодно и когда угодно, но

сделай это. А дальше пусть все идет своим чередом.

— Без меня? — спросил Икс, остолбенев. — Пусть дом строится без контроля моего светлого разума?

— Не лезь не в свое дело,— сказал ангел-хранитель уже нетерпеливо.— Что толку от твоего светлого разума, если ты не знаешь даже, что такое «обраб. и шлиф.»?.. Кстати, и я не знаю. Но если б ты даже и знал! Ты заплатишь столько, на сколько тебе предъявят счет, то есть вдвое больше, чем по смете. И не вздумай проверять счета, иначе позеленеешь от ярости.

Бледно-розовый свет на потолке стал тут отливать мертвенно-зеленым, как будто...

— Пой лучше гимны битников,— посоветовал ангел.

— Вместо сложения и умножения? Да у меня и голоса нет.

— Это как раз хорошо.— сказал ангел-хранитель.— Или лучше ЛСД прими, тоже неплохо

— Иди ты к черту! — вырвалось у Икса.

— Добра не жди,— послышалось уже над потолком, и крылья ударили по воздуху так оглушительно, будто разорвалась мина.

В тот день Икс складывал и умножал до четырех утра. Когда он лег в постель, то укоротился на сантиметр. Но пока он еще не замечал этого. По его мнению, в образе ангела-хранителя сам Люцифер пробрался к нему в комнату, чтобы сбить его с пути истинного. Он укрепился в этом мнении, когда после пробуждения обнаружил, что параллельные подсчеты в сметах значительно расходятся, а в комнате пахнет серой.

Процесс развивался необратимо, хотя и не с первоначальной скоростью. Был, правда, день, когда Икс укоротился всего на миллиметр, но через несколько месяцев даже соседи заметили, что разделяющая дома изгородь из бирючины целиком скрывает проходящего за ней писателя, который недавно еще отличался завидным ростом. Багряные кисти бирючины, шпалерами протянувшейся по обе стороны дорожки, с грустью смыкались у него над головой. Во время захода солнца тень его была уже примерно такой, как прежде в полдень. Чтобы идти в ногу со временем, что раньше составляло его главное развлечение, пришлось бы теперь ему слюмя голову бежать. Все больше товарищей по перу уже без особого затруднения взирали на него сверху вниз.

В это время странная болезненная улыбка — конечно, без ведома Икса — застыла на его благородном лице. Он заметил, правда, что мир вокруг него сужается, но не придал этому большого значения. Кто невелик ростом, например серая полевка, у того кругозор уже, чем, скажем, у жирафа, а Икс тогда еще воображал себя жирафом, стоящим на крыше дома. Его огорчало лишь одно: рука его, писавшая поздравительную открытку, дрожала, а благородный некогда лоб хмурился, что у писателей — признак напряженного размышления. Ему, конечно, невдомек было, что прежде тонко рифленная кора его мозга постепенно разглаживается, уподобляясь гладкой розовой попке неискушенного младенца.

Когда в своем обратном развитии достиг он метра шестидесяти, а затем, к концу осени,— полутора метров, окружающие начали проявлять беспокойство. К началу зимы предприимчивые мастера закончили ремонт дома и предъявили счета. Тогда Икс — в первую годовщину своего удаления на покой,— Икс, достигший уже восьмидесяти сантиметров, вселился в дом. И ему казалось, что размеры его жилища превосходят всякое воображение и самые смелые требования.

Май 1970 года

Только ли видимость?

Позволительно ли, простительно ли старому человеку вновь и вновь предлагать плоды собственного опыта и извлеченную из него свою так называемую мудрость и, в сиянии утреннего солнца исследуя высокое небо, то есть, в конечном счете, непознаваемое, с глупой улыбкой заверять жизнь в своем доверии к ней? Может быть, по причине упомянутой выше непознаваемости? Или дело только в минутном затмении ума? Или — о, ужас! — в неискренности, одном из скучных чудес самообмана? Присоединимся к Костолани, который, отстаивая права внешней оболочки, нападал на самодержавные притязания глубин, зная, что одно неотделимо от другого. Порой мы довольствуемся видимостью, потому что она привлекает наш взор.

Словом, я снова сижу под каштаном в нашем фюредском саду; подо мной Балатон со своей тишиной, отдающей запахом рыбы, с синей сепией вод, и, вопреки всем слухам, я счастлив. Я уже не думаю, есть ли у меня на то право. Не раздумываю, стоит ли оглашать эти мысли и, быть может, только дразнить других обманчивым светом блуждающего огонька. Письменное слово давно уж утратило свою былую силу, и так как для наших здравомыслящих мадьяр, по счастью, едва ли опасна какая-нибудь библия, писатель чаще всего уже пишет только для своего собственного огорчения или удовольствия; сколько собственным счастьем, несчастьем ни

хвастай, ответом будет лишь лукавый прищур, что в свой черед — лишь следствие недоразумения и уже на другой день изгладится из памяти.

Зачем же я тогда пишу?

У меня нет для этого даже такого повода, как у черного дрозда, насвистывающего на живой изгороди из держидерева: подыскивание себе самки. Жена у меня есть, зачем мне искать ее? И если по примеру любопытных библейских старцев захотелось бы мне подстеречь какую-нибудь Сусанну, смог ли бы я извлечь из своего свиста хоть трубадуру причитающуюся корысть? За отсутствием любопытства и не пытаюсь; остаюсь при бескорыстных, менее рискованных радостях сочинительского самоудовлетворения.

Итак, мы в саду, и снова я могу соразмерять прошлое и настоящее, отдаляя и приближая их к себе. Иду по огражденному белой балюстрадой уступу, похожему на корабельный нос, попадаю в обрамленный сиренью еще более просторный сад позади дома, прямо под виноградником на горе Тамаш, и останавливаюсь там для рекогносцировки. Да, я счастлив и не стыжусь этих слов. Да, я поддаюсь увещаниям природы, которая с цицероновским красноречием и в оглушающе напористом, изобилующем повторениями стиле современных риторов склоняет меня к своим целям; но я за свою жизнь столько раз оказывался жертвой крючкотворства — бежать ли и теперь от хитрой уловки, которая, отвлекая мой взгляд от глубин, привлекает приятной видимостью? Не под землю, где в поте трудятся корни, добывая себе каждодневную пищу, минеральные соли и немного питья и ожесточенно борясь друг с другом, потому что под землей перенаселение. Не на коварную подрывную работу личинок в перегное обращаю я внимание и не на крота, который включил в свой распорядок дня их уничтожение: не за протекающей внизу в темноте борьбой не на жизнь, а на смерть я наблюдаю — борьбой, для которой рано или поздно сам предоставлю тему и материал. Нет, с вышеупомянутой глупой улыбкой смотрю на утренний небосвод и темно-лиловую махровую сирень, которая с пылкой неискушенностью молодости цветет под его акварельно-синим куполом, точно в перевернутом цветочном горшке, шпалерами длиной в километр... Ну, скромней, не в километр, а в сто метров. Но таких, что человек не может наглядеться, упиться этой неиссякаемой силой и доверчивостью. Листьев почти нет, только сплошная сиреневая стена. Сиреневый праздник, сиреневый бал, сиреневый хмель, буйство сиреневой плоти, сиреневая оргия, сиреневые испарения надо мной и вокруг меня, сирень ради сирени и ради мира, сиреневое слово, летящее к бессиреневым звездам. Никогда в жизни не видел я ничего подобного...

Бреду назад, потому что нельзя терять голову. Лишь бы мне не упасть, ведь дорожки и аллейки в саду заросли бурьяном, кое-где по колено. Уже не видно белого гравия, которым они усыпаны, он погиб под зеленым разливом природы. Зеленая трава мне до пояса, надо бы скосить ее прежде, чем она обсеменится. Но я не умею косить. Не могу выпалывать сорняки; при моей трудоспособности я не кончил бы до осени, а там, где я начал, сорняки к тому времени опять вымахали бы в рост со мной. Но где найти кого-нибудь в этом краю винограда и туристов? Здесь на милю кругом не сыщешь работника. Моя эйфория на минуту меня самого поражает. Но глаза мои уже ищут ракитник, который в прошлом году подгнил и упал на землю. Не пострадал ли кто при этом? И трезвый взгляд на минуту задерживается на том, что я и раньше видел, но оставил без внимания, что не запечатлелось в мозгу,— прямо за балюстрадой засохло миндальное дерево; без единого листочка, как уродливая карикатура на своих живых, зеленеющих рядом товарищей, как скелет в пляске смерти, как смех небытия, memento mori, мрачно тянется оно к насыщенному утренним светом небу. И оживает воспоминание о другой картине, другом миндальном дереве, которое там, за домом соседа Лёци, слева от ведущей в сад дорожки готовится к близкой смерти. С бо́льшим правом, чем это молодое, потому что, наверно, уже шестьдесят или семьдесят лет оно честно выполняло порученную ему неизвестно кем миссию. Одна его огромная ветка держалась уже только на тонкой коре, и вчера после полудня сильный западный ветер сломал ее и бросил поперек проезжей дороги, засыпав ржавчиной гнили молодую, буйно разросшуюся на ней траву; другую же ветку, еще больше, которая тоже держалась на честном слове, я сам отпилил вечером, чтобы не упала на крышу нашей машины или на голову кого-нибудь из дорогих гостей.

Жалко ли мне было с ней расправляться? Но антиобщественная ее роль по вышеуказанным причинам не вызывала сомнений. Смог ли бы я расправиться, предположим, с одряхлевшим, общественно опасным государственным мужем? К счастью, в нашем саду такие не водятся, их, может быть, и вообще нет. Но когда огромная ветка упала на землю, я с изумлением обнаружил, что все ее небольшие боковые веточки снизу доверху усыпаны плодами — маленькими нежно-зелеными миндалинами, чью мягкую кожицу покрывал почти незаметный шелковистый пух, похожий на пушок, оттеняющий верхнюю губу белокурой девушки. Я совершил стократное детоубийство. Но откуда у старого дерева взялась

ТИБОР ДЕРИ
ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕИ

такая сила и изобретательность, спрашивал я себя с удивлением, даже с изумлением, чтобы посредством куска коры и десятка изношенных волокон вскормить целые сотни младенцев? Каковы же скрытые резервы жизни, которые поддерживают и тогда, когда трезвый ум и человеческая логика окончательно сдаются? Просто теряешься, сталкиваясь с чем-нибудь, не умещающимся в голове.

И всплывает новое воспоминание, которое в моем утреннем опьянении я заглушил в себе, о красивом иудином дереве в нашем саду, не давшем в этом году цветов. Год назад в эту пору оно от подножия до верхушки оделось в расширяющуюся книзу темно-лиловую мантию; когда же отцвело, продолговатые коричневые стручки покрыли его целиком, так что листья из-за них едва виднелись. Некоторое время я срезал стручки, потом у меня заболела поясница, мне надоело, и я бросил. Дерево наказало меня: теперь оно выгнало листья лишь там, где я остригал его, цветов так мало — хватит разве что воткнуть в петлицу. Неужели природа ждала моих рук, вмешательства существа иного вида, чтобы начать действовать? Неужто не нашла ничего лучшего, чем довериться человеку? Позавидовала, может быть, нашим совершенным общественным порядкам? Между какими же крайностями — полным бесплодием и взлетом рождаемости — колеблется жизнь! Ни умом, ни глазом нельзя уследить за ее колебаниями.

Но если и нельзя уследить, то... Как, неужели я в своем счастливом, хотя и нелепом простодушии опять нахожу чему радоваться? В поле моего зрения, в нескольких шагах слева от прунуса возникает неожиданно куст форзиции, о котором я совсем забыл, потому что в прошлом году, когда мы приехали в Фюред, он уже отцвел; два года я видел его только в будничном зеленом уборе, и двух лет оказалось достаточно, чтобы весеннее его цветение стерлось из моей неблагодарной памяти. Теперь он, конечно, пылает огнем, сверкает, бросая к синему небу и низвергая на зеленую землю золотые свои огоньки с таким неистовством, будто торжеством невиданного возрождения хочет отомстить мне за глупую мою забывчивость. Но нет, с обычной скромностью говорю я себе, не для того он цветет. Ведь он не видит тебя, не слышит твоего дыхания, не ощущает твоего запаха и не знает, что ты стоишь возле него, а если бы и знал, все равно не для тебя он блистает: не ты, человек, пуп земли.

А кто? — мог бы я спросить.

Но не спрашиваю, мне и так хорошо! Хорошо, если можно оказать кусту услуги акушера и санитара, полить его немного в большую засуху, взрыхлить землю вокруг корней, — словом, помочь ему благоденствовать. Человеку это так редко удается. Человек и не отблагодарит его: занят, бедняга, другими ничтожными делами. А отблагодари, воздай хоть сотой долей того, чем дарит форзиция, она ослепила бы его своим блеском — вот как сейчас. Наверно, мне лишь на зависть, ведь я только так, теплюсь возле нее.

Но это сверкание, которое в этот утренний час обзолачивает все справа и слева, внизу и наверху трепещущей золотой фольгой, к счастью, не ради меня, излучает всеми частицами природа. Желтый фонтан форзиции сам для себя, ради собственной пользы и удовольствия играет на ветру красками, не подозревая о том, что стоящий рядом до смешного взволнованный старик готов запеть трогательную песню.

Как, впрочем, и все кругом. Весь сад за вычетом нескольких уродов, которых я не замечаю в доходящем до галлюцинации восторге, ведет себя так же нелепо, как сытый младенец: суча ручками и ножками, ликует, радуется и растет. Струится солнечный свет; отныне, наверно, солнце будет светить днем и ночью. На кустах бирючины, обрамляющих дорожку к гаражу — в прошлом году они были мне только до пояса, а теперь уже касаются лба, — на всех ее листочках в росинках отражается солнце. За дорожкой кустики астр почти сплошным персидским ковром заплели крышу погреба, окрещенного нами «аварским могильником»; куда они карабкаются? Хватит ли им земного шара или они переселятся на какую-нибудь другую, подвластную мне планету? Из-под них ирисы своими листьями-копьями прокладывают себе путь... Опять же куда? Никакого чувства меры: дорожка эта не для них предназначена. И как дальше идти, продираться сквозь сорняки, доросшие мне до колен и выше, сквозь пырей, куриную слепоту, мокрицу, мятник и толпу их дерзких безымянных товарищей, которые, не считаясь с классовыми различиями, невзирая даже на кусты роз, стремятся вверх, в бесконечность и, наверно, дотянутся когда-нибудь до самых небес, — и пусть их, раз уж я сам на них не попаду.

Стой! Куда ты-то бредешь, растроганный до глубины души, упоенный чистым воздухом и ароматом, опять к шпалере сирени? Послушай, ты не замечаешь, что попал в иной край, в царство голосов, куда не пускало тебя до сих пор твое алчное зрение? Ты уже не по траве идешь, а по ковру стрекочущих кузнечиков, задеваешь головой не листву, а соловьиный щекот, и сам округляешь губы для свиста, потому что невидимый дрозд напрягает над тобой голосовые связки. Обезьяна ты: разве мог бы ты сам, своим голосом, словом произвести что-нибудь, подобное счастливому весеннему крику дрозда? Возле тебя вся гора Тамаш говорит птичьими голосами. Горлицы, славки, синицы, воробьи тоже славят возрожденную жизнь... и доколе же

будут славить? До конца мира, но нет миру конца. Подтверждение — эта красная вьющаяся роза, которая перебралась к нам из соседнего сада, а от нас переберется, конечно, в тридевятый комитат. Ампелопсис тоже ползет, хотя в противоположную сторону. И дикий виноград, который с задней стены нашего сада устремился на юг и, даю слово, не остановится в своем движении вплоть до Африки.

И во времени не остановится. Все они существуют испокон веков, они ползли, взбирались к нам из глуби прошлого и хотят меня убедить, что у пути их есть только протяженность, а конца нет. И что даже у мушки-поденки жизнь длинней, чем у меня. Орошенный серебристым потом самолет гудит над моей головой, направляясь к Тихани. Аббатство предостерегающе подняло свои два перста.

Ну, пора домой. Право же, здесь, под открытым небом, все ведет себя так, словно живет вечно.

Да и как знать?

Май 1971 года

Каннские впечатления

Из скромности или из гордости, но о своих провалах я рассказываю охотней, чем об успехах. Может быть, так мщу я миру, тыча ему под нос то, чем столь щедро, а не то, чем скупо наградила меня судьба? Вполне возможно. Хотя не играет ли здесь роли и кокетство, замаскированное недовольство старого брюзги? Вполне возможно.

Весной я провалился дважды как кинозвезда и как автовладелец. Значит, и в общественной и в частной жизни. Спешу заранее сообщить конец этой истории: от обоих провалов я вскоре оправился. Ни тот, ни другой не были особенно болезненными, ибо я уже давно подозревал, что не для меня такие роли. В юности, правда, я готовился стать эстрадным певцом и танцором и всюду — в Аддис-Абебе, на Аляске, в Багдаде, даже в Никарагуа — получал на фестивалях и конкурсах премии, но все только вторые, один раз даже позорную третью; это и охладило, наконец, мой пыл, понятно? Я бросил сцену и стал писателем.

Уединенная жизнь пошла мне на пользу. Волнения мои улеглись, я дал отдых ногам, угомонился. История этого оздоровляющего процесса, как она ни поучительна, и описание ее здесь неуместны. Но спокойно возлежать на ложе литературы мне помешало одно неожиданное событие: как-то по неосторожности я написал киносценарий. Потом, на мое несчастье, режиссер Карой Макк выпустил отснятый по нему фильм на экраны. Я почуял недоброе.

— Карчи, беды не миновать, сказал я режиссеру. — Фильм пошлют в Канны на фестиваль. Нас обоих пристегнут к фильму. Ты-то выдержишь, но я...

— Спокойно, — сказал Макк. Мы будем малюсенькими звездочками на этом огромном поле. Если мы и получим первый приз...

— Опомнись! — воскликнул я.

— Если мы и получим первый приз, — повторил Макк, — не бойся, на киносценариста всем начхать. Ты будешь такой крохотной кинозвездочкой, что тебя только в полевой бинокль удастся рассмотреть, если кому-нибудь в голову придет... Но никому

Я немного успокоился, хотя и не совсем.

— Когда в 1921 году на фестивале шлягеров в Вальпараисо я получил первую премию...

— Вторую!

— То есть вторую...

— За что ты ее получил?

— Спеть тебе?

— Завтра, — сказал Макк.

Но он во мне разочаровался, когда я на другой день спел:

Погуляем в воскресенье, Рози! Ах, Рози!
Славно мы повеселимся, Рози! Ух, Рози!

Я припомнил лишь первые две строчки, и Макк нахмурился. Чтобы развеселить его, я станцевал соло буги-вуги, за что получил вторую премию на конкурсе в Индии, в Хайдарабаде. Это явно его развлекло.

— Да, ты был звездой, — сказал он. — Но в Каннах не рассчитывай...

Потеребив нервно свою длинную седую бороду и водворив на место съехавшую со стола скатерть, я рассказал значительно возросшему числу слушателей подлинную историю Хайдарабадского конкурса танцев и последовавшей за ним смены профессии.

— Толпа, ликуя, подняла меня на плечи, — говорил я. — И с песнями и аплодисментами пронесла по всем переулкам и закоулкам города. Центральных улиц мы избегали..

— Почему?

— Не знаю, — сказал я. — Там как раз проходила траурная процессия, хоронили, кажется, какого-то писателя. Тут-то у меня и возникла мысль сменить профессию. Писателей чествуют после смерти, это устраивало мои усталые ноги, горло и бессмертную душу. В тот же день там, в Хайдарабаде, начал я писать роман «Неоконченная фраза»...

ТИБОР ДЕРИ
ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕЙ

— И больше не скучали по плечам толпы? — спросил помощник режиссера.

— В Канны, — продолжал я, — поеду с одним условием: чтобы на голову мне не возлагали венков. Это было бы невыносимо. По словам господина Макка, я буду такой маленькой звездочкой, что только в телескоп...

Поправка: в бинокль!!!

На следующий день я распрощался с Макком, которому предстояло отправиться в Канны позже, и, сев с женой в машину, через Загреб и Любляну приехал в Истрию на заседание порторожского ПЕН-клуба. Наша машина пыжилась от гордости: до сих пор она эксплуатировалась преимущественно на отечественных дорогах, по маршруту Будапешт — Балатонфюред и обратно, и самый большой пробег был у нее всего до Вены, — теперь она покажет, на что способна. А в ней и я покажу, на что способен, с тревогой думал я, зная, что уже через час мне захочется выйти из машины, а еще через полчаса и придется выйти.

Когда мы вылезли в Каннах, жена и машина были свеженькими как огурчик. А я и настрадался же!

— Как ты думаешь, сколько километров мы отмахали? — умиленно спросил я жену.

— Всего? Начиная от Будапешта?

— Всего.

— Считая заезды в Порторож, Венецию, Бергамо и Савону?

— Считая.

— Не знаю, — сказала жена, свеженькая как огурчик.

Я посмотрел на спидометр, потом в свою записную книжку.

— Тысячу восемьсот.

— Всего-то? — сказала жена.

И наш «рено-16» тоже словно бы пренебрежительно повел плечами: ему это нипочем! Я опять уселся в машину; преодолев еще двадцать километров, мы нашли дворец, отведенный для фестиваля, пустующее помещение венгерского отдела приемного комитета, ресторан, где отдел в это время обедал, и, наконец, заказанный для нас номер в отеле «Канн Палас». Как только мы там устроились, я начал жить как звезда, то есть пообедал. Поскольку звездочкой я был небольшой, то закусил просто в номере хлебом и сыром. После обеда я разделся — и в постель! Вечером, прислушавшись голоса своей гражданской совести, встал, чтобы идти на просмотр.

— Галстук надень, — сказала жена.

Я надел. Самый красивый свой галстук, серебристо-серый, из натурального шелка, — галстук, который лет тридцать назад получил в наследство от покойного дяди Германа. Костюм из темно-синего шелка с галстуком вполне гармонировал. Жена одобрила. Я отправился.

Тут начался у меня серьезный конфликт с Францией. И хотя я потерпел поражение, как в 1809 году дворянское ополчение от Наполеона, строки эти пишу с высоко поднятой головой. Несмотря на то, что меня поставили на колени, идеи мои непременно восторжествуют.

В фойе фестивального дворца меня попросили предъявить удостоверение. Потом пройти в гардероб.

Зачем? Мне нечего сдавать: ни шляпы нет у меня, ни пулемета. А все равно Канны стоят мессы.

В гардеробе встретили меня две седовласые дамы. События разворачивались стремительно, как в драме. Дамы потребовали у меня галстук.

Я был поражен.

— Как, только без галстука пускают во дворец?

Безукоризненно вежливый ответ:

— Напротив!

— То есть?

— Только в черном галстуке бабочкой.

В недоумении теребил я бороду. Неужели галстук из натурального шелка любимого моего дядюшки не по вкусу во Франции? Чтобы выразить свое душевное состояние, я возвел глаза к небу, то есть к потолку, потом прижал руку к сердцу.

— Не отдам, — сказал я.

— Вам это не будет стоить ни гроша, — сказала одна из дам. — Сдайте нам на хранение серебристо-серый, — продолжала она, — и вместо него мы дадим вам черный. После просмотра вы снова обменяете галстук на ваш собственный.

— Когда я в Хайдарабаде стал писателем, — сказал я, — и приступил к трехтомному роману «Неоконченная фраза», я распродал все свои фраки и смокинги вместе с галстуками бабочкой. Будьте добры, учтите это!

— Вы плохо сделали, — сказала дама. — Один галстук вам следовало сохранить.

— Не отдам, — повторил я.

Дама пожала плечами. Так же поступил старший контролер, несший вахту в огромном фойе перед парадной лестницей, когда я изложил ему свою жалобу. И главный распорядитель, стоявший рядом с ним. Они были вежливы, как маркизы, и неумолимы, как таможенники. Футбольные ворота не защищают от мяча противника с таким рвением, с каким эти два господина защищали вход в фестивальный зал от моего серого шелкового галстука.

— Вы не знаете, кто я такой, — сказал я надменно.

— В самом деле, — сказали они.

— Вы не знаете, — сказал я, — что перед вами официальный делегат Венгрии, автор венгерского конкурсного фильма, собственной персоной.

— Венгрия? — в раздумье переспросили они. — Это в Азии?

— Оттуда мы переселились больше тысячи лет назад, — сказал я. — А вам

бы следовало знать, что многие века мы были вашим оплотом против турок. Если бы не мы, то Брижит Бардо томилась бы теперь под густой чадрой в гареме на Елисейских полях.

— Спасибо,— сказали они.

— Разве вам не известно,— спросил я,— что по мнению господина Кароя Макка мы получим главный приз фестиваля?

— Вероятно,— сказали они.— Наденьте, пожалуйста, черный галстук.

— Стыд и срам!— закричал я.— И это отечество свободы! За что же энциклопедисты пот проливали? Для чего Вольтер?.. Для чего Великая Французская революция?.. За что пожертвовали жизнью Дантон и Робеспьер? И для чего культ разума? Господа, я уступаю силе, но не расстанусь со своим свободомыслием.

— Ну что ж,— сказали оба господина.— Ваша добрая воля.

Итак, на другой день на торжественный просмотр фильма я, к полному восторгу венгерской делегации, пришел в одолженном черном галстуке бабочкой; Лили Дарваш одобрительно похлопала меня по спине, Мари Тёрёчик шаловливо потрепала за длинную седую бороду. После просмотра я проявил чудеса находчивости на пресс-конференции, где несколько сот репортеров задали мне массу щекотливых вопросов.

— Что вы едите на завтрак?— спросили меня.

— Чай по-английски, сухарики и джем,— отвечал я, стараясь угодить англосаксам. Некоторые мне даже похлопали.

— Это вы написали сценарий?

— Я.

— А умеете ли вы писать?

— Умеет,— сказал сидевший возле меня на сцене Макк.— Могу засвидетельствовать, потому что присутствовал при том, как он собственноручно выводил буквы на бумаге.

— Надеюсь, в господине Макке не национальная гордость заговорила,— заметил один из репортеров.— Ну, допустим, вы действительно умеете писать. На каком языке написали вы сценарий?

— На персидском,— буркнул я.

— С него легче перевести на другие языки, чем с венгерского, в котором употребляются агглютинативные формы, неизвестные индо-германским языкам,— сообщил Макк.— Актеры довольно быстро изучили персидский.

— Какао вы не пьете на завтрак?— спросил один французский журналист.

— А как же,— сказал я,— непременно, по воскресным и праздничным дням, когда принимаю ванну и надеваю чистую рубашку

— Ну да, сегодня только суббота,— рассудил кто-то.

Этому тонкому замечанию тоже похлопали. Вообще в зале царила теплая атмосфера, быстро мелькали шариковые ручки, трещали киноаппараты, щелкали фотографы, и в открытые окна вливалась солоноватая прохлада Средиземного моря. И чайка влетела в окно и села мне на плечо.

— А когда вы отрастили бороду?— полюбопытствовала одна молоденькая репортерша.— Не под влиянием поп-арта?

И на этот щекотливый вопрос я ответил сразу:

— Ничего подобного. Борода начала расти у меня в шестилетнем возрасте, и с тех пор к ней ни бритва, ни ножницы не прикасались. Цензура ее тоже не трогала, только иногда пыталась ласково за нее оттрепать.

— Венгерская цензура?

— Персидская,— сказал я.

— Венгрия — королевство?— спросил молодой сотрудник из отдела театра и кино одной солидной газеты.

Над его вопросом посмеялись, поэтому мне, на его счастье, не пришлось признаваться в том, что я, отпрыск издавна принятой при дворе семьи, в душе продолжаю сочувствовать монархистам.

— Вы свободно можете разъезжать по вашей стране?— спросил кто-то.— И верхом тоже?

— А как же, и верхом тоже,— сказал я.

— И по пуште [1]?

— И по пуште,— сказал я.

— И за границу пускают на лошади?

— Мы с женой и сюда приехали верхом,— сказал я.— К сожалению, я еще не нашел конюшни, чтобы поставить своих лошадок. Вы случайно не знаете какой-нибудь?

В беседу опять вступила молодая репортерша.

— О чем вы думали, когда писали сценарий?— спросила она.

Этот вопрос обрадовал меня. О чем же думает человек, когда пишет сценарий? Я погрузился в размышления. В зале стояла напряженная тишина.

— О чем я думал?— многозначительно переспросил я.— Бог его знает. Наверно, о фильме. А может, вспоминал битву при Ватерлоо, во время которой пушечное ядро противника напрочь оторвало мне правую ногу.

— Интересно,— сказала юная репортерша,— даже не заметно.

Тут и вся венгерская делегация развеселилась, хотя один ее член считал, что танцор вроде меня должен был потерять правую ногу значительно раньше, еще под Мохачем [2]...

— Что вы думаете о войне? Или вы пацифист?— спросил кто-то, полагая, очевидно, что наконец припер меня к стенке.

---

[1] Степные районы Венгрии.

[2] В 1526 году в битве при Мохаче турки нанесли поражение венграм.

ТИБОР ДЕРИ
ОТЛОЖЕНИЯ ДНЕИ

— Вообще я думаю,— отвечал я,— что самый экономный способ одолеть врага — это съесть его. Таким образом решается заодно и вопрос продовольственного снабжения армии.

Но этот ответ так не понравился присутствовавшим на пресс-конференции представителям цивилизованного общества, что назавтра нам с женой пришлось сесть в машину и отправиться обратно в Венгрию. В Вентимилии французские и итальянские таможенники обратились ко мне на «ты», как к старому знакомцу. Ободренные этим, мы поднялись на Апеннинский хребет, потом спустились в Турин, где в сумасшедшей сутолоке несколько раз сбились с дороги и только благодаря превосходному знанию венгерского языка наконец выбрались из города с помощью одного милого юноши, который случайно оказался венгром. Оттуда мы поехали дальше к Новаре.

Почему именно к Новаре? Не знаю. Наш «рено-16» не проявлял ни малейшего признака усталости, но жена, сидевшая за рулем, как я заметил, утратила на время свою свежесть. К счастью, утром она снова посвежела и купила две пары шлепанцев. Потом мы в бодром настроении поехали через Швейцарию и Австрию. В Сан-Бернардино мы чуть не свалились в тысячеметровую пропасть, но воспоминания об этом у меня самые смутные. В Инсбруке опять заблудились, когда искали магазин запасных автомобильных частей Боска в одном отдаленном квартале города, где местные жители объяснялись с нами только на тирольском диалекте. В Зальцбурге какой-то господин, у которого мы спросили дорогу, ни с того ни с сего залаял. В Мондзее другой почтенный господин, у которого я тоже спросил дорогу, вместо ответа потянулся к машине и хотел сорвать у меня с головы соломенную шляпу, а потом принялся сердито стучать в окошко, которое я в страхе поспешно поднял. Затем прибыли мы в Вену.

Из Вены через Шопрон — в Фюред.

— Сколько километров?— спросила жена, когда мы вышли из машины.

Я посмотрел на спидометр, потом в свою записную книжечку.

— Четыре тысячи.

Мы переглянулись.

— Куда в следующий раз?— спросила жена.

— На Багамские острова,— сказал я.— Но пешком.

— В роли кинозвезды? — спросила она.

— В юности я отличался также в рыбной ловле гарпуном,— сказал я.— А там заодно и в метании копья можно потренироваться. К счастью, я могу рассчитывать лишь на скромные успехи.

После этого жена примирилась со мной, а я — с судьбой.

«Икс обнаружил, что в меру сил он с наивозможной точностью и изяществом уже высказал свои мысли о мире... И вот он решил удалиться на покой. С этого момента сначала едва заметно, но вскоре достаточно явственно стал он укорачиваться» и в неудержимом своем обратном развитии достиг к концу следующей осени уже полутора метров, а потом и восьмидесяти сантиметров («О писателе, удалившемся на покой»).

Художник, столь иронически рисующий портрет Икса,— известный венгерский писатель Тибор Дери, чьи лирико-публицистические статьи, размышления, зарисовки последнего десятилетия под общим названием «Отложения дней» вышли недавно в Венгрии отдельной книгой. А материализованная метафора (укорачивающийся писатель), обстоятельно заостряемая в одном из таких эссе-зарисовок, метит в тех, кто почему-нибудь решил, будто сделал уже свое дело и, в приятном самообольщении оставив прежнее беспокойное ремесло, сооружает себе удобную приватную вселенную, дабы вдали от людской суеты предаться наконец радостям более легкой жизни без обязанностей и забот.

В самом деле, ведь за обыденной историей ремонта дачи с ее трагикомическими сюрпризами (недоступная плитка, цемент, грабители-мастера), которая составляет внешнюю публицистическую тему, встает куда более значительная в своей трагикомичности внутренняя: тема иллюзорного бегства от жизни. Тема смехотворной тщетности и уродливости такого бегства, которое есть измена заложенному в писательской профессии нравственному долгу, общественным интересам, а потому несет внутреннее оскудение, измельчание личности и всяческую деградацию — «укорачиванье». Самоуспокоенный писатель обращается в конце концов в жалкого пигмея, безнадежно отстающего от времени. И благоустройство дачи приобретает некое гротескно-символическое значение: это вообще все узкоэгоистическое и практицистское, что отвлекает от творческого полета, ослепляет и оглупляет, тянет в глухую, тесную обывательскую кротовью нору. Саркастически наглядная метафора, эта вещественная носительница авторского приговора, надежное орудие публицистического искусства Дери, позволяет ему перевернуть, опрокинуть мещанскую мораль, в благовидном вскрыть обесчеловечивающе опасное, «бытовую» тему поднять почти на философски общезначимый уровень.

Насмешка над желанием уединиться, над естественной, казалось бы, инертностью возраста тем сильнее задевает внимание, если вспомнить: ведь у Дери были свои — и

отнюдь не мелочные — причины подумывать об уходе «от мира». Ведь не так давно постигло его жестокое нравственное, политическое поражение, которое не могло пройти бесследно. Когда-то в дни экспрессионистско-сюрреалистской молодости стихийный, а потом сознательный бунтарь против буржуазного общества, участник восстания шуцбундовцев в Вене и узник хортистских тюрем, коммунист и признанный писатель — в частности, автор большого реалистического романа о межвоенной Венгрии «Ответ» (1950—1952),— он в 1956 году оказался среди тех, кого отрицательное отношение к определенным фактам тогдашней венгерской действительности, критицистские настроения завели в тупик, куда-то совсем на другую, противоположную сторону баррикады... И после такого крушения, понесенного наказания у пожилого писателя все же достало сил вернуться к общеполезной деятельности, сделать ее даже неким этическим императивом, помогающим жить дальше, возвращающим необходимое уважение к себе.

Не так уж просто вновь найти верные пути, и отнюдь не со всем в его статьях 60—70-х годов можно согласиться. Иногда некоторые противоречия капиталистической цивилизации кажутся ему угнетающе абсолютными, и гуманизм его приобретает скептический оттенок. Но писатель и сам словно борется с невольной своей резиньяцией, сопротивляется унынию. И недаром социалистическая Венгрия, оценив его добрую волю, поддержала его. Ему открыли страницы партийная газета «Непсабадшаг», литературная — «Элет эш иродалом», которые продолжают публиковать своеобразные свидетельства этой внутренней борьбы, духовной работы: новые дневниковые «отложения дней». Ибо в них, по словам одного из редакторов «Элет эш иродалом» о сборнике Тибора Дери, видно «уважение к разуму», бьется «беспокойная мысль о нас и наших детях». «Ибо его малому и нашему Большому Саду должно стоять и цвесть...» Переиздан и роман «Ответ», который вышел также в ГДР и готовится к изданию у нас в серии «Библиотека венгерской литературы».

«О писателе, удалившемся на покой», таким образом,— в определенном смысле проверенный трагическим опытом жизненный итог. Этому итогу, насмешке над бегущими от велений времени, от трудностей веришь, ирония эта выстрадана. Победа писателя над собой словно повышает кредитоспособность и других лучших его публицистических записей, этюдов (они и включены в нашу публикацию), построенных часто по сходному принципу. Встреченное в повседневной жизни будит воспоминания, наталкивает на сопоставления, и из зароненного в душу семечка на наших глазах подымается, увлекая зримым своим ростом, ветвистое древо раздумий, причудливо-ироничных, но метких ассоциаций, пытливо-озабоченных обобщений.

Каннский фестиваль... Впечатления от поездки распускаются феерическими гроздьями издевок над беззастенчиво рекламной, коммерчески невежественной, «французской» легкостью буржуазной прессы («Каннские впечатления»). Нью-йоркский выставочный каталог... Описанные в нем несуразные произведения, знакомые по собственной «авангардистской» юности, побуждают излить сомнения и возражения против убогой, асоциальной и антисоциальной эстетики новоявленных «кинетиков» и «люминистов» в маленьком памфлете «Кинетизм». А журналы, книги, усердно осведомляющие о фантастическом прогрессе науки, заставляют задаться совсем не риторически-тревожным вопросом: уж не вознамерилась ли она пожрать природу, самого человека, как овцы некогда чуть не «пожрали» людей?.. Какими страшными, в самом деле, опасностями грозят эксперименты на мозге, воздействие на психику и наследственность, вмешательство в биологическое равновесие среды, если хоть где-то, как-то ослабить бразды разумного общественного правления наукой. Вслед за лучшими учеными века предостерегает писатель против морального безразличия в использовании научных достижений — известный, но заново прочувствованный и потому гражданственно весомый вывод («Тысячеокая наука»).

Как мастер серьезный, мыслящий, Дери не колеблется подчас спрямить связь между злобой дня и «вечностью», непосредственным наблюдением и обобщением — не старается сделать из статьи искусную «шкатулку с секретом», особенно если материал сам настолько близок каждому, что не нуждается в каких-либо эффектных усложнениях. Как и тот, который вынесло его взбудораженное и вместе раненое воображение из посещения детского дома под Будапештом. Раненное тем прежде всего, что недостаточно еще нами, слишком занятыми, а то и легкомысленными подчас отцами и матерями, осознается мера личной ответственности за будущее людей, которых мы же производим на свет («Люди, дети»).

Один за другим теснятся, выстраиваются убедительные факты, говорящие, как пагубно для ребенка остаться без родительского тепла, особенно при живых родителях; к каким тяжким нервным травмам и даже «эмоциональной голодной смерти» — ослаблению и разрыву душевных связей с миром, к неумению и нежеланию любить — приводит его отсутствие. И как бы щедро ни заботилось о детях, об излечении их душевных увечий общество, государство, это лишь отчасти может возместить такое, первоначальное, на всю жизнь аккумулируемое тепло. О незаменимости материнской ласки, иначе говоря, напоминает Дери-публицист, которого тревожит не столько даже само существование детских домов, сколько возможность моральной безответственности в социалистической стране; кого коробит от угадываемого за этим дико-прими-

тивного, но еще подспудно бытующего представления, будто женское равноправие предполагает если не отмирание семьи, то отказ от семейного воспитания.

Публицистом с неуснувшим интересом к жизни, с открытым всем ее вестям слухом и зрением предстает перед нами почти восьмидесятилетний Тибор Дери. Облик его ничуть не похож на портрет самовлюбленного Икса, от бурь и тревог века старчески предусмотрительно удаляющегося «на покой». Нет, заползающая в свою раковину старость столь же мало его прельщает, как и «искусство для искусства» или «техника ради техники». Но именно поэтому — при виде, что далеко еще не все вокруг благополучно,— в эссеистике его нет-нет да и проскальзывают опять нотки горечи, усталости. Когда же, в самом деле, придет настоящий «покой»: долгожданное царство разума на земле, полная и повсеместная социальная гармония?.. Грустная эта неудовлетворенность в свою очередь побуждает его порой слишком, пожалуй, пессимистически-снисходительно настраиваться в отношении «человеческой натуры» или — при мысли о серой описательности, о псевдореализме — «исканий» кинетиков, несколько преувеличивать пагубность технического прогресса.

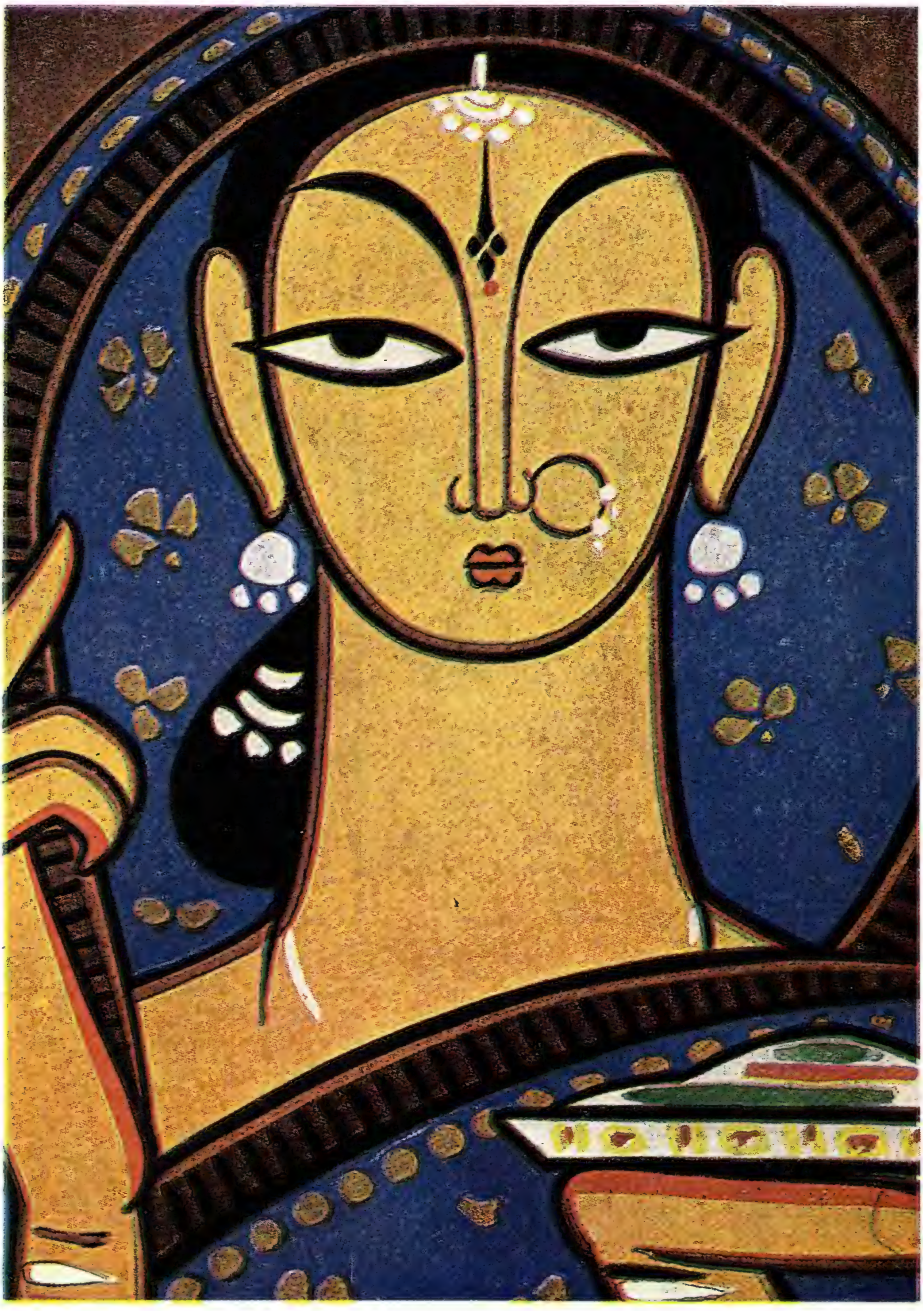
Но воюющий с чрезмерной терпимостью общественного мнения публицист старается, как мы сказали, и в себе преодолеть инерцию горечи, невольную пассивность и впитывает всем существом что только есть кругом отрадного, вселяющего волю, влекущего к жизни, людям. И тут целительный для него источник — здоровое мироощущение какой-нибудь Маришки (из очерка «Февраль 1967 года»), от одного доброжелательного, деятельно-уравновешенного присутствия которой «веселеет» его дом, а также природа, сад, весеннее его цветение. Вопреки настояниям разных современных декадентов, что сущность бытия — смерть, лирические гимны Дери разливу весны, неподавимой, неистребимой природе («Только ли видимость?») почти со стыдливым, но самозабвенным упоением гласят: нет! Суть — это жизнь.

Эти статьи — зарисовки философским подтекстом, художнические эскизы природной и душевной красоты — помогают полнее ощутить движущую силу его эссеистики последних лет. Это любовь в широком, социально-гуманистическом смысле: коллективистское, связующее с жизнью, людьми, народом, с его интересами и будущим чувство И вера в коллективный разум человечества, который непобедим, как сама природа, народ, сама жизнь.

Обретенное под старость чувство неодолимости жизни довершает портрет Дери-эссеиста. Как и юношески броская сатира, как гуманистическая широта горизонтов, оно — неотъемлемая грань его спасительно активного человеческого и писательского кредо.

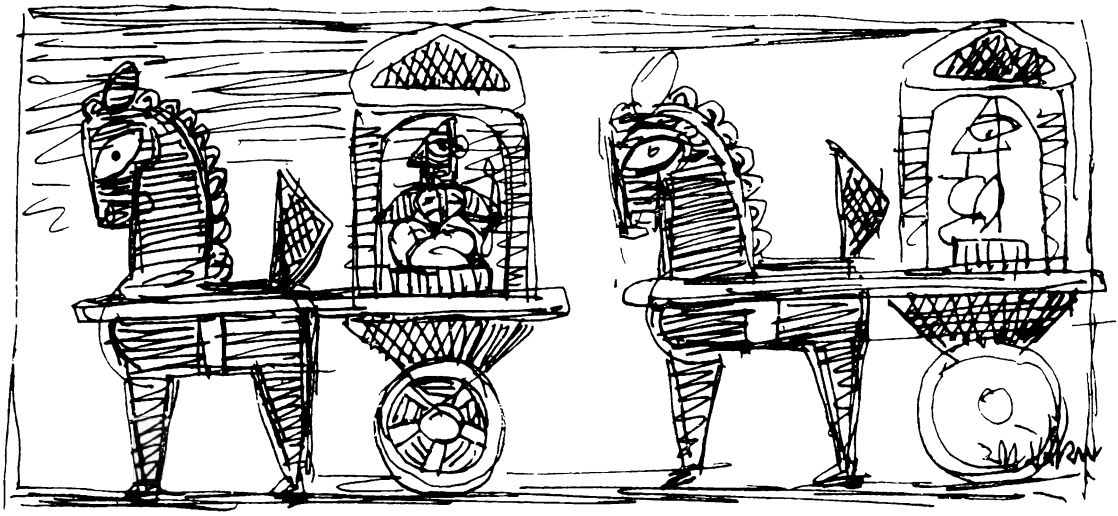
О. РОССИЯНОВ

◆

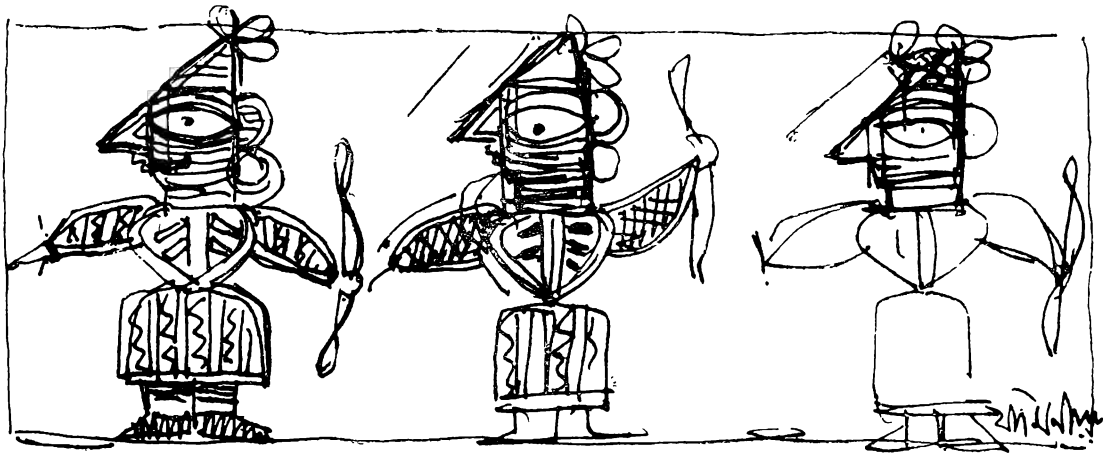


Бенгалка

Из работ Джамини Рая



Правитель на колеснице



Три воина. Набросок

Мать и дитя

Танцующая девушка

Изобразительное искусство за рубежом

С. ПОТАБЕНКО

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

...Сюда, под стены храма Кали, самого популярного у калькуттцев, часто приходил человек, одетый, как и многие, в белоснежную длинную рубаху и в дхоти до пят. Он подолгу бродил вдоль рядов примыкавшего к храму базарчика, куда деревенские художники-патуа выносили на продажу свои лубочные картинки. На них были изображены боги, древние герои, англичане, городские и деревенские жанровые сценки. Краски яркие, абрис фигур смелый и выразительный. Вот всесильная богиня Кали, уничтожающая демона зла Махисасура; а вот английский сахиб в шляпе с высокой тульей, в сюртуке и белых панталонах. Он сидит верхом на слоне (сам ростом со слона) и стреляет из ружья в тигра. Вот пышногрудые красавицы украшают свои волосы цветами, куртизанки попирают ногами поверженных, потерявших достоинство мужчин (это уже рассказ о падении нравов большого города и порта).

Картинок год от года становится меньше, и человек с сожалением отмечает, что краски чуть-чуть погрубели, в рисунке заметен шаблон.

Он любит бывать на ярмарках в ближних к Калькутте деревнях, но особенно — в родной Банкуре, славящейся своими глиняными, соломенными и тряпичными куклами, чудесной расписной керамикой, писанками по шелку. На таких праздничных базарах он покупает фигурки лошадей, коров, людей. С удовольствием смотрит представления странствующих актеров, кукольников. Зоркий глаз выхватывает в толпе яркую кайму сари, браслеты на запястьях и лодыжках, отмечает правильные, красивые лица бенгалок и особенно — их глаза. «Прав, как прав деревенский художник, когда подчеркивает величину индийских глаз. Только нужно это подчеркивать еще смелее». Вот он идет по деревенской улице. Навстречу плетется упряжка волов. Рога у животных вызолочены, на шеях нарядные ошейники с бубенцами и гирлянды из серебряной мишуры. «Недавно был праздник»,— вспоминает он. На крупах животных — цветные отпечатки детских ручонок. Рисованные наличники на окнах, узорчатые обрамления дверных проемов — это целые красочные миры! Тут и сложные розетки, и рисунки смешных человечков, и слоны с тонкими ногами и длинными-предлинными хоботами, и диковинные птицы. Рисунки сделаны жидким мелом, цветными порошками, выложены на полу и перед домами лепестками живых цветов. «Как ярко, свободно и естественно видит народ. Обобщенность и условность — в природе народного искусства. Ничего лишнего. Все вкомпоновано в заданную рамку, «паузы» залиты рисунком, цветом, орнаментом. Верно говорит Ганди: «Наш народ унаследовал великие таланты. Наш образ жизни пронизан чувством красоты. Наши женщины создают подлинные картины на стенах домов».

Он вспомнил изящную живопись художников бенгальского Возрождения. Конечно, сюжеты были индийскими, но воплощение их оставалось салонным, манерным. Ведь в начале своего пути он тоже писал так.

...Путь к центру города преградила цепочка полицейских и солдат. На Чаурингироуд не пропускали, там разгоняли демонстрантов, требовавших освобождения лидеров и ухода англичан из Индии. Он шел к себе домой кружным путем и думал дорогой о том, что не искусство утонченных линий, изысканных цветосочетаний, рождаемое в тиши студий для удовлетворения шлифованного вкуса ценителей, необходимо его времени, но яркое, самобытное национальное искусство, питаемое неиссякаемым источником народного гения,— такое искусство необходимо сегодня его стране... Вот и дом. Он входит в студию. На мольберте стоит готовый загрунтованный холст. Джамини Рай берет кисть и проводит не-

сколько сильных, экспрессивных линий. Появляется фигура сидящей женщины. Художник смело выводит уголки глаз за пределы овала лица. «Так. Правильно. Стилизовать надо смелее, чем делают это патуа». Эти глаза он повторит сам много раз, и многократно сделают это его последователи. Он подходит к столу и набрасывает пером виденные вчера на ярмарке фигурки. Повторил несколько раз, и получился фриз из едущих друг за другом повозок — картина, какую можно наблюдать на всех дорогах Индии.

К тому времени, когда Джамини Рай стал известным художником, движение за освобождение Индии, за отказ пользоваться английскими товарами и выполнять приказы колониальной администрации приобрело массовый характер. Конечно, его «Красный конь», или «Бычок», или «Санталка» — не прокламации. Но в них передана жаркая гамма красок народной палитры и широко возвещается приход эры действительно самобытной национальной школы. С Амритой Шер Гил в искусство Индии широко входит реализм, с Джамини Раем — новый декоративизм. Декоративизм Джамини Рая — это отражение формирования национального самосознания, получившего конкретное выражение в изобразительном искусстве. Он определяет своим искусством новое отношение художника к истокам народного творчества. Это не сухая, обескровленная подделка под фрески Аджанты или раджпутскую миниатюру — сила и полнокровность народного искусства отныне дают новый стимул развитию художественной практики в Индии.

К тому времени, когда он стал знаменитым художником, то есть к 1930—1940 годам, ему уже было за сорок. Еще давно, в самом начале, были уроки учителя-итальянца, позади остался путь, пройденный им в школе бенгальского Возрождения, в той школе, которая возникла как антитеза чопорному и черствому британскому академизму, в школе, сделавшей немало для отыскания национального живописного стиля. Позади осталось и преодоление этой школы, когда ее рамки стали узкими. Преодоление это и означало рождение новой художественной индивидуальности, самостоятельной манеры, получившей позже определение «неопримитивизма» и даже — «джаминизма». Ей художник был верен до конца своей жизни.

Когда Джамини Рай творил своих пышнобедрых и огромноглазых красавиц, улицы индийских городов патрулировались англо-индийскими войсками, в стране царили голод и нищета. Можно было создавать страшные в своем обличении колониализма натурные зарисовки жертв голода 1943 года, как делал, например, Читтапрасад. Но в то же время можно было воспевать красоту народа и этим утверждать право Индии на жизнь и на борьбу за это право. Часто работы Джамини Рая принимали (особенно его живописные одно- и многофигурные композиции, изображающие женщин в строгой фронтальности) характер иконографический. Эти женщины олицетворяют свою страну, ее животворные бессмертные силы.

Четверть века художник жил и работал в независимой Индии. Его искусство мало изменилось по сравнению с предыдущим периодом, потому что никогда его не покидала вера в народный гений. И все, что создал Джамини Рай,— красиво, щедро по рисунку, по цвету, сложенное воедино, создает образ Индии, ее портрет, написанный рукой мастера, влюбленного в свою модель.

Наши гости

ПРИМЕР ОБНОВЛЕННОЙ СУДЬБЫ

В «Иностранной литературе» — болгарские критики

Они очень разные и по характерам, и по темпераменту, и по литературным интересам. Но все они делают одно общее дело — стремятся как можно полнее и объективнее отразить литературный процесс в Болгарии, каждый на своем участке оказать влияние на развитие болгарской литературы.

Ефрем Каранфилов

Ефрем Каранфилов — главный редактор еженедельника «Литературен фронт» и член Секретариата Союза болгарских писателей, Симеон Султанов — директор издательства «Болгарский писатель» и тоже член Секретариата СБП, Иван Цветков — секретарь СБП по критике.

Подробно расспрашиваем гостей, о чем они пишут с наибольшим интересом, точнее говоря — о любимых темах их творчества как критиков.

— Моя любимая тема,— говорит Е. Каранфилов,— раскрытие характера болгарского народа в нашей литературе. Вот почему мой любимый писатель — Захари Стоянов, и в будущем я собираюсь написать книгу о его «Записках о болгарских восстаниях».

Может быть, именно книга «Записки о болгарских восстаниях» вдохновила Ефрема Каранфилова на работу над многотомным трудом «Болгары», третий том которого автор недавно сдал в печать. Е. Каранфилов сделал попытку, как он сам говорит, «показать облик нашего народа на различных этапах его творческого развития посредством раскрытия характеров наиболее примечательных личностей — писателей, общественных деятелей, героев национально-освободительной борьбы и революционного движения и т. п.». Работа хронологически доведена до 9 сентября 1944 года. Каждый ее том связан с конкретным этапом исторического развития Болгарии, очерк о каждой личности построен на определенной концепции, что создает стройное композиционное целое. В каждом томе есть внутренняя историческая и логическая связь. Такая же связь есть и между отдельными томами, хотя очерки об отдельных

Симеон Султанов

личностях не расположены в строго хронологическом порядке и не подобраны в полном соответствии историческому месту и значению этих личностей. Главное, что интересовало автора,— раскрыть связь как забытых героев и выдающихся людей, так и тех, о которых народ помнит и которых чтит, с современностью, показать их влияние на современников.

Этот труд Е. Каранфилова и по замыслу, и по широте охвата не имеет себе подобных в болгарской литературе. Кроме того, им предпринят и уже, можно сказать, завершен и другой не менее масштабный труд — четырехтомная работа «Современность и литература». Уже сами названия всех четырех томов — «Современность и мастерство», «Современность и проза», «Современность и поэзия», «Современность и литературные жанры» — раскрывают смысл и содержание этого труда, в котором автор рассматривает вопросы развития болгарской литературы в связи с проблемами современности.

Ефрем Каранфилов — давнишний автор журнала «Иностранная литература», неоднократно выступавший на его страницах со статьями по различным проблемам современной болгарской литературы. Он создал около двадцати книг — монографий, сборников критических статей, очерков, эссе — не только о современной литературе Болгарии, но и о проблемах формирования личности в социалистическом обществе на примерах героев революционного прошлого Болгарии разных периодов.

— В болгарской литературе,— вступает в беседу Симеон Султанов,— меня более всего интересует жанр рассказа. Я считаю, что рассказ в нашей прозе достиг наиболее значительных высот.

С. Султанов посвятил книги творчеству болгарских писателей XX века: «Ангел Каралийчев», «Четыре прозаика» (о творчестве Г. П. Стаматова, Г. Райчева, А. Каралийчева и И. Волена), «Сатирики», «Йовков и его мир», «Наедине со Светославом Минковым». В настоящее время он работает над двумя книгами, так или иначе связанными с проблемой рассказа.

— Некоторое время назад,— продолжает С. Султанов,— можно было отметить определенный спад интереса писателей к жанру рассказа. Этот спад был характерен не только для Болгарии, но и для многих других стран Европы. Для иллюстрации приведу вам одну историю. Во Франции была издана книга рассказов Светослава Минкова, которая преподносилась читателям как роман. Когда я спросил о причине такой мистификации, мне ответили: «Если на книге написано «Новеллы» или «Рассказы», ее очень трудно продать». Все это звучит комично, но истина гораздо многозначительнее.

В последние годы у нас в Болгарии снова отмечается прилив интереса к жанру рассказа. С приходом в литературу таких авторов, как Йордан Радичков, Николай Хайтов, Ивайло Петров, Васил Попов, Димитр Вылев, рассказ вновь набирает силы, чтобы занять достойное место в болгарской литературе. В книге «Незаконченные разговоры», над которой я в настоящее время работаю, содержатся статьи о творчестве уже названных писателей, а также Павла Вежинова, Емилиана Станева и других именно как авторов рассказов. Вторая задуманная мной в этом плане книга будет связана с нашим литературным наследием и посвящена поэтике рассказов классиков болгарской литературы Елина Пелина и Йордана Йовкова. В первой ее части будет произведен сравнительный анализ двух редакций рассказов Елина Пелина — 1911 и 1938 годов. Вторую часть я намереваюсь постро-

Иван Цветков

ить на неизвестных черновиках рассказов Йордана Йовкова. На основании этого я изложу свои мысли об их поэтике.

К творчеству Йордана Йовкова Симеон Султанов обращается не впервые. Он считает Йовкова одним из самых одаренных болгарских писателей, наделившим своих героев человеколюбием, нравственной красотой, совестью, ответственностью перед собой и другими. Йовков привлекает его любовью и верой в людей, гуманизмом своих произведений.

— Что касается моей любимой темы,— рассказывает в свою очередь Иван Цветков,— то однозначный ответ мне дать сложно. Мои симпатии раздваиваются. С одной стороны, я занимаюсь русской классической и советской литературой, а с другой — литературой Болгарии, главным образом современной, но также и классической. Однако мне кажется, что это один из тех случаев раздвоенности, который не мешает, а помогает, так как это дает мне возможность все время сопоставлять то, что создают наши писатели, с лучшими образцами, вершинами русской классической литературы.

Такое сопоставление красной нитью проходит через основные книги Ивана Цветкова — «Максим Горький и болгарская литература», «Критика и проза».

— Когда я, например, читаю или исследую самую молодую русскую советскую прозу,— говорит Цветков,— я пытаюсь извлекать из этого уроки для современной молодой болгарской литературы.

Сейчас Иван Цветков работает над книгой «От Пушкина до Твардовского». Главная мысль этой книги, по словам самого автора,— это, «если можно так выразиться, болгарское прочтение, болгарское толкование русской классической и современной литературы, ее восприятие в Болгарии, ее уроки, наше восхищение ею. Если я сумею приблизить творческий мир писателей, о которых пишу, к сердцам болгарских читателей, это будет для меня самой большой наградой за мой труд».

Как критикам и как видным деятелям литературной жизни Болгарии нашим собеседникам хорошо известно, какие новые книги более всего ценит болгарский читатель, какие заслуживают особого внимания.

— Прежде всего,— говорит Иван Цветков,— хочется назвать произведения, связанные с пятидесятой годовщиной Сентябрьского восстания 1923 года и с тридцатилетием сентябрьских событий 1944 года. Это мемуары Веселина Андреева «Они умирали бессмертными», книга Добри Жотева «Пережитые рассказы», из которой несколько рассказов были опубликованы в вашем журнале [1]. С революционным прошлым Болгарии в значительной мере связан также роман Драгомира Асенова «Эта кровь не должна пролиться». А если говорить о произведениях на современную тему, что представляет главную заботу издательства «Болгарский писатель», то следует назвать романы Атанаса Наковского «Мир вечером, мир утром», Генчо Стоева «Циклоп», Димитра Вылева «Зной», Лады Галиной «Кристаллы», Ивана Давидкова «Вечерний разговор с дождем» и некоторые другие.

Среди наиболее примечательных произведений последнего времени в жанре поэзии Иван Цветков называет «Контрапункты» Елисаветы Багряны, «Как музыка вечером» Петра Караангова, «Арматура для барабанов» Пырвана Стефанова.

— Я бы назвал еще,— говорит он,— книгу «Воскресное землетрясение» молодого поэта Ивана Цанева, очень яркой индивидуальности в нашей поэзии, одной из ее молодых надежд. Чрезвычайно интересна новая книга Любомира Левчева — поэтический отчет о его посещении Латинской Америки, главным образом Чили.

Симеон Султанов дополняет Ивана Цветкова, раскрывая смысл и идейное содержание некоторых из новых романов.

— В романе Драгомира Асенова,— говорит он,— сосуществуют два времени. Первое — это годы борьбы. Второе — сегодняшние размышления об этих годах. И именно в этом «втором времени» содержатся интереснейшие размышления о человеке, о коммунисте, о том, что человек всегда должен оставаться человеком и сохранять чистоту своих убеждений. Атанас Наковский — интеллектуальный писатель. Он постоянно находится в мире идей, и все его творчество представляет собой как бы варианты одной большой идеи. Его новый роман «Мир вечером, мир утром» повествует о человеке, которому исполнилось сорок лет и который вошел в тот период жизни, когда начинают обдумывать прожитые годы, подводить некоторые итоги. Болгарская критика обратила серьезное внимание на оба эти романа. Что касается интересного романа Генчо Стоева «Циклоп», то книга вызвала большие споры.

— Если говорить о самом интересном в болгарской литературе за последний период,— добавляет Ефрем Каранфилов,— нельзя не упомянуть и о документальном жанре, который в последнее время получил особенно широкое развитие. Мне представляются характерными книги Николая Христозова «По следам «пропавших без вести» [1] и Ивана Динкова «Соприкосновение с Болгарией» (последняя опубликована пока лишь в журнале «Септември»). Оба автора, основываясь на фактах и документах, рисуют характеры деятелей болгарского движения Сопротивления.

Книги эти возрождают и развивают в болгарской литературе большую антифашистскую тему, которая никогда не исчезала со страниц книг болгарских писателей.

«Иностранная литература» № 1, 1974 г.

Печатается в «Иностранной литературе» № 9—10, 1974 г.

В них лишь по-новому, по-современному осмысливается то героическое время.

Гости рассказывают также о новых работах болгарских критиков и литературоведов. Они называют четвертый том исследования Пантелея Зарева «Панорама болгарской литературы», доведенный до 1956 года. П. Зарев работает в настоящее время над пятым томом этого капитального труда. Из печати вышло также несколько книг, посвященных болгарской драматургии: «Театральные размышления» Любомира Тенева, сборник очерков Чавдара Добрева «Лирическая драма» о драматургическом творчестве Георгия Джагарова, Валерия Петрова, Ивана Пейчева — о вхождении поэта в драматургию, «Революция и драма» Владимира Каракашева. Выпустили новые книги Здравко Петров, Пенчо Данчев и многие другие критики. По мнению Ивана Цветкова, минувший год в этом отношении был одним из самых плодотворных.

Речь заходит о роли журнала «Иностранная литература» в отражении литературного процесса в Болгарии.

— Для болгарской литературы,— подчеркивает в связи с этим Ефрем Каранфилов,— очень важен вопрос преодоления языкового барьера, выхода на международную арену, к мировому читателю. До Девятого сентября трагедия болгарской литературы состояла в том, что она развивалась в тесных языковых рамках. Благодаря тому, что произведения болгарской литературы широко переводятся на русский язык, и особенно благодаря журналу «Иностранная литература», книги лучших наших писателей достигают широкого круга читателей в международном масштабе.

— Я с большим интересом слежу за работой вашего журнала,— добавляет Симеон Султанов,— и вижу, что прямые контакты между нами дают возможность углубленно разобраться в процессах, происходящих в нашей литературе. Разумеется, в болгарской, как и во всякой другой, литературе внутренние процессы чрезвычайно сложны. Иногда их можно почувствовать сразу, иногда ощутить трудно. Одна из главных забот Союза болгарских писателей и издательства «Болгарский писатель» — стремиться к тому, чтобы болгарские писатели создавали произведения, отвечающие главному направлению нашей литературы.

В книге Ивана Цветкова «Критика и проза» есть полные любви и вдохновения строки о литературе его родины:

«Совсем не случайно в разные времена наиболее выдающиеся сыны нашего народа — и Христо Ботев, и Иван Вазов, и Георгий Димитров — вспоминали о деятельности Кирилла и Мефодия, видели в ней источник национального самосознания, незыблемую опору нашего национального существования. Именно эта деятельность лежит в основе и лучших традиций нашей сегодняшней социалистической литературы, она наполняет нас гордостью, мы надеемся и верим, что народ, который дал «всем славянам книгу, чтобы читать», создаст такую книгу, которую будут читать все народы. Он уже дал мировой поэзии Ботева и Вапцарова, дал борцам во всем мире пример Димитрова, дает и сейчас примеры обновленных судеб».

Мы прощаемся с нашими гостями и выражаем уверенность, что впереди еще много новых встреч, что будет продолжен этот интересный разговор о литературе наших друзей, о наших творческих контактах, о новых книгах, о планах и замыслах.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

◆

Среди книг

Издано в СССР

«В ГЛУБЬ СЕРДЦА ПЕРО ПОГРУЖАЯ...»

Поэты Палестины. Сборник стихов. Перевод с арабского. Алма-Ата, «Жазушы», 1973. 104 стр.

Это первый сборник стихов палестинских поэтов, вышедший в нашей стране, хотя советские читатели, интересующиеся литературой арабских стран, знакомы с творчеством Махмуда Дервиша и Муина Бсису по отдельным книжкам библиотеки «Огонька», а с произведениями Фадвы Тукан, Самиха аль-Касема, Тауфика Зийяда и Салема Джебрана встречались на страницах наших журналов. Сборник представляет стихотворения последних лет этих шести наиболее значительных поэтов страны.

Читая их стихи, погружаешься в мир чувств неистовых, напряженных, любви — нежнейшей, а ненависти — беспредельно яростной. Здесь вечные темы — Родины и долга перед ней, любви, товарищества — предстают отражением личных судеб поэтов, а лирический герой каждого из них — человек, чей голос сливается с голосом его народа:

Свободу — народу!
Свободу — мне!
Свободу — моей стране!

(Фадва Тукан. «Свобода народа»)

Раздумьям поэтов над судьбой многострадального отечества всегда сопутствует надежда и вера в свой народ:

За поворотом дороги растает
дымная тень.
Новый день непременно настанет,
новый день.

(Фадва Тукан. «Пять песен для партизан»)

Если бы современные поэты Палестины единственной темой провозгласили борьбу своего народа за независимость, и тогда их поэзия привлекала бы самое широкое внимание: гордый голос народа, отстаивающего свои права, всегда находит отклик.

Все чувства и думы поэтов неразрывно связаны с главным для них — с заботой о родине. «Я пленник двух крыльев: тебя и свободы»,— говорит, обращаясь к любимой, герой стихотворения Махмуда Дервиша; Муин Бсису пишет о том, что должны стать друзьями «меч революции и соловей любви». Гармонию души своей, которая «гневом полна дерзновенно», может обрести героиня Фадвы Тукан, только когда сбу-

дется надежда, когда возвысится свобода «над каждой живой душой».

Палестинские поэты стремятся не только передать общий пафос жизни своих сограждан, но и показать реальные обстоятельства, в которых они существуют. Многие стихи сборника сюжетны. Таковы «Мне страшно, луна» Тауфика Зийяда, где рассказывается о переживаниях матери двух сыновей, один из которых пал как боец; «Песня о всаднике и коне» Муина Бсису, повествующая о кровавых буднях палестинской деревни; «Палестинская иорданка в Англии» Фадвы Тукан — о случае из жизни человека без родины, ее же — «Перед бюро пропусков».

«Не время для лирики» — так называет Салем Джебран четверостишие, в котором отражено сомнение поэта, имеет ли он право сейчас писать о личном, интимном. Но жизнь продолжается, и живущие подвластны всем чувствам человеческим. Целомудренна и возвышенна любовная лирика сборника. Горечью неволи пропитаны многие стихи о любви:

Сплету венок любимому из тюльпанов полевых,
пусть поле, словно решето,— все в дырках пулевых...
Полакомиться будет рад любимый гроздью лучшей,
но окружили виноград оградою колючей.

(Самих аль-Касем. «Старая касыда»)

Об активном участии поэзии в жизни народа — стихи Самиха аль-Касема «Последняя строка в поэме», Махмуда Дервиша «Певец» и другие. Говоря словами Тауфика Зийяда, поэты Палестины, «в глубь сердца перо погружая», остаются верными сынами своей родины; «разделить материнское горе — для сына превыше награды», бороться за свободу матери-родины — его первейший долг.

Стихи сборника переведены самыми «разноголосыми» нашими поэтами.

Резкое, стремительное, подчас исступленно-страстное звучание стихов Самиха аль-Касема передано И. Кашежевой с максимальной приближенностью к оригиналу. Лирической, романтичной, но в то же время земной предстала в переводах Р. Казаковой Фадва Тукан. Глубину философского осмысления жизни Махмудом Дервишем сумел показать Г. Ашкинадзе. Публицистичность, мужественность поэзии Муина Бсису сохранил в своих переводах М. Курганцев.

Хорошо перевел И. Ермаков стихи Тауфика Зийяда, Салема Джебрана и Салиха аль-Касема, а в нескольких стихотворениях Махмуда Дервиша (например, «Когда были слова мои...») переводчик сумел почти буквально перенести в русский текст их ритм, строфику и лексику.

В палестинской литературе поэзия занимает сейчас ведущее место. Имена многих поэтов еще неизвестны нашему читателю. Но очевидно, за первым сборником последуют другие, которые еще шире и богаче представят эту поэзию.

ИРИНА БОГАТКО

В ДОМЕ АНГЛИЧАНИНА

Ивлин Во. Мерзкая плоть. Роман. Возвращение в Брайдсхед. Роман. Незабвенная. Повесть. Рассказы. Перевод с английского. Составитель и автор предисловия Г. Анджапаридзе. Редакторы И. Архангельская, Н. Кристальная. Серия «Мастера современной прозы». Москва, «Прогресс», 1974. 652 стр.

«Дом англичанина» — один из рассказов, завершающих эту объемистую книгу. Фабула его несколько анекдотична, развязка — неожиданна. С иронией, для него непривычно добродушной, повествует писатель о том, как всполошила нескольких английских помещиков угроза застройки ближнего луга. Какие-то приезжие люди собрались возводить на нем комплекс промышленных лабораторий! От застройщиков откупились, и недешево. А из последних строк рассказа читатель узнает, что все это — лишь ловкий розыгрыш. Застройщики — два брата, владельцы старинной родовой усадьбы, которую надо спасать. Растут расходы, растет налог на недвижимость, поместье пришло в упадок — вот и приходится ездить по дальним деревням, «облюбовывать» места для строительства лабораторий и стричь перепуганных любителей сельской тишины. И авторские симпатии — явно на стороне братьев-мошенников. Ведь одураченные сельские сквайеры — по местным понятиям — помещики без году неделя, это коммерсанты, разбогатевшие в колониях; братья же защищают свое родовое гнездо, свой дом, готовый рухнуть под натиском торгашеской современности.

В незамысловатой этой истории с тезисной наглядностью проступают пристрастия и антипатии Ивлина Во. Чувство дома — в широком понимании этого слова — присуще ему в высшей степени. Оно означает приверженность к этическим и эстетическим традициям, уходящим в глубь веков, в некое романтизированное рыцарское прошлое. В приверженности, в горестной нежности к обреченной красоте «старой Англии» — пафос творчества этого колючего англичанина, пафос подспудный, лишь изредка пробивающийся на поверхность. На поверхности же совсем иное: веселая, ледяная, блистательная злость — против всепроникающей буржуазной пошлости, фальши, алчности, против светских бездельников и тупых бюрократов, против шутов всех калибров и обличий, населяющих гротескную, но в чем-то очень реальную Англию Ивлина Во.

Знакомство русских читателей с Во началось довольно поздно и происходило постепенно: из всех произведений, вошедших в однотомник, только «Незабвенная» была переведена раньше[1]. Эта первая книга пи-

[1] См. «Иностранную литературу» № 2, 1969 г.

сателя, появившаяся на русском языке, произвела сильное впечатление, в котором был немалый элемент шока. Большинство читателей по достоинству оценили и комическое мастерство, и яростную иронию сатирика, и его поистине свифтовское владение реалистической деталью. Но многим показалась отталкивающей и даже циничной устрашающая обстоятельность описания похоронного бизнеса.

Представление об Ивлине Во значительно расширилось, когда в 1971 году издательство «Молодая гвардия» выпустило в одной книге «Пригоршню праха» — роман, справедливо считающийся высшим достижением довоенного творчества писателя, и «Не жалейте флагов» — повесть о начале войны. Вполне отчетливой стала лишь угадывавшаяся в жестоком фарсе «Незабвенной» двойственность мироощущения Ивлина Во — эксцентрика и моралиста, тоска по человечности и правде, прикрытая броней сарказма. И Деннис Барлоу — молодой английский поэт, ветеран войны, несостоявшийся сценарист, который, к ужасу английской «колонии» стал служащим на голливудском собачьем кладбище, занял свое место где-то на пересечении двух характерных линий героев Во: простаков и плутов. Если Тони Ласт — один из симпатичных простаков, созданных ранним Во, то в бесподобном Бэзиле Силе из романа «Не жалейте флагов» (он встретится нам и в других книгах) обрел новую жизнь пикарескный герой английского просветительского романа.

Как радужная, верткая рыбка плавает Бэзил среди моря людского, на разных широтах земного шара (в «Черной беде» мы видели его в Африке), жизнерадостно, иронично и весьма изобретательно устраивая свои дела за счет других,— джентльмен-авантюрист, для которого аферы и интриги не только способ пропитания, но и выражение жизненной философии. Но в этом же довольно разноплановом романе «Не жалейте флагов», где перипетии эксцентричной «человеческой комедии» Во развертываются во взбаламученной войной, только начинающей собирать свои силы Англии, существует Седрик Лин, офицер и увлеченный «коллекционер гротов». Это — еще один из галереи благородных простаков Ивлина Во, и от этого образа можно перекинуть мост к капитану Чарльзу Райдеру, в мирном времени — художнику, специализирующемуся на изображении старинных домов и усадеб. Чарльз Райдер — рассказчик и один из главных участников событий, возникающих в его памяти в романе «Возвращение в Брайдсхед».

«Возвращение в Брайдсхед» — пожалуй, самое удивительное открытие, которое ожидает читателя в этом однотомнике. Полное ностальгии, поэтичности и пронзительного лиризма повествование Райдера о прошлом, которое хлынуло на него из комнат опустевшего замка Брайдсхед,— неужели это повествование Ивлина Во, виртуоза комедийного диалога, Хоггарта современной английской прозы? Тем не менее это он, и узнать его можно не только по некоторым фигурам книги, связанным с сатирической ее линией, но и по интонациям, возникавшим подчас и в ранних, как известно, отнюдь не лиричных романах писателя. Даже в «Мерзкой плоти» — этой фантасмагоричной комедии нравов «золотой молодежи» 20-х годов, с ее почти мультипликационными персонажами, вроде бы начисто освобожденными от внутренней жизни,— есть своеобразный лиризм. Он проступает в отношении автора к этим нелепым и несчастливым «героям» (в последние десять — пятнадцать лет они стали именоваться антигероями — у Эмиса, Уэйна, Осборна и др.), бездумное, мотыльковое веселье которых слишком уж часто кончается гибелью.

В «Возвращении в Брайдсхед» автор впервые позволяет себе полюбоваться своими героями: обаятельной Джулией, словно сошедшей — при всем ее живом, современном складе ума — с полотна старинного итальянского художника, заблудшим, но милым Себастьяном, юной Корделией, да и всем семейством аристократов-католиков Марчмейнов, семейством сложным, расколотым, глубоко эгоцентричным, но неотразимо притягательным для рассказчика.

Конечно, Чарльз Райдер — совсем не сколок с Ивлина Во (только в «Испытании Гилберта Пинфолда» мы встречаемся с приближенным к автору персонажем), и писатель позаботился о том, чтобы в романе его не искали личных мотивов, снабдив свое посвящение «Лауре» таким комментарием: «Я — это не я; ты — это не он и не она; они — не они». И все же в романе этом много личного: сам «ностальгический взрыв» — очень понятный, если вспомнить, что писалась книга в 1944 году, когда раненный на фронте Во вернулся в Англию, и тема католицизма, впервые прозвучавшая в художественном произведении писателя. Религия, какой предстает она в романе, полностью лишена экзальтации, проста, буднична и словно бы непритязательна, как старая няня Хокинс, которая, вырастив всех детей Марчмейнов, живет в своей светелке, ни во что не вмешиваясь, но постоянно присутствуя в жизни обитателей Брайдсхеда. Религия не дает, и не должна давать, героям Во ни счастья, ни покоя, ни разрешения жизненных коллизий — только чувство смирения и ответственности за выполнение долга. В чем состоит этот долг, и надо ли, скажем, разрушать человеческую близость ради догмы — это вопрос особый. Важно одно: в сумятице, злобе и алчности всего, что именует писатель «современным веком» (modern age), религия воплощает для него идею порядка, неизменности и высшего бескорыстия, доступного человеку.

Листая эту обширную антологию произведений писателя, мы словно идем по огромному, разнообразному по интерьерам, заполненному всевозможными реликвиями причудливому дому очень английского, даже в своем «антианглийском» сарказме англичанина. держательное предисловие

Г. Анджапаридзе, давно уже изучающего творчество И. Во, помогает читателю в этом путешествии. Переводы всех романов и рассказов, вошедших в книгу, выполнены на высоком профессиональном уровне и передают стилистическое своеобразие каждой вещи. М. Лорие остро чувствует ритм и лексическую характерность, присущую суматошному, абсурдному бытию персонажей «Мерзкой плоти». И. Бернштейн проникновенно и поэтично ведет рассказ Райдера в «Возвращении в Брайдсхед»; свирепо ироническая, гротескная и в то же время легкая и сдержанная манера Во в «Незабвенной» передана Б. Носиком, хорошо звучат и два рассказа в переводе Р. Облонской, и близкая по тону «Мерзкой плоти» эпистолярная новелла «Морское путешествие», также переведенная М. Лорие.

И. ЛЕВИДОВА

ГОДЫ УЧЕНИЯ ЛОРАНА ПАСКЬЕ

Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье (Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями). Перевод с французского. Вступительная статья О. Л. Тимофеевой. Художник Б. Свешников. Москва. «Художественная литература», 1974. 528 стр.

Имя Жоржа Дюамеля (1884—1966) известно русскому читателю с середины двадцатых годов, когда одна за другой вышли несколько его книг; затем оно почти необъяснимо исчезло с наших глаз. В нынешнем году заслугами издателей и переводчиков русскому читателю стало возможно познакомиться с тремя романами из цикла «Хроника семьи Паскье».

Нет нужды обращаться здесь к обстоятельствам биографии Дюамеля. Книге предпослано вступление, написанное О. Л. Тимофеевой, которое не только сообщает необходимые сведения о нем, о его месте и роли в современной французской литературе; оно помогает ощутить дух нравственного беспокойства, который освещал поиски Дюамеля — поэта, драматурга, прозаика, эссеиста. Чтение вступительной статьи не стоит, как все мы нередко делаем, откладывать «на потом» — лучше с нее начать знакомство с писателем. Впоследствии, когда углубишься в суть его книг, тем более интересно будет вдруг уловить, прощупать в них и повороты его, Дюамеля, собственной жизни.

Жорж Дюамель обладал даром слышать свое время. Он работал как хирург на фронтах и первой и второй мировых войн — его книги «Жизнь мучеников» (1917), «Цивилизация» (1918), «Место убежища» (1940) свидетельствуют: он ненавидел войну, ее виновников, ненавидел фашизм; он умел сострадать жертвам войны и фашизма. Дюамель был далек от марксизма, не мог принять революции, если она, пусть вынужденно, на насилие отвечает насилием, мечтал о духовном совершенствовании общества, о революции моральной. И в пятитомном цикле о Салавене, и в десяти романах о семействе Паскье общество, человек, добро и зло — центр всех кружений, побед и падений героев Дюамеля.

Небезразлично, когда встречаешь книгу. Прочти мы «Гаврского нотариуса» (1933) сразу, как он был написан, может быть, мы бы увидели в нем роман нравов — и только, но с тех пор состоялось наше знакомство с Кафкой, и невольно читаешь по-иному повесть о семействе Паскье, о его бесконечной, бессмысленной переписке с неким не совсем реальным персонажем, воплощением судьбы, именуемым Гаврским нотариусом. За описанием радостей, огорчений, потрясений обитателей доходного дома встает извечная борьба человека за существование не в смысле одной нищеты — Паскье не раз оказывались на грани ее,— но та борьба за внутреннюю свободу, что была омертвлена надеждой на наследство, «которая на протяжении двух с лишним лет,— вспоминает Лоран Паскье,— обманывала нас, губила, заставляла не замечать голод и жажду, насыщала нас во время нужды и лишений».

Семейство Паскье, простонародное в своем корне, для Жоржа Дюамеля — воплощение Франции начала XX века. Когда Паскье наконец прозревают, постигают, что мечта о наследстве — тлен и пустота, тогда-то они становятся жизнедеятельны, упорны и добиваются успеха, как его понимает каждый из них. Старшая из сестер, Сесиль, еще в детстве поразившая всех интимной привязанностью к фортепьяно,— звезда в мире искусства, сам рассказчик Лоран обещает быть блестящим ученым, его брат Фердинан пополняет собою ряды добропорядочных обывателей, а красота будущей актрисы, «малышки» Сюзанны, как бы олицетворяет вклад Паскье в образ «прекрасной Франции».

«Гаврский нотариус» — своего рода пролог к «Хронике», здесь мы знакомимся с главными действующими лицами, и надо признать, что Дюамель умеет увлечь читателя их страстями.

Глава семьи Раймон Паскье, красавец с пышными усами, неистовый во всех своих начинаниях,— он «готовился по ночам к экзаменам и, чтоб отогнать сон, колол перочинным ножом тыльную сторону руки», он достиг цели, он — врач, он совсем не молод, но его взрослые дети, как и раньше, когда они вдруг узнавали о существовании побочных семей у Раймона Паскье или о чем-либо другом, столь же ошеломительном, по-прежнему ждут от него экстравагантных выходок. И еще не раз он вызовет их удивление, негодование и восхищение.

Любопытна фигура старшего брата, Жозефа. «Выдающийся человек,— говорит о нем его секретарь,— гений на свой лад, да, я не оговорился — гений наживы». «Нет, нет! — возражает ему Лоран.— Я не признаю такого гения, я отвергаю его». Жозеф готов до нитки обобрать родного отца, чтоб возместить свои убытки. Сесиль объясняет взбешенному Лорану, что страсть брата к

наживе — почти болезнь, он раздавлен ею, вечно боится проиграть. Жозеф не знает удовлетворения: если он едет в одно из своих роскошных поместий, он страдает, что не может жить одновременно в двух других Жозеф — противоположность Лорана, он практичен и циничен: «Ты разрезаешь мышиные лапки на микроскопические кусочки и заявляешь: я занимаюсь чистой наукой! Но все это приведет к созданию какого-либо химического продукта, к заводам, к акциям, которые мы станем покупать и продавать, и эти акции вдохнут подлинную жизнь в ваши благоглупости».

Трепетная тревога за каждого из детей, постоянное ожидание взрывов характера Раймона и работа, вечная работа — такова Люси-Элеонора Паскье, мать семейства, погруженная в заботы о его благополучии. Трогательна и горестна сцена, когда, покинутая мужем ради молодой любовницы, уже старая женщина, она сидит в немом молчании, почти не замечая детей, а ее руки все складывают невидимую ткань и шьют, шьют...

«Наставники» — роман в письмах, вернее, собрание писем Лорана Паскье близкому другу Жюстену Вейлю, которому он поверяет свои размышления о жизни, а порою и сердечные тайны. Лорана влечет наука, жажда познания: «Надо неустанно искать. Надо срывать все маски, распахивать все двери, обходить все препятствия, перевертывать все камни».

Продуманно выбирает Лоран себе наставников — ученых с мировыми именами. Он бежит суеты, весь сосредоточен на своих занятиях, он ищет «покоя сердца» и «покоя ума». Но обманной мечте, будто наука есть прибежище для спокойствия и созерцания, суждено разрушиться — и очень скоро. Лоран становится свидетелем того, как оба его учителя — гордость Франции — вовлечены в мелкую борьбу самолюбий, поглощены недостойным их соперничеством, причем выигрывает более жестокий. Оливье Шальгрен понимает, что их ссора вредна для дела, не без колебаний он приходит к тому, что готов протянуть руку врагу, но его благородная попытка к примирению не принята Ронером — Шальгрена, не выдержавшего нервного напряжения, сражает инсульт. Гибнет натура богатая и светлая. Наука теряет блестящее дарование.

Не умаляя открытий Ронера, его трудолюбия, Лоран отвергает сам тип подобного исследователя, который может с тайным удовлетворением — вот ведь какая выпала удача! — наблюдать, как развивается болезнь его помощницы Катрин Удуар, заразившейся во время опытов. Одна его фраза, брошенная подавленному смертью Катрин Лорану, разрушает доверие к Ронеру как ученому: «Единственный в своем роде случай завершить некоторые наши наблюдения, ибо идиотские законы пока еще запрещают нам экспериментировать на человеке...»

Надо отдать должное Дюамелю: роман написан в 1937 году, надвигалась вторая мировая война, писатель считал нужным напомнить, что наука — смотря по тому, в чьих она руках,— может не только помогать, порой она угрожает людям. И разве этой угрозы нет сегодня?

Как и «Наставники», способен заставить нас задуматься и роман «Битва с тенями» (1939), хотя время действия его отделено от нас более чем полувеком. Лоран Паскье чуждается политики. Она представляется ему занятием людей несостоявшихся. «Меня покоробило,— рассказывает он еще в годы учения Жюстену об открытии научного конгресса,— когда я увидел, что наши мэтры, эти необыкновенные люди, чьи имена останутся в веках, шли позади каких-то там политиков, чьи имена позабудут через полгода. Кажется, у нас во Франции так заведено. Поразмыслив, я решил, что, в общем-то, это даже неплохо, ибо такой порядок публично подчеркивает скромность действительно заслуженного человека». В «Битве с тенями» Лоран уже самостоятельный ученый, он занят лабораторией, опытами, а к увлечению Жюстена Вейля политикой относится как к милой слабости любимого друга. И вдруг пустяк — Биро, лаборант, которого директор Лармина приводит к Лорану, предупредив, что Биро рекомендован ему весьма важным лицом. Лоран убеждается, что новый лаборант — никудышный работник, опасный в своей небрежности и лени, поскольку от него зависит качество вакцин, жизнь людей. Ученый хочет уволить Биро, но наталкивается на решительное сопротивление Лармина.

Директор Лармина — одна из находок Дюамеля, образ-явление, точно им схваченный и пригвожденный для обозрения. Пьер-Этьен Лармина ушел из университета, далеко не дотянув до диплома, полученное им образование было вообще весьма неопределенным, его единственная профессия — изобретательное, упорное плетение интриг ради удобной должности, «причем каким-то чудом у него всегда оказывались необходимые в данном случае способности».

«Он всегда готов был принять то, что ему соблаговолят предложить: заведование каким-нибудь предприятием, руководство театром, получающим субсидию, управление только что учрежденным ведомством, руководящий пост в совете благотворительного общества, участие в какой-нибудь чрезвычайной ревизионной комиссии или комитете по подготовке большой выставки... Он утверждал, писал, а главное, заставлял писать других, что ученые — всегда посредственные администраторы и что, вмешиваясь в вопросы управления, они только бесплодно расточают свои таланты и не выполняют основных своих обязанностей». Так Лармина пробирался на пост директора Национального института биологии. И преуспел. Он даже свою внешность умел приспособить к новому поприщу: теперь он стриг бороду под Пастера и носил такие же узкие очки в тонкой металлической оправе.

«В подчинении у директора Национального института было человек тридцать неза-

урядных сотрудников — научных работников — и профессоров, которые вызывали у него презрение, похожее на затаенную злобу. Он говорил, строя сочувственную мину и улыбаясь: «Все это взрослые дети, беспомощные дети!» Увольнение Биро может вызвать неудовольствие министра, а потому директор идет на компромисс, готов держать на казенном жалованье заведомого бездельника и пройдоху, не смущаясь тем, что одно присутствие Биро парализует работу лаборатории. Лоран негодует — махинации Лармина оскверняют самое науку: «Какое отношение имеет политика к нашим чисто научным, человеческим спорам? Право же, если политика будет вмешиваться во все наши дела и во все наши мысли, это явится признаком того, что Франция не на шутку больна».

Друг или — втайне — недруг советует Лорану обратиться к помощи прессы. Лоран с радостью и волнением пишет статью о том, сколь важна роль маленьких служителей науки, безвестных помощников ученых, и отсылает ее — не придавая тому никакого значения — в крайне правую газету «Натиск». Предостерегающая телеграмма Жюстена уже не может его остановить. Поначалу все и каждый поздравляют его с удачным выступлением. Но невидимые кнопки нажаты, Лармина идет в наступление, и Лоран оказывается центром столкновения политических партий.

Для левых его идея ошельмована уже тем, что статью опубликовал «Натиск». Правые отнюдь не собираются защищать Лорана: он им более не нужен, по их воле его мысли извращены, его замысел опошлен, его имя опорочено в глазах тех самых скромных тружеников науки, во славу которых он писал статью.

Ни талант Лорана, ни преданность науке (он получил орден в двадцать шесть лет за то, что испробовал на себе вакцину, над которой работал) — ничто не может остановить лавину клеветы. Лоран покинут всеми, его хотят лишить ордена, вынуждают выйти в отставку. Начало первой мировой войны неожиданно повертывает его жизнь...

Жюстен Вейль, примчавшийся в Париж по зову друга, вновь и вновь внушает ему: теперь, когда Лоран по себе узнал, как безжалостна игра ученых-политиканов, коль скоро речь идет о награде или теплом местечке, увидел их закулисную возню, умение бульварной прессы всколыхнуть, раззадорить обывателя, дать ему жертву, которую тот будет преследовать письмами в газеты, телефонными звонками — и все во имя патриотизма и морали,— Лоран должен наконец понять, что нет науки, защищенной от общественных схваток железными ставнями. Не определив, на чьей ты стороне в столкновении противоборствующих сил, нельзя увериться в том, стоишь ли в самом деле за добро, сможешь ли его защитить — и в своей лаборатории, и в мире.

Е. ПОМЕРАНЦЕВА

Издано за рубежом

ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ

Слав Хр. Караславов. Предсказания. Лирика. София, Бълг. писател, 1972.

Эту книгу стихов Слав Хр. Караславов озаглавил «Предсказания».

В самом заглавии заключено многое: и пройденный поэтом путь, и открытие истин, которые стоили ему долгих раздумий. Что-то медленно созревало в нем, что-то росло и приближало к более полному и всестороннему восприятию мира. Поэтические предсказания Слава Хр. Караславова знаменуют целый этап в биографии автора.

Он пришел из села, он принес из древнего болгарского села ту доверчивость и те душевные качества, которые всегда были характерны для болгарина, живущего в постоянном общении с природой, склонного к философско-оптимистическому толкованию жизни и немного недоверчиво относящегося к бурным переменам нашего века. В одном давнишнем стихотворении поэт, вспоминая свое село, заметил, что телевизор всегда будет для него «буйволовым глазом», светящимся в ночи.

Есть что-то настойчивое в этой защите прошлого, что-то светлое и чуть-чуть грустное. В свое время поэт был одним из тех, о ком он пишет сейчас:

И врывались мы в города,
чтобы в кровь их влить свою силу[1].

Но не все отшумело: в новых стремительных днях поэта бывают минуты возвращения к первоисточникам:

Назад вернуться мы давали слово—
назад—от этой спешки, суеты.
Но утром нас захватывали снова
звонки трамваев, планы и мечты.

«Вернуться назад» — означало возвращение в село, где находятся корни поэта. Это возвращение, в сущности, невозможно, и об этом часто тоскует поэт (критики искали «связи» между поэзией Караславова — сына земли и поэзией Есенина, да и сам Караславов дал повод к этому своими сти-

[1] Здесь и далее — перевод стихов Л. Дымовой.

хами, в которых исповедуется в светлой любви к великому советскому поэту).

«Предсказания» завершают один этап и открывают собой новый этап в творчестве поэта, свидетельствуя о его полном слиянии с сегодняшней действительностью, не только как современника, но прежде всего как участника и созидателя. Он сам великолепно выразил это в программном стихотворении, которое дало название всему сборнику:

В те дни, когда на стройках беспримерных
мы натирали на руках мозоли,
ко мне в ночи пришла однажды Верность
и молвила: — Твоя завидна доля!
Да будешь ты землей родимой горд,
да будешь верен ей, и смел, и стоек.
И в каменной ладони древних гор
ты воспоешь огни великих строек.

«Предсказания» — книга-биография, рассказывающая о жизни человека, поэзия которого отражает самые плодотворные творческие поиски молодой болгарской литературы.

Своеобразно и характерно это подкупающее приобщение человека из деревни к новой духовной жизни, к усилиям социалистического строительства, в которое он привносит свое особое мироощущение и оценки. Благодаря любви к родной земле, к земле Болгарии поэт находит емкие и проникновенные образы для выражения своих гражданских чувств. «Предсказания» — книга о коммунистическом патриотизме и интернационализме, воплощенных чрезвычайно ярко и эмоционально. В ней рядом с образом Димитрова живут образы героев-септемврийцев, коммунистов, партизан, в ней ощущается горячая любовь к Советской стране, и это чувство находит отражение не только в поэтической, но и в гражданской деятельности Караславова.

Так осуществляется связь поэта с современностью, с миром, в котором он живет. И особенности мироощущения заставляют поэта искать в стихах масштабные и точные соизмерения с настоящим днем. Караславов находит эти измерения. В большинстве стихотворений, помещенных в «Предсказаниях», чувства, волнующие его, неотделимы от тревог и сложных проблем всей планеты.

Человечество, делишься ты своими делами
и мыслями
на ночь и день, на солнце и мрак, на добро
и на злость.
И мы начеку, охраняем мы жизнь, ее
травы росистые,
превращая грядущего пеструю радугу
в невиданный мост.

Эта связь поэтического мышления с проблемами времени, эта ответственность за все, что происходит в мире, присуща поэту-коммунисту.

Будущее — к нему он обращается очень часто — это торжество человеческой красоты, это мир, преобразованный по светлым законам социалистического общества. Сборник стихов «Предсказания» — поэтическое «верую» коммуниста, который страдает, борется и грудится во имя торжества коммунистического идеала.

На каждой странице книги Караславов предстает в новом качестве. Читателя убеждает в этом богатство тем сборника, широта их поэтической трактовки, мастерство, которое присуще каждому стихотворению. Никакой монотонности, никаких повторов. Велико и ритмическое разнообразие стихов, свидетельствующее о творческих поисках автора.

Перелистывая эти страницы поэтической биографии Караславова, читатель более глубоко проникает в мир своих собственных переживаний и верит «предсказаниям» поэта на завтрашний день.

Отсюда — светлый оптимизм книги, ее действительная поэтическая ценность.

Николай АНТОНОВ

г. София

ОГОНЬ ДУШИ НЕТЛЕННОЙ

Mesterházi Lajos. A. Prométheusz — rejtély. Regeny. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1973.

Прометей... Этот один из самых замечательных героев античных сказаний вдохновлял многих прозаиков и поэтов. Платон, Эсхил, Овидий, Байрон, Шелли, Гёте, Петефи, Огарев... Каждый из них обращался к этому образу, чтобы с позиций времени, в которое он жил, выразить свои идеалы и представления о борьбе за свободу и счастье человека. Сейчас в ряд произведений, воссоздающих образ титана действия, гордого бунтаря и гуманиста, встал роман известного венгерского писателя Лайоша Мештерхази «Тайна Прометея».

По свидетельству самого автора, его с детства занимал вопрос о том, что случилось с Прометеем после освобождения. И вот Мештерхази обращается к мифу, чтобы, как сказал А. М. Горький, «добавить, домыслить по логике гипотезы желаемое, возможное и этим дополнить образ, получив тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения практически изменяющего мир».

Мештерхази обращается к истории Древней Греции и непосредственно к мифу о Прометее для воплощения очень современной идеи — идеи мира как истинной меры Добра на земле.

Содержание романа охватывает небольшой исторический период от 1218 года до н. э.— года освобождения Прометея, до 1195 года до н. э.— даты его смерти. Но оговоримся сразу, что даты в романе условны и что произведение это по своему жанру — не исторический роман, а скорее роман-эссе, своего рода аллегория, а об-

ращение Мештерхази к истории и мифологии — лишь художественный прием.

В центре повествования — путешествие Прометея с Гераклом и его спутниками, начавшееся у гор Кавказа и проходившее по берегу Эгейского моря до города Микены, где Прометей проводит последние двадцать лет жизни и умирает, отвергнутый и забытый. Вокруг этого путешествия и размещаются автором общественно-бытовые и политические события того времени.

Философское исследование жизни в ходе путешествия — прием, хорошо известный в литературе. В романе существует свой социально-исторический фон и политическая атмосфера: перед читателем проходят разнообразные картины военной жизни и мирного быта греческих племен — битва с амазонками, поход аргонавтов, эпизод похищения Гесионы, дипломатическая экспедиция Геракла в страны Средиземного моря. Среди действующих лиц, а их в романе более ста — боги Олимпа и цари (басилевсы) городов-государств, вожди племен и простые мастеровые, крестьяне, свободные жители, слуги и воины.

Мештерхази вовлекает в эти события Прометея, являющегося своего рода героем-наблюдателем, сталкивает его с людьми, обнажая самые существенные вопросы их бытия, в том числе и проблему личной ответственности человека перед обществом, особенно если человек облечен властью.

Весь роман строится на принципе антитезы. Ее полюсы — Прометей и Зевс — воплощают диаметрально противоположные философско-нравственные принципы Добра и Зла. Все остальные персонажи распределены между этими полюсами. В общем плане проблемы Добра и Зла ставится и проблема мира и войны.

Итак, в 1218 году до н. э. Геракл — один из самых популярных героев греческого эпоса — освободил Прометея, прикованного к скале по распоряжению Зевса за то, что он похитил для людей огонь во имя их счастья. Освобожденного Прометея прежде всего интересует, как люди употребили дарованный им огонь. Что же он видит и какой ответ получает на вопрос, рефреном звучащий в каждой главе романа?

Через многие города-государства Древней Греции проехал Прометей, прежде чем попал в Микены, и везде сталкивается он с одним и тем же: простые люди используют огонь для очага, для защиты от зверей, для мирных ремесел. Но знатные люди, вожди племен, старейшины, обучив слуг кузнечному ремеслу, стали с помощью огня ковать оружие. Оружие для войн, для захвата новых земель, для сохранения власти. И когда царь Микен Атрей, ярый сторонник «военной партии», стремится приобщить Прометея к своим военным планам, он уклоняется, выражая тем самым ясную и определенную позицию.

Но если Прометей уклоняется, то Геракл, находящийся на одном полюсе с Прометеем, вступает со сторонниками «военной партии» в открытую полемику. Так было при встрече с царем Трои Приамом, пытавшимся вовлечь Геракла в военную авантюру, так было с царем Фив Креоном, стремящимся достичь могущества своего города-государства с помощью силы. Мештерхази показывает высокую нравственную силу Геракла, особенно проявившуюся в отстаивании мира.

Изображение басилевсов и других представителей высшей власти рабовладельческого общества: Приама, Атрея — подчинено идейно-философской цели романа — обнажить классовую сущность военной идеологии.

В лице басилевсов, алчно стремящихся к войне, Мештерхази показывает антинародность власти класса имущих, ее реакционный характер.

У Прометея и Геракла было немало сторонников — это братья Диоскуры, Кастор, Полидевк, Пайрифой, Терсит. С огромной симпатией изображает их автор как людей прямых, честных, не способных на компромиссы, и их поступки, как, впрочем, и поступки всех героев романа, соотносит с поведением современников.

Напомним, что изображаемые события для Мештерхази — лишь повод для раздумий. В этом романе он выступает как художник-мыслитель, который вопросы сегодняшней политики ряда западных государственных деятелей трактует как философско-этическую проблему, связанную с проблемой власти. Власть, не сдерживаемая в моральном аспекте чувством ответственности за судьбы людей и судьбы мира, по мнению Мештерхази,— власть деспотическая, антинародная, уходящая своими корнями в идеологию зевсизма: люди обречены на страдания. Всей логикой повествования автор подводит читателя к мысли о том, что человек создан для счастья, для добрых деяний во имя социального прогресса, подводит к раздумьям о проблемах наших дней, о природе власти в капиталистическом и социалистическом обществе, о том, что идеология капитализма несовместима с самим понятием Добра.

Книга Мештерхази, сочетающая в себе эпичность повествования с яркой образностью и глубоким философским началом, вызывает высокое нравственное сопереживание.

М. УЛЬРИХ

СВЯЗАТЬ ПРОШЛОЕ С НАСТОЯЩИМ

Kurt David. Die Überlebende. Novelle. Berlin, Neues Leben, 1973.

Писатель едет в незнакомый ему польский город. На вокзале его должна встречать женщина, о которой он не знает ничего, кроме того, что она назвала себя — Данута Гадомска. Эта подпись стояла под телеграммой, которую он получил несколько дней назад.

Так начинается повесть Курта Давида «Оставшаяся в живых»[1]. Главный герой, от лица которого написана повесть и имени которого читатель так и не узнает до конца, фигура явно автобиографическая. Много месяцев он, писатель, работал над романом о небольшой группе Сопротивления, которая действовала в 1944 году на территории Польши, в немецком тылу. Когда работа подходила к концу и было написано 180 страниц, ему захотелось начать все сначала. То, что он нашел в документах, показалось ему недостаточным, а сам роман малоправдивым. И тогда он послал запрос в Польшу, в надежде получить дополнительные сведения. Ответ ошеломил писателя. Почему телеграмма подписана именем Дануты? Ведь так звали единственную женщину в этой группе, и он считал, что она погибла вместе с остальными. А если она жива, узнает ли он, как все было на самом деле?

Женщина оказывается той самой Данутой. Три дня они проводят вместе, три дня Данута (ее настоящее имя — Тереза Гадомска) показывает писателю места, где действовала группа, знакомит с людьми, которые имели хоть какое-то отношение к событиям, и рассказывает, рассказывает, рассказывает...

В рассказах оживают ее товарищи: два немца — сдержанный, с огромным самообладанием командир группы Лео и юный Бернгард, поляк Генрик, резкий, порой даже грубый. Непохожие друг на друга, но единые в своих устремлениях, делающие общее дело.

Двадцать семь лет назад писатель и Данута принадлежали к разным лагерям, это накладывает известный отпечаток на их отношения. Данута раскрывается не сразу: недоверие, даже враждебность — ведь перед ней бывший солдат гитлеровской армии! — постепенно отступают. И, начав рассказывать, она хочет быть откровенной до конца, не утаивает ни одной детали.

Это история не только борьбы, но и история любви Дануты и Бернгарда. Пытаясь спасти любимого, у которого начиналась газовая гангрена, Данута нарушила запрет Лео, ползком выбралась из сарая, где они скрывались, добралась до деревни, достала у знакомого врача лекарство и на обратном пути, почти достигнув цели, увидела: немцы окружают их убежище. Она слышит, как отстреливаются ее товарищи, на ее глазах фашисты поджигают сарай.

Как она жила дальше? Страшное, тяжкое бремя вины пронесла Данута через всю жизнь. Свой дерзкий поступок она считает причиной гибели трех товарищей. По-видимому, немцы заметили ее, когда она выползла из сарая, и таким образом было обнаружено пристанище их группы. Почти не сознавая, что делает, Данута убивает из своей засады трех немцев, из тех, кто поджигал сарай. Несколько дней она бродит по лесу, обезумев от горя, «без еды, без питья, без мыслей, без цели... И вдруг я почувствовала, как задрожала земля под ногами. Я поднялась на большой холм и увидела вдалеке пламя. Все вокруг — небо, деревья, земля — стало алым». Так был разбомблен склад боеприпасов четвертой немецкой танковой армии, ориентиры которого дала их группа, так завершилась их работа. «И тогда я подумала: Бернгард, Генрик, Лео... Вас уже нет, но через пять дней после вашей гибели под моими ногами сотрясается земля...»

Что было потом? Об этом Данута рассказывает очень коротко. Она присоединилась к отряду Армии Людовой, была ранена, ее переправили в маленькую деревушку, где вскоре после победы она родила сына. Скиталась из деревни в деревню, сопровождаемая недоверием и подозрительными взглядами. «Свидетели мои были мертвы, а рассказывать подробности я не могла»,— говорит Данута. И только через несколько месяцев она перебралась в город, где начала учиться, работать, воспитывать сына.

«Многие годы жизнь для меня была мукой. И сейчас еще мне бывает очень тяжело... Когда человек остается жить, он обычно радуется, считает это счастьем. Я не могла этому радоваться...

[1] Рецензия уже была сдана в набор, когда вышел седьмой номер журнала «Знамя» с повестью К. Давида (под названием «Пережившая»).

— И я первый человек, кому вы все рассказали — спрашивает писатель.

— Второй. Первым был мой сын».

Прощаясь с Данутой, писатель понимает, что этой истории, истории трагической любви, он не забудет. Как он напишет свою книгу? Он не знает. Но во всяком случае совсем по-другому.

Повесть «Оставшаяся в живых» сразу привлекла внимание и читателей и прессы. В течение полугода она выдержала два издания. Критики называют повесть одним из лучших прозаических произведений Германской Демократической Республики последних лет. Написанная хорошим, живым языком, оригинально построенная, с тонкими психологическими оттенками в обрисовке характеров, книга читается с интересом. Напряженность действия перемежается в ней с глубокими раздумьями о жизни, о людях, о любви, о чувстве долга, о дружбе и верности.

Курт Давид, выступивший еще в середине пятидесятых годов, известен в основном как автор книг для детей и юношества и книги, посвященной Бетховену, «Встреча с бессмертием». В 1973 году Давиду была присуждена Национальная премия. В том же году были опубликованы интервью с писателем.

В беседе с Давидом главный редактор журнала «Нойе дойче литератур» Вернер Нойберт назвал его творчество «оригинальным единством эстетических, этических и исторических элементов». В этой связи он много внимания уделил книге о Бетховене. Курт Давид сумел донести до читателей эпоху, в которой жил и творил великий композитор, сумел передать образ Бетховена, дух его музыки, силу его гуманизма. Нойберт отметил в книге «Встреча с бессмертием» важную особенность творчества Давида — умение связать прошлое с настоящим, особенность, проявившуюся и в повести «Оставшаяся в живых».

Вспоминая о том, как создавалась повесть, Курт Давид сам останавливался именно на этом. «Поиски связи прошлого с настоящим для меня всегда — самое главное. Когда я начал писать повесть, я все время чувствовал, что мне не хватает чего-то очень важного. Я хотел рассказать историю, основанную на фактах, но чем больше было написано, тем меньше меня удовлетворяло то, что я написал. И только когда мне удалось перекинуть мостик к современности, все изменилось. Я перестал быть наблюдателем и стал как бы участником событий. Именно этот рабочий процесс отразился в творческих поисках героя повести».

Не случайно и то, что в своей новой книге Курт Давид обратился к Польше. Нацистские преступления против соседних народов, война, Сопротивление — темы, к которым он все время возвращается. В Польше он бывал, он изучил ее историю, ее литературу, он хорошо знает жизнь страны, ее обычаи, ее людей. Может быть, именно состав маленькой антифашистской группы: два немца и два поляка — и был толчком к выбору сюжета повести.

«Когда я вижу,— говорит Давид,— как поляки ходят по нашим улицам, как они приезжают к нам, а мы к ним, как мы дружим, как обмениваемся опытом, как преодолеваются барьеры между нашими странами, я думаю о том, что это и есть выражение того большого исторического процесса, о котором я стремлюсь рассказать читателям, результат совместных усилий двух народов, проявление интернационализма в самом точном смысле этого слова».

Л. ХАРЛАП

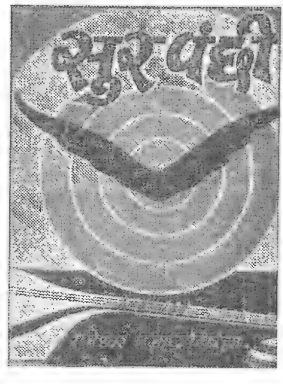
ЛЕГКОКРЫЛАЯ МУЗА ПОЭТА

Рамешвар Прасад Синха. Сурпанчхи. Баксар, Пушкар пракашан, 1972 (на языке бходжпури).

Хотя эта книга с поэтическим названием «Мелодия — птица» была издана скромным тиражом в небольшом городке Баксаре, расположенном в восточной части штата Уттар-Прадеш, и принадлежит молодому почти не известному в литературных кругах автору, для индийского читателя она не осталась незамеченной. Она представляет новую литературу, развивающуюся на бходжпури — языке, который распространен в восточной части штата Уттар-Прадеш и в западных районах Бихара. По некоторым оценкам, численность говорящих на бходжпури достигает 35 миллионов человек. В качестве языка школы, администрации, основных средств массовой коммуникации в этом районе используется хинди.

Правительство и прогрессивные силы Индии уделяют особое внимание культурному подъему масс, который невозможен без развития местных языков и складывающихся на них литератур.

Первые литературные произведения на бходжпури появились еще в раннем средневековье. Количество публикаций: сборников стихов, рассказов, очерков, драматургических произведений, созданных на бходжпури начиная с конца XIX века, состав-



ляет свыше 200 названий, причем подавляющее большинство приходится на последнее десятилетие. Ныне бходжпурская литература представлена всеми жанрами. Вопрос о признании бходжпури в качестве самостоятельного литературного языка находится на рассмотрении Литературной академии Индии.

Автору книги «Мелодия — птица» Р. П. Синхе всего 28 лет. Он относится к тому поколению поэтов, которое вошло в жизнь в условиях независимой Индии. Получив образование на хинди, Р. П. Синха не утратил, однако, интереса к родному языку и ныне, работая преподавателем хинди в одном из колледжей Баксара, стихи свои предпочитает слагать на бходжпури, который остается для него по-прежнему самым тонким и незаменимым поэтическим инструментом.

Любовная и пейзажная лирика Р. П. Синхи благодаря своей задушевности напоминает неторопливый разговор с собеседником или размышления вслух.

Через всю книгу проходит образ материродины. Любуясь родной природой или народными гуляниями в день праздника огней — Дивали, когда все города и селения Индии переливаются бесчисленными огоньками, поэт понимает, что на земле утверждается только зыбкая видимость безмятежной жизни: праздничные огни не устраняют, но лишь на короткие часы дают возможность забыть земные заботы и тревоги труженика («На землю спустился рай»). Поэта глубоко волнуют социальные проблемы его родины, задачу поэзии он видит в том, чтобы пробуждать людей к новой жизни, нести им свет и справедливость.

По форме стихи сборника сочетают в себе черты традиционного и новаторского. Опираясь на лучшие традиции индийской просодии, поэт добивается максимальной выразительности. И образы стихов зачастую традиционны. В соответствии со стародавним обычаем сборник открывается обращением к покровительнице поэзии Сарасвати — богине мудрости и красноречия, что воспринимается не как слепое следование канону, а как дань уважения народной традиции. Р. П. Синха, видимо, хорошо знает и любит культурное наследие своего народа — многие его стихи близки народным песням, которыми так богата бходжпурская земля («Минули холода», «Дождевая туча», «Западный ветерок», «Потянуло прохладой» и другие).

Однако, развивая поэтические традиции прошлого, Р. П. Синха не ограничивается только традиционной просодией, он широко использует белый стих, верлибр, придает своим стихам живую, разговорную интонацию.

В стихотворном обращении к Сарасвати открывающем сборник, поэт просил гордую богиню

наполнить силой скромный стих
и чуткой душой одарить.

Богиня, видимо, вняла его мольбе и щедро наградила смиренного просителя поэтическим даром. Сборник стихов «Мелодия — птица» стал заметным явлением в литературной жизни бходжпурцев

В. ЧЕРНЫШЕВ

Из месяца в месяц

АЛЖИР

ЭНТУЗИАСТЫ ИЗ «БРОДЯЧЕГО ТЕАТРА»

Как отмечает театральный критик газеты «Аль-Муджахид» Сара Мухуб, среди многочисленных полупрофессиональных молодежных театральных трупп Алжира в последнее время внимание общественности привлек «Театр дэ Номад» («Бродячий театр»). Труппа насчитывает несколько человек, все ее имущество умещается в небольшом грузовичке, в котором молодые энтузиасты переезжают с одного места на другое.

Рецензент пишет, что спектакль «Бродячего театра» состоит из нескольких сцен, объединенных общей идеей — разоблачить эксплуатацию человека человеком, разъяснить необходимость и смысл аграрной реформы и других социальных преобразований.

Играют актеры в условной манере, в спектакле много народных песен, задающих представлению нужный ритм. Особенно привлекает зрителей то, что спектакль идет на доступном для всех алжирском диалекте арабского языка.

Артисты «Бродячего театра» рассказали корреспонденту, что, наметив основные линии будущего спектакля, они отправились на юг страны собирать материал. Постепенно каркас представления обрастал текстом, песнями. В заключительной стадии работы молодым энтузиастам оказал помощь профессиональный театр Орана. На вопрос об их дальнейших планах артисты ответили: «Продолжать работу над текстом пьесы, ездить со своим спектаклем по учебным заведениям, заводам, сельским кооперативам».

АНГЛИЯ

САТИРА МАЙКЛА ФРЕЙНА

Успех последней книги Майкла Фрейна свидетельствует о том, что за автором, в прошлом журналистом, закрепилась в последние несколько лет репутация талантливого сатирика. Его роман, название которого можно перевести как «Сладкие сны», был восторженно встречен критикой и вскоре стал бестселлером. Известная английская писательница Маргарет Дрэббл пишет о нем на страницах американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью»:

«От души рекомендую... Книга сверкающая, умная, радостная, стилистически превосходная, поразительно смешная... У Фрейна редкий талант: его обманчиво простые книги долго живут в сознании, их можно перечитывать с огромным удовольствием,— и эта книга не составляет исключения».

Героя романа, Говарда Бейкера, похищают с лондонской улицы. Он попадает на небеса, в фантастический город, жизнь в котором удивительно напоминает ему современную Англию и Америку. Но со знакомым герою настоящим в раю легко уживается прошлое и будущее — те представления о прошлом и будущем, которые занимают сегодня современного человека. Однако, поскольку это рай, все неразрешимые задачи прошлого, современные конфликты и те опасности, которые омрачают мечты людей о будущем, здесь легко разрешимы и даже прозаичны. Продвижения по

службе происходят исключительно в соответствии со здравым смыслом. Жены, любовницы, дети—все процветают. Герои книги заняты самыми прозаическими и невероятно сложными проблемами: кого пригласить к чаю и как создать действенную систему ценностей...

«Роман Фрейна,— пишет Дрэбб,— сатира на современную моду, быт, работу, привычки и взгляды, это отчет о процессе возмужания современного человека, размышления о его природе...»

Рецензент американского журнала «Сатердей ревью» сравнивает Фрейна со Свифтом и Шоу, называет его книгу «комическим и космическим произведением», которое можно цитировать без конца, потому что рассыпанные в нем афоризмы «не только остроумны, но и глубоки по мысли».

ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРСТВА

В издательстве «Хэмиш Гамилтон» вышел роман молодой английской писательницы, лауреата нескольких литературных премий Сьюзен Хилл «Весной». По мнению рецензента журнала «Лиснер», этот роман — ее самое большое художественное достижение. Сьюзен Хилл пишет о горе молодой женщины после утраты любимого мужа, об одиночестве, трудности, а подчас и невозможности общения. Это книга об отношениях между людьми, которых горе либо сближает, либо еще более отчуждает. Критики отмечают, что в этом произведении Сьюзен Хилл остается такой же камерной, лиричной, какой ее знают читатели по предыдущим книгам.

Герои Сьюзен Хилл — обездоленные, неудачники, мелкие служащие, замученные суетой жизни,— не замыкаются в своем горе и одиночестве, они всеми силами стараются пробить стену, отделяющую их от других людей, чтобы душевно согреться и согреть других. Именно такой предстает, как пишет обозреватель «Лиснера», главная героиня романа «Весной» Рут. Она медленно выздоравливает после тяжелой психической травмы. Большую роль в возвращении Рут к жизни играет природа.

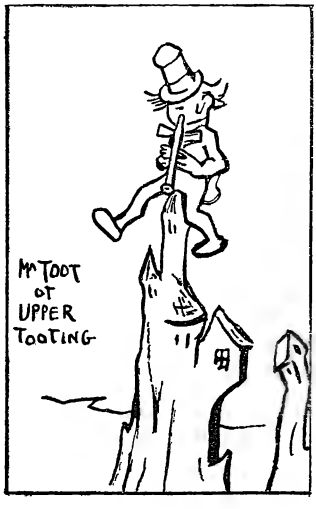
Рецензенты отмечают, что книга Сьюзен Хилл выгодно отличается от многих современных произведений на ту же тему «внутренней просветленностью, желанием видеть жизнь наполненной смыслом и радостью».

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЕСТЕРТОНА

«Честертон, Гилберт Кит. По отрывкам дошедших до нас произведений этого забытого ныне писателя трудно даже судить о причинах той широчайшей популярности, которой он пользовался у современников; тем не менее есть основание полагать, что он не был лишен известных преходящих проблесков таланта»—

«Честертониана»: рисунок Честертона из серии «Лондонские типы», силуэтный набросок Эрика Джилла, чешская почтовая марка — все эти иллюстрации в еженедельнике «Таймс литерари сапплмент» воспроизводят экспонаты открытой в Лондоне в помещении Национальной Лиги книг выставки «Г. К. Честертон, 1874—1974», на которой представлены книги, рисунки, рукописи и другие предметы «Честертонианы», собранные Джоном Салливеном.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)



вот та оценка, которую, полагал Честертон, дадут его жизни и творчеству будущие исследователи. На редкость скромный человек, он никогда не считал себя «настоящим романистом», а лишь «журналистом», объясняя свой успех небывалым подъемом издательской деятельности в Англии начала века, расцветом разного рода журнальных и книжных изданий.

К столетию со дня рождения знаменитого английского писателя вышла книга «Г. К. Честертон. Оценка через столетие». Ее редактор и составитель Джон Салливен собрал в ней воспоминания современников Честертона, посвященные ему эссе писателей и поэтов наших дней, работы современных литературоведов. Одни материалы этого любопытного сборника помогают лучше узнать Честертона-человека, в других делается попытка установить связи его многогранного и самобытного творчества с общим процессом развития английской литературы. Одновременно с этой книгой вышел сборник стихов Г. К. Честертона «Старики за игрой и другие шуточные стихи», пять из вошедших в него стихотворений опубликованы впервые. Известный английский поэт У. Г. Оден в статье, посвященной творчеству Г. К. Честертона, называет его стихи «Старики за игрой» прекраснейшим образцом английской шуточной поэзии.

БОЛГАРИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась теоретическая конференция Союза болгарских писателей по вопросам юмора и сатиры. Конференцию открыл председатель СБП академик П. Зарев, который заявил, что современная тема не может быть полностью раскрыта в литературе без достаточно широкого развития сатиры и юмора. Сатира сейчас необходима для совершенствования социалистического общества, она — прямой помощник партии в деле преобразования человека. Во вступительном слове секретарь СБП А. Гуляшки подчеркнул значение сатиры в общем литературном процессе и остановился на явлениях, мешающих ее расцвету, — недоброжелательном отношении к сатире в редакциях и издательствах, боязни ее и грубом противодействии тех, кого она затронула. Сатира социалистического реализма должна быть утверждающей, но это утверждение осуществляется через отрицание и изобличение всего враждебного коммунистическому идеалу. На конференции с докладами выступили А. Гуляшки («Основные вопросы юмора и сатиры в социалистическом обществе»), С. Хаждикосев («Юмор и сатира в поэзии последних лет»), С. Гьорова («О развитии современной болгарской комедии»). В работе конференции участвовала также советская делегация в составе М. Семенова, Ю. Борева и Д. Николаева.

После окончания конференции с ее участниками встретился Тодор Живков.

ИНТЕРЕС К СОВРЕМЕННОСТИ

В своем докладе на заседании Правления Союза болгарских писателей, посвященном художественной прозе 1973 года, секретарь Союза Драгомир Асенов познакомил своих коллег с некоторыми цифрами. Включая первые три месяца нового года, было издано около 200 книг. В области издания произведений на исторические темы Асенов отметил два крупных события — выход книг Андрея Гуляшки «Золотой век» и V том эпопеи «Простые люди» Георгия Караславова. Новое отношение к прошлому болгарского народа чувствуется в таких волнующих книгах, как «Они умирали бессмертными» Веселина Андреева, «Пережитые рассказы» Добри Жотева, «Тихие закаты» Васила Акева. В них осмысляется опыт антифашистской борьбы.

Современная тема удачно представлена романом Атанаса Наковского «Мир вечером, мир утром», в котором образ коммуниста Темелкова является «открытием, ставящим острые проблемы перед строителем и руководителем». В своем докладе Асенов отметил романы Эмиля Манова «Сын директора», Косты Странджева «Храбрость жить», Цилии Лачевой «Долгоиграющая пластинка», сборники рассказов Дончо Цончева, Владимира Зарева. Высокую оценку в выступлении академика Пантелея Зарева получили рассказы Жотева, книга молодого прозаика Любена Петкова «Розовый пеликан».

В заключение председатель Союза болгарских писателей академик Зарев подчеркнул, что «существуют предпосылки для дальнейшего прогресса, для новых серьезных достижений».

На заседании были объявлены премии Союза болгарских писателей за лучшие художественные произведения 1973 года. Ими стали книги Андреева «Они умирали бессмертными», Добри Жотева «Пережитые рассказы», Наковского «Мир вечером, мир утром» и поэтические сборники — Любомира Левчева «Дневник для сожжения» и Пырвана Стефанова «Арматура барабанов».

ЮБИЛЕЙНЫЙ СМОТР

Накануне Пятого смотра Национального театра еженедельник «Народна култура» посвятил этому событию несколько номеров.

Годы народной власти проявили самые лучшие качества болгарского театра, стали порой созревания и процветания. Старые традиции театра Сарафова, Киркова, Огнянова получили развитие благодаря при-

ходу в театр таких мастеров современной драмы, как Лозан Стрелков, Драгомир Асенов, Камен Зидаров, Георгий Караславов, а также и более молодых — Кольо Георгиева, Недялко Йорданова, Николы Русева. «Театр и драматургия развиваются на единой идейно-эстетической и методологической основе — методе социалистического реализма»,— отмечает известный критик-театровед Димитр Канушев.

Среди успехов болгарской драмы достойное место занимает последняя пьеса трилогии Лозана Стрелкова «Поездка к правде» на сцене Народного театра им. Ивана Вазова. Это произведение всецело устремлено в современность и своим ярким драматическим пафосом весьма характерно для автора. Пьеса посвящена одному из самых трудных и важных моментов в новой истории Болгарии — периоду коллективизации сельского хозяйства. Стрелков с большим мастерством показал нелегкую, но счастливую жизнь сторонников новых идей. К новой пьесе проявлен большой интерес, ибо сельская тема пока что не является частым гостем на сценах театров.

В этом году на международном кинофестивале в Канне венгерскими кинематографистами была представлена новая работа известного режиссера Кароя Макка — кинолента «Игра в кошки-мышки», созданная по мотивам одноименной пьесы Иштвана Эркеня.
На снимке: кадр из фильма. В главной роли заслуженная артистка Венгерской Народной Республики, лауреат Государственной премии Кошута Имре Булла.

(Журнал «Фильм, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ АНТОЛОГИЯ

В Будапеште в издательстве «Кошут» вышла антология «Рассказывают современники». Это первая книга многотомного издания социографических работ о рабочем классе, охватывающих период с 1868 по 1945 год. Журнал «Иностранная литература» (№ 6, 1972) познакомил советского читателя с произведениями этого жанра, напечатав исследование писателя Эрнё Гондоша о проблемах культурного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Вступление к этой публикации рассказывало о характере социографических произведений.

Антология «Рассказывают современники» была с интересом встречена общественностью. Особую ценность, отмечается на страницах литературного ежемесячника «Кёньвилаг», представляют материалы о зарождении и первых шагах венгерского рабочего движения. В книге опубликованы работы таких известных писателей, как Молнар Эрик, Иожеф Дарваш, Лайош Надь, Ференц Фельдеак, Ласло Геребеш, Пе-

тер Верешт, историка Дюлы Резлера и других, а также воспоминания профсоюзных и партийных руководителей рабочего движения.

ГДР

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

В Эрфурте состоялся XV фестиваль пролетарского искусства. Он прошел под знаком юбилейного года Германской Демократической Республики. Более 200 ансамблей из разных городов и сел республики, а также из других стран приняли участие в праздничных выступлениях. Наряду с профессиональными коллективами выступили и самодеятельные театры, оркестры и хоры. Были организованы выступления известных писателей и членов кружков пишущих рабочих. Экспонировались выставки изобразительного искусства.

200 золотых медалей было присуждено артистам, писателям, художникам, режиссерам, участникам художественной самодеятельности, музыкальным и театральным коллективам. Награды присуждены и ансамблям из СССР, Польши, Чехословакии и Венгрии. По установившейся традиции к фестивалю было приурочено присуждение премий Свободных немецких профсоюзов, которые вручил председатель президиума Объединения Свободных немецких профсоюзов Герберт Варнке.

Среди награжденных — писатели Эрик Нойч, Герберт Иобст, Армин Мюллер.

НОВЫЙ ФИЛЬМ КОНРАДА ВОЛЬФА

«Голый человек на стадионе» — так называется новый фильм, созданный на студии ДЕФА режиссером Конрадом Вольфом по сценарию Вольфганга Кольхазе.

Кадр из фильма «Голый человек на стадионе».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Рассказывая о жизни скульптора Кеммеля, о его работе, о его семье, этот фильм, как и другие картины последнего времени, созданные на студии ДЕФА, строится не на сюжете. Главное здесь — размышления о жизни, об искусстве, конфликты и проблемы, волнующие современных людей.

Рецензенты отмечают, что новый фильм лишен излишней эмоциональности, броской эффектности. «Хорошо слаженный творческий коллектив, умело подобранные исполнители главных ролей сумели достичь большой жизненной достоверности, подчеркнуть то значительное, что есть в нашей повседневности».

ФРГ

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ ПОЭЗИИ?

С таким вопросом обращается к читателям западногерманского еженедельника «Ди цайт» известный литературный критик Дитер Циммер.

Поводом для его размышлений послужила получившая широкую известность автобиографическая книга замечательного чилийского поэта Пабло Неруды. «Мне выпало на долю страдать и бороться, любить и петь»,— пишет Неруда, заявляя, что высшая награда для поэта — чувство братства с людьми труда.

«Когда читаешь такие строки,— замечает Дитер Циммер,— особенно ясно чувствуешь то, что уже известно давно, но не всегда отчетливо сознавалось: у нас больше нет поэзии.

Конечно, — продолжает он,— еще пишутся стихи, по некоторым данным, даже больше, чем в прошлые годы. Время от времени находится какой-нибудь смелый издатель, который вопреки расчету и доводам разума выпускает поэтическую книгу. Все это есть, но я имею в виду другое. Я имею в виду то обстоятельство, что слова «поэт», «стихотворение», «поэзия», «лирика» повсюду в нашем обществе вызывают сейчас ироническую улыбку, словно речь идет о чем-то сомнительном, в каком-то смысле уже атавистическом.

Стихи, пусть полустыдливо, но еще существуют; не стало иного — общественного отклика... Ингеборг Бахман, Айх, Энценсбергер рано перестали писать стихи, для Грасса это всегда было попутным занятием, Целан и Хухель так замкнулись в себе, как будто читатель был для них обузой».

«В чем причина?» — спрашивает автор. Мнение, буд-

то наш век рационализма и технического прогресса вообще «противопоказан» поэзии, представляется ему неубедительным. «В ГДР и в других коммунистических странах, где технический прогресс приветствуют с еще большим энтузиазмом, чем у нас, поэзия как общественное дело всегда сохраняла жизнеспособность, и теперь еще в большей степени, чем прежде». Может быть, это потому, что там «ее пропагандируют уже в школах, вместо того чтобы, как у нас, дискредитировать, объявляя излишеством и буржуазной забавой?» Как бы там ни было, причину следует искать в общественных отношениях, приходит к выводу автор.

ЧТО СМОТРЯТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ?

Западногерманские социологи провели исследование популярности телевизионных передач. Результаты, обобщенные в книге Кристиана Лонголиуса «Телевидение ФРГ. Сила и бессилие авторов», оказались для многих неожиданными. Первые места в списке «телебестселлеров» заняли почти неизвестные авторы развлекательных передач и «криминальных» серий, такие, как Герберт Райнекер («Комиссар»), Фриц Эккардт («Старый судья», «Место преступления») и т. п.

«Однако,— замечает журнал «Шпигель»,— исследование показало, что даже в развлекательных передачах так или иначе находят выражение вполне определенные политические концепции. Один из социологов на основании ряда интервью с авторами «телебестселлеров» пришел к выводу, что все они придерживаются консервативной позиции. По мнению исследователей, «определенная степень приспособленчества является очевидной предпосылкой успеха».

«Многие из ныне процветающих авторов уяснили эту истину еще с 30-х годов,— замечает по этому поводу журнал «Шпигель».— Недаром еще нацисты объявили «политически и воспитательно ценным» фильм «Молодые орлы», поставленный по сценарию того же Герберта Райнекера (1-е место в списке бестселлеров). Гейнц-Оскар Вуттиг (5-е место), тоже процветавший в те времена, теперь заявляет: «Публика имеет право, чтобы ее хотя бы несколько часов не бомбардировали «мировыми проблемами».

Эту позицию, указывает «Шпигель», поощряют и редакторы телевидения, которые вычеркивают из произведений все, что хоть как-то связано с насущными современными проблемами. «Актуальная критика не находит места в этих сценариях»,— к такому выводу приходят авторы исследования.

ДАНИЯ

ТРИБУНА АКТЕРА

Ведущая актриса «Фиульт-театра» Лоне Линдорф (игравшая также в фильме «Пропавший чиновник», поставленном по роману Ханса Шерфига) решила на время оставить сцену и заняться политическим самообразованием.

«Настоящий актер, который видит в своей театральной деятельности нечто большее, чем средство к существованию, не может оставаться вне политики»,— сказала Лоне Линдорф в недавнем интервью корреспонденту «Актуэльт». Актриса считает, что существует два вида успеха в театре: один сопровождается восторженными аплодисментами зрителей и хвалебными рецензиями, другой, истинный, вызывает на сцене острую дискуссию, в которой принимают участие и зрители. Если тема, затронутая пьесой, достаточно актуальна и политически остра, то спор, начатый в зрительном зале, продолжается на страницах прессы. «Сцена для актера — это трибуна, с которой он обращается к слушателю-зрителю, — отметила Линдорф,— вот почему так важно, чтобы актер умел разбираться в современных политических и социальных проблемах». «Это тем более важно,— подчеркнула актриса,— что сегодня все активнее становятся выступления неофашизма, хотя некоторые в Дании наивно заявляют: «У нас с фашизмом покончено».

На снимке: Лоне Линдорф в пьесе Дарио Фо «Мы все в одной лодке» в роли Антонии.

(Журнал «Актуэльт»)

ЕГИПЕТ

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

По сообщениям печати, в Египте в последнее время широкой известностью пользуются стихи поэта Ахмада Фуада Нигма, пишущего на каирском народном диалекте. Первый сборник поэта назывался «Живут люди моего города». В конце прошлого года вышел второй сборник Нагма под названием «Мой любимый город», в который поэт включил 31 стихотворение.

В новом сборнике поэт подвергает резкой критике проявления бюрократизма и консерватизма, отражая свободолюбивый дух передовых слоев египетского общества — рабочих, крестьян, студентов. Большинство стихотворений этого сборника положено на музыку, и египтяне их поют. Автор музыки — композитор и певец Аш-Шейх Имам, песни которого сейчас чрезвычайно популярны в Египте.

В театре г. Чандигархе (штат Пенджаб) состоялось представление «Белых ночей», инсценировки романа Ф. М. Достоевского. Автор инсценировки и режиссер спектакля — Девиндар Даман. Роли исполнили: Мечтатель — Джагджит, Настенька — Джасвант Даман.
Индийский журналист Навтедж Сингх отмечает в журнале «Прит Лари» интересную режиссуру спектакля, в музыкальном оформлении удачно использована музыка П. Чайковского, актеры играют превосходно.

(Журнал «Прит Лари»)

ИНДИЯ

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Новый фильм «Жертвоприношение» — режиссерский дебют в кино известного прозаика Васудевана Наира, пишущего на языке малаялам. С первых дней выхода на экран картина имела небывалый успех у широкого зрителя. Газета «Матрубхуми» называет ее «самой значительной лентой, созданной когда-либо на студиях Кералы».

Васудеван Наир давно и тесно связан с национальным кино. Все наиболее значительные его произведения неизменно привлекали внимание режиссеров и в разное время были экранизированы. Особой популярностью пользовались в последние годы экранизации его рассказов «Душа тьмы», «Волна и берег» и др.

Отвечая на вопросы корреспондента «Линк» в связи со своей новой работой, писатель признался, что не мог устоять перед желанием испробовать свои творческие возможности в самом мощном массовом искусстве двадцатого века. Сегодня хороший сценарий так же важен, как и его воплощение на экране. Еще многое предстоит сделать киноискусству Кералы, говорит писатель, чтобы достичь высот литературы на языке малаялам.

В основу сценария фильма «Жертвоприношение» писатель положил один из своих ранних рассказов — «Священный меч и ножной браслет». Конфликт между старыми и новыми ценностями, кризис веры, трудный путь избавления от ее многовекового дурмана и, наконец, прозрение человека — такова главная тема, которую автор, как отмечает рецензент журнала «Линк», ставит в фильме со всей остротой.

Перед зрителем проходят судьбы простых людей, обитателей керальской деревушки. Под бременем забот и горя, измученные вспыхнувшей эпидемией оспы, полуголодные крестьяне из страха перед «проклятьем всевышнего» готовы принести в жертву своей богине последнюю горстку риса — дневной рацион целой семьи. Из поколения в поколение их приучили поклоняться каменному идолу в старинном храме. Но суровая действительность раскрывает людям глаза на несостоятельность их божества. Нелегок сложный процесс переоценки ценностей. Однако человек прозревает, побеждая в себе раба религии.

Убедительный образ главного героя создает талантливый актер Антони. Его игра волнует, рождая в зрительном зале эффект сопереживания, пишет рецензент газеты «Махтрубхуми».

ИРАК

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО МАРБИДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Газета «Багдад обсервер» опубликовала статью литературоведа д-ра Джалиля Камаль ад-Дина, посвященную итогам Третьего фестиваля арабской поэзии в Марбиде.

По мнению автора статьи, этот фестиваль, как и предыдущие фестивали поэзии, проводившиеся в Марбиде (недалеко от Басры), явился важным культурным событием и в основном оправдал возлагавшиеся на него надежды.

Фестиваль был ознаменован дальнейшими успехами арабской революционной и демократической поэзии, новаторской как по содержанию, так и по форме. Как считает Камаль ад-Дин, известные арабские поэты-новаторы Ахмед Дахбур, Сулейман аль-Иса, Абд ар-Раззак Абд аль-Вахид, Халиль аль-Хури и Мамдух Одван показали, что их творчество «может стоять на уровне задач, выдвигаемых арабской революцией».

С другой стороны, выступление на фестивале «патриарха арабской поэзии» аль-Джавахири свидетельствовало, что и классическое направление еще далеко не исчерпало своих возможностей.

Третий фестиваль в Марбиде открыл новые поэтические таланты в лице молодых ливанских поэтов Мухаммеда Али Шамс ад-Дина, Шауки Бадиа и Мусы Шуайба. (Последний из них — видный борец за свободу из Южного Ливана, перенесший много преследований и гонений.)

Среди новых голосов, прозвучавших в Марбиде,— тунисский поэт ат-Тайиб ар-Рияхи. Он познакомил участников фестиваля с новым направлением поэзии. В своих необычных по форме стихах ар-Рияхи нарисовал образы Че Гевары и борцов за свободу в странах Азии и Африки.

В Третьем фестивале арабской поэзии участвовали также поэты — Алим Кешоков (СССР), Хасан Хусейн (Турция) и другие.

СТИХИ ПАБЛО НЕРУДЫ — НА АРАБСКОМ

Как сообщает газета «Багдад обсервер», иракское министерство информации выделило средства на издание сборника поэм и стихотворений чилийского поэта Пабло Неруды на арабском языке. Перевод подготовлен преподавателем арабской литературы в Мадридском университете доктором Махмудом Субхом.

ИСПАНИЯ

НОМЕР «ЛИТОРАЛЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ХОСЕ БЕРГАМИНУ

Один из последних номеров литературно-художественного журнала, выходящего в городе Малаге, «Литораль» был посвящен жизни и творчеству старейшего поэта и одного из лучших современных эссеистов Испании Хосе Бергамина.

Хосе Бергамин связан с Малагой не только рождением, но и началом поэтического творчества. В 1926 году в первом номере журнала «Литораль» были впервые опубликованы его стихи.

На страницах журнала с большой любовью и уважением к личности и творчеству поэта подобраны стихи, письма, впечатления о встречах с ним писателей и поэтов Испании различных поколений, испытавших влияние его поэтического мастерства и связанных с ним узами дружбы: Мигеля де Унамуно и Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса, Армандо Лопеса Салинаса, Рафаэля Альберти и Федерико Гарсиа Лорки, Кабальеро Бональда и мексиканских поэтов Альфонсо Рейеса и Хавиера Вильяуррутиа.

В этом же номере опубликованы неизданные стихи самого Хосе Бергамина.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ИСПАНИИ

Барселонский журнал «Кампо де л'Арпа» в одном из своих последних номеров опубликовал анкету, посвященную литературной критике Испании. Журнал поставил следующие вопросы: в чем назначение литературной критики и как послевоенное поколение критиков выполняет свое назначение.

Было опрошено тридцать девять человек. Среди них — испанские прозаики, поэты, критики, искусствоведы, эссеисты, драматурги, театральные режиссеры и др.

Большинство опрошенных отметило, что критика должна ориентировать читателя, оценивая и анализируя литературные произведения, но с этой задачей она не справляется.

Анкете предпослано предисловие писателя и критика Мануэля Васкеса Монтальбана «Литературные критики — жрецы или коновалы?», где дается анализ социальных, экономических и политических условий, в которых находятся сегодня работники этого литературного жанра.

ИТАЛИЯ

РОМАН-СТИЛИЗАЦИЯ

В одном из недавних интервью итальянский прозаик Итало Кальвино заявил, что мечтает о таких романах, какие писали Бальзак и Диккенс. Сам Кальвино, печатающийся с 1947 года, никогда не работал в традиционно реалистическом жанре. Для его творчества характерна философская проблематика, облеченная в форму полугротеска-полу-

сказки, фантастики. В середине шестидесятых годов стало очевидным, что писатель вступил в полосу глубокого кризиса, о чем говорил и сам автор.

Когда вышла последняя книга Кальвино — «Замок перекрещивающихся судеб», писатель дал понять, что определенный период в его творчестве закончен: эта книга может рассматриваться как его завершение.

Замысел книги изящен и оригинален, но литературный прием, к которому прибегает Кальвино, откровенно рассудочен, и сложная игра символов напоминает шахматы или математическую задачу. Первоначально книга была задумана как литературный комментарий Кальвино к художественному изданию, репродуцирующему старинные итальянские карты, служившие в XV веке для игры в тарокки. В этой колоде кроме обычных были карты-символы: «деньги», «кинжалы» и тому подобное. Впервые «Замок» вышел еще в 1969 году, теперь книга расширена, и ее появление оживленно комментируется в газетах разных направлений.

Несколько незнакомых путников, мужчин и женщин, оказываются ночью в заброшенном замке, в чаще леса. Они встречаются за длинным столом в парадном зале, едят и пьют, но, хотя их губы шевелятся, не слышно ни одного слова: они онемели.

После окончания трапезы управляющий замком кладет на стол колоду карт, и один из путников пододвигает ее к себе. Он вытаскивает одну карту, и все видят, что он похож на изображенного на ней прекрасного юношу. Путник берет карты одну за другой, и сочетание этих карт позволяет построить фабулу крошечной новеллы. Встреча с девушкой, любовь, кавалер уходит на войну и забывает о своей возлюбленной, потом приходит возмездие. Эта новелла называется «История о том, как был наказан неблагодарный». Каждая такая новелла построена на расшифровке тайного смысла карточных комбинаций. Сюжеты «мини-новелл» стилизованы и достаточно просты, как того требует старинный жанр моралите.

Критика считает книгу литературным экспериментом. Кальвино довел до логического завершения сложную игру метафор, аллегорий и символов. Словно превращаясь в архитектора, он строит сюжеты, соблюдает пропорции, комбинирует. При этом Кальвино, видимо, исходит из философской посылки: человеческие судьбы бесконечно разнообразны, но в действительности в них повторяется в различных комбинациях строго определенное и ограниченное число основных элементов. Такие разные критики, как Витторио Спинаццола («Унита»), Паоло Милано («Эспрессо»), Лоренцо Мондо («Стампа»), в общем, сходятся на том, что с точки зрения писательского мастерства «Замок перекрещивающихся судеб» сделан блестяще, но напоминают о признании самого Кальвино: он хотел применить на практике теории структуралистов.

Однако, как он заявил, его «теоретический и экспериментаторский интерес» к литературе подобного рода исчерпан, что позволяет говорить о завершении определенного цикла в творчестве Кальвино. Критики выражают надежду на то, что этот одаренный писатель придет к высокому реализму, обогащенному исканиями и опытами прошедших лет.

КОНГО

ПЕСНИ САМБЫ МАСКОТТА

Пластинку с записями этого молодого популярного в Конго певца выпустила фирма грамзаписи «Сонафрик». Самба Маскотт — не только певец, он также поэт и композитор, музыка

Обложка пластинки с песнями Самбы Маскотта.

(Журнал «Жён Африк»)

и слова всех его песен написаны им самим. Любовь к музыке и народной песне проявилась у него еще в раннем детстве. Дед мальчика прекрасно играл на национальной гитаре — нсамби. С 1960 года Самба Маскотт выступает перед публикой и в последние годы выдвинулся в ряды лучших исполнителей Африки. Поет он на лингала — одном из самых распространенных в Конго языков. Хотя на своих концертах Маскотт и пользуется современным музыкальным сопровождением, его песни полностью сохраняют национальный колорит. Их содержание — жизнь родной страны, все, что волнует людей сегодняшнего Конго. Как отмечает журнал «Жён Африк», «нет необходимости знать лингала, чтобы почувствовать глубокую человечность песен Самбы Маскотта».

КУВЕЙТ

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ КУВЕЙТА

Кувейтским университетом выпущена книга «Современная поэзия Кувейта». В основу этой довольно объемистой книги легла научная диссертация, которую в 1970 г. с успехом защитила молодая исследо-

вательница литературы Аватиф аль-Азби ас-Сабах, умершая недавно, не достигнув и тридцати лет.

Как говорится в рецензии, опубликованной сирийским журналом «Аль-Маукиф аль-Адаби», в книге ас-Сабах обобщены многочисленные источники и документы по современной кувейтской поэзии, и она представляет большую ценность для истории современной национальной литературы.

«ПЛЫВУЩИЕ С ВЕТРОМ»

Вышел первый сборник стихов молодого поэта Халифы аль-Вакьяна «Плывущие с ветром». В нем около 20 стихотворений, написанных поэтом в период с 1967 по 1972 г.

Сирийский журнал «Аль-Маукиф аль-Адаби», поместивший рецензию на книжку стихов аль-Вакьяна, отмечает их романтический характер, искренность и задушевность.

Поэт придерживается старого арабского классического стихосложения.

НОРВЕГИЯ

«ВОЙНА БОББИ»

Фильм режиссера Арнольда Берга, демонстрировавшийся на проходившей в Москве неделе норвежского кино, рассказывает о судьбе двенадцатилетнего Бобби и его отца Роберта Лунда — безвольного, спившегося музыканта джаза. Действие происходит в оккупированной Норвегии в дни второй мировой войны, но «колорит военного времени» служит для режиссера лишь фоном.

Бобби ежедневно воюет с нуждой, голодом, одиночеством, с собственным отцом — любимым, слабым, опустившимся человеком. Фильм обрывается, не имея логического завершения. Очевидно, что повседневная «война» маленького героя фильма заведомо обречена на поражение в обществе, где правят сильные и богатые.

Кадр из фильма «Война Бобби».
В главных ролях: Эрик Андерсен и Рой Бьёрнстад.

(Газета «Арбейтербладет»)

ПОЛЬША

«ЗАВИСТЬ» ТАДЕУША БРЕЗЫ

Известный прозаик Тадеуш Бреза еще в 1939 году написал роман «Белая трость». Но началась война, и рукопись погибла. Сохранились лишь черновики, по которым писатель сумел воссоздать свое произведение. Книга вышла уже под названием «Зависть» и сразу же вызвала широкую дискуссию в прессе, которая продолжается до сих пор.

В своем романе Тадеуш Бреза показывает жизнь варшавской буржуазии межвоенного периода. Герой «Зависти», от лица которого ведется повествование, охвачен ревностью к успехам своего друга Шимона Солтыка. Весь объемистый роман — сплошной монолог рассказчика, у которого только одна цель в жизни: скомпрометировать и уничтожить противника в борьбе за милости судьбы. Герой с ожесточением, фальсифицируя или замалчивая факты, ведет свое мелочное следствие, пытаясь доказать мнимую подлость Шимона.

Все это выясняется из его воспоминаний в связи со смертью друга, которой он лично способствовал. Все обвинения, направленные в адрес друга, превращаются в самообвинение. Рассказчик — прокурор, свидетель и палач в одном лице. Зависть стала его навязчивой идеей, она совершенно отравила его, отделила от внешнего мира. В его мелкой, мещанской душонке разгорелось пламя, способное испепелить других.

«Читатель получил прекрасную книгу, которая позволяет другими глазами взглянуть на творчество этого замечательного мастера»,— пишет Ян Пещахович в журнале «Польская литература».

«ЗЕРНО, УПАВШЕЕ НА ДОБРУЮ ПОЧВУ...»

Так озаглавлен новый роман прозаика Ал. Симиона. Название книги, замечает рецензент «Ромыния литерарэ» писатель С. Тител, нетрудно расшифровать: автор ставит себе цель рассказать о человеке, чья жизнь не пропала втуне, о «зерне, давшем добрые всходы».

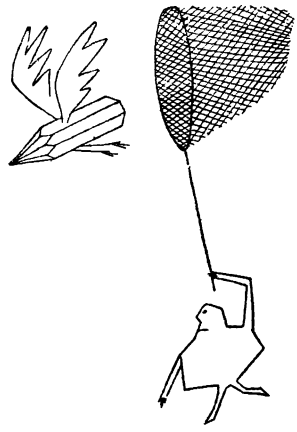
Коллизия, столь характерная для румынского романа 60-х годов и для творчества Ал. Симиона в частности,— переоценка прошлого в момент острого нравственного кризиса — получает в романе новое наполнение.

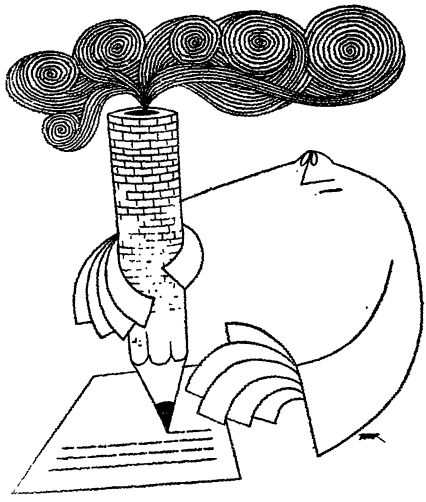
Героиня книги Мария Вишиною узнает, что смертельно больна. Но писатель увлечен не столько изображением процесса изменения психологии героини под влиянием безжалостного приговора врачей, сколько показом тех поистине героических усилий, которые делает смертельно больная женщина во имя того, чтобы как можно дольше оставаться рядом с семьей, друзьями. Все ее силы отданы борьбе за то, чтобы последние дни не опровергли всей ее предыдущей жизни, жизни коммунистки, активной участницы обновительных процессов нашей эпохи. Память о прожитой жизни, о подполье, о достижениях и трудностях поры строительства социализма — ее союзник в этой последней схватке. Воспоминания вновь и вновь убеждают героиню в ее сопричастности всему тому, что сделано и будет сделано на родной земле.

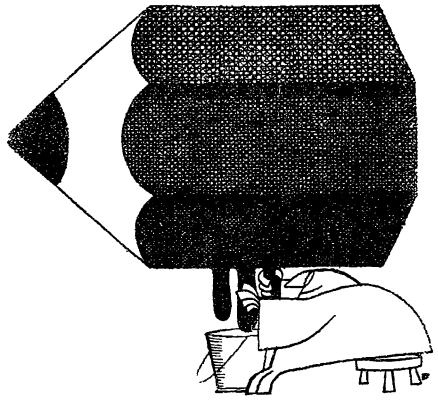
«Участие в делах людей наперекор страданию — вот основной мотив, пронизывающий книгу от первой до последней страницы,— пишет рецензент.— Это и наделяет образ Марии реальной, зримой красотой».

МАСТЕР КАРИКАТУРЫ

Румынский карикатурист Октавян Боур публикует рисунки в журнале «Стяуа» под общим названием «Вокруг карандаша». На VI Международной выставке карикатур в Скопле его рисунок был признан лучшим и художник был награжден премией.







США

«БЭРР» ГОРА ВИДАЛА

Ведущие американские журналы и газеты опубликовали рецензии и обзоры в связи с выходом нового романа Гора Видала «Бэрр» (издательство «Рэндом хаус»). В «Нью-Йорк таймс бук ревью» напечатана подборка из высказываний различных американских критиков о «Бэрре». Леманн-Хаупт называет роман Гора Видала «поразительной книгой, игрой писательского воображения, скрупулезным и жестким анализом основ американской жизни». Гилберт Хайет пишет: «Это удивительный роман, который трудно сравнить с какой-либо другой книгой».

Роман посвящен Аарону Бэрру, вице-президенту при Джефферсоне, сложной и противоречивой исторической фигуре. Чаще всего, как отмечают критики, Бэрра считают негодяем и авантюристом, которого Джефферсон совершенно справедливо обвинил в предательстве и предал суду. Однако Гор Видал придерживается другого мнения.

В интервью еженедельнику «Паблишерз уикли» писатель сказал: «Я решил взглянуть на фигуру Аарона Бэрра беспристрастно. Бэрр, смельчак, сильный соперник Джефферсона на выборах 1800 года, заинтересовал меня еще в детстве. За последнее время мой интерес усилился из-за всей политической ситуации в Америке. Сумбур, неразбериха, коррупция в мире американской политики заставили меня задуматься над вопросом: как же случилось, что все мы, американцы, оказались в таком положении? Я стал искать корни и причины. Поэтому я решил обратиться к Бэрру и его эпохе, чтобы разобраться в Америке».

Многие обозреватели отмечают, что роман Гора Видала представляет интерес не только с социальной, но и с художественной точки зрения как образец «нового журнализма» в современной американской литературе. Книга Гора Видала написана в форме дневника Бэрра, но этот дневник в основном создан самим автором. «Мой вымысел достаточно объективен,— говорит Гор Видал,— потому что, работая над книгой, я изучил все доступные материалы об Аароне Бэрре и его эпохе».

ФРАНЦИЯ

ПОЛЬ ГОГЕН — ПИСАТЕЛЬ

В серии карманной книги в издательстве Галлимара вышел сборник литературных произведений Поля Гогена «Овири, записки дикаря». Составитель и автор предисловия Даниэль Герен.

В сборник вошли большей частью никогда раньше не издававшиеся тексты Гогена, а те, которые издавались и давно стали библиографической редкостью, воспроизведены в первоначальном авторском варианте, без цензурных искажений. «К сожалению, составитель произвольно сокращал и перекраивал тексты Гогена, что указывает на необходимость научного издания его рукописей»,— пишет критик «Кензен литтерер» Жозе Пьер. Тем не менее результатом работы Даниэля Герена явилась книга в 350 страниц, в которой убеждения Поля Гогена высказаны с большой силой.

«Это и манифест, и символ веры, и памфлет, и автобиографическая повесть, и теоретический трактат»,— пишет Жерар Спитери в «Нувель литтерер». Лейтмотивом прозаического наследия Гогена является яростное обличение всех сторон «цивилизации», разрушительное влияние которой художник с болью наблюдал на острове Таити. Под заголовком «Против католической церкви» собраны тексты Гогена, которые по сути являются острым памфлетом. В свое время они не были допущены к печати цензурой. В сборник включена философская сказка «Ноа-Ноа», из которой до сих пор был известен лишь отрывок. Книга «Овири, записки дикаря» не только помогает понять Гогена-художника, но и раскрывает его как писателя и своеобразного философа.

ЮГОСЛАВИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ РОЛЬ

Усния Реджепова, молодая исполнительница народных песен, недавно дебютировала в белградском Народном театре в роли цыганки Коштаны в одноименной драме известного сербского драматурга Борисава Станковича. «Коштана» вот уже более полувека не сходит со сцен югославских театров.

Усния Реджепова в роли цыганки Коштаны.

(Газета «Политика»)

Авторы этого номера

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (род. в 1941 г.).

Болгарский писатель. Окончил филологический факультет Софийского университета. Работает в редакции сатирической газеты «Стършел». Первая его книга — сборник рассказов «Одинокие ветряные мельницы» («Самотните вятърни мелници») вышла в 1969 г. Некоторые рассказы из этой книги переведены на русский язык. Затем вышли повести «Дикая утка среди деревьев» («Дива патица между дърветата», 1972), сборники юмористических рассказов «Троянский конь» («Троянски кон», 1971), «Путешествие без чемодана» («Пътешествие без куфар», 1972), «Поющий корабль» («Пеещият кораб», 1973).

По его сценариям сняты художественные фильмы «Хранитель крепости» и «Гардероб». Комедия «Римская баня» отмечена премией на смотре болгарской драмы в 1974 г.

Рассказ «Земля вертится» взят из болгарского журнала «Современник» (№ 2, 1973).

■

РОСЕН БОСЕВ (род. в 1946 г.).

Молодой болгарский писатель. Автор книги юмористических рассказов «Вперед по росе» («Напред през росата», 1970), получившей несколько литературных премий. Из нее взят рассказ «Слова, написанные на небе».

■

ВАСИЛ ПОПОВ (род. в 1930 г.).

Болгарский прозаик, публицист, драматург. По образованию юрист. Ведает отделом прозы в еженедельнике «Литературен фронт». Автор книг «Черствый хлеб» («Корав хляб», 1960), «Маленькая шахта» («Малката мина», 1962), «Человек и земля» («Човекът и земята», 1962), «Время героя» («Времето на героя», 1968), «Это прекрасное человечество» («Това красиво човечество», 1971), «Спокойствие» (1972), «Вечные времена» («Вечни времена», 1973). Перу В. Попова принадлежат пьесы «Легенда», «Кактус», «Деревенская притча», несколько сценариев художественных фильмов.

Рассказ «Дискуссия» взят из сборника «Корни» («Корените», 1967).

■

СЕРАФИМ СЕВЕРНЯК (род. в 1930 г.).

Болгарский писатель — новеллист и очеркист. Автор многих книг рассказов, в том числе «Свои люди» («Свои хора», 1954), «Десять рассказов» («Десет разказа», 1957), «Под вечер» («Привечер», 1963), «Веер из сандалового дерева» («Ветрило от сандалово дърво», 1966), книги очерков «От нашего корреспондента» («От нашия кореспондент», 1959), повестей «Крылья» («Крила», 1967), «Между розой и львом» («Между розата и лъва»), за которую ему присуждена Димитровская премия.

Рассказ «Мой отец» был напечатан в сборнике «Легкие заботы» («Бели грижи», 1972).

■

МЛАДЕН ДЕНЕВ (род. в 1931 г.).

Болгарский писатель. Окончил инженерно-строительный факультет Софийского университета. Начал печататься в 1965 году. Автор книг «Голубая рожь» («Синя ръж», 1965), «Вечер в октябре» («Вечер през октомври», 1970), «Мяч по Дунаю» («Топка по Дунава», 1973) и др.

Рассказ «Фён» взят из сборника «Этажи» («Етажи», 1971).

■

ЛАДА ГАЛИНА (род. в 1934 г.).

Болгарская писательница. Окончила факультет болгарской филологии Софийского университета. Начала печататься в 1950 г. В 1957 г. выпустила сборник очерков, посвященных строительству Димитровграда, «Самый лучший миг» («Най-хубавият миг»), затем вышли: книга рассказов «Мальчик вырос» («Момчето пораснало», 1958), повести «Ласточка» («Лястовичката», 1960), «Другой берег залива» («Другият бряг на залива», 1960), роман «Кристаллы» («Кристали», 1973), публицистическая книга «Мечта не убита. Чилийский дневник» («Мечтата не е простреляна. Чилийский дневник», 1974 г.).

За роман «Цвет источника» Л. Галиной в 1969 г. была присуждена премия профсоюзов.

Рассказ «Осенью в дубравах» взят из сборника «Шоссе — это не космос» («Шосето не е космос», 1971).

■

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА (род. в 1939 г.).

Болгарская писательница. Окончила факультет болгарской филологии Софийского университета. В течение шести лет работала преподавателем, потом в отделе литературы газеты «Работническо дело». Автор сборника стихов «У часов нет имени» («Часовете нямат имена», 1963), книг рассказов «Женщины» («Жени», 1966), «Дом у поворота» («Къща край завоя», 1969), повес-

тей «Корабль» («Кораб», 1972), «Открой, это я» («Отвори, аз съм», 1972).

Рассказ «Денгра» был напечатан в сборнике «Кое-что радостное для воскресенья» («Нещо радостно за неделя», 1973).

Публикуемые рассказы болгарских писателей войдут в сборник, выпускаемый издательством «Художественная литература».

■

СТАНКА ПЕНЧЕВА (род. в 1929 г.).

Болгарская поэтесса. Получила филологическое образование в Софийском университете. Работала в отделе литературы софийского радио. В настоящее время — член редколлегии журнала «Септември». Ее первая поэтическая книжка «Совершеннолетие» («Пълнолетие») вышла в 1952 г. Ныне С. Пенчева — автор более десяти сборников стихов и ряда публицистических работ.

Предлагаемые читателю стихи взяты из сборников Станки Пенчевой последних лет: «Осеннее сияние» («Есенно сияние», 1968), «Моя власть» («Моята власт», 1970), «Песчаная лилия» («Пясъчна лилия», 1972), «Стихотворения» (Народна младеж, 1973), «Хлеб и соль» («Хляб и сол», Пловдив, Христо Г. Данов, 1973).

■

ДИК КУТЯЛИ — Gjikë Kuqali (1921—1944).

Албанский писатель. Активный участник антифашистского движения в Албании, был казнен гитлеровцами в тиранской тюрьме. Автор коротких рассказов, политических памфлетов, стихотворений.

Рассказы «Апельсины» («Portokajtë») и «Сельский учитель» («Mësuës fshati») взяты из сборника «Свеча» («Qiriu», 1955).

■

СОТИР АНДОНИ — Sotir Andoni (род. в 1925 г.).

Албанский писатель. Принимал активное участие в антифашистском движении. В марте 1943 г. ушел в партизаны и воевал в отрядах в Мораве. Первые свои произведения — скетчи, очерки, стихи — публиковал в нелегальной печати. Автор мемуаров «Партизанская борьба. (Как пережил ее я)» («Lufta partizane. Ashtu si e jetova unë», 1959), романа «Угасший светильник» («Kandili i shuar», 1964) и нескольких сборников рассказов.

Рассказ «И умертви плоть свою» («I handakosuri») взят из сборника «Рассказы из Моравы» («Tregime nga Morava», 1960).

■

ЭРВЕ БАЗЕН — HERVÉ BAZIN (род. в 1911 г.).

Французский прозаик и поэт, один из наиболее популярных писателей современной Франции. Вице-президент Академии Гонкуров. Окончил Сорбонну. В юности испробовал множество профессий — от простого рабочего до журналиста. В годы войны участвовал в движении Сопротивления. Литературную деятельность начал в 30-е годы как поэт. За сборник лирики «Дни» («Jours», 1947) был удостоен премии Аполлинера.

Большая литературная известность пришла к Базену после выхода его романов «Гадюка в кулаке» и «Смерть лошадки», первых двух частей трилогии «Семья Резо». Эти романы знакомы советскому читателю по русским переводам. На русский переведены и другие романы Э. Базена: «Встань и иди», «Ради сына», «Супружеская жизнь», ряд поэтических произведений. В «Иностранной литературе» был напечатан цикл его стихов из сборника «Настроения» (№ 1, 1962).

В этом номере мы начинаем публиковать роман «Крик совы» («Cri de la chouette». Paris, Ed. Grasset), вышедший в 1972 г. и являющийся завершением трилогии «Семья Резо». Роман этот имеет самостоятельное значение.

■

ЛУДОВИКО АРИОСТО — LODOVICO ARIOSTO (1474—1533).

Итальянский поэт. Писал на итальянском и латинском языках. К «мелким произведениям» Ариосто (opere minori) относятся оды, элегии, эпиграммы, сонеты, мадригалы, канцоны на любовные темы, пять комедий — «Чернокнижник» («Il negromante», 1520), «Сводня» («La Lena», 1528) и др.

Выдающееся значение имеет поэма в октавах «Неистовый Роланд» («Orlando Furioso»), появившаяся в 40 песнях в 1516 г. и в 46 песнях в 1532 г. Поэма переведена на все европейские языки. Ей отдали должное М. Сервантес, У. Шекспир, Ж. Лафонтен, Вольтер, Дж. Байрон, А. С. Пушкин. В России «Неистовый Роланд» был переложен с французского языка в конце XVIII в.

■

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ (род. в 1931 г.).

Болгарский писатель. Окончил филологический факультет Софийского университета. Преподавал литературу, работал редактором на радио в Софии и Москве, в настоящее время заместитель главного редактора журнала «Септември».

Автор книг: «Первые песни» («Първи песни», 1958), «Знамена не бывают тяжелыми» («Знамената не тежат», 1964), «Девятнадцать песен о Цветане Зангове и одна о нас» («Деветнадесет песни за Цветан Зангов и една за нас», 1966), «Долг жить» («Дългът да живееш», 1967), «Бдение» (1969), «Третья планета» («Третата планета», 1971).

Мы публикуем отрывки из документальной книги Н. Христозова «По следам «пропавших без вести» («По дирята на безследно изчезналите», София, Партиздат, 1972), получившей первую премию г. Софии и вышедшей вторым изданием в 1973 г.

ТИБОР ДЕРИ — DERY TIBOR (род. в 1894 г.).

Венгерский писатель, поэт, эссеист, лауреат премии имени Кошута. В венгерскую литературу Тибор Дери вошел прежде всего как автор нескольких романов о рабочем движении и сложных путях прогрессивной интеллигенции. Наиболее известны из них «Неоконченная фраза» («A befejezetlen mondat», 1947), «Ответ» («Felelet», 1950—1952).

Публикуемые эссе, с которыми писатель выступал в венгерской печати на протяжении последних десяти лет, взяты из сборника «Отложения дней» («A napok hordaléka», Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1972).

(О творчестве Тибора Дери — в послесловии О. Россиянова.)

НИКОЛАЙ АНТОНОВ (род. в 1926 г.).

Болгарский поэт, прозаик, кандидат филологических наук. Автор поэмы «Победители» (1954) сборника стихов «Источники» («Извори» 1972), монографии о творчестве Маяковского (1972) и других произведений.

Рецензия «Поэтические предсказания» получена в рукописи.

ФЕСУНЕНКО ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский журналист. Автор ряда статей и очерков в журналах и газетах, двух книг о бразильском футболе — «Пеле, Гарринча, футбол» и «Чаша «Мараканы».

МЕНДЕЛЬСОН МОРИС ОСИПОВИЧ (род. в 1904 г.).

Советский критик и литературовед. В 1939 г. опубликовал книгу «Марк Твен» (дополненные издания ее—в 1958 и 1964 гг.), написал ряд статей о его творчестве. Автор работ «Уолт Уитмен» (1954) и «Жизнь и творчество Уитмена» (1965 и 1969), монографий «Современный американский роман» (1964) и «Американская сатирическая проза XX века» (1972), книги «Американская трагедия» Теодора Драйзера» (1971), статей о творчестве С. Фицджеральда, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера и др.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**.

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова**. Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**.

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 8/VII 1974 г. А 06928. Подписано к печати 12/VIII 1974 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,28.
Тираж 564.000 экз. (1-й завод: 1—400.000 экз.). Зак. 2378.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ В 1975 ГОДУ СЛЕДУЮЩИЕ РОМАНЫ:

КОБО АБЭ (Япония)
Человек в ящике

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
Тереза Батиста, уставшая воевать

АЙ КВЕИ АРМА (Гана)
Осколки

КУРТ ВОННЕГУТ (США)
Завтрак чемпионов

ДЖЕЙМС ДЖОЙС (Ирландия)
Портрет художника в юности

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (Польша)
Переплывешь реку

ИРЖИ КРЖЕНЕК (ЧССР)
Дички

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)
Новый роман

АНРИ ТРУАЙЯ (Франция)
Анн Предайль

ЭНТОНИ ФЕЛПС (Гаити)
Минус бесконечность

МАКС ФРИШ (Швейцария)
Назову себя Гантенбайн

ИРВИН ШОУ (США)
Вечер в Византии